О.Форш

ОДЕТЫ КАМНЕМ
МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК



О. Форш

ОДЕТЫ КАМНЕМ

•

МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК



Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское
отделение
1988

ББК 84.Р7
Ф 79

Классики и современники

Советская литература



Текст печатается по изданию:
Форш О. Д. Собрание сочинений: В 8 т.
М.; Л.: Худож. лит. 1962—1964. Т.1, 4

Художник
А. АЗЕМША

Ф $\frac{4702010201-053}{028(01)-88}$ 63—88

ISBN 5-280-00036-1

ОДЕТЫ КАМНЕМ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«Одет камнем при императрице
Екатерине II».

Надпись на Трубецком бастионе

ГЛАВА I
БЫВШИЙ ЧЕЛОВЕК

Двенадцатого марта 1923 года, в день, когда мне, Сергею Русанину, стукнуло восемьдесят три года, произошло нечто, добившее в корне мои чувства монархиста и дворянина. Одновременно с этим пал последний запрет с моих уст предать гласности то, что хранил я в безмолвии всю жизнь. Но об этом потом...

Я родился в сороковом году, пережил четырех императоров и четыре крупных войны; из них последняя — беспримернейшая и мировая. Я служил в кавалерии, отличался на Кавказе и пошел было в гору, но в восемьдесят седьмом году одно событие меня выбило из седла, так сказать, без возврата в первобытное состояние. Я вышел в отставку и зарылся отшельником в своем имении, пока в революцию его не сожгли. Наше Угорье — Н-ской губернии, рядом с бывшим имением Лагутина.

Вместе дедушки покупали, вместе бабушки обсуждали, что, дескать, подрастут: у одних внук, у других внучка и, соединившись узами Гименея, естественно, сольют воедино угодья. В таком расчете и в соответствии с планом местности и покупали дальнейшие десятины.

Да, вместе росли, играли, учились я и Вера Лагутина. В семнадцать лет соловья слушали и кое в чем обещались навеки. И вышло бы все так, как тогда выходило, по родительскому предрешению с отвечающим расположением взаимности, если бы не собственная моя дурость. Сам себе яму вырыл.

Привез я на последние каникулы своего товарища Михаила. В пятьдесят девятом году поступил он к нам из киевского Владимирского кадетского корпуса прямо на третий курс, а мы все — из столичных кадет, косились на провинцию. Да и нелюдимый он был такой, все читает. Из себя же весьма пригож, вроде итальянца: глаза горят, а брови союзные. Родом он был из Бессарабии; по отцу не то румын, не то молдаванин.

Про наружность Михаила в архивных о нем изысканиях нет ни слова, да и не мудрено. В тюрьме запечатлевают того, кому хоть когда-нибудь суждено быть на свободе, на случай, если он опять в чем-нибудь попадется. У Михаила же судьба иная: о нем, на протяжении двадцати лет, каждое первое число месяца шел государю доклад: там-то сидит такой-то...

И каждый раз государю благоугодно было подтвердить собственный приказ от шестьдесят первого года, второго ноября, об оставлении Михаила в одиночном заключении *впредь до особого распоряжения.*

Типографии эти последние слова надлежит всегда брать в разрядку, чтобы хоть своим внешним видом, отличным от однородного шрифта страниц, одернуть равнодушного читателя, преданного одним собственным радостям и страданиям.

Внимание, читатель, внимание! Особого распоряжения не последовало ни-ко-гда!

Заключенный без суда и без следствия, по одному собственному оговору, прекраснейший юноша свои юные и зрелые годы до самой смерти провел в одиночестве в Алексеевском равелине.

Последующему царю Александру III директором департамента полиции Плеве был представлен все тот же доклад, и записано высочайшее повеление: если узник пожелает, выпустить его и свезти в далекие малолюдные места Сибири на жительство.

Правдоподобно допустить, что, при общей системе жестокого лицемерия, начальник тюрьмы представил эту резолюцию давно безумному человеку, забывшему даже собственное имя. И в ответ на торжественно прочтенную бумагу, вызывая хохот сторожей, Михаил, должно быть, нырнул под койку и плотно забился к стене, как проделывал он поздней в сумасшедшем доме в Казани, когда входил в одиночку к нему человек.

Не проделал он этого только при последней встрече со мной, и лишь потому, вероятно, что прыгнуть с койки у него уже не было сил. Ведь это был его последний, смертный час. Но ужас его раскрытых глаз при виде близко подошедших людей и смертная мука замученного, которому бы убежать от мучителей,— это все со мною с утра и до вечера, все часы моей жизни.

И как могло быть иначе? Ведь не кто иной, как я, истинный виновник этой беспримерной, превышающей силы человека, одинокой и ненужной гибели.

Иной читатель, прочтя мои записки, скажет, что состав моего преступления, так сказать, психологический и что строжайший суд меня бы оправдал. Но разве не известен читателю случай, когда иной даже совсем безответственный человек, оправданный единогласно присяжными, кончал с собой, засудив себя судом собственной совести?

Загадочность судьбы Михаила давно волновала исследователей. Один из них, желая раскрыть тайну этой русской Железной Маски, еще в 1905 году обращался в печати ко всем, прося дать хоть какие-нибудь сведения, проливающие свет на это дело. Я заболел нервным расстройством, но сведений не дал. Я еще не был готов. Я еще был не тот, что сейчас. Я не мог сказать громко: предатель Михаила Бейдемана, заключенного без суда и следствия в Алексеевском равелине,— я, Сергей Русанин, его товарищ по Константиновскому училищу.

Совсем недавно собраны и оглашены подлинные архивные документы об особо важных, доныне таинственных узниках.

Иван Потапыч, мой хозяин из общежития, приносит книжку, другую. Принес и эти листки. Сам прочел и дал мне: вот, говорит, житие многострадальных людей; хоть и злоумышленники они, а без слез не прочесть.

Взял я, многократно прочел... О, как жестоки, как обличительны неподкупные события в кратких сведениях о Михаиле! Земля ушла из-под ног. Некая громада рухнула, придавила. Так, верно, бывает, когда минер той самой миной, что им заложена, чтобы взорвать неприятеля, взрывается сам. Шестьдесят один год тому назад была заложена моя мина.

Да, конечно, не мне, старику, пережившему четыре царствования четырех императоров, было безнаказанно переживать революцию.

Зачем не погиб я с доблестью, как погибли товарищи, на поле бранном или по приговору Ревтрибунала как несокрушимый, но честный враг? Кем войду я в память потомства? Как назовут?

Но будь что будет: мой час пробил, и я все расскажу.

От производства шестьдесят первого года сейчас нас осталось два константиновца: я и Горецкий 2-й, генерал от инфантерии, кавалер Георгия высшей степени при золотом оружии. Ныне Горецкий 2-й с трудкнижкой — Савва Костров, гражданин города Велижа, надзиратель в театре за мужской уборной.

Наголодавшись, он доволен тихим местом, хвалится, что порядок навел образцовый, а чаевых столько, что хватает ему на халву. Человек, в свое время проевший два состояния, ныне, как маленький, рад фунту халвы.

В последнюю встречу я спросил его: «А помнишь ли, братец, атаку аула Гильхо?» Взбодрился, замахнулся, как саблей, старой шваброй, которой тер изразцовый пол своего учреждения. Подробно вел речь. Но вот генерала назвал он неверно. Не Войноранский, а сам он, Горецкий 2-й, в безумной вылазке взял этот аул.

Старик пропустил себя, забыл свое имя. Михаил Бейдеман в безумии звал себя — Шевич, запомнив случайную надпись на стене, а я... да неужто исполнится надо мной то предсказание в Париже?

Но это не к делу. Хотя, конечно, как говорят китайцы, предав гласности мои записки, я потеряю свое лицо.

Еще при жизни выпадает на долю иного человека умереть и будто жить снова. Вернее, какой-то оставшейся силой, объедками себя самого, таскать, пока оно не истлеет, свое изможденное тело.

Горецкий 2-й на коне, перед войском, сабля наотмашь,— так его печатали полвека назад,— и он же блюститель уборной.

Я дал ему на четверть фунта халвы, когда недавно, прощаясь, поцеловал его, единственного, который знает меня как Сергея Русанина.

Когда рукопись эта появится в свет и о том, кто был я в отношении к другу, узнает всякий, надо надеяться, я не буду в живых.

Вон оно предо мною — роковое мне изыскание о судьбе Михаила! В комиссию архивных работ пошлю и я свою лепту. В ней будет заключаться как раз то, че-

го узнать невозможно ни из каких источников, кроме одной моей погибшей души.

Я живу в большом доме, имеющем историческое прошлое. В зале его с лепным потолком бывали блестящие балы, а у меня — первые успехи в свете. Позднее, при переходе дома в частные руки, я там продувался на бильярде Горецкому, который без промаха резал шара и в среднюю лузу и в угол и знаменит был своими клопштоссами. Там же, в отдельных кабинетах, мы напивались до положения риз, и лакеи, завернув нас в николаевки, развозили под утро домой.

У меня кутежи эти были припадками от невыносимых страданий несчастной любви к Вере,— о ней повесть ниже. Особенно бесшабашен был я в тот год, когда Михаил прямо из войск Гарибальди, едва вступив на границу Финляндии, пропал без вести и, как сейчас только стало известно, уже на веки вечные был замурован в каменный мешок равелина.

Но вернемся к порядку дня, как сейчас говорят...

Ныне я помещаюсь на третьем дворе, в самом поднебесье этого многопамятного мне дома.

Меня взял жильцом-нянькой к внучатам Иван Потапыч, бывший лакей последнего владельца.

Ивану Потапычу всего шестьдесят лет, и он крепкий старик-бобыль с двумя девчонками. Невестку с сыном унес тиф, дети сами пришли к дедушке,— куда же им еще?

Здесь, в доме, общежитие и столовая. Потапыч ходит мыть посуду, за что повар ему отпускает обед: супа — три порции, второго — две. Одной тарелкой с ломтем черного хлеба я сыт, пусть едят молодые. А к детям я привязан. В эти страшные годы только с ними забывался порой.

Ну, сейчас не до них; впрочем, и я им не нужен после того, как отвел их в школу. Со второго дня они пошли сами.

Потапыч день-деньской при посуде, говорит: «При нэпе все взбогатели, опять пачкают и мелкое и глубокое».

До сумерек в комнате никого. Когда я не на промысле, то можно писать. А промысел мой один — подаяние. Я хожу вдоль Невского по теневой стороне, от Полицейского моста до Николаевского вокзала, норовлю на трамвае обратно. Беда с ногами, пухнут ноги-то!

Когда прошу, много знакомых лиц вижу; все тем же заняты. Они меня не знают, а я узнаю. Хотя сам я, как сказано, давно выбыл из строя, но, приезжая в столицу, новым ходом жизни интересовался. Показывали видных людей, называли...

Ну, а сами-то небось знают друг друга досконально. Но, хотя и с протянутой рукой, бывает, столкнутся,— а все будто незнакомые. Так им легче.

Вот товарищ министра, да какого... продает газеты. Среди них — ныне модный «Безбожник». Ежели у покупателя вид неопасный, вроде прежнего, продавец не удержится, скажет: «Это вам стыдно, гражданин, покупать». А когда ему обратно: «А продавать вам не стыдно?» — вспыхнет, уйдет бородою в пальтишко, прошепчет: «Мне неволя!»

Однако зря я болтаю все. К делу. Затруднительно мне сейчас выражение мыслей плавное и в последовательности. Все я с детворою, и у самого речи детские. Но предполагаю так: не стесняя естественности изложения, буду писать, как пишется, без отсекновения само собой вступающей современности. Перед отправкою рукописи в «Архивные изыскания» сделаю выборку и приведу все в отменный порядок, имеющий в виду одну цель: по мере возможности воскресить многострадальную память друга.

Для экземпляра, предназначенного гласности, коплю белую линованную бумагу первейшего сорта, для чего удвоил свою прогулку по Невскому, предприняв ее по солнечной стороне. А в трамвае платном я себе отказал. Если кондукторша не везет христа ради (а «подайте безработному товарищу», как ныне принято, я не прошу), то на ближайшей остановке слезаю и тихо бреду, как пес, в свою конуру.

Все сторублевки коплю я на бумагу, перо и чернила для чистового. Этот же черновик предпринимаю на обратной стороне страховых квитанций былого Центрального банка. Квитанции эти наши девочки в обилии натаскали из нижнего этажа.

Пойдем же, читатель, шаг за шагом за мной по скорбным следам Михаила, со дня нашей с ним первой встречи. И прежде всего к Обухову мосту, где стоит наше училище. Там были мы юнкерами, оттуда были выпущены в один и тот же Орденский полк.

Наше училище мало изменилось с тех пор. У него все тот же благородный фасад с александровской колоннадой; только проспект, на котором он стоит, переименован в Международный, как отражающий революционное время, и на самом училище значится красными буквами так: «1-я артшкола».

Но по-прежнему возглавляют окна первого этажа львы, держащие в зубах кольцо, а повыше — шлемы с перьями. Две пушки при входе — не наши, это после переименования училища в артиллерийское. В мое же время оно было пехотным, так что присвоены нам были винтовки, и ходили мы держать внутренний караул во дворец, посещали балы в институтах, словом — были на положении гвардейских училищ. От этой близости к жизни двора, от чтения заграничных изданий, в частности проклятого «Колокола» господ Огарева и Герцена,— вся трагедия Михаила. Но о ней — в свое время...

На входных воротах училища и сейчас щиты со скрещенными секирами, а за каменным желтым забором — тенистый сад. Белые легкие березки ныне разрослись в два обхвата.

Круто замешены люди нашего века: пережить то, что пережил я, а память не только свежа: все, что ни вызовешь,— оно тут как тут, перед тобою.

Я помню план нашего сада, всматриваюсь, узнаю: да, конечно, это они. Вот те два стройных клена среди лип, знак краткой дружбы с Михаилом. Помню, как мы прочли вместе Шиллера и в честь Позы и Карлоса,— а я, со своей стороны, подразумевая нас обоих,— посадили эти два деревца.

О, сколь знаменательны порой и чреваты содержанием иные выражения чувства!

Я зашатался, кружилась голова. Острой болью рвануло сердце. Опираясь на палку (спасибо внучкам Потапыча, что приделали к ней резиновый наконечник, не скользит больше палка), я сел на тумбу против забора.

Афиши рябят перед глазами: «Общество друзей воздушного флота...», «Призыв к красной деревне красных инструкторов...», «Реформа старой церкви». И тут же, превыше всего, с разноцветными какими-то змеями: «Синтетический театр». От трапеции до трагедии покажет все один, как есть, Кобчиков...

И как это управится он один? Прыгает в бедной моей голове, и кажется мне, что я с ума сошел. Не вместить

мне, не выдержать своих мыслей. Ведь рядом с тем, что кругом себя вижу, возникает еще с большей яркостью то, что сметено историей в могилу. Сметено, да не забыто!

Помню нашу первую встречу. Я достаивал штрафной под часами за опоздание на молитву, когда Петька Корский, пробежав мимо, крикнул:

— Из Киева к нам хохлов привезли, а с ними сам черт, ей-богу!

Новичков провели мимо меня в баню. Их было четверо. Трое, как говорится, без особых примет, но последний, высокий и тонкий, с черными бровями, был весьма приметен. Еще выделялся он тем, что ни в одном движении у него не было общей всем нам фрунтовой невыразительности.

Голова чуть закинута назад, шаг свободный, и на бледно-матовом лице, с резкою, как бы углем обведенною бровью, печаль и задумчивость. Мне он показался очень красив и понравился.

В этот же день вечером произошел наш первый, знаменательный разговор с Михаилом. Оказалось, что кровать его рядом с моей. После ужина и молитвы юнкера в дортуаре одни, и это было наше самое любимое время.

Хотя карты строго воспрещены, но, разумеется, у каждого под матрацем колода, и сейчас, пользуясь бесконтрольностью, дуются. Для отвода глаз на столе целая фортеция библиотечных книг, и по жребию выбранный читает вслух. На этот раз чтение было не только отводом глаз: вокруг выбранного густо сидели на скамьях и на столе, жадно слушая увлекательные главы «Князя Серебряного». Роман еще не вышел из печати и в редком рукописном экземпляре попал от приятеля автора к юнкерам.

— И охота жевать расписной пряник на розовой водице,— сказал досадливо Михаил, проходя к своей койке. Ни чтец, ни слушатели не обратили на эти слова внимания, но я их себе очень отметил.

Я слышал от тетушки моей, графини Кушиной, что недавно весь двор восхищался «Князем Серебряным», которого автор самолично читал на вечерних собраниях у императрицы. По окончании чтения императрица поднесла графу золотой брелок в форме книги. На одной стороне стояло: «Мария», на другой: «В память „Князя Серебряного“», и в образах муз портреты прекрасных

фрейлин-слушательниц. Правда, князь Барятинский нашел роман этот пустым, но это, конечно, была лишь понятная зависть одного светского человека к светским успехам другого. Но Михаил ведь ни по рождению, ни по вкусам не стремился к придворной жизни. Какой же зуб он мог иметь против графа Алексея Константиновича Толстого?

Я лег в свою постель рядом с постелью Михаила, и, видя, что он еще не спит, я спросил его о значении брошенной им фразы. Он разъяснил охотно и без всякого высокомерия, как я ожидал:

— Видите ли, сам граф Толстой, как мне доподлинно известно через одного близкого ему друга, говорил, что, изображая обезумевшего от власти деспота, он часто бросал перо — не столько от мысли, что мог существовать такой Иоанн Грозный, сколько от мысли, что могло существовать общество, которое терпело его и ему покорялось. Но этого своего гражданского чувства он в роман не перенес, а покрыл его сусальною позолотой. Вот на трилогию, которой он теперь занят, надеюсь я более.

— А я слышал, что эта трилогия — затея предерзостная и едва ли будет одобрена нашей цензурой.

— Очень возможно; в трилогии, хотя прикровенно и косвенно, но как-никак убивается самодержавие,— сказал Михаил.— Конечно, это в случае, если будет таково выполнение, каков проспект, поведанный графом в кружке приятелей. Опять Иоанн Грозный, в угоду своему тиранству, попирает все права человеческие. В лице царя Федора, лично высокого, развенчание царской власти как таковой. Борис Годунов — реформатор. Но борьба за власть убьет его волю и сведет с ума... Да, подобное произведение сейчас, накануне реформ, когда писатель-гражданин так желателен, можно приветствовать.

И с особой выразительностью он произнес:

— Ведь наверху раньше всех должны понять, что реформы и самодержавие несовместимы! Начав делать реформы, надлежит отказаться от самодержавия, которое есть злая ложь.

В окно смотрела луна прямо в лицо Михаила. С пламенными глазами и вдохновительной бледностью оно было и прекрасно и страшно.

— Я возмущен вашими словами,— сказал я,— и даже не позволю себе понимать их во всем их значении. Они меня оскорбляют.

— Вот как? Это мне любопытно!— И Михаил, приподнявшись на локте, с вниманием меня оглядел, как будто увидел впервые.

Это была его особенность. Он не различал людей, когда говорил. Так сильна была его собственная внутренняя жизнь, что, лишь встречая противодействие, он, как степной конь, наскочив на препятствие, взвивался на дыбы и сверкающим оком глядел, куда ему дальше ступить. Впрочем, у него было много природной мягкости и нежелания задеть лично.

— Отчего же вам оскорбительны мои мнения?

— Мои противоположны,— сказал я.— Моя тетушка, графиня Кушина, заменившая мне мать, воспитала меня не только в чувствах верноподданного, но и в религиозном обосновании этих чувств.

— У вашей тетушки бывают славянофилы?— прервал меня Михаил.

— Не они именно, но писатели, не чуждые им, бывают. Вот не хотите ли пойти со мной туда в первое воскресенье?

И сейчас не могу понять, как это я мог позвать Михаила. Впрочем, пугаясь бестактности, которая могла бы легко возникнуть по причине его дерзких суждений, я, спохватившись, тогда же сказал:

— Предупреждаю вас, моя тетушка против немедленного освобождения крестьян, так что для вас многое в ее гостиной может оказаться не по душе.

— Это нимало меня не смущает,— возразил Михаил.— Чтобы вернее разбить врагов, их надо видеть вблизи!

И, засмеявшись, он сверкнул мелкими белыми зубами.

В нем как-то не было переходов. Начиная с шага внезапного и резкого, все, до черных бровей на белом лице, до прыжков речи от угрожающей к детски доверчивой и простодушной, все обличало в нем, как теперь принято выражаться, глубокую неуравновешенность души. Но, быть может, как раз это его качество и притягивало меня, выросшего в дисциплине строжайшей, неодолимым очарованием. И как внезапно ввел я его в недра нашей семьи, так некий злой гений двух наших

судеб толкнул меня не только познакомить его с отцом Веры — Лагутиным, но и рекомендовать его отменнейшим образом — причина, почему чуть ли не с первого знакомства Михаил получил приглашение приехать на каникулы в лагутинскую усадьбу.

ГЛАВА II
ТЕТУШКИН САЛОН

Библиотека моей тетушки, графини Кушиной, где велись воскресные разговоры, была комнатой, обличавшей пристрастие хозяйки к наукам оккультическим. В такой комнате мог бы проповедовать граф Сен-Жермен и начать свои успехи Калиостро.

Над бархатным угловым диваном шли в причудливых рамках картины, вскрывавшие, по свидетельству тетушки, символику девяти Дантовых адских кругов. Самого Данте тетушка относила к адептам того же тайного ордена, к которому, по намекам, принадлежала и она с юных лет. И вот почему, указуя на противоположную стену, украшенную диаграммой ее собственноручной работы, а может быть и измышления, тетушка любила сказать:

— Мое вдохновение совершенно подобно вдохновению Дантову, и ежели б этого он не признал, то, уж конечно, не стал бы давать мне знак утверждения, троекратно стуча ножкой столика.

В эту зиму сделалось модным верчение столов и общение с духами, чем, как известно, увлекались не одни поэтические головы, подобные Федору Ивановичу Тютчеву, а люди значительно посолидней.

Диаграмма тетушки, которую называла она: «Птоломеева система применительно к государству Российскому», занимала всю стену и по первому взгляду казалась огромной мишенью, какие бывают в тирах летних садов,— развлечением для стрельбы в цель.

По лазурному атласному фону, долженствующему изображать небесную сферу, шел огромный белый круг, включающий в себя, с небольшими просветами, еще несколько концентрических кругов. Все круги были нашиты тетушкой на первоначальную сферу небесной лазури. Помнится мне, ярко-желтый круг, включенный в круг белый, достоинства божественного, обозначал са-

модержавие, а в дворянский, травянисто-зеленый, цвета надежды, включен был круг черный, круг труда землепашца. Все круги были отменного материала, обметаны чудесным тамбурным швом и включены, как пасхальные яйца, друг в друга. Получалась приятная глазу и завлекающая воображение выразительность.

И, поясняя диаграмму своей маленькой ручкой в перстнях, говорила тетушка какому-нибудь стороннику немедленного освобождения крестьян:

— Как это ты, батенька, хочешь расстроить гармонию русской сферы? Едва один кружок выхватишь — ан все и отпорются. Тамбурная строчка на том и стоит, что петля в петлю вяжется: тут либо все сохрани, либо чуть тронь — пойдет прахом.

У тетушки в библиотеке бывал писатель Достоевский, или — как тогда звали его в нашем кругу — Досто́евский. В то время первоклассным его никто не почитал, а переводя оценку литературную на более мне обычную в военных чинах, не совру, ежели скажу, что ходил он, приблизительно, не более как в майорах. Григорович против него был полковником, а уж генералом — как тетушка раз навсегда решила — Иван Сергеевич Тургенев.

Soirées[1] тетушки распадались обыкновенно на две части. Первая, так сказать, разговорная часть протекала в библиотеке, завершаясь легким чаем, вторая — был ужин в парадной столовой для связей сердечных и родственных.

В библиотеку вхожи были люди разного чина и звания, но к ужину оставались строго свои.

И библиотечные гости сами знали, что званы только на чай, после которого прощались с хозяйкой.

Взяв на свой страх появление Михаила, я доро́гой просил его выражать свои мнения без резкости, а того предпочтительней хранить их про себя.

— Не беспокойся,— сказал он мне,— будущий деятель обязан учиться и наблюдению.

После этого разговора о «Князе Серебряном» мы на другой же день с Михаилом стали на «ты». Как будто по взаимному уговору, мы больше с ним в политические споры не вступали, безотчетно не желая расстраивать тех не подверженных человеческой воле симпатических

[1] Вечера *(фр.)*.

нитей, которые, по неисповедимым наукой причинам, как в любви, так и в дружбе притягивают иной раз ни в чем не сходных между собой индивидуумов.

Не происходят ли такие пересечения с людьми по предначертанию каждому данного гороскопа, чтобы совершились над каждым все ему присужденные в нашей грустной юдоли испытания? Из дальнейшего будет видно, что с нами обоими вышло именно так.

Мы вошли в библиотеку. Михаил с нарочитым почтением подошел к ручке тетушки, на что та в ответ благосклонно сказала ему, по своему обычаю обращаясь на «ты»:

— А, Сережин приятель! Что же, послушай нас, стариков, да на ус намотай. Аль не выросли?

Тетушка — в седых буклях, с яркими глазами — одевалась всегда в черный шелк, с воротником драгоценного кружева. А ручки ее были в перстнях с амулетными камнями. Постоянство избранного ею облика и чудачества выделяли тетушку из других дам ее круга, подверженных изменению моды, и придавали ей интересность загадки.

В библиотеке, кроме отца Веры, Эраста Петровича Лагутина, осанистого старика, сегодня были мне сплошь незнакомые новые люди: нарядные дамы, много военных и бледноликие «архивные» юноши. Последние еще Пушкиным остроумнейше аттестованы так: «Стоит их тронуть пальцем, дабы полилась из них всемирная ученость, ибо они всё знают, они всё читали».

Когда мы вошли, эти юноши друг за дружкой, как молодые борзые, еще не умеющие травить зайца, накидывались на невысокого средних лет человека, стоявшего спиной у окна. Он отвечал им с поразившим меня раздражением и совсем не в той манере, какая принята для светского разговора.

— Это Достóевский! — шепнула мне тетушка, зараз и с гордостью и с снисходительным извинением, как о человеке, не знающем обычаев нашего круга.

— Да, я написал это в статье и повторять не устану, надо веровать, что русская нация — необыкновенное явление всего человечества! — выкрикнул Достоевский.

На слова «всего человечества» он так сильно нажал, будто собирался навеки вдавить их в лоб слушателей. Я заметил — это многих покоробило: всякая подчеркнутость для светских людей — признак дурного тона,

а он словно весь был подчеркнут. Движения угловаты, голос глух и без основания выразителен. Словом, в нем не было и тени той одаряющей приятности, благодаря которой человек, на деле вам ничем не помогший, запоминается вами с благодарностью навсегда.

— Как это вы, сударь, сказали? Мы, русские, явление в истории человечества?— разъярился вдруг один почтенный, очень европейский старичок.— Как? И даже при условии, что в семье цивилизованных народов мы всего без года неделю, да и то под понукой дубинки Петровой?..

— À propos [1],— прервал другой старичок, давнишний поклонник тетушки, как опытный светский рулевой торопясь перевести колючий разговор в спокойное русло,— à propos, кто помнит, господа, как недавно Погодин убил наповал одну славянофильскую музу, осуждавшую между строк как раз вот эту дубинку Петрову?

Архивные юноши пустились наперебой приводить цитату Погодина: «Хоть каша, замешенная Петром, и солона и крута»,— начал один, а другой на лету словно блюдо выхватил: «...да по крайности есть что хлебать, есть чем быть».

Положение было спасено, и светский салон не утратил бы своего легкого, порхающего характера без углубления в тяжелые материи во вкусе учителей-бурсаков, если б не легкомыслие кузины.

— Почему именно русским вы отдаете такой преферанс перед англичанами и французами?— сказала она и наставила на Достоевского свой черепаховый лорнет.

Поначалу Достоевский ответил даме как бы шутя:

— Англичанин, сударыня, до сих пор не любит видеть никакой разумности во французе, и обратно — француз в англичанине. И тот и другой в целом мире замечают лишь себя самих, а всех других мыслят как себе личное препятствие...

Но уже через минуту Достоевский забыл и о барыне и о салоне. Отдаваясь потоку собственных заветных мыслей, он, как ураган, смял плотину всех светских обычаев. При этом, не соразмеряя силы своего голоса с комнатой, он пустился громить, как с трибуны.

— Таковы все европейцы. Идея общечеловечности все более стирается между ними. Вот причина, почему

[1] Кстати *(фр.)*.

они совершенно не понимают русских и величайшую особенность характера нашего, способность всечеловечности, они называют безличием. Сейчас особенно, когда христианская связь, соединявшая народы, с каждым днем теряет свою силу, сейчас особенно необходима...

В эту минуту случилось необычайное для нравов салона.

Михаил, не сводивший горячих глаз с говорившего, забыл все свои обещания и то, где он находится, шагнул вдруг на середину комнаты и, не владея собою, крикнул:

— Если прежняя связь, соединявшая народы Европы, слабеет, то это лишь признак того, что связь старую должна сменить новая — социализм!

Это был удар грома. Ахнули дамы, перешепнулись архивные юноши, тетушка грозно встала. Один лишь Достоевский, слегка побледнев, с интересом глянул на Михаила и сказал:

— Наш спор с вами длинный, зайдите ко мне как-нибудь...

Неизвестно, каков был бы финал этого фармазонского выступления Михаила, если бы не подоспела на помощь одна не относящаяся к делу случайность.

Лакей, подносивший тетушке чайный поднос, где был огромных размеров английский чайник кипятку, поскользнулся и должен был обварить Лагутина, сидевшего рядом, если бы не Михаил. Он стоял сзади и одним порывом заслонил собою старика. Весь чайник кипятку таким образом он получил на свою правую руку, которая немедленно стала багрово-алой.

Дамы разохались, тетушка принесла мазь и бинты и, властно засучив рукава Михаила, стала делать ему перевязку.

Здесь я должен оговорить одно как бы пустяковое, но для дальнейшего крайне важное обстоятельство: немного выше запястья у Михаила была черная родинка, по форме совершеннейший паук. Как пером, отмечены были на белой коже тонкие ножки. Паук этот — следствие испуга матушки Михаила, когда она им была в тягости.

Паука этого одна сердобольная девица,— как сейчас помню,— слегка пискнув, пыталась смахнуть кружевным платочком с руки Михаила, в ответ на что он превесело рассмеялся и рассказал происхождение диковины.

Гости изъявили сочувствие пострадавшему, шутили над пауком и девицей. Михаил отшучивался и просил тетушку помиловать лакея, его обварившего.

Так в светском обществе ничтожное обстоятельство меняет впечатление от всей личности. За минуту подозрительный и пренеприятный юноша стал вдруг всем мил и любезен.

— Молодой человек,— сказал Михаилу старик Лагутин, нюхая из табакерки с той вельможной жеманностью, как это умели делать одни лишь старинные люди,— вы спасли мне больше, чем жизнь. Вы спасли меня от ужаса быть ridicule [1]. Сегодня мне надлежит появиться на рауте в Михайловском дворце, а с лысиной, вздувшейся пузырем, я бы принужден был сидеть дома, обвязанный платком à la московская просвирня.

Достоевский откланялся и, проходя мимо, еще раз сказал выразительно Михаилу:

— Итак, я вас жду для дальнейшего спора.

Михаил молча ему поклонился.

В салоне стало весело: остряки подробно вычисляли возможный полет чайника и смехотворно выводили, у кого и что именно должно было быть обваренным, если б не смелая интервенция Михаила.

На прощанье тетушка ему сказала:

— Приходи с Сергеем еще; хоть ты, батюшка, и зубаст, да зато не квелый, как архивные. Ну, дай срок, мы тебе зубы обточим. Ты из киевского корпуса, говорил Сергей; знаем, чьи это штуки...

Тетушка намекала на известных киевских педагогов; одного — родню Герцена, другого — учителя словесности с вреднейшим направлением.

Михаил, к радости моей, ничего не возражая, лишь вторично приложился тетушке к ручке.

Да, я опять должен оговорить второе примечательнейшее обстоятельство: среди гостей присутствовал один человек, на которого обваренная рука Михаила не произвела вовсе действия, смягчившего и даже как бы совершенно затушевавшего его дерзкую фразу о социализме. Человек этот был молодой блестящий генерал, граф Петр Андреевич Шувалов, начальник III отделения, высокий красавец с таким правильным и породистым лицом, что в своей неподвижной белизне оно

---

[1] Смешным *(фр.)*.

казалось отлично раскрашенным мрамором. В движениях его не было ничего лишнего: точная определенность, как следствие способности к мгновенной обдуманности поведения.

Шувалов вышел вместе с нами в переднюю. Старый тетушкин лакей ловко набросил на плечи ему николаевку. Плотно запахиваясь, Шувалов сказал, глядя своим острым взором в черные глаза Михаила:

— Молодой человек! Примите дружеский совет и остережение: не всякая поспешность может завершиться удачно. Памятуйте также одно изречение Кузьмы Пруткова: «Степенность есть надежная пружина в механизме общежития».

Михаил, сверкнув своими зубами, не без задора ответил:

— У Кузьмы Пруткова есть и применительно к вам, ваше превосходительство, нравоучительное изречение: «Не все стриги, что растет».

Шувалов мило улыбнулся, как светский человек, показывая, что в частном доме он вовсе не начальство, и как-то знаменательно сказал Михаилу:

— До свиданья! Мы еще с вами, конечно, увидимся.

О, сколь горестно сбылось в скором времени его предположение!

По дороге домой я сказал Михаилу:

— Советую тебе быть с ним осторожней; он управляющий Третьим отделением и жестокий карьерист, не оглянешься — подведет.

— Какое мне до него дело! — вспыхнул Михаил и, понизив голос, сказал с глубиной, незабвенной до последнего дня моей жизни: — Поверь, Сергей, я, как Рылеев, уверен, что погибну, но пример мой останется. Ибо, как истинно утверждал этот герой-поэт, вся сила, вся честь революции в словах: «Каждый дерзай!»

По спокойной ленивости моей природы и привычному доверию, что рука промысла ведет каждого неисповедимыми путями, я не стал противопоставлять Михаилу авторитетные в нашем доме, совсем иные взгляды на земное устроение. К тому же, после напоминания тетушки о вольнодумстве киевских педагогов, я понял, что атеизм и мечтания революционные не были следствием испорченной натуры Михаила, а лишь чужими перенятыми мнениями.

Я решил противоречить ему только в крайности, а лучше всего, не теряя с ним чисто приятельской связи, водить его чаще к тетушке, где он будет встречать людей, не менее господ Огарева и Герцена желающих пользы отечеству, но с пониманием последней в совершенно иной диспозиции.

О, сколь розовы и детски неопытны были эти мечтанья! Михаил наотрез отказался посещать салон тетушки, угрюмо сказав: «Хороший охотник не ходит дважды в то же болото». Впрочем, со мной он стал так усугубленно ласков, что меня это даже задело; он, будто с игрушкой, отдыхал со мной от своих мрачных дум, любил бороться, загибать салазки, играть в чехарду. Бывал он приступами бурно весел, а порою чувствителен; именуя меня пастушком с картины Ватто, он просил читать вместе Шиллера. Вот тогда-то мы оба пленились дружбой маркиза Позы и Дон Карлоса и посадили в училищном саду деревца.

Впрочем, глубокое значение нашим отношениям, как вскорости оказалось, придавал я один. У Михаила уже к тому времени все, даже священнейшие, чувства были одним только средством для приближения к злодейскому замыслу, которым он был одержим.

ГЛАВА III

ПОЕЗДКА К ОЗЕРУ КОМО

Мне сейчас предстоит переход к тому этапу наших отношений с Михаилом, когда событие на балу в институте превратило его из пленительного друга в заклятого врага, не только личного, но и политического.

Но как мне сейчас говорить о последнем обстоятельстве, когда, благодаря произведенной в стране революции, во мне самом, как уже сказано, произошло изменение, вырвавшее с корнем доверие к себе самому!

Так многократные бури вырывают крепкое, но ниоткуда не защищенное дерево.

Окончательно убедился я в том, что не только подточен фундамент, а, как негодное, рухнуло все мое внутреннее здание, когда я попал в упомянутый выше день, двенадцатого марта, на Дворцовую площадь.

Я переходил эту площадь, как всегда, с особым волнением. Вот она, все та же, вознесенная при императоре

Николае, Александровская колонна, и все тот же над колонною ангел. А над Главным штабом все та же квадрига; и рвутся кони. Я уже семьдесят два года, с десятилетнего возраста, все помню, как рвутся эти кони, а их держат воины.

Сейчас на площади — четыре громадные мачты. Верхушкой они выше штаба, а на каждой крылатое красное знамя. От главного полотнища, как от хоругви, с обеих сторон легкие лопасти-ленты. Они вьются красными змейками.

Человек вверху, снизу глядеть — малый карла, укрепляет знамя. Развернулось оно, блеснуло серебром, и явственны буквы: «пал западный фронт». И второй, и третий, и четвертый столбы — все увенчаны алым, на всех серебро: «пал восточный, пал южный, пал северный». Эти знамена — в память недавно бывших четырех фронтов. Были — и нет их.

И кто, кто поймет человека? Ведь какой гордостью взыграло мое старое сердце былого вояки! Спохватился: что такое? Эти знамена не меня вовсе касаются, даже совсем наоборот. Я, начальник эскадрона, я, который из уст своего государя слыхал: «Поздравляю тебя георгиевским кавалером»... я, который верил всю жизнь, что монарх помазан свыше... И когда, в семнадцатом году, пришел к Потапычу рабочий и сказал: «Чхеидзе смеется, что помазанник смазан», я ведь в петлю полез. Вынули, отходили,— зачем? Чтобы мне дожить до предела скорбей? Стать себе самому и палачом и казнимым?

Да, как палача к лобному месту, влечет меня к этой площади. А дойду — там мне казнь. Разве могу, например, не припомнить, как впервые мальчонкой тут я шел с моим батюшкой, лейб-гвардии сапером? Батюшка, указуя на дворцовое крыльцо, с волнением сказал:

— Сережа, в незабвенный день четырнадцатого декабря двадцать пятого года хранимый высшей силой император Николай нам, саперам, вручил отсюда своего первенца-цесаревича. Царь приказал лобызать отрока первому от каждой роты; я был одним из счастливцев.

Сейчас здесь уже красные войска. Как-то перед концом зимы, когда выдалась совсем необыкновенная погода, прибрел я на это свое лобное место. Туман стоял такой густоты, что Главный штаб был затушеван до незримости как бы множеством кисейных завес. Кто-то, тоже незримый, с высокого амфитеатра производил

смотр войскам, и проходили войска. Будто из бесконечности возникали. На миг явственны и, глядь, уже канули в ночную бесконечность.

Впереди Балтфлот в курточках, брюки клеш, с наушниками шапки. За Балтфлотом, как зимние зайцы-беляки, мохнатые белые лыжники; дальше — кавалерия. Из молочной перламутровой мглы выступают одни лошадиные морды да первых рядов молодцы; крупы коней уже тонут в тумане. Над конями, от половины, как бы возникает из облаков колонна, и над нею ангел, черный и громадный. И столь дивно звучала команда откуда-то и ни от кого! Люди слушали и, как прежние, заводные, шли.

— Почище старых,— сказал кто-то в толпе.— Те, ровно бараны, знай глазами жрали начальство, а эти с собственным смыслом. Сознательные, революционные войска.

Уж насколько они сознательны, и похвально ли вообще это военному, не берусь судить, но что они уже не шантрапа, как их именуют враги революции, а регулярные дисциплинированные войска — очевидная несомненность. А коль скоро есть у страны войско — есть опять и страна.

Как добрел я, не знаю,— шатался. «Эй, назюзюкался самогону!» — кричали мне мальчишки. Добрел. К счастью, в комнате никого. Сел и заплакал.

Штатские люди этого не поймут. Но для военного тут все. И как же это, как? Прежнего уклада жизни нет, а войско есть? Да ведь с войском, дай срок, по всем швам докажут, что возможно прежнее развитие жизни воскресить. А что, если лучше прежнего? Есть войско, есть и страна.

Что же, прав, что ли, был Михаил? Помню его с запрокинутой головой, лицо ветру навстречу. Глаза мечут искры, в руках Герценов «Колокол». Свернув его в трубку, как маршал жезлом, Михаил машет им вправо и влево. И, должно быть, у него в мыслях тóлпы народа, и это им он кричит своим грубым гневным голосом:

— Совершенное уничтожение нелепого самодержавия есть вызов к жизни нового строя, новой, прекраснейшей жизни.

И вот опять спрашиваю: что, если окажется прав Михаил, отдав без оглядки свою свободу, свой светлый разум за это дело, и новая жизнь, как уже во многом

сейчас примечаю, выйдет окончательно справедливее прежней? В таком случае кто же тут Иуда, который погубил Михаила не только как соперника личного, а как борца за эту вот свободнейшую и лучшую жизнь? Но кому до меня дело! О нем одном речь, пока действует память и хоть дрожит, но выводит буквы рука.

Как уже сказано, наше имение было совсем рядом с имением Лагутиных. Веру по слабости здоровья, не в пример прочим институткам, по настоянию отца отпускали летом домой. Проводя каникулы вместе, мы с ней жаждали видеться зимой. Многие интересы нас связывали; я кончал училище, она институт. У меня всегда было много женственного в натуре, и хотя как воин я не из последних, но втайне знаю про себя, что гожусь только лишь в общем строю. Дерзкая независимость, столь любезная характеру Михаила, мне совершенно чужда. Склонность влекла меня к искусству живописи. Часами я мог поглощаться сочетанием красок и чудесными световыми эффектами. Предполагаю, по тому месту в жизни, которое брало у меня восхищение созерцательное, что рожден я был только художником. Но как в моем звании дворянина и военного не подобало серьезно предаваться искусству, мои качества поэтические, не помещенные как дарование, выражались в чрезмерной чувствительности. Это сразу приметил Михаил и окрестил их «сентиментами Бедной Лизы».

Веру Лагутину я обожал с детских лет, а она мной командовала. Теперь это должно было измениться, но как взять верный тон, я не знал. И можно ль поверить нелепости? Михаила, коему втайне я завидовал как мужчине и хотел подражать, я сам подговорил ехать на торжественный бал, чтобы подсмотреть, как он себя держать будет с женщинами, и затем самому подхватить этот тон. Глупец! Как было мне не понять, что если сам я им столь зачарован, то как избегнуть этих чар существу, которому по самой его природе надлежит быть плененным силой и мужеством?

Но моя голова была полна какими-то грезами, и действительной жизни я не понимал.

Хотя Михаил ехал в институт первый раз, а я ездил постоянно, волновался я больше него. То духи мне казались неприлично крепкими, то думалось, не плохо ли выбрит мой подбородок, то назойливо представлялось, что на блестящем, как зеркало, полу большого танце-

вального зала я сегодня поскользнусь и с собой увлеку свою даму.

Сколько бы я ни видел его, по моей великой чувствительности к перлам искусства изобразительного, я без особого волнения не мог подъезжать к этому чуду строительства графа Растрелли — собору Смольного монастыря.

В тот знаменательный день белые пилястры на голубовато-сером фоне как бы продолжали атмосферу морозного вечера и придавали и без того легчайшей постройке невещественность совершенную.

Башни-церкви, монастырские помещения вызывали память об итальянском зодчестве и преданиях о чудных девах, чудовищах, драконах и рыцарях. За садом, через синий лед Невы, мигали то тут, то там далекие огни в домишках предместья.

Весною, в воскресный день отпуска, я, бывало, любил, взяв у лодочника быстрый ялик, перерезывать в этом месте широкую водяную гладь, не уставая любуясь на несравненные пропорции собора, сизо-дымчатого в заходящих лучах. Я любил воображением выполнять иной план Растрелли, превысивший безумием своей сметы даже расточительный век Елизаветы, почему он и не получил заслуженного воплощения.

Первоначально Растрелли затеял взметнуть на берегу Невы колокольню в шестьдесят саженей, крытую золотом и серебром, с белоснежными украшениями на фоне ослепительной бирюзы. Для постройки заведены уже были особые кирпичные заводы, к заводам приписаны были деревни, а чугунная черепица отливалась под руководительством иностранного мастера.

О, зачем не рожден я был в век Возрождения, когда все три Парки, по велению Рока, первенствующей нитью вплели в историю человечества пробуждение чувства к прекрасному! Там был бы я не последним жрецом.

Но, капризно для смертного, ныне судьба путает этикетки. Не в своем веке, в чужом духу его окружении не на своем месте рождается человек. Впрочем, Яков Степанович, мудрейший из старцев, которого я в дальнейшем введу в свой рассказ, пояснил мне строптивые недоумения моей мысли так:

— Премудрость строения мира противоположна человеческой справедливости, и все наше горе лишь в том,

что нам этого нечем понять. Но ежели б поняли, то не дивились бы, почему, например, на убийство избирается тот, кому в тайниках сердца нет тяжелее пролития крови, а кровожадный поставлен в условия благодетеля. Исполненный дарований бьется ради хлеба насущного, и скудны в своем тупоумье богатые... Но посуди: разве по добровольному хотенью человек впряжется в ярмо или глянет внимательно в жизнь другого? Нет, как стрела, метнувшись из лука, он полетит по одной своей линии. Но люди — не одинокие стрелы, а малые капли. Из них надлежит быть великому океану. Вот для того, чтобы могли мы расширить свои берега, полезно каждому и работать и жить не в своей скорлупе.

— Впрочем,— прибавил Яков Степанович,— понимать это надо особенно, а не то усугубишь ерундистику жизни.

Однако я так отвлекся, что и для черновика разорительно. Бумагу-то из подвала таскать запретили. Вчера девочки набрали полный подол, а управдом налетел, велел им снести назад в кучу. Но все же об институте скажу несколько слов.

Моя тетушка, графиня Кушина, рассказывала мне, что первоначальный замысел Екатерины был — создание воспитательного заведения для образования «новой породы людей», при ближайшем участии, как во Франции, просвещенных монахинь.

Для этой цели святейший синод посылал московскому митрополиту указ персонально пересмотреть игумений и монахинь, чтобы выбрать достойнейших. Но оказалось так мало грамотных и хотя бы только пригодных для услуживания в лазарете, что они в небольшом количестве оставлены были, так сказать, для ландшафта. Скоро Екатерина увлеклась в своих поисках влияния на «новую породу людей» в направлении, более соответствующем ее личным вкусам, а именно: привлечением к тому делу Вольтера и Дидерота.

Тетушка Кушина, ненавидевшая энциклопедистов, рассказывала, что Вольтер, давший обещание написать благонравную комедию для девиц института, но привыкнув выводить одни лишь кощунства, всякий раз, приступая к сей невинной работе, заболевал сильным расстройством желудка. Екатерина жаловалась Дидероту, что за преклонностью лет старик не способен на изящное творчество для театральных упражнений де-

виц, на что Дидерот, не меньше безбожник, доподлинно отвечал: «Комедии для девиц будут составлены мною, и притом ранее, нежели я достигну преклонных лет».

Но, как известно, Дидерот не потрафил императрице, настаивая на преподавании в институте в первую голову анатомии — науки, по мнению тетушки Кушиной, почти что лишавшей девицу невинности.

В традиции Смольного до конца его существования живописно вплетены были эти обе ноты, при его основании взятые Екатериной: нечто от монастырской повадки в соединении с прелестной живостью светскости вольтерьянской. Воспитанницы сохраняли свои неуклюжие одеяния из добротной негнущейся ткани зеленого, голубого, кофейного и белого камлота, белые пелерины и фартуки и привязанные рукавчики так же ритуально, как монашенки — облачение монашеское. К этому присоединялись внешняя богомольность, обилие образков, суеверие и ладанки, кроме того — обычай держать за щекой непроглоченный кусок освященного артоса на труднейших экзаменах, запихивание ватки от Иверской, нарочно привезенной из Москвы, во вставочку для пера при письменной математике. Рядом с этим переходили от выпусков к выпускам изощреннейшие способы переписки амурной и легкость завязок и развязок романов с «подоконными супирантами» [1]. Последнее производилось без различия сословия и ранга, что отнюдь не имело места при вопросе серьезном о замужестве, которое заключать со «шпаком» или офицером негвардейцем можно было при окончательной пламенной, «роковой» любви или из-за особых, чисто житейских преимуществ жениха.

Институтки с малолетства до выпуска оторваны были от родной семьи. Под руководительством особо подобранных учителей обучались они разным наукам и упражняли свои таланты в искусствах танцев и рукоделия. Помимо обучения предписывалось развивать, по замыслу основательницы заведения, «веселые мысли» и доставлять им разные «непорочные забавы». Вот почему блестящей кистью Левицкого запечатлено не однажды кокетливое обаяние девиц Хованской, Хрущевой и Левшиной в костюмах маскарадных и бальных.

---

[1] С у п и р а н т (от *фр.* soupirant) — вздыхатель.

Со времен екатерининских институт оставался в особом приближении ко двору, и девицы, вследствие частого посещения дворцов и внимания царственных особ, были полны повышенного и несколько экзальтированного монархического чувства, но Вера, под влиянием Линученка, своего побочного дядюшки, о котором будет подробная речь, отнюдь не разделяла общего обожания институток к царской фамилии. Хотя она и была на линии chiffreuse, она настойчиво умоляла отца, не доводя ее до класса пепиньерок, взять домой. Но старому Лагутину, при всем его вольтерьянстве, было лестно, чтобы сама императрица пришпилила шифр [1] к левому плечу его дочери, что давало ей право бывать на придворных балах и приближало к званию фрейлины. Это звание кружило не одну честолюбивую головку, особенно сейчас, когда прекрасная наружность и грация вызывали особое внимание государя и были причиною немалого фавора не только по отношению к взысканной девице, но и ко всем ее близким. Последнее обстоятельство возбуждало порой низкую страсть сводничества в ближайшей родне. Так в случае, который предстоит воскресить мне в памяти, заинтересованным лицом являлся не кто иной, как родной отец девицы, титулованной и богатой, но соблазнившейся блеском придворной жизни.

Мы подъехали к зданию самого института. Да, конечно, нужен был изощренный талант Джиакомо Кваренги и его благороднейший вкус, чтобы без скуки и казарменности создать длиннейший фасад в более чем сто саженей, при том, что единственным украшением его являются лишь трижды повторенные полуколонны с роскошными капителями. Институт этот поистине достоин быть рядом с пышной роскошью собора Растрелли. Так великие зодчие, чуждые мелкому соревнованию, умели передавать из рук в руки факел красоты. Я и сейчас с удовольствием вспоминаю, что Кваренги, в знак особого преклонения перед творением Растрелли, во всякую погоду снимал свою шляпу перед Смольным собором, кланяясь низко его создателю...

Огромный швейцар Матвей Иванович, в красной ливрее с орлами и с бронзовой булавой, нас, как и прочих гостей, встретил при главном входе с поклоном.

---

[1] Знак отличных успехов при окончании института.

Старшему швейцару была присвоена двора его величества камер-лакейская ливрея. Другой швейцар открыл дверь, третий снял шинели. Мы натянули белые замшевые перчатки и пошли вверх по мраморной лестнице, устланной красным сукном. Звуки вальса, как шампанское, мне ударили в голову, и я вошел вслед за Михаилом, заранее смущаясь, что не сумею найти Веру.

В громадном белом зале в два света шел в длину по обе стороны ряд стройных колонн. Гирлянды зелени вились от одной стоячей люстры к другой вдоль всех стен. Огромные, в рост, портреты царствующих особ под светом люстр переливали шелками, драгоценностями, слепили горностаевой мантией, но не могли затмить своей пышностью скромной прелести институток. Девицы были однообразно одеты в камлотовые платья с обнаженными шеей и руками, в кисейных пелеринах с большими розовыми бантами. В своей юной свежести они, как нежный яблоневый цвет, облетающий под ветерком, носились в танцах по залу. Начальница — высокая кавалерственная дама в небесно-голубом форменном платье — в окружении целого штата таких же ярких классных дам, в просторечии «синюх», важным кивком отвечала на почтительность наших поклонов.

Всякий раз, когда я попадал в это женское царство, я терялся и то одну, то другую головку принимал за Верину, и мне то тут, то там кричали:

— Сержик, Серж Русанин!

— Вот она у колонны,— указал мне Михаил Веру Лагутину.

Я поразился:

— Как мог ты узнать ее, не видавши?

— В этом нет ничего сверхъестественного,— усмехнулся Михаил.— Мне компасом послужила чудесно спасенная от обварки лысина ее отца; гляди-ка, она отражает как в зеркале люстру. Старик — ни дать ни взять — индюк в орденах, но дочь очень мила.

И Михаил, не озираясь на меня, своим стремительным легким шагом перешел зал. Он расшаркался перед Лагутиным и, будучи им тотчас представлен Вере, через минуту уже с нею вальсировал. Когда я подошел звать Веру на контрданс, оказалось, что она уже первый отдала Михаилу. Мне ничего другого не оставалось, как стать визави с одной из приятельниц Веры. Рассеянно слушал я щебет своей дамы:

— А представьте, малявок совсем не пустили на бал, но они сделали ужас: вообразите, надушились мылом бергамот!

— Как же так мылом!

— Наскоблили ножом, натерлись — и запахли, как целая лавка сквернейших духов. Душиться ведь нам разрешается только в самых старших классах, и бергамот — неприличнейший запах.

— А какой же считаете вы запах приличным? — спросил я, чтобы поддержать болтовню моей дамы и тем облегчить себе наблюдение над визави.

У Веры и Михаила были совсем не бальные лица. Иногда, как бы спохватываясь, они улыбались и для вида бросали пустые фразы. Но я видел ясно: у них сразу же вышел серьезнейший разговор. И как же могло быть иначе? Вера читала бездну книг, и у нее давно были вредные фантазии. Будучи внучкой декабриста, она особенно относилась ко всем либеральным бредням, а в деревне у нее в столике был заперт томик Рылеева.

— Да, он недаром носит свою фамилию,— услышал я восторженный голос Веры в ответ на что-то, тихо сказанное Михаилом,— я благородней сердца не знаю.

Она сделала ударение на слове «сердце», и я понял, что этот каламбур относился к Герцену.

Мне всегда было страшно за Верино направление мыслей, но сейчас радость соперника охватила меня. Я подумал: нет, так романы не начинаются, быть может Михаилу удастся, как тогда по-новому выражались, «распропагандировать» Веру, но едва ли он пробудит влюбленность в ее воображении. А с вредными его мыслями я через салон тетушки Кушиной сумею вести ловкую борьбу. Тетушка Веру очень любила, и та ей платила взаимностью.

Но происшествие, чрезвычайное по своему значению, как рука великана Гулливера в стране лилипутов, в один миг смело́ все хитроумные ходы моей маленькой шахматной игры.

Вдруг среди девиц произошло невероятное смятение. Все, бросив танцы, кинулись к окнам с криком:

— Карета в главном подъезде!

Средний подъезд, всегда запертый, раскрывался лишь для царских особ. Классные дамы, пунцовые от волнения, увели куда-то группу красивейших воспитанниц, которые в короткий миг появились снова, об-

лаченные в заготовленные на этот случай парики и костюмы маркиз и маркизов. Прочие институтки выстроились полукружием, скрывая девиц, костюмированных как при Екатерине. При появлении государя с начальницей все как одна под приветственные звуки музыки опустились в глубоком придворном реверансе. Заиграл традиционный менуэт. Маркизы с маркизами выпорхнули из засады и, соединившись в колонну, пошли по направлению к царю.

Александр II был в гусарском мундире. Столь эффектный в санях или верхом на параде, как любили изображать его живописцы, он проигрывал без соответственного военного окружения. Он был хорош, как составная часть картины, выделяясь из войска отличнейшим от всех ростом, наследственной от отца богатырской грудью и неподдельностью царской осанки. Но среди цветущей юности, где вместо монументальности любезна прелесть интимная, он был только импозантен. Притом лицо его, уже немолодое, поражало своей желтизной, а глаза, не соответствуя восхищенной улыбке и приятности грассирующего разговора, оставались неизменны своему оловянному, как бы застылому выражению.

Очень красивая пепиньерка сказала царю стихотворное приветствие и, густо покраснев в ответ на его приглашение сесть рядом, опустилась в кресло. Царь сделал знак музыке, и бал возобновился. Государь очень скоро удалился, сопутствуемый адъютантом, пить чай в апартаменты начальницы. Во время антрактов между танцами, когда Вера и мы с Михаилом, как сопутствующие ей пажи угощались оршадом и конфетами в живописном уголке между фикусов, гиацинтов и пальм, Верина подруга Китти Тарутина подошла к нам со своим правоведом.

Китти, курносенькая и веселая блондинка, нам сказала:

— Хотите участвовать в поездке к озеру Комо?

Мы с Верочкой знали, что это значит, и, смеясь, согласились, посвятив в секрет Михаила. Одна из классных дам, молодая и всеми любимая итальянка, не отличалась стародевической чопорностью прочих синюх. Она охотно предоставляла девицам в своей комнате видаться с братьями и кузенами. Молодая и веселая, она сочувствовала шалостям молодежи, но, дабы не постра-

дать ей самой в случае доноса, дело было обставлено по взаимному соглашению так: дверь в комнату классной дамы будет только притворена, но никак не заперта на ключ. В случае, если нагрянет контроль, попавшиеся должны будут сказать, что они зашли сюда самовольно.

Прикрываемые дюжиной камлотовых юбок подружек Китти, величайших охотниц до шаловливых эскапад, мы выскользнули вон из зала, не замеченные строгим оком дежурившей инспектрисы. По бесконечным коридорам мы отправились в комнату итальянки, где на стене висел огромный вид прелестного озера Комо, чьим именем называлась вся веселая затея.

— А вы знаете, Земфира исчезла сейчас же, как только ушел государь? Она в него влюблена по уши,— сказал Киттин правовед про пепиньерку, говорившую приветственный стих. За восточный тип лица ей дали прозвание Земфира, как это часто водится в закрытом заведении.

— И предпочтение, которое ей оказывает государь, тоже всем очень заметно, но фрейлиной императрицы ей все же не быть,— сказала досадливо Китти.— Она неуспешна в науках, начальница ее не выносит и даст ей плохую аттестацию.

— Государь часто вас посещает?— спросил Михаил.

Китти, польщенная вниманием красивого, но доселе сурового юнкера, стала с удвоенной скоростью болтать о том, как обожаемый царь любит внезапно посещать институт.

— Чаще всего он появляется вечером, в часы, обычные для уроков танцев у старшего класса. Иногда царь приходит в столовую, садится за стол и пьет с нами чай из казенной кружки. Разумеется, кружку эту мы разбиваем и делим кусочки. Многие девочки носят их в ладанках на груди, а одна даже съела.

— Эта девица, очевидно, сродни страусу,— усмехнулся Михаил.

— О нет, у нее фамилия чисто русская!— возразила наивная Китти и под общий наш смех продолжала лепет, который, как я заметил по нахмуренным бровям Михаила, немало его раздражал. Но Китти не смущалась:

— Во время обеда государь садится то к одному столу, то к другому, поровну, чтобы никого не обидеть. Теперь, впрочем, он все больше идет к пепиньеркам

и садится рядом с Земфирою, она нарочно самая крайняя... А в прошлом году постом государь приходил к нам на вечернюю молитву и, на «господи владыко живота моего», вместе с нами бил поклоны.

— Хорошая подготовка к реформам! — начал было Михаил так насмешливо, что Китти на половине слова споткнулась, а правовед с холодным удивлением оглядел его с ног до головы.

Вера вспыхнула, но нашла, как спасти положение.

— Бежимте скорее, а не то другие займут наше место! — вскричала она и, схватив меня и Михаила за руки, кинулась с нами вдоль бесконечных коридоров, пересекающих один другой и путаных, как лабиринт. Китти и правовед побежали вслед за нею.

Вот и комната итальянки. Дверь притворена, но мы дернули — она отворилась. Заслышав голоса вблизи за углом, мы поспешно вошли на цыпочках. Как стая пичуг, знакомых с выстрелом охотника, мы с опаской присели на край большого дивана, в случае чего готовые вспорхнуть или спрятаться.

Опасность могла угрожать из дверей другой комнаты, принадлежащей той же классной даме, но через коридорчик, смежный с комнатой инспектрисы. Последняя, под видом дружественного покровительства, любила войти невзначай, чтобы проверить красивую и легкомысленную итальянку. Китти, как мышка, сбегала в коридор и, удостоверившись, что инспектрисы нет дома, пришла нам сказать, что мы в безопасности.

Вдруг из другой комнаты, тоже запертой изнутри, мы услышали голоса: женский плачущий и утешающий мужской. Говорили по-французски.

— Однако я с таким трудом вырвался от почтенной начальницы совсем не для того, чтобы сейчас утонуть в ваших слезах, прелестная Земфира. Что же касается вашего отца, то, поверьте, мои нежные к вам чувства уже давно заручились его родительской санкцией, а его радость видеть вас фрейлиной...

Мы не могли не узнать этого голоса, так же своеобразно грассирующего в любовном лепете, как мы привыкли это слышать в публичных приветствиях и на парадах.

— Итак, не правда ли, до очень скорой и решительной встречи? Я не враг мифологии и, подобно проказнику Зевсу...

Тут послышался малоискренний смех и поцелуи. Мы вскочили, испугавшись своей невольной нескромности, и кинулись к выходу. Но Михаил с искаженным лицом поднялся и шагнул к дверям.

— Ты себя погубишь,— шепнул я ему, стиснув руку,— государь сейчас может выйти отсюда.

— Я ему не позволю губить...

Глаза Михаила горели таким бешенством, что, казалось, способны были одной своей силой причинить зло человеку.

Я выбежал в коридор, где уже не было ни правоведа, ни Китти. Одна Вера, белея лицом и плечами, как призрак, стояла в глубокой нише. Я стал с ней рядом и тихо взял ее руку в свою.

Я не постигал, как могла дверь итальянки остаться без стражи, но две фигуры в дали коридора мне объяснили загадку. Молодая воспитательница и адъютант, увлеченные собственным флиртом, не заметили, как покинули свой ответственный пост.

Государь, очевидно, выходя от начальницы, чтобы еще раз подняться в зал, зашел в комнату, соседнюю с «озером Комо», где его по уговору уже ожидала Земфира, для каких-то окончательных решений.

Минуты тянулись часами. Вдруг дверь запертой комнаты отворилась, и кто-то вышел. В ту же минуту, задыхаясь от волнения, глухой голос Михаила сказал:

— Это... низость!

Мы не дышали. Я почему-то ждал выстрела. Но выстрела не последовало.

Государь торопливым, убегающим шагом, не свойственно своему обычаю втянув голову в плечи, как бы не желая быть узнанным, вышел из комнаты. Он в один миг свернул за угол. Испуганные адъютант и итальянка подбежали к нему.

— Там был ее брат?— гневно спросил государь, должно быть вспомнив неприятную историю с Шевичем.

— Ваше величество, у нее нет брата,— сказала смертельно бледная итальянка.

— Там не должно было быть никого...

И, не появляясь более на балу, раздраженный государь уехал в сопровождении своего адъютанта. Из глубокой ниши, меня скрывавшей, я видел, как итальянка кинулась в свою комнату искать, кто там был, но Миха-

ил, открыв противоположную дверь в коридорчик, благополучно исчез. Мы с Верой пустились бегом в танцевальный зал.

Прошло более полувека, когда, в один из зимних дней 1918 года, я снова попал как-то в Смольный. Я метался больной и бездельный по столице, ища приюта у прежних друзей и знакомых. Многих не было в живых, другие не оказались на прежних местах.

Влекомый узами прошлого и неистребимым во мне интересом художника, я добрел до института, где мы с Михаилом были на балу.

Весь длиннейший фасад, как и тогда, в день бала, горел огнями, и так же непрерывно вливался в огромное здание поток людей. Но это не была линия нарядных карет с лакеями на запятках. Здесь не было рысаков с драгоценными полостями и кучером, возглавляющим наподобие идола козлы.

В средний, главный, исключительно царский въезд, охраняемый вооруженными красноармейцами, тянулся бесчисленный хвост, держа в руках листки-пропуска.

Автомобили, мотоциклеты, серые броневики, все с красными флагами, с воем сирены, с трубными звуками, то и дело влетали и вылетали из ворот, охраняемых тоже двумя рядами часовых. Везде пулеметы. Шумели моторы, суетились люди с портфелями.

Мохнатые шапки делали лица суровыми. Многие в защитного цвета и серых военных пальто, где от споротых пуговиц и наскоро снятых погон были свежие следы. Крестьяне — в онучах и лаптях, с ружьем на веревочной перевязи. Все кричат и все спорят. Когда вышли из подъезда двое штатских и, взобравшись на большой ящик, сказали несколько слов, им не дали кончить. Их речь покрыл пропетый всей площадью «Интернационал».

— Что тут такое? — спросил я одного, сильно вооруженного, с очень свежим и почему-то мне знакомым лицом.

— Чрезвычайное заседание Петроградского Совета, дедушка, — охотно сказал он и, в свою очередь вскочив на ящик, повысил голос до крика, обращаясь ко всем:

— Товарищи! Социализм — отныне единственное средство, с помощью которого страна избежит нищеты и ужасов войны.

Зажженный пикетом костер вдруг ярко осветил говорившего, и, когда он кончил и слез, я невольно вскрикнул:

— Я знаю вас! — и я его назвал.

Я хорошо был знаком с его отцом и самого юношу совсем еще недавно видал в гимназическом мундире и особливо запомнил по причине резких левых речей против войны. Речи эти мне очень напомнили Михаила.

Сейчас юноша был пламенный коммунист. И он узнал меня. Это он дал мне денег и помог устроиться у Ивана Потапыча. Сам же он торопился, как говорил, на «красный фронт». Там вскоре доблестно пал он одним из первых. Его имя прочел я в «Известиях», которые принес мне Горецкий 2-й. Вместе помянули мы храброго юношу, а кстати отца его и деда, столь же доблестно павших первыми в свое время, но на иных фронтах.

ГЛАВА IV

ВЕДЬМИН ГЛАЗ

Пасха в том году была не очень поздняя. В зеленом пуху стоял лес, и особенно зловеще чернели старые сосны от соседства с цветущей молодой порослью. Таким и остался у меня в памяти этот путь в Лагутино — зловещим.

Был шестидесятый год. Крепостное право доживало последние дни. Среди разных направлений и кружков, за и против освобождения, было немало отдельно стоящих, очень образованных, вольтерьянского закала дворян, над которыми ни бог, ни человеческие постановления не имели никакой власти — в первую очередь выступал их собственный самодурный нрав.

Таким был отец Веры, Эраст Петрович Лагутин, один из умнейших людей своего времени, по собственному выражению не веривший ни в сон, ни в чох, ни в вороний грай. Всю цивилизацию обзывал он мировым свинством, что, однако, не мешало ему иметь у себя в Лагутине отменную картинную галерею. Он видел в раскрепощении крестьян нарушение пределов своей власти и навыков и напоследок, как говорят, распоясался вовсю.

Был Эраст Петрович вдов и большой женолюб. За барщину мужики его не корили, но так как не пропускал он ни одной пригожей девки или бабы, то злоба на него была велика.

Дочь его Вера выросла сиротой под опекой француженок, то вознесенных прихотью барина на положение хозяйки дома, то разжалованных в бонны при дочери. Эти бонны часто менялись. Вера приучилась жить в самой себе и прибегать за поддержкой к самым верным и скромным друзьям человека — бесчисленным книгам отцовской библиотеки.

Правда, наше имение было рядом, но с матушкой моей, великой хозяйкой и хлопотуньей, у Веры близости не вышло. Была она несколько дика и безмолвна и матушке моей непонятна. Может быть, впоследствии отношения бы обошлись, но матушка скоро скончалась, я осиротел, а над имением опекуншей назначили тетушку Кушину.

Один я делил с Верой досуги. Собирали все лето грибы и ягоды, обучались вместе французскому языку и танцам. Вере нравились изобретаемые мной рисунки и сказки, которые во множестве я ей посвящал. Но, хотя мы и были погодки, Веру чувствовал я гораздо зрелее себя. Ее вопросы касательно цели жизни и мучения насчет участи декабристов были мне совершенно чужды. Декабристы, в глазах моих, казались обыкновенными мятежниками, усугублявшими свое злодеяние тем, что они были хорошо образованны и дворянского роду. Но Вера их чтила героями.

Жизнь в нашей усадьбе при матушке и позднее, под управлением тетушки, мирно текла, как у прочих помещиков средней руки. Тысячью интересов, кумовством и взаимным расположением из рода в род владельцы Угорья были связаны со своими людьми.

Ближе всего к сердечной и умственной жизни Веры была одна неприятная мне чета, сыгравшая впоследствии немалую роль в ее необыкновенной судьбе.

Верстах в трех от усадьбы жил художник Линученко со своей женой Калерией Петровной. Он был ученик знаменитого живописца Иванова, того самого, который чуть ли не тридцать лет писал одну и ту же картину — «Явление Христа». Картина эта была выставлена в свое время рядом с батальной живописью некоего Ивона, и, признаться, на большинство посетителей последняя

произвела впечатление сильнейшее отменной мускулатурой коней. Повторяли также эпиграмму остроумнейшего Федора Ивановича Тютчева о том, что громадный холст Иванова изображает собой не апостолов, а является фамильным портретом семьи Ротшильдов...

Художник Линученко — по боковой линии дядюшка Веры. Надо обмолвиться: насколько наш род был спокоен и в простоте души выполнял свои обязанности верноподданных дворян, настолько род Лагутиных был тревожен. Он славился необыкновенными похождениями дедов, увозом чужих жен, кутежами, дуэлями, а при Александре Благословенном — чернокнижьем и богопротивной мерзостью.

Порода Лагутиных высокая, плечи — косая сажень, волосы кудреватые, нос прямой, с особо красивыми ноздрями, а глаз, под дугообразной бровью, светлый и острый, как у ястреба.

Дед Веры от любовного каприза с украинской девкой прижил сына, Кирилла Линученка, которого отдал в обучение живописцу, а матери его отрезал в приданое пятьдесят десятин к хутору, но дарственной на эти десятины он не дал, сказав: «Пока я жив, не сгоню». Эраст Петрович подтвердил то же самое.

Вот этот, в то время пожилой уже, художник и побочный дядюшка Веры был и закадычнейшим ее другом.

Линученко, наполовину холопской крови, имел в деревне кучу родни. Он не только ее не чурался, но, напротив, всячески защищал и только и делал, что науськивал Веру против отца. Кроме того, давал ей в руки вольнодумные книжки, неустанно толковал о правах человека и прочих атеизмах французской революции, которых сам был усердным поклонником.

Он этим достиг того, что все кровные естественные чувства дворянки были у Веры жестоко искажены. И не мудрено, что столь злачно взошли в ее беспокойной и великодушной душе зловредные семена, брошенные рукой Михаила. Впрочем, во всей пагубной силе влияние Михаила на Веру я понял позднее.

После случая в Смольном мы так крупно поспорили с Михаилом, что потеряли всякую охоту общаться. Он грубейшим образом поносил государя за его человеческую слабость, столь понятную при красоте, которой он обладал. Я защищал государя, утверждая, что поло-

вина приписываемых ему похождений не что иное, как порождение клеветы, а другая половина лишь является ответом на вызов со стороны легкомысленного, хотя и прекрасного пола, который втайне почитает за счастье свою так называемую «гибель» от монарших ласк. Частный же случай, на который мы натолкнулись, был вызван сводничеством родного отца этой пепиньерки, титулованной и изрядно богатой, честолюбиво желавшей себе звания фрейлины.

Михаил оборвал меня, как обычно, бунтарской речью против самодержавия и сказал:

— С корнем бы их, как крапиву, да и дворян всех туда же... и вырвем, дай срок!

Я остановил его, прося не испытывать дольше моего терпения верноподданного, ибо я обязан, по чувству долга, вызвать его на дуэль, так как донос не по мне, а пресечь его поносную речь я обязан.

Михаил совершенно неожиданно засмеялся добродушнейшим образом и весело сказал:

— Ну, цвети в невинности, не буду тебя разъярять; успеешь в чинах даст бог — меня же и повесишь!

С тех пор мы перекидывались самыми поверхностными разговорными речами. Но помешать приезду Михаила в Лагутино я уже не мог. Он был туда приглашен самим стариком, угодив ему ловкостью в танцах и снискав его благосклонность с того достопамятного вечера у тетушки, когда был спасен Михаилом от кипящего чайника. О том же, что Михаил под видом кузена посещает Веру в институте, старик вовсе не знал ничего. Сейчас Вера, вследствие общей слабости и малокровия, в виде исключения была отпущена на праздники домой. По всем признакам, отец согласился наконец уступить ее настояниям и взять ее из института совсем.

Сейчас мы почти молча проехали десяток верст, отделявший Лагутино от почтовой станции. Созерцая по своему обыкновению излюбленный мной закат солнца в широком просторе полей и смягченный умиляющим душу зрелищем, я стал говорить Михаилу иносказательно о моей любви к Вере. Я помянул о Платоновом мифе — двух рассеченных половинках человека, которые при встрече должны непременно или слиться, или погибнуть. Михаил понял и сказал:

— Подобная любовь недостойна человека. Погибнуть можно никак не от чего-нибудь, а только за что-

либо. Каждому, ежели он мнит себя человеком, надлежит иметь соответственную высокую идею.— И, подумав, прибавил:— Впрочем, сие — привилегия нашего брата. Прекрасный пол чаще всего обречен на гибель бабочки от огня.

— Значит, ты думаешь,— не скрывая радости, прервал я,— женщина не способна пойти на костер, как некогда Иоганн Гус и ему подобные?

Я решил, что Михаил был желчно настроен против Веры из-за неуспеха своих бунтарских речей.

— Женщина пойдет куда угодно,— возразил Михаил,— но редко сама, чаще за тем, кого она любит.

Как я был счастлив: опять надежды были при мне! Ни внезапного румянца, ни потупленных и вдруг вспыхнувших взоров, этих безошибочных улик юной страсти, не наблюдал я ни разу при встречах Михаила и Веры. Конечно, я знал, что на приемах в институте Михаил, почтительно кланяясь, подавал Вере не французские конфеты, как стояло на коробке, а ту или иную либеральную книжку. Разговоры же их были всегда серьезны, на мой взгляд — отменно скучны. Со дня на день я ждал, что и Вере все это обучение надоест и она будет искать разнообразия хотя бы в искусствах, более свойственных поэтической юности. Тем часом, дабы быть — в противовес Михаилу — во всеоружии своего дела, я усердно посещал императорский Эрмитаж и прочел немало иностранных увражей [1] касательно чудесных коллекций картин.

Старик Лагутин встретил нас на крыльце, увитом свежей хвоей. Во множестве нарезанные прутья с зелеными перьями-листьями были причудливо воздеты на высоких шестах. Казалось, в Н-ской губернии вдруг возросла роща финиковых пальм. Перед домом была покрыта немалая горка молодым газоном, и десятка два красивейших девушек в нарядных сарафанах и парней в алых, как маков цвет, рубахах катали разноцветные яйца. В ряд, сверху вниз, шло множество деревянных желобков, и весело было смотреть, как синие, красные, зеленые и желтые яйца драгоценными камешками катились друг за дружкой в изумруд муравы. В заключение повели хоровод, и все девки и бабы пошли христо-

---

[1] Увраж (от *фр.* ouvrage) — сочинение, труд.

соваться с барином, а он их одарял кого рублем, кого платком.

— Из всей христианской религии сего поцелуйного обряда я — наибольший поклонник,— сказал старый греховодник Лагутин.

Он захохотал, показывая крупные, еще целые зубы. Он был дороден и красив, но совершенно лысая голова и жирный кадык, как это верно нашел Михаил, делали его похожим на индюка.

Я глянул на Веру: лицо ее было бледно и выражало тревогу, она не спускала глаз с Мосеича. Этот уродливый человек с большой головой, но ростом с малолетнего, был злым гением Эраста Петровича. Сам из французских дворян, образован и жесток, он служил у Лагутина по вольному найму. Он был по фамилии Charles Delmasse, но мужичками переименован в «Мосеича». Человек этот обладал всей извращенностью умного дьявола. Обучившись по-русски, он объединил в своей особе весь цинизм и утонченность своей безбожной нации с жестокой грубостью наших нравов. По части безнравственности и садических удовольствий себе лучшего наперсника и советника Эрасту Петровичу было бы не сыскать. Посему в деревенской глуши он особенно дорожил Мосеичем, уважая его к тому же и за прекрасный французский язык.

Когда черед христосоваться дошел до красавицы Марфы, молодой жены Петра-конюха, отличного парня, Мосеич шепнул что-то Эрасту Петровичу. Тот ухмыльнулся и сделал вид, что не заметил, как Марфа, спрятавшись за соседку, нырнула в толпу девушек, чтобы миновать барского поцелуя. Но когда все, поблагодарив за подарки, пошли с песней домой, Эраст Петрович повернулся к старосте, дрянному угодливому мужику, и небрежно обронил:

— Петра не вредно б отметить.

Вера вспыхнула и, подойдя к отцу, смело сказала:

— Нет, батюшка, вы не сделаете Петру худого!..

Брови Эраста Петровича дрогнули, и как-то еще более побелели острые светлые глаза, а ноздри раздулись. Но он себя сдержал и, обернувшись к дочери, сказал ей по-французски:

— Мое желание — чтобы ваши юные мечты не выходили из стен вашей библиотеки.

— А теперь,— обратился он к нам,— прошу, обедайте без меня, я прощаюсь с вами до вечера. Пользуйтесь деревенской свободой в свое удовольствие: есть отличные верховые, есть лодка и экипажи... Но куда бы ни заехали, чуть взовьются над домом три ракеты — прошу всех обратно. Я приготовил вам спектакль и сюрприз: последний, надеюсь, для всех трех одинаковый!— Эраст Петрович обвел нас всех взором, от которого мне стало не по себе.

Обед прошел довольно чопорно, с лакеями и блестящей сервировкой. На месте хозяина сидела старуха Архиповна, Верина няня: таков был каприз старика после изгнания последней француженки.

— Пойдемте на хутор к Линученкам; быть может, они уже приехали!— сказала после обеда Вера.

Взволнованные, каждый от своих причин, мы долго шли молча по деревне. У околицы свернули в улочку, узкую, словно труба,— двум телегам не разъехаться. У ставней сбоку, как хвост у собаки, болтался железный болт, и хоть был большой праздник, а не убраны стояли то тут, то там корыта и валялись тряпье и битые черепки.

— Какая темнота!— сказала Вера.— Уж сколько раз выгорала деревня, а строят всё снова по-старому. Зато у батюшки целая полка книг по усовершенствованию деревянных построек. До бедных крестьян никому нет дела.

— Дайте срок,— возразил Михаил,— они сами возьмутся за ум, только б нам не зевать.

Мне, конечно, не нравился их разговор. Мы проходили такими чудными лужайками, где уже голубели цветы и медовый одуванчик потряхивал золотой головкой. Я сорвал самый крупный, поднес его Вере и сказал:

— Тут, как в ромашке, стоит только сказать: «Поп, поп, выпусти собак»,— черные козявки и вылезут.

Вера глянула на меня в упор своими светлыми, как у отца, глазами и с усмешкой сказала:

— Вы, Сержик, опоздали родиться; вам бы, правда, быть пастушком с картины Ватто.

В первый раз, что она мне говорила это с насмешкой; я это отнес за счет влияния Михаила и умолк.

Тропинка наша то терялась в оврагах, то растекалась в широких песках в одно с ними общее море.

Я глядел, как Вера ловила свой газовый шарф, сдуваемый ветром, глядел и не мог наглядеться на это лицо. Оно было необычайно. Будто не одно, а два лица — не слитые, а включенные друг в друга. В худощавом теле, подавшемся вперед, в узких покатых плечах, как на старинных портретах, была почти слащавая покорная женственность. Цвет лица, слишком белый, с неестественной розоватостью щек, придавал лицу нечто кукольное. Когда она шла, как сейчас, склонив голову с заложенными назад светлыми косами, приходила на память какая-то средневековая покорная жена. Вот держит она стремя рыцарю или, сидя за пяльцами, высматривает запоздавшего в кутежах властелина. Но вот, отвечая на какой-то вопрос Михаила, Вера подняла глаза. И в них показался иной ее облик. Глаза серые, твердые, с той же ястребиной хваткой, как у отца, с затаённой мыслью, которую — умрет, а не захочет — не выскажет.

На хуторе ждала неудача. Сторож сказал, что Линученко прислал письмо: он не может приехать, и передал Вере записку, которую она читала, бледнея.

— Калерия в чахотке,— сказала она,— и они уехали на год в Крым. О, как мне будет страшно тут без них!— вырвалось у ней невольно. И того не замечая, она взяла под руку Михаила, а он крепко пожал ей руку, как бы обещая защиту.

А я, пастушок Ватто, значит, теперь уже ей не в счет.

— До вечера времени много,— предложила Вера,— пойдемте к озеру.

И мы пошли.

Недалеко от хутора, как говорили, по старому шляху в город, было странное место. Сходились близко один к другому высокие холмы, поросшие широким листом зеленой мать-мачехи и каким-то пахучим кустом. У своего подножия холмы эти вдруг обрывались, и ровной блестящей водой стояло небольшое круглое озеро, неизвестно как тут возникшее; говорили: по заклятью старой помещицы над непокорной дочерью, бежавшей с заезжим гусаром. Здесь настигли беглецов злые думы матери: от этих злых дум кони увязли в трясине, а над ней забурлили ключи, и к утру было ровное, как чашечка, озеро. Тут Верина няня, Архиповна, в рассказе вставляла пояснение: «Старая-то помещица ведьма бы-

ла. Чай в час тот пила, брови сдвинула, как повернет полную чашку на блюдце: «Пусть и ей, непокорной, так будет!» Вот озерко и круглое, ровно чашка с чаем. Одно слово — ведьмин глаз».

Вера эту знакомую мне легенду рассказывала дорогой Михаилу и, кончив, выразительно глянула на него и промолвила: «Вот за непокорство дочери я это озеро и люблю». А Михаил засмеялся.

Нет, решительно у них что-то затеяно, надо быть настороже.

Вера села на большой камень. Михаил рядом с Верой, а я в ногах у нее внизу. Солнце зашло, небо было нежно-зеленое.

— Смотрите, первая звездочка,— показала Вера,— да какая чистая, будто умытая. Скоро пустят ракеты, надо поспешить домой, а мне, признаться, просидеть бы на камне всю ночь...

— Я в небе одну звезду люблю,— сказал Михаил.— Звезду Веспер, воспетую поэтами, предвестницу зари. И знаете, почему? Еще в детстве я где-то прочел, будто алхимики верили, что Венера дает земле треть той силы, что получает от солнца сама, а получает она много больше земли. И потому дух земли должен быть подчинен духу Венеры, полнокровному, жизненному духу знания опытного. Басня эта мила и моему праву очень любезна. А тебе, Сергей, уж наверно, любезней стишок: «Приди грустить со мной, луна, печальных друг!»

— Не понимаю твоих слов,— сказал я.— Что такое путь опытный и в каком это смысле?

— А в таком, что ежели древний смельчак испытывал сильное чувство, так он его не душил во имя земных добродетелей и каких-то там небесных благ. Он чувству своему отдавался и — что надо было — свершал. Да, один только опыт, доведенный до конца, отсекает все то, что непригодно для роста. И когда настоящие, свободные люди создадут наконец последующим поколениям прекрасную жизнь, достигнуто это будет не трусливым умытием рук, а одной лишь попыткой, хотя бы насильно, но опрокинуть негодные формы, заменив их формами лучшими. Итак, во имя жизни надлежит быть хозяином жизни!

Вера слушала Михаила, как пророка, а меня высокомерный тон возмутил, и я сказал:

— Но кто же тебя-то поставил этим хозяином над другими и кто порукой, что ты думаешь мудрее и лучше других?

Не забуду лица Михаила, когда, сперва покраснев, а потом по привычке откинув голову, он сказал совсем не высокомерно, а в какой-то особой сердечнейшей глубине:

— Так бывает с иным человеком, что для себя самого у него нет больше радости на земле, пока на ней худо другим. И такой человек, даже в случае, если свяжет себя какой-нибудь иной связью, кроме блага всего человечества, большой утехи от этого не получит, только лишится своей самой нужной и драгоценной свободы. Да, так. Словом, явились люди, явятся еще и еще, которые не захотят требовать счастья себе, а радостно будут искать, где и куда сложить свои силы на освобождение и радость всеобщую!

Михаил нагнулся ко мне и, как давно этого не делал, положил свою руку ко мне на плечо.

— Милый Серж! — сказал он. — Тебе сладостен каждый закат солнца, луна и стихи. А подумал ли ты, где у тебя на все это право, когда кругом, быть может, люди и лучше и умнее тебя все еще родятся, живут и умирают рабами?

— Михаил... — начала и почему-то не кончила Вера.

А у меня в сердце как нож: не договорила она от волнения, или уж ей так привычнее его звать и только невзначай она обнаружила всю короткость их отношений?

Вдруг послышался стон, кто-то всхлипывал на дальней могиле. К озеру почти вплотную примыкало старое кладбище.

— Никак это Марфа на могиле своей матери! — воскликнула Вера и, легко перепрыгнув канаву, отделявшую нас от кладбища, подбежала к молодой женщине. Марфа повалилась в ноги Вере и заголосила:

— Заступись за Петра, не то ему лоб забреют!

Вера стояла бледная, с поникшим лицом.

— Батюшка меня не слушает, — сказала она.

— Что же мне — руки на себя наложить? Его забреют, а меня, сама знаешь, к себе возьмет вместо Палашки. Да я в прорубь скорей...

— Слушай, Марфа! — сказала Вера; лицо ее было жестко и горело почти тем же светом, как у Эраста Пет-

ровича, когда он, бывало, тихонько говорил: «На конюшню по-роть...» — Завтра на заре жди меня в голубятне, лучшего места нет. И ты узнаешь, что я решу. Поверь мне в одном: я тебя в обиду не дам, потерпи до утра.

Когда успокоенная Марфа пошла домой, Вера сказала Михаилу:

— Мы включим ее в наш кружок. Иного выхода нет.

— Ну, что же? — сказал Михаил. — Баба, кажется, молодец.

Меня эти двое откровенно не замечали, должно быть не в шутку относили к эпохе Ватто.

Взвились одна за другой три ракеты, мы встали и, прибавив шагу, пошли обратно к усадьбе. Дом был освещен разноцветными шкаликами. С балкона верхнего этажа до балконов нижнего они ниспадали сверкающими гирляндами. Это был великолепный барский дворец работы Монферрана, строителя Исаакиевского собора, с белоснежною колоннадой и сводчатыми крыльями по обе стороны главного корпуса.

Освежившись в приготовленных нам комнатах, мы с Михаилом облеклись в новые мундиры, лакированные бальные сапоги и, стараясь ступать в них мягко и размеренно, появились среди гостей.

Посреди зала устроен был грот, где бил прелестный фонтан, а на камнях под цветущими олеандрами, замаскированными так, что не видать было кадок, а казалось, что будто деревья росли меж камней, сидели грации, пастушки и нимфы.

Сквозь узкие прорези шелковых черных масок лукаво сверкали глазами костюмированные гости. Огромные стенные зеркала отражали всю эту роскошь и как бы передавали ее в бесконечность. В глубине зала возвышалась сцена, куда внезапно по хлопку хозяина, под звуки незримого в зелени хора, умчались от бассейна нимфы, пастушки и грации.

На Эрасте Петровиче надет был бархатный кафтан его деда, екатерининского вельможи, с лентой и регалиями. В соответствующем парике, он казался важным выходцем с того света.

Кроме нас, не костюмирован был еще один гость — князь Нельский, ближайший богатый сосед, очень просвещенный и гуманнейший человек, уже немолодой, но с лицом прекрасным по выражению душевных качеств.

Эраст Петрович настоял, чтобы мы облеклись в костюмы маркизов; князь — в кафтан шарлахового бархата, мы — в одинаковые голубые камзолы и парики.

Мы были с Михаилом одного роста, так что, надев маски, легко могли сойти друг за друга. Обстоятельство это оказалось новым звеном в той объединяющей нас тяжкой цепи, которой, не спросясь нас, сковала судьба.

Перед ужином Вера, прелестно носившая костюм «помпадур», шепнула мне в ухо:

— Сейчас беги в беседку!

Я глупо спросил:

— Ты придешь?

От звука моего голоса Вера вздрогнула и сказала:

— Нет, Серинька, не приду, я нарочно...— И легче перышка она отлетела.

Я понял, что приглашение относилось к Михаилу.

Тут словно бес меня обуял. Острая пронзительная ненависть к товарищу, которого моя же рука привела мне на гибель, разбила и пронзила мою душу. Истинны слова некоего старца, которые тетушка Кушина любила повторять: «Бесы не сильней человека, но, когда человек до них снизится, он станет с ними единой породы, и ему уже их не стряхнуть. Ибо их легион!»

Легион низких страстей пробудился в моей душе. Увы, она не оказалась подобной величавому океану, а дрянным болотцем, подернутым сверху приятной для глаза изумрудной ряской.

Месть, ненависть, оскорбленная любовь и мелочное самолюбие, задетое Михаилом, столкнули меня по крутой тропинке к пруду, где стояла беседка.

Я укрылся в кусты. Начался фейерверк.

Сотни огненных мячей взметнулись в темном небе и, как бы не удержав воздуха, разорвались в вышине и брызнули вниз разноцветными искрами. А озеро, большое водное зеркало, отдало небу обратно огни.

Мои чувства художника были столь дивно встревожены, что на минуту все злое как будто отлегло от души. Но два знакомых голоса заговорили в беседке. О, этим двум не было никакого дела ни до красоты сего мира, ни до моей разбиваемой ими жизни!

Ведь мы все, Русанины,— однолюбы. Две тетки от несчастной любви ушли в монастырь, а дядя Петр застрелился.

— Дорогая моя! — сказал Михаил с таким страстным чувством, которого я не ожидал от него. — Дорогая, так неужто не сон, ты решила соединить свою жизнь с моей?

И в ответ ее нежный голос:

— Ты можешь еще спрашивать?

На минуту затихли: они целовались.

У меня мутнело в глазах, и ракеты, падавшие в воду, казалось, падали в мое сердце и жгли его.

— Но я тебе должен признаться, — голос Михаила вдруг стал отвратительно жесток, — я для своего дела пожертвую и любовью. Когда одна женщина пыталась меня обратить в свою вещь, я едва не свершил убийства. Это было в Крыму... рассказать тебе?

— Мне твое прошлое нечего знать, я соединяюсь с тобой для грядущего, — сказала с достоинством Вера.

— Дорогая, но ведь, кроме лишений, со мной ничего. И это еще в лучшем случае. Мой выбор неизменен: отдать жизнь на восстание рабской страны против деспота. В случае неудачи, ты знаешь, даже не каторга, а виселица.

Но она прервала его древними, как мир, как любовь мужчины и женщины, словами:

— С тобой, мой милый, — на плаху!

Опять убийственное молчание, опять поцелуи.

Потом, смеясь как ребенок, она сказала:

— Сейчас за ужином батюшка объявит меня невестой князя Нельского. Он только что строго со мной говорил и был поражен, что я не возражаю ему, как это обычно у нас бывает и по менее важному поводу. Представь себе, это и был обещанный сюрприз всем троим. Батюшка вспомянул вас обоих: «Твои кавалеры, — сказал он многозначительно, — не будут столь спокойны, как ты». На что я ответила: «Тем хуже для них! Я ложных надежд никому не давала, и хоть князя я тоже не люблю, но не за мальчишек же мне выходить!» Теперь батюшка далек от подозрения, что к одному из этих мальчишек я завтра сбегу.

Михаил хохотал.

— Ты Макьявелли, моя дорогая! Но серьезно, когда же побег?

— Утром я обо всем скажу Марфе, а она Петру. Если не удастся вскорости попасть к твоей матушке, как

мы решили, то жди письма, я пришлю с Сержем — он верный.

— Да, пороху он не выдумает, но парень, кажется, действительно верный,— сказал снисходительно Михаил.

Несчастный! Это были слова, которые его погубили. Эти слова вырвали из моего сердца последние остатки великодушия, на которое я еще был способен. Как, мне предстояло отказаться от всех радостей жизни, созидать счастье соперника и за все это лишь получить малолестное определение — недалекого парня!

Звуками гонга и труб гостей созывали на ужин. Среди блистательной сервировки и благоухания цветов, вынесенных на торжественный случай в вазонах из оранжерей, Эраст Петрович встал с бокалом шампанского. Он был все в том же кафтане екатерининских времен и особливо торжественен — как французский маршал двора.

— Дорогие гости, почитаю себе за честь объявить мою дочь Веру Эрастовну невестой князя Нельского,— сказал он.

Заиграли туш, пошли поздравления и тосты в честь жениха и невесты...

Я, не в силах вынести вероломных лиц Михаила и Веры, убежал. Последнее вышло как бы естественным выражением моих обманутых чувств, ибо все знали о моем давнем расположении к Вере. Таким образом и тут я остался в дураках, невольно помогая их планам.

ГЛАВА V

ГОЛУБИНЫЕ ШЕЙКИ

Начинался день. Небо было серое, сеял дождь. Моим измученным чувствам была приятна эта невыразительность природы. К рассвету я забрался в ту беседку, где было ночное свидание Михаила и Веры. Под скамьей что-то белело. Я нагнулся взглянуть: это были листы заграничного «Колокола»; верно, их Михаил обронил этой ночью. Я подобрал с отвращением.

Эти листы были лазейкой хищного волка, через которую удалось похитить ему, убийце и заговорщику, мой покой и отраду. Вид этих страниц, в два черных печатных столбца, был для меня — как гробовая змея

древнему князю Олегу, выползающая из мертвого черепа. Бешенство охватывало меня все сильней по мере того, как в печатном тексте я узнавал почти дословные изречения Михаила. Я не заметил, как в беседку вошел Мосеич.

— Не ожидал я от вас, сударь, столь вольнодумного увлечения,— сказал он по-французски, осклабляя свой большой рот.

— И были правы, мой друг, мсье Дельмас,— отвечал я, как обычно называя его по фамилии, за что пользовался неизменною его дружбою.— Дворяне, как вы и как я, не должны быть предателями своего сословия. Собственник подобной заразы может быть лишь тот, кто сам ею заражен.

— Подобно вашему другу Бейдеману?

— Я его не назвал.

— Но у меня есть свои наблюдения. Прошу вас,— сказал Мосеич,— дайте мне этот проклятый журнал. Я считаю долгом чести бороться с врагом своего сословия. А в данном случае еще предстоит оградить от злого влияния юную девичью душу. Разве вы не видите: Бейдеман околдовал Веру Эрастовну. Вчера, когда объявили ее помолвку, я подметил интересные вещи: она с ним перемигнулась. Это был взгляд заговорщиков. Они нечто задумали, чему надлежит помешать. Или вас не трогает судьба неопытной жертвы?— прибавил карлик с коварностью.

— Я погибну, но не дам ее погубить!— воскликнул я вне себя.

— Так дайте мне журнал.

Передавая журнал в длинную, как у обезьян, цепкую руку Мосеича, я уже не хочу говорить, как говорил себе всю жизнь, что не знал вполне того, что я делаю. Конечно, я не мог знать той формы, какую примет это мое первое предательство, но не знать, что обличение Михаила как распространителя запрещенных изданий не пройдет для него без вреда, я, конечно, не мог, особенно отдавая журнал такому злодею, как Мосеич.

Я сейчас в тех годах, когда человек больше от своей совести не желает уйти и когда уже больше не тешит никакое прикрытие. Мне осталась бесславная, но гордая отрада: быть своим собственным правдивым судьей. И вот надо отметить: едва я в гневе дал Мосеичу «Колокол», как тотчас кинулся за ним взять обратно. Но, как

опытный совратитель, зная все изгибы слабой воли, Мосеич, не дав мне опомниться, скрылся из кустов в подвальном этаже дома. Там была у него мастерская, про которую ходили темные слухи и где, за ходами и переходами, мне б его было все равно не найти. Я горел как в лихорадке, прыгали мысли. Только неизменным оставалось одно руководящее чувство: быть около Веры, не отдавать ее Михаилу...

Мне все чудилось почему-то Лобное место на московской площади и палач, обмотавший вокруг кулака русые Верины косы. Ее белая шейка на плахе, сверканье топора... Я галлюцинировал, я был болен. И вдруг мозг с точностью записи восстановил разговор, слышанный ночью в беседке: дальнейшее в судьбе Веры будет связано с Марфой и Петром,— отсюда обещанный Верою визит в голубятню...

Едва вышедшее еще слабое солнце чуть позлатило верхушки березовых рощ и березки затрепетали от привета первым лучам, я, как тать, пробрался на голубятню и скрылся за разной рухлядью, в беспорядке сваленной в кучу.

Еще раз: не буду лгать вовсе. Мне не было стыдно, хоть я и знал, что делаю низкое дело. Но в тот миг я не был корыстен. О своем счастье я больше не думал. Мне надо было спасти Веру, обольщенную мятежной волей, быть может, больного человека. Михаил говорил мне, что у них в роду есть сумасшедшие. Эта его устремленность в одну точку, этот огонь, всегда его сжигавший, могли быть и началом болезни. Подслушанное мною признание, что он едва не совершил убийства любимой женщины, привело меня в ужас. Слова же его Вере, что в союзе с ним ей придется делить не только Сибирь, но и виселицу, обличали гордыню бездушного злодея. Слова эти жгли мое сердце: если Вера за ним пойдет, на полдороге ведь она не остановится! А помыслить ее в тюрьме, в ссылке и лишениях — я не мог. Я должен спасти ее. У нее к Михаилу не любовь — злое наваждение. К тому же, как верноподданный, зная о вредных умыслах юнкера, которому скоро, как и мне, предстояло облечься в офицерский мундир, я чувствовал себя обязанным их пресечь.

Кто знает, как далеко могла посягнуть его злая воля? Ведь говорил же он не раз: «Если имеющий

высшую власть от нее не откажется, можно его к отказу принудить».

Послышался легкий шорох, будто кралась кошка. Я глянул в просвет. Это был Мосеич.

«Что ему надо здесь?» — подивился я, и мне вдруг стало страшно.

Мосеич подошел к домику, где сидели молоденькие голубки, вытащил одного, свернул ему шею, другому и третьему. Лицо его было отвратительно, как у колдуна из «Страшной мести». Как у того, нос Мосеича показался мне больше обычного. Из плотоядно приоткрытого рта глядел желтый клык. Длинные, не по росту, руки с костлявыми пальцами вдруг мертвой хваткой зажали трепетной птице клюв и головку. Как штопором в пробке, он крутнул сизой шейкой раз, два; хрустнули позвонки. Старые голуби вздымали крыльями и курлыкали с жалобою несказанною...

Негодование мое было так велико, что я было двинулся схватить негодяя за шиворот, как внезапно он сам, подхватив мертвых голубей, юркнул в дальний угол. По лестнице взошли Вера и Марфа.

— Ахти, беда! — воскликнула Марфа и кинулась к дверце голубиного домика, которую Мосеич не поспел захлопнуть. — Опять трех голубочков унес, дьявол горбатый!

— Кого ты бранишь? — спросила Вера.

— Карла Мосеич голубкам свернет шейку да съест. «Вкусней, говорит, чем цыплячье!» Хуже этого дьявола никого нет на свете, барышня; ведь это он барина подучает...

— Низкий человек, — вспыхнула Вера. — Но оставим его, нам с тобой время дорого; брось голубей, сядь ко мне.

При всем моем волнении я не мог не оценить и не запомнить навсегда восхитительной картины, которую увидел. Как в Рембрандтовом освещении, прорезывая окружающую мглистую тьму, через слуховое окошечко на головы Веры и Марфы упадал золотой солнечный луч. Тонкое лицо Веры, охваченное внутренним возбуждением, как ангел Страшного суда, и сейчас сияет предо мной своими непреклонными взорами, а девичья небольшая рука ее легко лежит на золотой волне густых и пышных волос Марфы, русской красавицы в белой шитой рубахе и излюбленном в наших местах синем ку-

бовом сарафане. Они условились бежать нынешней ночью. Петр, один из старших конюхов, должен был выкрасть пару вороных, запрячь шарабан и ждать ночью за околицей. Марфа под вечер, как старый Лагутин любил, должна была принести ему в спальню после ужина графинчик вина, куда будет подсыпан сонный порошок, чтоб избежать ей ночного плясанья.

Вера была немногоречива и покойна. Весь план у нее был твердо обдуман.

— А дальше, барышня милая, куда денемся?

— Дальше в Лесное, под Петербург; там нас укроют, пока не приедет Линученко. Сейчас мешкать нечего. Выпускай голубей и беги ко мне в комнату. Только б вырваться на свободу. Не пропадем...

— За вами, барышня, в огонь и воду! — сказала восторженно Марфа.

Вера встала и пошла к лесенке. Когда она нагнулась, чтоб сойти на ступеньку, ее легкий газовый шарф скользнул мне по лицу. За нею спустилась и Марфа, а освобожденные голуби, оттолкнувшись красными лапками от деревянных домиков, взвились над березами.

Я сидел неподвижно, потрясенный всем слышанным. Какую силу над Верой имел Михаил!..

Два месяца тому назад он — незнакомый ей человек, сейчас заставляет порвать навеки со старым отцом, с родным домом и бежать с челядью путем вероломных обманов. А я, друг ее нежного детства, как от первого ветерка пух одуванчика, вылетел вон из ее памяти.

— A la bonne heure [1], — сказал вдруг голос Мосеича, — вот нежданная дичь! — И с любезностью, какую позволяло его безобразие, прибавил: — Не спрашиваю вас, сударь, о том, как вы попали сюда. Надеюсь, мы с вами единомышленники по поводу заговора юных дев. Все, вплоть до сонного порошка, как в мелодраме, — невинный результат французской библиотеки отца! Мы, для благополучия героинь, разумеется, должны помешать им разыграть пьесу в жизни. Что, впрочем, будет тоже «по пьесе». Извините, мой галльский вкус к остроумию не покидает меня ни при каких обстоятельствах жизни.

---

[1] В добрый час *(фр.)*.

Мне был отвратителен сей Квазимодо, но я должен был с ним согласиться в желании помешать ночному побегу. Мысль, что Вера совсем уйдет к Михаилу, мне темнила сознание, лишала рыцарских чувств.

— Сейчас ни звука, мой друг,— зашептал мне горбун,— положитесь во всем на меня. Пусть злой похититель уедет в надежде свидания, а героиня со златокудрой наперсницей приготовит все к бегству из отчего дома. Пусть попробуют; мы их у околицы хлоп,— и в мышеловку мышат. Мы их допустим, mon ami [1], на шарабанчик к Петру, с узелочками, с сувенирами; а чуть кони с места, верная стража — наперерез с фонарями и гиканьем. Можно ракету-другую пустить, от помолвки остались! Хе, хе... Невеста, разумеется, в обморок, ее в девичью светлицу на замок. Петра, по обычаю здешних мест, на конюшню, а рыжую Марфу...— лицо Мосеича стало как у мерзкого павиана,— разверстка по чинам! А утешителем при героине опять вы, как было раньше,— один.

— Негодяй!— сказал я, дрожа от бешенства.— Я не участник в издевательстве.

— Это вы?— Мосеич попятился к слуховому окну и на всякий случай первый спустил ноги наружу, на перекладину лестницы.— Вы, сударь, участник решительно во всем, от вас первый толчок к семейной драме. Вы предали Бейдемана, раздавив его «Ко-ло-ко-лом». Не правда ли, для Китая то был бы недурной каламбур?

Я кинулся к лестнице и крикнул ему:

— Что вы сделали с журналом?

— Ничего плохого, а передал его в сохраннейшую из библиотек, в отцовские гневные руки Эраста Петровича.

— Куда вы меня вовлекли...— вырвалось у меня.

— Полно, mon cher [2], вы не малолетний.— Мосеич уже не скрывал презрения.— Но, по русской пословице, вы хотите, чтоб у вас рыльце не было в пуху. А я, сударь, и для своего стола имею мужество собственноручно свертывать голубкам шеи. Что же, еще не поздно,— сказал этот дьявол, и опять он сказал правду,— идите, предупредите Веру Эрастовну!

Он не сомневался в моей низости.

---

[1] Мой друг *(фр.)*.

[2] Мой дорогой *(фр.)*.

Когда я сошел вниз по чердачной лесенке, яркий день ослепил меня. Серое небо сменила сплошная синяя эмаль. Я побрел к усадьбе. Дойдя до скамьи, откуда издали было видно поросшее диким виноградом окно девичьей спальни Веры, я свалился без сил. Всю ночь я не смыкал глаз. Пережитые волнения были слишком сильны. Если б сейчас Михаил оказался рядом и спросил меня, что со мной, я, не думая о последствиях, рассказал бы ему решительно все.

За кустом в ручье щелкали утки, ловя червяков; стадо коров, тяжело топая, прошло к водопою. Слабо звякнули бубенцы, к крыльцу подкатила тройка. Я сообразил, что это для Михаила, который, попрощавшись со всеми еще с вечера, торопился попасть в город к поезду, чтобы в последний день отпуска повидать еще свою старушку мать в Лесном.

Вдруг из плотных кустов буксуса, росших прямо под окном Веры, как из-под земли, показался Михаил. Он был в шинели и фуражке. Сорванным прутом он легко постучал в ставень. Конечно, его стука ждали: окно распахнулось, и Вера, в розовом кисейном капоте, сияющая, ликуя в ответ солнцу на чистом, без облака, небе, протянула ему свои тонкие девичьи руки. Михаил ловко прыгнул на подоконник. Они обнялись.

Решительно судьба надо мной издевалась: в том, что ночью я лишь угадывал по слуху, сейчас должен был воочию убедиться.

Вера что-то долго шептала Михаилу, верно рассказывала про побег. Он торопил ее, оглядываясь по сторонам; он боялся, что их заметят, раза два глянул в моем направлении. Я был от них скрыт густой беседкой сирени, но мне-то они были видны сквозь небольшой просвет.

Они прощались так весело и были полны таких непреложных надежд, что я не заметил и тени боли, этой неизбежной спутницы любви при малейшей разлуке.

Он спрыгнул с окна, обернулся. Она ему махнула оставленной им веткой и долго смотрела на дорогу, пока не улегся последний столб пыли, взметенный умчавшейся тройкой. Не отрывая глаз от нее, я видел, как она все с той же победной, ликующей улыбкой ушла в глубь своей комнаты. Если б она знала, что в это сияющее утро она видела Михаила в последний раз... Впрочем, нет: она увидала его еще однажды. Но это уже был не он.

Мой отпуск кончался через несколько дней, но я не мог выдержать так долго пытки. В доме было напряженно, как перед грозой. Старик Лагутин сказался больным, и Мосеич от него не выходил; очевидно, обдумывали вместе ловушку. Вера появлялась как лунатик, видимо отсутствуя где-то чувствами, и все больше сидела запершись с Марфой; как потом оказалось — отбирала все ценное для побега. Улучив минуту, я подошел к Вере и сказал;

— Прощайте! Я ухожу на охоту, и, чего доброго, завтра не удастся попрощаться. Вы спите долго, а мне ехать зарей, как сегодня Михаилу.

Я нарочно подчеркнул последнюю фразу, я с вызовом смотрел на нее, я внутренно молил ее обеспокоиться моим возбуждением, задать вопросы, потребовать ответа. Кто знает, хоть минуту обрати она на меня лично внимание, я, может быть, ей рассказал бы про Мосеича... я бы не знал удержу в благородстве, я бы создал новый план бегства, я сам бы помог его выполнить! Кто же знает всю глубину низости и всю высоту подвига самоотвержения собственной таинственной природы?

Вера насторожилась при имени Михаила, но тут же, должно быть, привычно учтя мою недалекость и постылое «благородство», решила, что подчеркиванье случайно, рассеянно сказала мне: «Вот как! Ну, прощайте»,— и ушла к себе на зов Марфы.

Я схватил ружье и пошел куда глаза глядят. Целый день пробродил я, ничего не убив, да и было мне не до охоты. Сам, как смертельно раненный зверь ищет место, где бы ему приткнуться и зализать свои раны, я со стоном прометался по чаще всю ночь, и на заре, охваченный мучительным беспокойством относительно судьбы Веры, с чувством вины перед ней и презрением к себе, подходил я к усадьбе Лагутиных.

Вдруг из конюшни, мимо которой лежал путь, донеслось нечеловеческое рычание. Я прислушался: хлест плети и оханье после удара, как от поднятия тяжести, без слов объяснили мне о производимой там мерзостной экзекуции.

— Стой!— раздался голос Мосеича.— Он не дышит. Окати его водой.

Я изо всех сил дернул дверь, сорвал ее с петель и вошел. На скамье лежал туго связанный, смертельно бледный Петр. Он был без сознания. Его здоровое голое

тело было вздуто сине-багровыми рубцами и залито кровью.

— Мерзавцы, вы его забили до смерти!

— Последнее всыпали,— сказал равнодушно огромный мужик.— Пущай отлежится.

И он стал обтирать трехконечную плеть от крови.

Мосеич, сощурив ядовитые свои глаза, закурил трубку.

— Сорвалось,— сказал он.— Всем трем голубкам свернута шея!

— Что с Верой?— крикнул я.

— Королева под крепким запором, хоть и не в круглой башне, но едва ли сбежит. Старый король с большим вкусом воскресил этой ночью рождение Афродиты из пены морской при участии рыжей Марфы.

— Что решил он для Веры Эрастовны?

— Нечто вам приятное. Выдать ее немедленно за князя Нельского... Он вдвое старше, и молодой утешитель будет хорош...

Я пощечиной свалил дьявола с ног и побежал к дому. Был очень ранний час. Двери и ставни заперты. Я подтянулся на руках, как вчера Михаил, к подоконнику Веры и постучал кулаком в ставень. Не сразу чуть приоткрыла его старуха Архиповна. Она замахала на меня:

— Погубишь нас, уходи, стерегут...

Послышался голос Веры, она спрашивала, кто говорит. Архиповна опять высунулась, оглядываясь кругом, и шепнула мне:

— Жди в кусту.

Как заяц, я прыгнул в густую акацию, и вовремя. Гришка-цыган, приспешник Мосеича, с дубиной выскочил из-за угла и крикнул:

— Кто здесь?

Целый час просидел я в засаде, пока Гришку не позвали в людскую и сменить его под окном пришел Кондрат, молодой славный парень, с которым я ходил в ночное. Он был мне очень предан, и я хотел выкупить его у Лагутина.

— Кондрат!— крикнул я.

— Что вы, барин!— отмахнулся он.— Меня запорют, если вас допущу...

Сморщенная рука няни Архиповны, с красной шерстинкой от ревматизма, высунула письмо из окна.

— Кондрат, дай скорей письмо,— попросил я.

Кондрат оглядел зорким глазом вокруг и, взяв у няни конверт, отдал мне. Я скрыл его на груди. Ставень захлопнулся.

— Как было дело, Кондрат, скажи в двух словах?

Кондрат рассказал, что Марфа под вечер принесла старику Лагутину вино, куда барышня сыпнула сонного зелья, а как барин про всю затею уже знал от Мосеича, то графинчик он обменил другим, заготовленным. Марфе плясать приказал, а сам притворился, что засыпает.

Марфа, уверившись в его сне, побежала к барышне, и обе, схватив узлы,— за околицу. А уж там Петр ожидал их с коляской. Только сели, Эраст Петрович им наперерез, да с револьвером. Хоть стрелял он в воздух, а обе со страху сомлели. Петр ударил по коням, да куда против скакунов... Тут его, раба божьего, спéшили, связали по рукам и по ногам и Мосеичу сдали, заплечных дел мастеру. Барышню на руках в светлицу внесли, с нянькой заперли, а Марфу — всю ночь плясать...

— Пляши!— кричит барин.— Пока пляшешь, Петра пороть не велю, а как присядешь — начнется работа! До утра буду взбадривать. А ну-ка, сократи ему срок!

Всю ночь, как ведьма на шабаше, плясала Марфа, пока, словно сноп подрезанный, не свалилась. Сейчас больная лежит.

— Идите, барин, от греха...

Кондрат, завидев сторожа, отскочил от меня, а я пошел заказывать лошадей.

Верино письмо не было запечатано. Я так мало был для нее человек, что не стеснял ее в проявлении самых заветных чувств. На преданность мою и великодушие она, по-видимому, надеялась совершенно.

Как оскорбительно и опасно для человека то, что люди именуют уважением и что на деле — лишь величайшее равнодушие при удобном для них признании тех или иных возвышенных качеств души! Но ведь от бездушности признания человек немедленно теряет все эти качества, чем, конечно, печально свидетельствует, что совершенное бескорыстие, ради самой красоты поступка, является уделом лишь самых немногих избранных.

Вера описывала Михаилу неудачу побега, равно как и причину, побудившую ее не пытаться что-либо предпринять без договора с ним. Отец явился к ней с листа-

ми «Колокола» и с заявлением, что он представит начальству Михаила все дело как совращение дочери в политических видах.

У Веры был страх, что Михаил при своей горячности станет открыто говорить о своих убеждениях, чем немедленно лишит себя свободы, а с ней и действительной работы для дела революции.

«Впрочем,— заключила она,— если находишь нужным себя обнаружить и пасть сейчас, застрельщиком дела, то умоляю лишь об одном: не забыть и меня взять с собой. Ведь мы соединены навеки...»

Тут следовали такие признания любви, которых я сам и в мыслях не посмел бы сделать Вере.

И она даже не сомневалась, что такое письмо я передам! Так напрасно же она не сомневалась!

ГЛАВА VI

КРУГЛАЯ КОМНАТА

Какие дожди этим летом! С холодной зимы не отогреться. Я ухитрился подшить под валенки по куску линолеума, чтобы не промокли: калоши — не по карману. Девочки очень смеялись, однако помогли.

И сколь счастливы их ручонки: денег набрал я, как никогда. Жалели проходящие старика: под дождем, а в валенках, и с подметкой из клетчатого линолеума.

В сущности люди больше художники, чем они это думают. Их трогает не сама нищета, а лишь ее новый живописный оттенок.

Когда я шлепал по лужам в прежних намокших валенках, мне было куда хуже, а давали-то меньше. А сейчас, с этой остроумной заменой калош, когда я выиграл в смысле здоровья, в придачу и люди на меня умиляются и дают вдвое больше.

Купил я к хлебу полфунта костей в мясной. Девчонкам я купил по конфетке ирис; спохватился, да поздно, что мальчишки с лотками их для блеска облизывают языком. Ну, ничего, обварю кипятком, будто нечаянно; съедят девочки на здоровье.

Приехал домой я сегодня в трамвае. Сидя в углу, я читал объявления о разоблачении плутней гадалок и гипнотизеров каким-то заезжим профессором психологии. Я вспомнил вдруг Париж и гадалку m-me де Тэб.

У нее в приемной комнате висел гипсовый слепок одной руки, такой мне знакомой по карточной игре. Я всмотрелся и говорю: «А ведь это рука генерала Д.». Де Тэб как привскочит:

— Как вы узнали? Дайте-ка мне вашу.— И вдруг грустная стала, чуть не плачет: — Ужасная ваша судьба...

Я пристал:

— Расскажите.

— Большой художник в вас погиб,— сказала она.— А если человек убьет данного ему художника, в нем неизбежно возникает злодей: таковы законы духа. Ну, это ваше прошлое...

А про будущее она, уступая моим настояниям, сказала, бледнея, в ответ на вопрос, какою смертью мне суждено помереть:

— Вы умрете, сударь, от истощения, после невыразимых мук одиночного двадцатилетнего заключения и сумасшедшего дома.

Нынче мне восемьдесят три года. Если даже сегодня, придя домой, я буду посажен в тюрьму, то в безумном состоянии прожить еще двадцать лет и умереть ста трех лет от роду едва ли вероятно.

Да, с предсказанием m-me де Тэб, как говорили у нас в корпусе, села в лужу. Кто тронет нищего старика?

Я не мог писать эти дни. От дождей вспыхнул ревматизм. Я, как больной зверь из берлоги, смотрел в непроглядное небо, ожидая солнышка.

Завтра первое мая, день навеки мне памятный, когда я сделал свой второй шаг на пути гибели Михаила. Первый шаг, если читатель помнит, свершен был в беседке, когда я в руки Мосеича передал заграничный журнал «Колокол». О последствиях этого дела скажу в этой главе, но прежде для себя самого надлежит занести мне ближайшее: первомайское торжество в шестой год революции.

Еще накануне сеяло весь день, словно из сита, и девочки наши всплакнули, что не удастся им завтра справить праздник. Однако первого мая солнце вдруг вышло такое пышное, жаркое, как в лучший день июля. Девочки весело щебетали, нацепляя друг на друга красные банты; старик Потапыч надел сбоку коммунистический знак: серп и молот на красной звезде. А в красный галстук воткнул он булавку с портретом товарища Ленина.

Я смотрел, как Потапыч брился и надевал эти новые знаки, признак окрепшей власти.

Все ушли из дому; я — один. Девочки со своей школой уехали на грузовике, увитом еловыми ветками, с огромными плакатами о преимуществах грамоты над темнотой.

Старик Потапыч тоже идет нога в ногу с «работниками просвещения» — он числится сторожем в Наробразе. Уходя, он сказал мне с гордостью:

— У нас свое знамя, отменной вышивки. Обратите внимание колосья на вишневом бархате и лозунг...

Я не долго оставался один. Кряхтя от высокой лестницы, взгромоздился Горецкий. Любопытнейший старик, любит зрелища, а у нас окна на Невский, и к тому же с птичьего полета.

Горецкий окончательно впал в детство: он прежнее все забыл, живет последней минутой. Прежде всего он спросил, есть ли сахар и не вредно б чайку... Пили вприкуску — такова стала роскошь. Впрочем, это заветный, припрятан у меня для девочек.

Горецкий с жаром описывал, какие пойдут процессии и инсценировки. Ему посетители нередко оставляют газеты и болтают со словоохотливым стариком.

Видя превосходное состояние здоровья Горецкого по сравнению с моим, я взял обещание со старика, что он, в случае моей смерти, записки мои передаст по назначению. Он долго упрямился, говоря, что у него нет свободного времени, но за фунт махорки согласился, что, в случае чего, снесет мое писание в редакцию сам.

Вдруг ударили трубы: от Николаевского вокзала по всему Невскому широко протянулась процессия. Шли рабочие, шли войска, шли дети. Шел просто народ и праздновал свой праздник. Посреди на грузовике — огромных размеров земной шар. На нем красной краской среди голубых морей отмечены революционные земли, где революция уже совершена или ожидается. А вместо экватора подвижной пояс с лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

И когда вокруг этой громады хор чистых девичьих голосов выкликнул тот самый призыв, который, бывало, с такой горячей верой в грядущее мне шептал Михаил, мне чудилось: незримый, он тут. Надо признаться, что было и чувствительно и прекрасно. В другом грузовике, громадной калоше,— веселая буржуазия всех стран. Из

калоши — обмен острословия с окружающими, ко всеобщему удовольствию.

А в стройных колоннах — войска. На войсках отлично пригнана форма с разноцветными петлицами. Все они в шлемах, как витязи. Опять понабрались откуда-то рослые молодцы... Не оскудевает Россия! Давно ли поля битвы усеяны были лучшими бойцами, а она уже, гляди,— как целина, напоенная солнцем, не устает выгонять стройный колос,— опять выгнала новых в ряды.

От духовой музыки охваченный воинским пылом, мой бедный Горецкий вдруг вспомнил про прежнее.

— Сережа, порой я от старческой злости ведь вру. Я сторож... А ведь аул-то Гильхо взят был мной, мной!

Он было всхлипнул, но тут же, ликуя, как будто и он участник первомайского торжества, вдруг сказал мне:

— Ага, теперь небось можно так, теперь и с красными, со знаменами, а прежде-то, прежде?

Меня взорвала его безответственность.

— Дурак!— сказал я ему по-старому.— Да из-за кого же нельзя было, соломенная голова? Из-за таких вот, как ты да как я. Протестовал ты, когда вешали террористов, когда гнали в тюрьмы? Ты, братец мой, одобрял.

— Ну, mon cher,— сказал он, не смущаясь,— это другое дело, террористы хотели применять насилие...

Я с ним не стал разговаривать. Старик явно сходит с ума. К тому же он так радовался, что у милиции новая красивая форма, черная с красным воротом, и сшита по росту.

— Mon cher, у нас снова полиция, и насколько приличнее прежней, ma foi [1],— европейская. О, если б я знал, что будет так, ни за что я бы не саботировал! И они, между нами говоря, поторопились истреблять нас. Сразу надо было нас кооптировать... Впрочем, я не ропщу: мое место тихое и, так сказать, са-мо-дер-жавное. Сам себе голова, и канцелярии... хе-хе... никакой.

Я устал от Горецкого и обрадовался, когда он стал уходить. Но, тут же устыдясь, что тягостен мне этот последний родной человек, я сам вызвался его проводить.

Идя обратно, вовлекся я в общий поток и со всеми попал на эту роковую для меня площадь Урицкого. Не-

---

[1] Честное слово *(фр.)*.

сметная толпа народу в образцовой тишине и порядке слушала речи высоко на трибуну взошедших ораторов. А когда вознесли и развернули пурпурное знамя, грянул из тысячи уст «Интернационал».

Что действительно видел я и что мне пригрезилось? Не на этой ли самой площади, неотделимый от слова «Россия», казалось, навеки, мощно звучал иной гимн? И давно ль это было? По времени — краткое пятилетие, по пережитому — века. И вот таким же неотъемлемым от страны стал «Интернационал».

Девочки вернулись веселые, с гостинцами, а Иван Потапыч явно выпивши.

— Угостили кооператоры пивом, не по-товарищески отказаться,— объяснил он свое состояние.

Снимая свои новые значки, Иван Потапыч, желая праздник Первого мая утвердить в домашнем быту, крикнул громко, как на улице: «Да здравствует красный пролетариат!» Затем, облекшись в халат и позевывая, нимало не шутя, спросил у девочек:

— А долго ли протянутся царские дни?

Младшая, Сашенька, с досадой сказала:

— Вот еще выдумал: про-тянутся! Завтра же уроки.

Революция решительно стала бытом. И как скоро! Дольше зарастает молодняком старый, с корнем выкорчеванный лес. Отстоялись и становятся милыми новые формы. Из-за чего же, спрашивается, из-за чего столь бесславно погиб Михаил, а я дожил? Не я ведь, а он хотел этих форм.

От солнечного ли дня, от музыки ль и чужой бодрости, но утих мой ревматизм. Когда наутро все ушли, я, как назначено, сел за тетрадь. На чем же я остановился в повести о Михаиле? Да, на письме, данном Верой с такой уверенностью в передаче...

Я не передал этого письма. Оно и сейчас со мною.

Письмо это — моя улика, мое сокровище, мой позор и оправдание. Выцветшее от времени, со следами горьких слез, оно пусть пойдет со мной в могилу.

Как же это вышло, что такого важного письма для судьбы Веры и Михаила я не отдал?

Как и всегда в таких случаях, моя злая воля как бы создала и благоприятные к тому обстоятельства. Вернулся я из отпуска в срок, а Михаила все не было. Оказывается, он днем просрочил, в оправдание чему пред-

ставил медицинское свидетельство, которому, разумеется, никто не доверял, но по форме так водилось.

Я же, к своему удивлению, оказался вдруг настолько больным от всего мною пережитого, что вечером, за всенощной, упал в обморок и, будучи отнесен в лазарет, оказался в нервической лихорадке. Когда меня раздевал служитель, письмо Веры, хранимое на груди, я успел сунуть в ящик больничного столика и впал в трехдневное беспамятство.

Первое дело, когда я очнулся, было проверить, тут ли письмо, и еще сохраннее спрятать его в ящик под разными туалетными мелочами. Через неделю ко мне пустили товарищей, пришедших меня проведать; между ними был и Михаил. Это было — навсегда помню — первое мая. Оставшись один, он спросил: что случилось в Лагутине и есть ли ему письмо? Я молчал, как бы собираясь с силами, а у самого молнией пронеслось в голове: если скажу, что побег не удался, он найдет способ подвигнуть Веру на поступки чрезвычайные, а я сейчас распростерт и бессилен охранить ее. И, притворяясь более больным, нежели был, я сказал ему:

— Я подробнее расскажу все позднее. Особенного ничего не случилось. Вера пока у себя в имении, на днях же тебе вышлет письмо, а со мной не успела; я уехал внезапно по вызову тетки.

Так велико было невнимание Михаила к моей личности, что, приняв меня однажды за готовую схему, он себе не дал труда всмотреться в меня как в живого человека.

— Нет письма,— сказал я.

Вот оно — и сейчас тут! Голубоватый конверт, вложенный в большой полотняный, прочнейшего качества. И Михаил, и Вера истлели, даже вещи Михаила, пробывшие, как и он, в заключении двадцать один год, по донесению коменданта пришли в ветхость и по его предписанию были уничтожены сожжением в присутствии двух жандармских офицеров, а письмо это цело.

Не отдав письма, я решил окончательно не говорить всей истины, и, выйдя из лазарета, в единственном разговоре, которым меня Михаил удостоил, я был уклончив, отзывался неведением, пребыванием на охоте.

Между тем был конец мая, день производства в офицеры близился. День этот для каждого юнкера — не-

обычайное торжество и в некотором смысле единственный, неповторяемый день в биографии.

Впоследствии, для военного, многие дни могли быть счастливее и торжественнее, как, например, получение за храбрость Георгия; но более разительному психологическому переходу из одного состояния в другое — не повториться.

Производство — это как бы посвящение в рыцари. Вместе с погонами офицера вчерашний юнкер должен был спешно усвоить себе целый курс особой офицерской тактики и знания законов офицерской чести, прав и обязанностей. Этот сложный кодекс был своеобразен и часто прямо противоречил кодексу общечеловеческому.

Этот наш особый уклад был не однажды описан писателями, и я упоминаю о нем лишь потому, что столько лет был он мне как цыпленку скорлупа, охватывающая все, что необходимо для его питания и роста. Но цыпленок, коль скоро он разбил скорлупу, уже на ногах. Я же из разбитых осколков не знаю, куда мне ступить.

На производстве был государь. Он нас поздравлял и целовал фельдфебеля и портупеев. Я обратил внимание на то, что Михаил, смертельно бледный, не сводил горящих взоров с царя. Он был портупей-юнкер. Когда государь слушал рапорт фельдфебеля, он встретился глазами с Михаилом. Я видел: что-то дрогнуло в его лице; он его узнал. Царь повернулся и заговорил с Адлербергом. Я потом узнал от его племянника, моего товарища, что царь спросил: «Кто этот юнкер?» Услыхав фамилию, как бы боясь забыть, он повторил ее дважды: «Бейдеман, Бейдеман». Потом прибавил: «Пренеприятное лицо!»

Михаил вынул носовой платок и, приложив его, как бы удерживая внезапное кровотечение, вышел. Он не хотел принять поцелуя.

Когда прошли мы в столовую на парадный обед с военной музыкой, не утерпел я и сказал Михаилу:

— Что это ты, при общей радости, как некий Мельмот-скиталец, таящий зловещую тайну?

— Не всегда будет тайной, дай срок; но зловещей кое для кого останется!

И вдруг, приблизившись, он быстро спросил:

— А ты мне правду сказал, было мне письмо от Веры?

И второй раз я постыдно солгал, опуская глаза:

— Да, карандашом были две строчки, даже незапечатанные, но, прости меня, в болезни я его потерял и по слабости не мог признаться. Но я рассказал тебе все, что знал, и, если б захотел, ты бы мог действовать.

— Со связанными руками?— в бешенстве прохрипел он.— Но знай, однако, если письмо не потеряно, а ты мне солгал и от этой лжи пострадает наше с Верой дело, я убью тебя.

— Предлагаю хоть завтра дуэль,— сказал я.

Мы не могли оторваться друг от друга. Михаил опомнился первым.

— Прости!— сказал он.— У меня порой чувство, что ты мне будешь причиной великой беды. А на дуэли драться не стану. Моя жизнь нужна делу.

Я был почти счастлив. Михаил стал меня замечать. Дивно устроена природа всех склонных к художествам! Я понял, что не только Вера, а и сам Михаил мне, пожалуй, не менее дорог.

Осмелев, я спросил:

— Ну, а если затронут твою честь офицера, ты и тогда не пойдешь на дуэль?

Он сказал задумчиво:

— Моя честь — честь человека, а не офицера.

— Тогда ты не сможешь и месяц прожить в полку!

— А кто тебе сказал, что я там собираюсь жить?

Под вечер из залы собрания, где предполагалось изрядное вспрыскивание производства, я был вызван вестовым, который сообщил мне, что меня дожидается пришедший с письмом нижний чин, никому не известный. Я вышел в переднюю, и немалым было мое изумление: передо мною стоял Петр, муж красивой Марфы. Хотя смотрел он очень бодро и вытянул руки по швам со столичной выправкой, в моем воображении встало лицо его, тогда на конюшне, мертвенно бледное, и ужасная спина: вся иссеченная, сине-багровая. И потому невольно первое, что я спросил его, было:

— Ну, как же ты, поправился?

— Да, с недельку валялся, вашбродь, а потом лоб забрили и сюда, в гвардию. От барышни нашей два письма — к вам и поручику Бейдеманову.

Михаил был у дверей; услыхав свою фамилию, он подошел, взглянул на Петра, вмиг узнал его, вспыхнул,

потом побледнел, молча протянул руку за письмом Веры.

— Когда поручик Русанин тебя отпустит, найди меня в библиотеке,— и он спешно ушел.

Петр рассказал мне, что Вера вышла замуж за князя Нельского. Марфа, которую Вера выпросила у отца себе в дар в счет приданого, тоже прислала весточку, где говорит, что молодые собираются за границу, куда хотят взять и ее.

Я не верил ушам, переспрашивал много раз, но Петр подробнее не мог рассказать. Его скоро отправили в полк. Впрочем, он утверждал, что Вера спокойна.

С князем, который женихом приезжал очень часто, охотно и подолгу они все о чем-то говорили, гуляя по темным аллеям сада.

В письме Вера прежде всего настойчиво просила меня взять Петра в денщики. Потом она кратко упоминала о том, что вышла за князя Нельского потому, что он оказался ей неоценимым другом. Скоро они действительно едут за границу, через Петербург, где Вера надеется меня видеть. Затем следовали ласковые слова, от которых я давно отвык, с повторением просьбы о Петре. Я обещал ему немедленно начать хлопоты и провел его в библиотеку к Михаилу. Скоро из дверей они вышли оба, причем у Михаила был такой ликующий вид, будто вовсе не князь Нельский, а сам он женился на Вере.

— Прощай, Русанин!— сказал он мне.— Я на попойке не буду, у меня времени в обрез. Сегодня же я должен ехать в Лесное, меня матушка не дождется. А тебе на прощанье два слова...

Он вспыхнул и остро мне глянул в глаза:

— Ты мне солгал, от Веры письмо ко мне было. И далеко не в две строчки. Но хорошо то, что хорошо кончается. А сейчас для нашего общего дела вышло так, как лучше нельзя и придумать.

— Для дела...— начал я и запнулся, не докончив мысли, что сама, значит, Вера ни на что ему не нужна. Впрочем, я был этим счастлив. Этот фанатик, очевидно, любил только мгновением: не сам ли он признавался Вере, что женщине не принадлежит в его жизни решающая роль? Не сам ли он намекал на трагический случай, что любимую чуть не убил, едва она взяла над ним власть?.. Впрочем, может быть, он рисовался и сочинял... Однако я тогда же спохватился, что на лгуна он

совсем не похож, а изумительная соподчиненность наших двух судеб заставила меня своим опытом проверить и это его приключение. Но об этом много позднее...

Михаил своей легкой, стремительной походкой пошел к воротам по длинному плацу, облитому заходящим солнцем, пожаром зажигавшим все стекла кирпичных строений. Михаил шел в таком пламенном освещении, что дежурный, уже сильно подвыпивший, глянув в окно, крикнул вдруг: «Пожар, братцы!» — на что ему, не оборачиваясь, ответили: «Знай себе, заливай глотку!» — и хором грянули застольную.

А мне стало вдруг как-то особенно тяжко глядеть вслед высокой фигуре Михаила, сиротливо убегавшей вдаль среди нестерпимо сверкавших окон, в кровавом свете заката, что я, повинуясь вдруг неодолимому желанию остеречь его от чего-то, схватил фуражку и кинулся ему вслед...

Догнав Михаила, я сказал:

— Позволь, я провожу тебя до почтовой кареты, мне приятно пройтись.

— Что же, проводи,— отозвался он дружески.

Мы двигались молча. Так вдруг стало радостно, как было у нас в дни первых встреч и как давно уже не было. Мы дошли до Полицейского моста, где Михаилу надо было что-то купить. В это время поравнялся с нами шедший нам навстречу некто штатский средних лет, в бороде, не слишком хорошо одетый. Он был мне знаком, но сразу я не мог припомнить, где мог его видеть.

Пристально вглядываясь в Михаила, штатский сказал:

— Здравствуйте! Что же вы не зашли? А я ждал, что зайдете...

Это был Достоевский.

Меня он было совсем не заметил, но, спохватившись на мой поклон, с преувеличенной любезностью сказал:

— Вы, кажется, тогда вечером были также в салоне графини?

— Графиня Кушина — моя родная тетка,— глупо ответил я, чем-то словно задетый.

Михаил был, видимо, взволнован этой встречей и молчал.

— Господа,— сказал Достоевский,— зайдемте сейчас ко мне, не откладывая в долгий ящик, благо тут — рукой подать.

У Михаила до отхода почтовой кареты в Лесное было еще много времени, а мне предстояла попойка всю ночь, и начать ее часом раньше или позднее было мне безразлично. И мы оба пошли за Достоевским.

Когда мне впоследствии приходилось читать характеристику этого писателя и воспоминания о нем как о человеке, я был поражен той обыкновенностью, той бедностью наблюдения, какой отличаются люди. Они ловятся на маску, которую носит каждый мыслящий человек для удобства общения с себе подобными. Эту маску они принимают за лицо.

Мне пришлось вырасти в кругу, где видимость обманчива исключительно, где грубейшие по характеру люди и совершенные невежды в искусствах и науке обучались вести многочасовую салонную causerie [1], умело касаясь всего, и заставляли предполагать несказанным еще большее, между тем как сказанное ими было не более как та искусная театральная декорация с далекой перспективой, которая на самом-то деле заключается в небольшом куске картона и хитром расчете.

От этого опыта у меня выработалось совершенное пренебрежение, при серьезной оценке человека, к последней его работе, сделанной напоказ.

Должен сознаться, что из сочинений Достоевского я к тому времени не прочел ничего, и тем свежее и непринудительнее, как сейчас могу понять, было мое о нем впечатление. И всю жизнь мне чрезвычайно смешно, когда какой-нибудь недоношенный неврастеник со слезливыми чувствами воображает себя «под Достоевского».

Совсем обратными свойствами поразил меня этот писатель, когда я внимательно к нему присмотрелся.

У него в высшей степени было то качество, каким обладают очень немногие светские женщины, порой далеко не красавицы, но в них есть нечто большее, чем красота. В них очарование, бесспорно решающее чужую судьбу.

После знакомства с ними все впечатления, получаемые вне их сферы воздействия, бедны и бледны. Их присутствие подымает, множит все силы, как шампанское бьет в голову, обогащает.

---

[1] Беседу *(фр.)*.

Тайну подобного обаяния ученые люди, вероятно, когда-нибудь вскроют, как присутствие в ином организме усиленных токов жизни.

Воздействие Достоевского от присутствия в нем этого сгущенного эликсира жизни было так стремительно и беззаконно, как свет прожектора, вдруг вспыхнувший и сразу же охвативший своими лучами предмет.

Быть может, люди не художнического склада, а сильные волей и мыслью, нечувствительны к подобным воздействиям; но я шел за Достоевским в величайшем волнении, похожем на ту утрату внешних чувств, которая охватывала меня, к примеру сказать, в императорском Эрмитаже перед иной из любимых картин.

Глянув на Михаила, я заметил, что взволнован и он, но по-иному. Его мужественное лицо как-то сделалось жестче, он весь подобрался, поправил лядунку, передернул плечами, как перед смотром, и стал ступать круче, отчеканивая каждый шаг.

— А ведь вы уже офицеры,— улыбнулся Достоевский,— а тогда были еще юнкера. Полагается вспрыснуть. У меня, кстати, недурное вино. Угощу вас им в замечательной комнате. Я здесь временно у приятеля, который сам за границей, пока в моей квартире ремонт.

Мы поднялись в четвертый этаж. По каким-то темным и мало хорошего обещающим переходам подошли мы к ободранной двери. Достоевский пошел рядом в чулан, за бечевку вытащил, как рыбу, дверную ручку, вставил ее в отверстие двери, поворотил. Мы оказались в темной передней, заваленной подрамниками и дровами. При нашем появлении пискнули и прошли в угол две крысы.

Достоевский толкнул дверь, и мы вошли в удивительную комнату. Она была огромная и совершенно круглая. По внешней стороне, дугой огибающей проспект и канал с желто-зеленой водой, шли три больших окна. На одном, широко открытом, весь подоконник был в цветах благоухающего душистого горошка, как сейчас помню, одних лиловатых колеров. Этот первый план прекрасно совпадал с бесконечной перспективой на город. За нежными лиловыми цветами, как призрачное, возникало одно из чудес Растрелли — красный графский дворец. На фронтоне — две лисицы, взметенные на дыбы. В переменчивой игре заката они казались ожив-

шими. Конечно, я знал и названия пересекающихся улиц, и дома, но отсюда, с четвертого этажа, когда все окно охвачено пурпурно-золотым небом заката и все здания зыбки, я в этом городе чую острей гений строителей, и Петербург предстает мне нередко Италией.

Большой чаровник — час заката! Так однажды в Париже от Булонского леса я взволновался, как от овражков нашей скромной Смоленской губернии. Быть может, тоска эмигрантов по родине, во множестве там бродивших, мне навеяла это чувство.

Как бы отгадывая мои мысли, Достоевский нам указал на первые огоньки, задрожавшие в темных волнах канала, на длинную лодку под мостом и сказал:

— Ну, чем не Венеция! Впрочем, и действительность мечте не уступит. Лодку эту, полную глиняной самодельной посуды, привели из Череповца гончары. Уже раскупили. А вчера, под нежданно ярким солнцем, и наши горшки заиграли не хуже мозаики святого Марка... Однако присядемте, господа, и вспрыснем ваше новое звание.

Мы отошли от окна и сели на один из длиннейших диванов, которые шли по окружности вдоль стен, совпадая с их выгнутой линией. Диваны перемежались с книжными шкафами. Посреди не было ничего. Матовый паркет, давно не натертый, но чистый, будто для сказочной игры, причудливо разбросал свои прекрасно сбитые ромбы. Под потолком висела люстра, тоже круглая, византийского стиля, с цветными лампадами вместо свечей. Достоевский налил нам в рюмки отменной марсалы.

— Я, знаете, просто по-детски рад, что у меня хоть временно эта фантастическая комната,— начал было он, но Михаил вдруг, особенно волнуясь, его перебил:

— Мне помнится, в первой главе «Униженных и оскорбленных» вы говорите, что хотите себе квартиру особенную, не от жильцов, и хоть одну комнату, но непременно большую... Еще замечаете вы, что в тесной комнате и мыслям тесно, а вы любите, когда обдумываете свои повести, ходить взад и вперед по комнате...

— Откуда вы знаете? Романа еще нет в печати...

— Наш профессор Селин хранил как-то ваши рукописи, я его секретарь, он давал мне прочесть.

— Как же, Селин, свойственник Герцена, очень, очень помню его... Но, однако же, вы произнесли слово

в слово. Неужто так пристально читали меня? — удивился Достоевский.

— Мы, русские, иначе не умеем... все с головой. Я слышал, художник Иванов показался Штраусу сумасшедшим оттого, что его «Жизнь Иисуса» выучил от доски до доски и приставать вздумал к автору с такими вещами, о которых тот уж и думать забыл.

— Последнее вы предполагаете сделать со мной? — улыбнулся Достоевский.

— Вы угадали,— не улыбаясь ответно, сказал Михаил. Он стал очень серьезен.— Да, я именно пристально вас читал. И, мучась некоторыми мыслями относительно вас, я у вас же набрел на разгадку, на некое одно «кстати»...

— Любопытно, очень любопытно...

— Вы говорите, между прочим, следующее: «Кстати, мне всегда приятней было обдумывать мои сочинения и мечтать, как они у меня напишутся, чем в самом деле писать их». И спрашиваете тут же: отчего это?

— Ну-с, и вы мне хотите сказать, отчего?

— Увольте... Уж это пускай вам говорит ваша совесть...

Я с удивлением взглянул на Михаила. Он сказал фразу почти грубо и совершенно, по-моему, неуместно. Что же в том плохого, если кто мечту предпочитает словесному выражению? На мой взгляд, это даже поэтично, ибо мечта — бескорыстней всего.

Но Достоевский не удивился. Он склонил голову и внимательно, будто собираясь чему-то учиться, как бы с особым уважением слушал Михаила.

Насколько Достоевский поразил меня в салоне тетушки своей угловатостью, настолько сейчас я пленен был его внутренней обаятельной деликатностью, с которой пытался он как бы расправить судорожность волнения Михаила, которое, казалось, он до тонкости понимал.

— Отчего вы ко мне не пришли до сих пор? Ведь это же не случайность? Ведь вы не хотели прийти ко мне?

Достоевский так говорил, будто одну за другой снимал ненужные перегородки и входил в человека так же просто, как входят в сад, отворяя калитку.

— Конечно, вы мне не чужой,— не подымая глаз, сказал Михаил,— но для моего дела... для моего дела... вы самый жестокий, самый вредный человек.

Михаил выговаривал твердо. Он весь насторожился, как некто на бойнице, окруженный врагами, но не готовый к сдаче.

Волнение его, хотя совершенно мне непонятное, как, впрочем, и весь разговор, передалось и мне.

— Так я и думал про вас,— как бы одобрил Достоевский.

— «Записки из мертвого дома» все завершили, они окончательно оттолкнули меня от вас. Конечно, человек себе сам судья, и — как я уже вам сказал — ваша совесть пусть и знает... Но вот аналогия: насколько, по собственному вашему признанию, вам приятней мечтать, чем писать, иными словами — приятнее оставлять при себе, нежели закреплять для других, другим отдавать свое внутреннее богатство, настолько же... Ну, словом, и с живой жизнью у вас тот же сделан выбор...

И, вдруг вспыхнув, Михаил отрезал с невыразимой горечью:

— Подешевле вы обернулись! И это с тем, что вы знаете, с тем, что вы видели!

Михаил встал и, не в силах говорить, отошел к окну. Я, смущенный, смотрел на Достоевского. И вот не забыть мне лица его в ту минуту. Сквозь большую, какую-то могучую древнюю скорбь, которая не оставляла лица его и при веселой улыбке, ему свойственной, вдруг проступила такая сияющая, такая любовная радость.

Достоевский подошел к Михаилу, а я остался сидеть на диване, прикованный взорами к их почти силуэтным фигурам на все еще розовом фоне окна.

Михаил был в том своем аффекте, когда, сжигаемый диким огнем, он уже не видел перед собой никого. Как стреле, пущенной из сильного лука, ему уже было только вонзиться, а не свернуть с полета...

— Когда вы выходили из каторжного острога,— уже не сдерживаемый загремел его глухой и глубокий голос,— когда вы прощались с почернелыми бревенчатыми срубами казарм, где вы с такой мукой отсчитывали по палям забора дни заключения, да неужто только гением вашего художественного дара запомнили вы то, что оставляете там за собой, выходя на свободу? Я наизусть выучил этот кусок, вот он: «Сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил

погибло здесь даром! Ведь надо уже все сказать: этот народ — необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват?» И вы же, вы сами, еще раз с новой строки, для внимания читателя, еще переспрашиваете: «То-то, кто виноват?»

— Что же мне, по-вашему, надо было сделать? — очень тихо и бережно спросил Достоевский.

— Я знаю только, что́ надо делать нам.

— Кому это... нам?

— Нам, молодым! Молодые гибнут, не сходя с того места, где они увидели насилие. Им не передать устно свой опыт, им истратиться. Им лечь костьми! Когда были мученики за Христа, небось во вселенских соборах нужды не было... Против зла и насилия жизни был, есть и будет выбор один — добровольная *смерть* за свободу. Посудите: зачем же было мне к вам приходить? Вы ищете примирения, вы ищете выхода. А нашему делу нужны непреклонность и смерть. Прощайте...

Михаил пошел к двери, Достоевский взял его за руку.

— Постойте, я вам посвечу, в коридоре темно...

С разбитыми чувствами и ничего не понимающий, я безмолвно пошел вслед за Михаилом. Достоевский шел впереди со свечой. Свеча эта бросала дрожащий свет на ближайшие части стен и бессильна была разогнать ночные тени, сгущенные в многочисленных нишах, закоулках и пересечениях главного коридора. И как недавно Петербург из окна странной круглой комнаты мне вдруг почудился Италией, так сейчас эти чуть освещенные лестницы и переходы странного дома возродили во мне память о катакомбах, первых мучениках и гонителях.

Сейчас, когда передо мной лежат все события в их окончательном завершении, вижу ясно, сколь верное показание дали мне в тот вечер мои смущенные чувства. Поистине, как старший брат, давно принявший свой крест, светил «по пути узкому» Достоевский своему брату младшему — Михаилу.

А та круглая, необыкновенная комната, по справкам, мной о ней наведенным, от приятеля Достоевского очень

скоро перешла в руки к некоей мадам Флоранс. Этой даме служила она вплоть до революции общей залой для девиц и гостей ее легкомысленного, но доходного заведения.

ГЛАВА VII

ЛИПЫ В ЦВЕТУ

Разумеется, согласно письму Веры, о Петре я стал хлопотать немедленно и успешно. Мне удалось перевести его в нашу часть и взять к себе в денщики. Относительно прочих событий я был в решительном недоумении.

Радость Михаила по поводу брака Веры с князем обличала, что брак этот вышел какой-то ненастоящий. Подчеркивание Веры, что князь оказался неоценимым другом, указывало на какую-то особенность их отношений. Но поездка за границу? В том, что любовь Веры к Михаилу не прошла, я не сомневался нимало; как же с этим вязался ее отъезд? Ведь Михаил не мог ей сопутствовать. Как офицер, он по крайней мере года на три был прикован к месту своей службы.

Скоро все объяснилось. Михаил Бейдеман исчез. Напрасно ждали его в драгунский Орденский полк, к сроку он не явился. Старушка мать его, которую он уверил, что на короткое время едет в Финляндию, не имея о нем никаких известий, обратилась с просьбой о розыске своего сына к главному начальнику военно-учебных заведений, великому князю Михаилу Николаевичу.

Жестокий, как все фанатики, Бейдеман не думал ни о ком из людей, с ним связанных. Он не пожелал войти и в положение своей бедной матушки. Иначе как могло не прийти ему в голову то, что пришло бы всякому на его месте? Ведь детская ложь его при разлуке с ней, как потом оказалось — навеки, должна была обнаружиться уже через несколько дней и повергнуть ее в худшее из беспокойств. В его воле было это лишнее страданье от нее отклонить; его мать была особенная, мужественная женщина. Но он просто о ней не подумал, а сделал так, как ему было в данную минуту удобней.

А к Вере Михаил не поехал, чтобы не навлечь на нее подозрений и не помешать ее свободному выезду за гра-

ницу, где она должна была съехаться с ним в Италии. О переходе Михаила через границу губернатор города Куопио сделал донесение финляндскому генерал-губернатору, чему имеются документы. Восстановляю события по ним.

Михаил поздно вечером остановился в одной гостинице, где переменился с буфетчиком платьем, дав объяснение, что это нужно ему для того, чтобы наутро пойти на охоту. Но, уйдя утром, Михаил не вернулся совсем в гостиницу, а прошел пешком из Улеаборга в Торнео. Больше властям в то время ничего не было известно.

Я всей душой рвался повидать Веру и собирался просить краткий отпуск по делам своего Угорья, как вдруг от нее самой пришла мне эстафета с мольбой ехать немедленно, по особо важному случаю. Я приказал Петру укладываться. В это время мне доложили, что меня спрашивает пожилая дама. Это была мать Михаила.

Никогда не забуду я этой старушки. Михаил был ее последним, поздним сыном. Несколько с виду чопорная, немецкой складки, она, в черном платье и белоснежных рукавчиках, поражала столь редким в женщинах отсутствием всякой суеты. Казалось, вся жизнь ее протекала в большой внутренней глубине, и наружу вырывались только те немногие слова и движения, которые были необходимы, чтобы общаться с другими. При этом невыразимая доброта сияла в ее прекрасных, еще ярко-синих глазах. Это не было то ни к чему не обязывающее и неверное светское добродушие,— это была доброта настоящая, приходящая делом на помощь. Потому, вероятно, что-то строгое и наблюдающее было в ее манере слушать и смотреть.

Я сразу понял, что такой матери Михаил мог бы довериться. И еще понял я, глядя на нее, как мог у него самого сложиться такой страстный, глубокий характер, устремленный, как стрела, к одной цели.

Мать Бейдемана без всяких подходов и намеков изложила мне цель своего посещения.

— Я пришла просить вас съездить к Вере Эрастовне: предполагаю, что она больше всех знает о моем исчезнувшем сыне.

Я показал ей на мои чемоданы и дал Верину эстафету.

— Не замедлите же ко мне по приезде, я так буду ждать вас!

Я, разумеется, обещал и поцеловал руку ее с истинным чувством сына.

Как волновался я, садясь в высланный мне экипаж, чтобы ехать в усадьбу князя Нельского! Я рад был, что у меня в запасе целых четыре часа времени, чтобы собраться с мыслями. Впрочем, на душе у меня было легко. Я себя уверил, что случай так повернул мои оба поступка, что стали они Вере и Михаилу лишь «счастливым обстоятельством». Из-за переданного мною «Колокола» — столь опасной угрозы в руках отца — Вера пошла на какой-то условный брак с князем, не лишившим, по-видимому, ее свободы действий и чувства. А тем, что я утаил ее письмо, я только удержал Михаила от безумства. Сейчас они разлучены, и сама судьба заставит их проверить, точно ли им необходимо соединиться.

Тронутый скорбью прекрасной женщины, матери Бейдемана, и польщенный эстафетой Веры с немедленным вызовом приехать, я настроился на романтическое великодушие. К князю же я не ревновал.

Дорога шла полями вперемежку с березовыми рощами. Среди столетних могучих лип, от которых ветер принес медовое благоухание, вдруг вылепился своей белою колоннадой великолепный дом Лагутина.

Навещать старика у меня не было охоты, и я еще с почтовой станции приказал подвязать колокольчик, дабы унять его непрошеную ябеду и — как следствие — неизбежное дознание Мосеича о том, кто именно проехал, не засвидетельствовав своего почтения Эрасту Петровичу.

В полуверсте от дома я обратил внимание на черные балки и уцелевшие стропила, печальные останки сгоревшего гумна.

— Что это, пожар был? — спросил я ямщика.

— Свои подожгли, — отозвался он, — лагутинские мужики за барскую издевку над бабами.

И по просьбе моей он рассказал следующее:

— Как вводили у нас уставную грамоту, как пошли землемер да мировой посредник кружок обходить, мужики и кричат: «Не принимаем!» В тягле-то было семь-восемь десятин, а надел у нас в Красненском уезде вышел всего десятины в четыре: как не обидно! Недаром

княжецкие лагутинских мужиков вышучивали: «Бык у вас и мордой чужое ест и навоз на хозяйское стелет».

Вот начальство пришло, созвали сход и пошли нарезать. Честь честью промежили, землемер проверил вехи, а как развел астролябию — откуда ни возьмись брюхатая баба: легла на межу брюхом вверх, не дает углы мерить! Истошным воем воет. И горе с этой бабой и смех. Пуще всех лагутинский барин хохочет, карле своему подмигнул, у всех на глазах о чем-то шептались.

Ну, ладно, увели в тот раз бабу, отмерили землю. Указал землемер прочим, когда их черед.

А в следующий раз-то такое дело случилось! Да, не пройдет оно лагутинскому барину, забудет он себе потеху из мужицкого горя строить...

Мужик злобно умолк, но я поднес ему из дорожной бутылочки, и он продолжал:

— Пошел проклятый Мосеич от имени барина будто с добрым советом: пусть, дескать, все тяжелые бабы, сколь их есть, отовсюду сберутся да цепь протянуть не дадут. Брюхом вверх, как та, первая, пущай лягут, да беспременно чтоб голые... у той, вишь, толку не вышло, за то, что в одежде, кто же ее щупал? Может, чем и набилась. Ну, а брюхатых закон уважит. Ежели все гуськом лягут,— не пороть же их! Обязательно уважение сделают, и спасут бабы надел. И что скажете? Ведь поверили бабы. Которые мужики поумней, учить стали — так их чуть не в колья деревня. Чем ей темней, тем ей верней.

В назначенный день вышло начальство, глядь — сплошные брюхатые бабы, да — как нарочно — такая их прорва! Хохочет помещик, на гумно их зовет, поит для храбрости водкой.

Как изрядно охмелели, велел, чтоб разделись, да, как мать родила, к землемеру. А тут два человека уж цепь тянут; сами знаете, десять сажен цепь: воруй не воруй мужик колышки, землемер да начальники свое выберут.

Тянут цепь, а брюхатые бабы все как одна наземь хлоп — и завыли.

Ну, пороть их не пороли, однако жандармский полковник приказал всех, как были, в холодную. От давки, от драки, от перепуга две по ребеночку сбросили, одна в уме повредилась, а одна себя жизни лишила. Ведь им потом на деревне проходу не стало, засмеяли, что пороты, а эта — крутая, стерпеть не могла...

Ну, сейчас лагутинский барин держись! Мужик этой бабы не кто-либо, а Потап кривой, ему черт не брат, гляди — всех подымет!

— Ну, а княжеские мужики как, довольны?

— Про князя грех сказать, всяк похвалит, а как женился на лагутинской барышне, ровно отец родной стал. Всех своих он на волю отпустил, а кто не хотел от него уходить, тому такой нарез дал — сиди да панствуй.

Мне хотелось подробней узнать про Веру, но показались строения и службы, а за ними предстал и сам длинный княжеский дом. Он не похож был на дворец соседа, так как выстроен был крепостным архитектором для удобной, но непритязательной жизни.

На балконе, увитом жасмином и вьюнками, стояла сама Вера в белом кисейном платье. Мне показалось, будто она стала еще выше и красивей.

— Милый Сержик, я так вам рада!— сказала Вера.— И Глеб Федорович ждал вас.— Она указала на князя.

С князем мы расцеловались. Он, взяв меня под руку, провел в приготовленную мне комнату.

— Совершите ваш туалет, и потом милости просим рядом, в летнюю столовую.

О князе надо сказать особо два слова...

Конечно, вполне основательно утверждение, особенно настойчивое в современном взгляде на вещи, что каждый из нас — продукт той среды и действительной жизни, в которых он рожден и живет. Но позволю себе отметить, что иной человек, даже деятель, может существо свое не выражать вовсе или выразить превратно. Я знавал в юношестве людей, ныне давно отошедших, которые лет на пятьдесят опережали свой век, а посему в свое время годились на исполнения должностей лишь случайных и нимало для них не характерных. Так, собственный мой отец, человек большого философского ума, ненавидевший войну и весь ему современный государственный строй, всю жизнь принужден был отличаться на посту военного генерала. Также и дядюшка Юрий, страстный археолог, известный в Европе раскопками, занесен в историю завоевателем восточных земель благодаря одному блестящему военному действию, которое совершил он, по собственному признанию, не как военный, а как прирожденный азартнейший шахматист.

Князь Глеб Федорович принадлежал к таким людям. Внутреннее его содержание не соответствовало ни его званию, ни положению в свете. При тончайшей европейской образованности, он был из типа тех русских людей, которым ничего от жизни не надо. Сами же они, принимающие правой рукой подаяние, а левой его отдающие, легко и любовно идут по земле. В простонародье чаще всего такие люди в буквальном смысле странники; не ханжи-дармоеды, а те мудрые простецы, которых подсмотрели писатели наши Толстой и Тургенев.

Князь Глеб Федорович, если бы не тетушки и не бабушки — норовистые старухи, давно бы роздал все имения и с сумой пошел по лесам.

Большой ум, суждения совершенно свободные, без пристрастия, давали беседе его очарование неизъяснимое и убедительность совершенного бескорыстия.

Встретясь с Верой, он сразу угадал ее гордую независимость и, как потом оказалось, уж давно предлагал ей выйти за него замуж для снискания полнейшей свободы действия при значительных средствах.

При воспитанности и брезгливом нежелании «дразнить гусей», князь сумел сохранить всю видимость светского человека, не вызывая в свете ни особой к себе близости, ни раздражения. Но, женившись на Вере и встретив горячую действенную волю проводить сейчас в жизнь свои чувства, он с головой ушел в земельную реформу, чем вызвал ненависть своего тестя Лагутина.

Князь и Вера по своему усмотрению, к благополучию крестьян, в ущерб себе, принялись исправлять «Положение» и с родительской заботой создавали каждому тяглу наилучшие условия. Старик Лагутин перестал вовсе к ним ездить. В этот момент взаимного расхождения и, в частности, по его поводу я и был ими вызван.

На террасе, обвитой ярко-алыми турецкими бобами и вьюнками, кипел сверкающий самовар и дразнила аппетит румяная и сдобная снедь. Вера, отпустив девушек, хозяйничала сама.

Этот утренний свежий час среди двух лучших в мире людей, из которых она — моя единственная в жизни любовь, запомнился мне совершенной, нездешней красотой.

Пусть читатель простит мне сентименты. Этот час был как яблонный майский цвет, невзначай пропущенный жестокими парками в кровавую ткань наших трех жизней. Без этого часа у меня бы сейчас не было примирения со всем, что, как это видно из дальнейшего, не замедлило разразиться над нами.

Итак, два слова об этом утреннем часе. Почему же он так выделен мною и запомнился как счастливейший? И что вообще каждый из нас перед смертью может вспомнить как счастье? Не правда ли, это будет лишь то состояние, когда хоть на миг, а тебе удалось, разбив оковы собственной маленькой личности, как из душной канавы, вдруг выплыть в большое, под солнцем горячее море...

Бесчисленны в этом море струи. И чем ты мудрей, тем короче и чище твой путь. Однако, не осуждая, поверь, что и грязный подземный сток приводит туда же. Важно одно: хотя однажды, хотя на миг попасть в безбрежное море, над собой увидеть безбрежное небо. И где бы и в чем бы оно ни случилось, нет силы заставить тебя позабыть, что́ ты видел.

Я этот заветный мой час испытал в то утро, за незатейливым деревенским чаем.

Терраса была пронизана солнцем так сильно, что зеленые нежные листья дикого винограда изумрудами прикрывали яркие, будто чистая алая краска, цветы. Жужжали пчелы, неся к себе мед с отяжелевших хмельных старых лип, и текла внизу тихая синяя река.

Князь Глеб Федорович, склонившись ко мне лицом с особливо тонкою белою кожей, придававшей ему вид молодого, так и сиял большими добрыми глазами, объясняя мой вызов в связи с общим делом.

— У нас, видите ли, оказался естественный триумвират,— говорил он, отечески улыбаясь на Веру.— Я представляю собою казну и жизненный опыт. Михаил — яростную волю, Вера Эрастовна — умное сердце, по прекрасному слову поэта. Эти три фактора неизбежны, чтобы воплотить и провести в действие новые, лучшие формы жизни. Да что говорить по-журнальному: мы хотим попросту создать мужикам, перед которыми грешили столетиями, возможность свободной человеческой жизни...

Тут Вера взяла меня за руку и сказала с сестринской лаской:

— А вы, Сержик, избраны нами посредником между старым миром и новым. Для начала поезжайте-ка к батюшке в гости и убедите его отписать хутор и хоть пятьсот десятин Линученку в собственность. Он все еще дарственной не дал, а это крайне важно для нашего дела, чтоб Линученко был хозяином на своей земле и такой низкий человек, как управляющий Мосеич, не имел бы над ним своей воли.

— Какое же Линученко имеет отношение к вашему делу и в чем самое это дело?— спросил я.

— Я подробно вам рассказать не могу, это могло бы вас только смутить. Но у вас сердце, способное чуять прекрасное, доверьтесь только ему. Мы трое: князь Глеб Федорович, Михаил и я, хотим нашей рабской родине свободы, и за это дело мы готовы на смерть.

Вера встала. Воздушная от своих белых кисейных одежд, она быстрой походкой прошлась раза два по террасе и стала передо мной. Ветерок развевал ее мелкие кудри, выбившиеся из-под ровных светлых кос, положенных, как обычно, вокруг головы.

Глядя такими же сияющими, как у князя, властными серыми глазами мне в самую глубину души, Вера взяла мои обе руки в свои, и, как говорят слова любви, она еще раз сказала:

— Мы готовы на смерть. Но у вас, Серж, своя жизнь, свои цели. От вас мы только просим доверия. Помогите нам выполнить наше дело, ни в какую опасность мы насильно вас не вовлечем...

— Вера, я рад за вас отдать жизнь...— сказал я.

— Но мне от вас нужно больше, чем это,— сказала Вера торжественно и серьезно. Она села со мной рядом, не выпуская моих рук из своих.— Мне надо, чтобы вы, помимо самого себя, помогли вовсе не мне, а, по доверию ко мне, одному нашему делу.

Я понял ее. Да, она просила большего, чем жизнь. Я должен был, ненавидя их политические идеи, помогать им по чувству к ней, не допускавшему и мысли, что такая, как она, избрать может злое. Читатель, я понял темный текст: «Несть больше любви, аще кто положит душу...» Обычно понимают здесь добровольную смерть за что-либо. Но сказано ясно: не жизнь, а душу.

И сколько коварства в том, что для достижения полной свободы от себя самого является предательство себя же!

Но Вера смотрела в глубину моих мыслей, и побелевшие губы ее еще раз, как вздох любви, прошептали:

— Мы, Серж, обреченные...

Я не выдержал и повлекся за ней, в ее сверкающее море без берегов, с синеющим небом без края. Я сказал:

— Жизнь моя в помощь вам!

Поцеловала меня Вера, поцеловал меня князь Глеб Федорович.

Затем за чашкой душистого чая, обвеянные медовым запахом липы, мы повели деловые разговоры. Михаила здесь не было, после производства этого требовала осторожность. Сейчас, устроившись с крестьянами и добившись укрепления за Линученком хутора, они оба, Вера и князь, едут за границу, где в Италии встретятся с Михаилом. Хутор Линученка будет русским центром кружка. Сюда же приходить будут письма Веры ко мне. Подробности обещали мне рассказать вечером, а сейчас торопили ехать в Лагутино, пока старику не донесли, что я проехал мимо него, и он от этого не пришел в раздражение.

Предстояло мне пробудить в Эрасте Петровиче родственную жалость к Линученку, который привез из Крыма все еще больную жену. Он хотел бы немедленно отвезти ее на хутор, но больше, чем когда-либо, тяготился зависимым положением и не хотел подчиняться Мосеичу. Настаивать надо было на дарственной.

Ни одной сопротивляющейся мысли уже не было в моей голове. Со всей страстью своих двадцати лет я был охвачен романтическим пылом юного Вертера отдать рыцарски свою жизнь, и в тот миг даже не только за Веру, а за князя, и за Михаила, и за оскорбленных всего мира...

Но эта идиллия, хотя мне ее и хватило, чтобы помнить всю жизнь, продолжалась не долее часу.

Вдруг к крыльцу подъехал на взмыленной лошади нарочный и, не слезая, крикнул, что взбунтовавшиеся мужики собрались поджечь лагутинский дом.

— Где мой отец? — спросила Вера.

— Барин вырвался и на жеребце ускакал к мельнице. Если там нет засады — уйдет. А Карлу Мосеича со старостой заперли в кладовой, где порох для фейерверков; как подожгут — крышка!

— Седлать вороного! — приказал князь.

Я попросил дать лошадь и мне, а Вера настояла запрячь шарабан, куда она села вместе с Марфой. Мы с князем решили взять разные пути: я на мельницу, он к усадьбе, куда приедет Вера.

О, сколь превратны и непрочны дни нашей жизни! Бывало, в Неаполе, взбираясь верхом на Везувий, как бы усеянный лиловыми осколками разбитых аспидных досок, сколько раз я дивился детской беспечности поселян, чуть не на кратере насадивших свои виноградники. Больших извержений не ждут, а в случае беды надеются,— как надеялись и те, древние,— поспеть убежать.

Но куда убежать человеку, если, как сказано у Будды, ты рвешь цветок, а князь Мара, злой, уже спрятал ядовитую змею под цветком?

Давно ль мы сидели на террасе все трое? И вот уже я на вспененном коне лечу к мельнице, чтобы предупредить преступление. Увы, я опоздал!

Пьяная орава с топорами и с длинными заостренными кольями тесно охраняла двух рыжих парней, чинивших расправу. Парни подымали какую-то громаду без рук и без ног высоко над головами.

Это было перед самой мельницей, пущенной во весь ход. Вода в этом месте отменно глубока, и желтая пена бьет там и крутится, словно кипит. Не успев хорошенько разглядеть, я издали угадал, что громада без рук и без ног — связанный старый Лагутин и что сейчас его бросят под мельницу. Я выстрелил в воздух, желая остановить самосуд, и круче пришпорил коня. Но конь мой внезапно шарахнулся, захрапев: на дороге лежало мертвое тело. Я вылетел из седла и, ударившись головой, потерял сознание.

Впоследствии я узнал, что труп, испугавший мою лошадь, был лагутинский мужик Потап, застреленный Эрастом Петровичем. Потап вызвал припадок бешенства у старика своей гневной речью в защиту обиженных баб. Когда он грозил отомстить за смерть жены, Лагутин уложил его выстрелом.

Это толкнуло крестьян ко всему происшедшему. Лагутина тут же связали вожжами, и, пока я был от падения в беспамятстве, они его бросили под мельницу в реку.

Меня же обезоружили и заперли в амбар. Всю ночь пролежал я там в смертном ужасе за Веру. Экзекуционный отряд казаков, вызванный еще накануне из города

покойным Лагутиным, узнавшим от Мосеича, что крестьяне затеяли бунт, освободил меня только утром. От казаков я узнал, что князь Глеб Федорович погиб на пожаре, пытаясь спасти старую няню Архиповну, со страху забившуюся в свою клеть. От Мосеича и старосты, погребенных под обломками крыши, не нашли и костей. Вера, живая и невредимая, укрылась у няниной дочки.

Не в состоянии сознать всего происшедшего, я, однако, понял ясно одно: судьба развязала все узлы в жизни Веры и Михаила, так или иначе завязанные при моем содействии.

В лице старика Лагутина выбыл из строя единственный враг Михаила, облеченный властью, который мог бы ему повредить в случае возвращения из-за границы и соединения его с Верой. Вера, оставшись сиротой, являлась обладательницей громадного состояния, и отныне ничто не стояло препятствием к широкому развитию их общего дела.

Мне же, выбитому ими из прочности моего былого уклада и не приставшему к ихнему, лучше всего было бы сейчас умереть. Насильственная смерть сообщников как бы восстанавливала былую незапятнанность моей совести, и, погружаясь от слабости вновь в глубокий обморок, я почти радостно подумал, что это конец. И было бы много лучше, если бы я не ошибся.

ГЛАВА VIII

ИЗ ДРЕВНИХ ФИВ В ЕГИПТЕ...

Когда Вера оправилась, я привез ее вместе с Марфой в столицу прямо к матери Бейдемана, которой обо всем происшедшем я написал. Старушка встретила нас как родных, отвела Вере чистую, как сама, слегка чопорную комнату и обласкала всячески. Тут узнала она про условленную встречу с Михаилом в Италии и все то, о чем в те поры не только писать было нельзя, но и говорить шепотом.

Удивительная была эта старушка: при чрезвычайной любви к сыну, у нее вера к нему и уважение были еще больше любви. В политических делах она разбиралась плохо, воспитана была, как и все женщины дворянско-помещичьей среды, конечно, в понятиях старого монар-

хизма. Но она как-то умудрилась, оставаясь тем, чем была, совершенно не пугаться и не противоречить убеждениям сына.

Впрочем, она почти не задавала вопросов, она только страстно желала вестей, и вести пришли.

Приехал с юга художник Линученко с женою. Он от каких-то таинственных передатчиков привез письмо Михаила. Бейдеман писал восторженно о Гарибальди, о том, как вместе с «тысячью» вступил он в Неаполь. Но прибавлял: Гарибальди находит, что Михаилу необходимо служить родной стране, а не чужой, и торопит его ехать в Лондон к Герцену, куда он и едет.

Вслед за этим получила письмо и Вера все тем же таинственным образом, через передачу Линученко. Михаил писал, что из газет он узнал о несчастье в Лагутине и, не ожидая Веру в Париже, сам приедет в Россию, тем более что этого требует дело.

В ожидании Михаила Вера прояснилась и стала заметно бодрей.

У нее из квартиры не выходил ненавистный мне Линученко. Он был какой-то весь острый, не сидел на месте, все будто что-то высматривал, сощуря зеленые узкие глазки. Он был широкоплеч и приземист, с черной волосатой головой, большим лбом, калмыцкими глазками и увесистым носом. Впрочем, когда говорил, лицо его было умно и значительно.

В его студии на Васильевском острове у меня вышла одна странная встреча с человеком, ставшим мне единственной поддержкой в страшные годы. И — будь жив этот человек,— не к священнику, а к нему пошел бы я разрешить мой последний вопрос перед смертью.

Но нет его. Умер Яков Степаныч, великий мудрец. Был он дворцовый лакей, выслуживший себе пенсию, которую всю целиком раздавал приходящей во множестве бедноте. Он слыл прозорливцем и на Васильевском острове, где жил, был очень известен. Обладая особыми связями и влиянием, он был для некоторых планов нужен Линученку.

Старик же до странности любил этого человека и часто к нему заходил. Я как-то пошел провожать Веру на остров; она затащила меня в рисовальную студию, где, по просьбе Линученка, позировал этот вот Яков Степаныч.

Студия — огромная комната, вдоль и поперек перерезанная хитрой системой веревок, как на дешевых квартирах общий чердак. Это все измышления Линученка для лучшего изучения анатомии.

Одни веревки болтались качелями, другие — туго натянуты, тронуть их — загудят. От потолка, привязанный к крюку лампы, спускался вниз толстый канат и, как змея, уползал по полу в не освещенный лампой угол.

— Мне инквизиция вспоминается,— сказал я, смеясь, Линученку.

— Дворники, хотя о таковой и не слыхали, и те пугаются,— отвечал он.— Ничего, живьем выпускаем. На этой дыбе как руки вывернем,— он указал на ламповый крюк,— мускулы все наперечет... Впрочем, Якова Степаныча мы не пытаем, он вольно сидит.

— Сижу да на них гляжу, что так невеселы,— сказал, указывая на меня, Яков Степаныч, небольшой старичок, чистенько одетый, весь пушистый и седенький, в ласковых тонких морщинах. Я удивился, как он мог угадать, что мне плохо; по виду это не могло быть заметно. Я только что весело смеялся, но на душе у меня было томительно и мертво, как перед обмороком или тяжкой болезнью. Пустая вычеркнутая душа, пуды на руках, словно вериги, так и клонило к земле. Вот бы лечь и лежать.

Я запутался. Из-за любви к Вере я вовлекся во враждебные моему чувству знакомства и не мог, как старушка мать Михаила, соединять безотчетно несоединимое. Со дня на день нервы мои разбивались, я боялся, что, перестав собой владеть, я обнаружу себя перед Верой и мне придется от нее отойти. Но это равно было смерти, и, скрепясь, я носил маску смирного парня.

А старичок Яков Степаныч, улучив минуту, когда Линученко занялся с другим художником разговором, а ему предложил отдохнуть, мелко прошагал ко мне и, щурясь в улыбку, сказал:

— Не тоскуй, чадо, выдержи! Перво-наперво без имени рождается человек и не ведает, есть ли у него душа: пробует так и этак ее переступить — ан границы-то и нащупает. А как перетерпит много мигов смерти духовной да выйдет из нее победителем, нарекается именем и приобщается на свой страх к великой работе, к тяготам земным. На огне, чай, кирпич обжигают.

— А в случае, лопнет кирпич на огне? — улыбаясь, спросил я в тон старику.

— А не вынесешь дух тления, отступишься сам от себя: управляй, дескать, мною, кто хочет, только покой дай, — ты свою жизнь, родимый, предашь. Хоть по облику — как все люди, на самом-то деле впустую, негодною шелухою, проболтаешься на земле. Ведь про это сказано: нельзя талант в землю зарыть, — а ты думал?

— Я думаю совсем про другие вещи, — засмеялся я.

— Ну, гордись, пока можешь, гордись, — улыбнулся старик. — А вот адресок ты запомни: Семнадцатая линия, в третьем дворе...

И он дважды повторил номер дома, так настойчиво, что я нехотя запомнил. И когда пробил мой час, по этому номеру я пошел. Но это случилось много-много позднеей; сейчас я от старика отмахнулся и стал смотреть на художников.

Их было пять-шесть и две девушки, все ученики Академии, знакомые Линученка.

— Отчего не рисуем? — спросил один, длинный.

— Сейчас придут еще трое, — ответил Линученко, — они зашли к профессору холст Джорджоне смотреть.

Рисовать Якова Степаныча в этот день не пришлось. Только уселись, как раздался в дверь стук. Косматый Бикарюк, товарищ Линученка, вошел, как-то ежась в своем не по росту коротком пальто. За ним Машенька, жена его, и какой-то небольшого роста художник. Глаза Машеньки были заплаканы.

— Аль не солоно хлебавши? — спросил Линученко. — Картина оказалась брехня?

— Джорджоне и есть, — отозвался хмурый Бикарюк, — на толкучке профессор нашел. Кому кривая везет, тот и в навозе перлы отроет. Да к черту его... с Кривцовым неладно.

— С Кривцовым? — Линученко побледнел и, шагнув к Якову Степанычу, сказал: — Сегодня рисовать мы не будем.

— Кривцов повесился, — словно пролаял Бикарюк.

Все молчали. Вера смотрела такими глазами, будто кого умоляла сказать, что это неправда. Машенька и другие ученицы заплакали.

— Кривцов из своей деревни письмо получил, что отца его насмерть засекли. Они ведь из Казанской губернии, крепостные; наш два года как выкуплен. По

приговору отцу тысячу всыпали, а сердце слабое, старый и не выдержал. У Кривцова письмо от дьякона в кармане нашли, сегодня только и пришло. Сгоряча это он... А к последней картине он билет привесил: «Проклятие деспоту, проклятие рабской стране!» Вот он, я снял. Увидели бы, сестру арестовали бы. Она еще не знает, мы первые пошли.

Линученко тяжело ходил по комнате. Все сжались и умолкли. Было темно, но забыли о лампе. Большая, странно плоская луна со светлого северного неба спустилась совсем близко за самым окном. На окне косматый, скрюченный Бикарюк, с выдающейся вперед путаной бородой, зачернел космами длинных волос, как какой-то Иуда, на редком переплете ветвей.

Он хрипло от волнения сказал:

— А какую картину Кривцов не окончил! Гопак наш, украинский. Да, у него это тебе не хата с подсолнухом и дурнем вприсядку — вся Украина как есть! Эх, большого художника погубили!

— Мы погубили! Слышите, мы! — сказал, останавливаясь, Линученко. — Пока мы не решимся до капли крови отдать все силы, всю жизнь на борьбу с насилием — мы заодно с ними, с убийцами!

— Что же, нам с кистями и палитрою идти воевать?

— Есть состояние страны, когда ей не надо художников, а нужны одни лишь граждане. А гражданин найдет чем бороться. Все вы читали «Колокол» от пятнадцатого апреля, и разве не все вы согласны? Народ царем обманут! Крепостное право не отменено. Борьба против бесчестного правительства, кровавыми экзекуциями забивающего справедливые требования несчастных крестьян, обязательна каждому честному человеку. Наш товарищ был гениальный юноша, но он не вынес рабской смерти отца. Он умер, проклиная рабскую страну. Так принимайте проклятья и вы, пока остаетесь рабами. Кто со мной? — закричал Линученко. — Кружок Атаева зовет нас соединиться. Вместе мы вдвое сильнее. Друзья, пусть двинет нас хоть на один шаг вперед безвременная смерть Кривцова!

Бикарюк вскочил и, подойдя к Линученку, шепнул ему что-то на ухо.

— Не боюсь! — отмахнулся Линученко. — Лучше того, я сейчас и тебя самого выдам.

— Господа!— подошел он ко мне, стоявшему рядом с очень побледневшим, но спокойным Яковом Степанычем.— Товарищ мой сказал, что здесь есть чужие. Но вас, Яков Степаныч, я знаю давно и как отца почитаю,— он поклонился старику,— а вы, Сережа, хоть и военный, но Верин друг детства, вы...

— Я ручаюсь за Сережу, как за себя,— сказала, подходя, Вера.

Я был потрясен горестным событием с талантливейшим юношей, которого я знал лично; но отсюда до вовлечения в политический кружок, которому я никак не сочувствовал, было далеко. Я растерялся, не находя сразу мыслей и слов, чтобы сильно и раз навсегда отмежеваться от этих людей. Я уже отошел от Веры на середину комнаты, я хотел говорить, но сильный стук в дверь отвлек всеобщее внимание.

Когда вошедший опустил поднятый воротник штатского пальто и снял фуражку, какую носили мелкие служащие, я обомлел. Предо мною стоял переодетый мой собственный денщик Петр. Удивление мое возросло, когда Петр, в волнении не замечая меня, подошел к Линученку, как равный знакомый. Назвав его по имени и отчеству, он что-то стал говорить. Но вот он узнал меня, вздрогнул, как по заводу, взял руки по швам:

— Ваше благородие...

Кровь мне бросилась в голову. Мое достоинство офицера одержало верх над всеми чувствами:

— Как ты посмел...

Но Вера схватила меня за обе руки с необыкновенной силой и вне себя закричала:

— Ни слова дальше, или все кончено между нами! Здесь нет ни солдата, ни офицера. Петр — наш верный товарищ, он пострадал от произвола моего отца, и кто не друг Петру — мне враг.

Линученко отвел Веру:

— Успокойся, я все объясню.— Он подошел ко мне.— Петр принадлежит к нашему кружку, в который зовем мы и вас. Ваше дело — войти или нет, но предателем вы, конечно, не будете. Если вашему чувству военного претит это нарушение дисциплины, то у вас есть простой выход: подайте рапорт об отчислении Петра из ваших денщиков, хотя это, конечно, нашему делу и повредит. У Петра есть кум в Третьем отделении, он там служит сторожем и дает через Петра драгоценные по-

казания о политических заключенных, чем помогает нам облегчить их участь. Говорю это вам как человеку, чье благородство проверено и бесспорно. А теперь, Петр, какую же весть ты так поспешно принес?

Я был взбешен: как смел он говорить так назойливо о моем благородстве? Но, не в силах от волнения собрать свои мысли, я решил сегодня же письменно отказаться от всякого участия в делах кружка Линученка. Однако я забыл все на свете, когда Петр начал делать свое сообщение. Петр сказал:

— В пять часов вечера восемнадцатого августа с парохода, пришедшего из Выборга, был принят старшим адъютантом корпуса жандармов, капитаном Зарубиным, и помещен в арестантские номера при Третьем отделении Михаил Степанович Бейдеман!

Вера упала, не вскрикнув. Мы, положив ее на диван, кинулись приводить в чувство. Тем временем Линученко выспрашивал подробности: откуда привезли Бейдемана и что известно об его аресте?

Через кума Петр мог узнать только одно: арестовали Михаила в Финляндии, при переходе на русскую землю. При нем были найдены сущие пустяки: испорченный пистолет, перочинный нож и гребенка в футляре. Из Улеаборга он был доставлен в Выборг, а оттуда морем в Петербург.

По архивным изысканиям, из той книжки, что всюду со мной, я должен прибавить следующую пояснительную выдержку: «18 июля 1861 года, в северном финском приходе Рованиеми, Улеаборгской губернии, на станции Корво коронный ленсман Кокк обратил внимание на неизвестного человека. На вопрос ленсмана, кто он и что делает, он ответил, что он кузнец Степан Горюн из Олонецкой губернии, искал в Финляндии работу, но не нашел и возвращается домой через Архангельскую губернию. Паспорта у Степана Горюна не оказалось; ленсман задержал его и приказал приходскому сторожу доставить задержанного в Улеаборг в распоряжение губернатора. Здесь он был посажен в острог и двадцать шестого июля на допросе подтвердил показание, данное ленсману. Через четыре дня Степан Горюн попросил допроса и заявил, что его показания неверны, что он — поручик Михаил Бейдеман, в июле 1860 года переправился через границу у Торнео в Швецию, откуда в Германию, а теперь возвращается из-за границы!..

Об аресте Бейдемана было донесено великому князю, и он приказал препроводить его немедленно в III отделение».

Веру Линученки оставили у себя. У нее сделался бред, пришлось вызвать доктора. Я стал искать моего денщика Петра, но он исчез бесследно. Вместе с Яковом Степанычем, печальным и безмолвным, я вышел из студии.

Прощаясь, Яков Степаныч сказал мне еще раз:

— Запомните, батюшка, мой адресок. Вы — сирота, а сироте совет нужен!

Он сказал деловито, как дают справку, и, поклонившись, пошел. Глядя ему вслед, я, помню, подивился его нестариковской походке; он ступал легко и точно, не сгибая прямой спины, как будто не было на нем тяжкого груза лет.

Было поздно. Все та же огромная луна висела уже не в темном, а в сумеречном небе, и свод небесный над далеким Исаакием казался безвоздушным. Сфинксы, как утомленные тигрицы, смотрели друг в друга, и в бесчисленный раз прочел я под ними: «Сфинкс из древних Фив в Египте перевезен в град святого Петра в 1832 году».

Запомнилась мне эта минута. Перед глазами за гранитом стены, тяжкая, ртутью свинцово катилась Нева. Чернели баржи. На другом берегу, в пустых глазницах бесчисленных окон, кое-где, как уцелевший зрачок, мигал огонь. Сзади огромная Академия художеств без статуи Минервы наверху, которую водрузили много позднее, казалась ближе, чем днем.

Я стоял смущенный, потерявший путеводную нить поведения и жизни. Честь офицера, достоинство дворянина, все привычные убеждения, моральные и государственные, вооружались, как на злейшего врага, на мои привязанности человека — безмерное чувство любви к Вере и верность дружбы к ее друзьям. А Петр? Что предпринять мне с ним? Как встретимся дома? Предерзостный обман его сношений с заговорщиками я всем существом ощущал как достойный одного: расстрела. А что дальше с Михаилом? Нельзя не предвидеть, что не кому иному, как мне, придется взять на себя все хлопоты об его освобождении, прибегнуть к связям тетеньки, молить Шувалова и Долгорукова, как родственных и хорошо мне знакомых людей, и о чем же? О даровании

свободы непримиримейшему врагу царя! И для чего же? Для лучшего и хитрейшего применения его силы к борьбе разрушительной...

Нет, это было слишком. Сохраняя ко мне хоть каплю уважения, они должны были больше щадить меня и, хотя бы хитростью, столь свойственной их поступкам, оградить меня от муки невыносимых двоящихся чувств.

Но я был для них лишь удобным механизмом. И как в паровую машину для действия паров кидают уголь, так, чтобы меня использовать, как им было надо, они играли на этом пресловутом моем благородстве.

Я сошел по ступенькам вниз. У воды было холодно. Тускло светились тяжкие волны. Я подумал: не лечь ли на них? Пусть понесут под этим серым сводом, пока не устанут, а там погружусь... И не повернут каменных голов, увенчанных тиарами, эти двое, что вывезены из древних Фив.

Но я вспомнил о Вере и, ежась от холода, пошел домой. Я знал, что буду ей нужен всю мою жизнь.

На этом самом месте в восемнадцатом году со мною еще раз случилось то же самое и в такой же час.

Я, одетый в свои лохмотья и уже ставший на линию подаяния, по одной своей старости не возбуждая подозрения, ходил днем и ночью по городу и смотрел...

И вот, в такой точно час, когда такой же тусклый шел свет от большой плоской луны, я видел, как бросился в Неву человек. От правого уха к ноздре у него в сумеречном освещении багровел длинный шрам. Я знал этот шрам... Еще бы мне не знать! Это был тот самый, от удара турецкой сабли, когда мы двое в безумном азарте проскочили вперед. Вдруг подоспели наши и взяли в плен авангард турок. За этот шрам капитану Алферову дан был Георгий...

Сейчас старый, негнущийся человек, он опять по-военному просто и смело отставлял себя сам от жизни. Я видел, как он поклонился по-русски на все четыре стороны, как разделся не спеша, как вошел в воду, как, отплыв, погрузился. Я его не окликнул. По-своему он был прав. Я сошел вниз по ступенькам. Свинцовые воды несыто ворчали, ударяясь подо мной о гранит. О, как тянуло меня в эту тяжкую глубину...

Но мысль о Вере остановила меня. Ей, давно уже покойной, я обязан обнародовать правду о многострадании Михаила и уж потом отойти.

Я вышел наверх. Чернела огромная Академия, опять — как в те годы — без возглавляющей статуи Минервы, которая в девяностых годах провалилась, разрушив потолок. Но сфинксы все так же таинственно и лениво смотрели друг на друга, и чернела под ними все та же надпись веков: «Из древних Фив в Египте».

ГЛАВА IX

ПОД КОЛПАКОМ

Перед тетушкиным особняком я был внезапно смущен. Вместе со мной подъехала карета, и в великолепных бобрах, легко выпрыгнув, граф Петр Андреевич Шувалов направился к дверям. Я, будто вдруг увлеченный витриной цветочного магазина, вплотную подался к большому цельному стеклу, которое украшало собою проспект рядом с последней полуколонной тетушкина дома.

Граф своим быстрым всевидящим оком увидал мой маневр и, улыбаясь почему-то с величайшим удовлетворением, подошел ко мне и сказал:

— Войдемте вместе к графине; что даром тревожить старого Калину?

Калина был тетушкин почтенный лакей, никому не уступавший своей привилегии открывания парадных дверей. Нередко жаловали к тетушке «особы», и первое им приветствие казалось Калине делом придворным, как бы по сану церемониймейстера двора.

Все было чрезвычайно естественно в манере графа, он только, казалось, был особенно в духе, и сейчас свойственный глазам его острый приметливый блеск был как бы притушен тонкой обходительностью великолепного красавца, не сознающего своей власти.

Непринужденно болтая, я внутренно трепетал. Меня пронизала внезапная и совершенная уверенность, что сейчас граф пришел к тетушке исключительно ради меня и боялся, что меня тут не будет.

Как человек, опустивший руку за билетиком и взявший шутя первый приз, он, при всей своей выдержке, не мог скрыть наплыв чисто животной доброты, которая бывает всегда при удаче без препятствий. Я раз сам наблюдал, как кошка, с размаху поймав мышь, очень миролюбиво уступила собаке кусок брошенного ей сала.

Не зная научно пределов сознания у животных, не могу решить, была ли то простая случайность или указанное мною чувство. Но в том, что поведение графа Петра Андреевича в эту незабвенную ночь было похоже на добродушие тигра, довольного удачной охотой, у меня есть, увы, слишком неопровержимое доказательство.

К сожалению, нас научили слишком доверять только фактам и логике, презирая, как романтическое наследие предков, остерегающие движения чувств. Будь я мудр, я бы послушался своей безотчетной тоски при виде мраморного лица с острым блеском глаз, повернулся и ушел бы домой. Но я не был мудр и пошел вслед за Шуваловым.

В салоне у тетушки было оживленней обычного. Вместо центральной персоны, которую тетушка подавала, как метрдотель отменное блюдо, шумела оживленная молодежь обоего пола. За отсутствием салонного «кита», гости разбились на естественные группы, в которых велись соответствующие их интересам беседы.

Вокруг круглого стола, в мягких креслах, царила тетушка, окруженная «своими». Тут были люди чиновные и темы моднейшие: предполагавшееся закрытие воскресных школ, беспорядок в университетах и пресловутый «женский вопрос».

— Я всей душой за графа Строганова,— сказала тетушка,— по мне, он один не врет, говоря, что высшее образование прилично давать лишь имущим дворянам. Какой-нибудь разночинец выскочит грамотней отца, да и пойдет перед ним руки в боки! А другой наберется ума да с голоду вздернется, как давеча в газете писали. Нет уж, кому как от бога положено — пусть так и живет.

— Как вам нравится мнение барона Корфа?— сказал тетушке старичок.— Он предлагает прежде всего университет сделать с отменой учебных классов...

— Вздор! Мы не дозрели, батюшка, до парламентской системы: коли без дубины на водопой пойдем, мы, как скот, покос вытопчем!— оборвала тетушка.

— Любопытна записка Ковалевского...— начал осторожно Шувалов своим обычным вопросительным тоном, ничем не выдавая собственного мнения, а сманивая каждого, как воробья на мякину, высказать свои мысли.

— Фант, фант! — закричали со всех сторон, подвигая Шувалову саксонскую вазу с звенящим серебром.

— За Ковалевского, батюшка, у меня нынче фант платят, — сказала тетушка, — целый час из-за него тут шел бой. Я вижу — дело жаркое, значит, для сироток овечку и можно постричь. Плати, батюшка Петр Андреевич, да больше не поминай его: навяз в зубах, как рахат-лукум греческий!

— Есть о чем и говорить, когда с ним решили вчистую! Назначены Строганов, Долгорукий и Панин, — вскипел быстренький старичок и сделал ручкой другому старичку, как бы сбивая головку одуванчика. — Ковалевский... по шапке!

— Плати, плати штраф! — Тетушка передвинула старичку вазу. Все смеялись.

Обыкновенно, по моему художественному расположению ко всякого рода игре, я восхищался, как ловкими конькобежцами, минующими глубокие проруби, этим легким салонным искусством, ничего не задевая глубоко, касаться всего, выводя, как по гладкому льду, сложнейшие словесные хитросплетения.

Но сегодня, оттого ли, что Михаил был заключен в III отделение, в совершенной власти человека, так непринужденно сидевшего против меня, эта светская беспечность была мне отвратительна.

— На Ковалевском заработано изрядно, — сказала тетушка, — Ну-ка, Мария Ивановна, теперь твой черед, садись на своего конька, только смотри, завлечешь разговор до Августина, двойной плати штраф.

У тетушки были старинные немецкие часы с боем и получасовой музыкальной фразой на мотив: «Mein lieber Augustin».

— Я не хочу сесть на конька, — сказала Марья Ивановна, улыбаясь, — я люблю по старинке, на целой тройке со всеми удобствами да полной хозяйкой. И себе я не вижу обиды от моего женского положения: как бабушки были домовитыми матерями, так и мне дай бог век скоротать.

— Да, ты баба толковая, все знаем; вот про дочку расскажи, — велела тетушка, почитая Марью Ивановну по отношению к себе девочкой, хотя той было за сорок.

— Точно, что с Любинькой мне горе; представьте — она художница. — Марья Ивановна покраснела, будто произнесла не вполне пристойную вещь. — Ну, порисо-

вала бы часик-другой, а то не угодно ли — целый день! А намедни — в слезы. Учитель безо всякой дурной мысли ей сказал: «Большое у вас дарование, только жаль, что вы не юноша». А она в амбицию: «Вы, кричит, китайскому посланнику небось не сказали бы, что он умный человек, да жаль, что косоглаз, а женщине смеете? Вон из моей комнаты!» А мне говорит: «Я, мама, барышней вовсе себя не чувствую, хочу жить как мужчина».

— Приведи свою Любиньку завтра ко мне,— сказала тетушка,— я про одного женишка ей скажу, замуж-то ей ведь пора.

— Феминистический бунт! — воскликнул европейский старичок.— Если бы женщины были разумнее, они бы не бунтовались. Ведь научно известно, что, в среднем, их мозг на много единиц легче мозга мужского. И разве была из них хоть одна гениальной? Хотя бы в литературе? Больше каши, чем Жорж Санд, не заварят, а и ту Шарль Бодлер звал коровой...

— A Jeanne d'Arc? [1],— сказала, краснея, самая пожилая из незамужних женщин.

— Жанна д'Арк не по времени. И к тому же, сударыня, нам Вольтер ее обезвредил. Подвиг ее и необычайность военного дарования возникли на почве... ну, как бы деликатнее сказать?..

— А ты промолчи...— тетушка погрозила пальчиком своему любимому старичку, великому мастеру на французские скабрезности.

— Словом, Jeanne d'Arc — не в пример женщинам, ибо она вовсе не женщина,— вставил небрежно Шувалов.

На что девица спросила:

— Но разве это возможно?

Все очень смеялись. Тетушка, в отличнейшем расположении духа, кричала:

— Еще штраф Петру Андреичу за то, что ввел красную девицу в краску!

Но скоро беседа стала серьезной. Кто-то привел статью Лескова из «Русской речи», и, хотя давно прозвонили часы и дважды сыграла их музыка «Августина», с этой темы гости сойти не могли. Начавшееся женское движение не на шутку взволновало отцов и ма-

[1] Жанна д'Арк.

терей, а примеры увлечения новыми идеями не в одной семье создали трагические противоположения.

Я неприметно отошел к окну, желая скрыть свое волнение. Модный женский вопрос ведь и мне был особенно близок. Ведь благодаря ему погибло счастье всей моей жизни и Вера увлеклась Михаилом...

На мою удачу известный говорун и светский художник вдруг объединил всю гостиную своими ловкими репликами. Он говорил с неприятной кудреватостью, но, как показалось мне, неглупые вещи.

Читатель, может быть, поражен, как могу я, вспоминая о такой решающей минуте моей жизни, о чем догадался он по началу этой главы, размениваться на подробнейшие воспоминания пустых разговоров? И является сомнение: точно ли я это все запомнил или же, замаскировавшись удобным предлогом, обманывая себя самого, удовлетворяю свою слишком поздно пробудившуюся писательскую жилку, компонуя какой-то светский журфикс?

Отвечу на вопрос вопросом. Разве не наблюдал читатель, как люди, перенесшие роковую утрату, искалечившую всю их жизнь, повествуя о ней другому, нарочито подолгу задерживаются на мельчайших вещах. Человек должен взывать к защите повседневности, чтобы иметь возможность перенесть то, что выше силы обычного человека.

Что же до памяти, как фотография, отпечатавшей все, что свершилось полвека тому назад, то ведь этой памяти стариковской, словно солнышку, уже безразлично, что́ малое, что́ большое. Однако разрешу себе еще немного подробностей, как приметных кусочков, которые врезаются в память человека, ведомого на казнь.

Вышеупомянутый светский художник и говорун был в бархатной куртке и жестикулировал.

— Разрешите посвятить вас в тайну искусства, где глубже, чем где-либо, вскрываются тайны мужчины и женщины,— обратился он к тетушке.

— Посвящай, батюшка,— сказала со свойственным ей юмором тетушка,— только помни: и статуе непристойно быть вовсе голой. Впрочем, в местах опасных переходи на французский.

— Надеюсь и по-русски миновать Сциллу с Харибдой. Но к делу; допустим, что я рисую Гермеса... Вы-

слеживая его крепкие, строгие мышцы, у меня чувство, будто я кую драгоценность. Когда проследишь и отметишь верно мускул, почти злое чувство расчета и логики, если смею так выразиться, ведет мой карандаш. Похоже: идешь над пропастью и собранной волей продвигаешь свой шаг.

— Кто это, кто?— зашептали тут и там.

— Талантливый parvenu [1], пенсионер графини.

Художник продолжал:

— Словом, mesdames, эти чувства — радость прицела, полет пули в мишень...

— Да ты нам о военной-то стрельбе не читай,— вставила тетушка.

— Терпенье, графиня, сейчас я перейду к Венере... Здесь я чую божественные формы уже не в линии, а в тенях: я вхожу будто по горло в синее теплое море, под чудным синим небом. Мне празднично, я слышу пасхальный перезвон... Mesdames, я купаюсь в Венере!

— Est-ce que c'est convenable? [2] — спросила Марья Ивановна.

Все рассмеялись.

— Плати штраф,— сказала тетушка,— ты зарапортовался.

— Позвольте, графиня, досказать до конца, и может быть, приговор общественный не будет столь жесток, как ваш.

И художник, как импровизатор, сделав театральный жест, продолжал:

— Если в художественном воспроизведении торсов мужского и женского такая разница в ощущениях, то, значит, тут глубокий закон, и нельзя в жизни путать оба начала или одному сбиваться на другое. Ну, да пусть мне дамы простят. Творчество не ихний, а наш удел. Венеру Милосскую и Медицейскую создал мужчина. Но, конечно, создал не из собственной головы, а любя без памяти какую-нибудь Аглаю или Клео. И вот оно, женское дело: вызывайте в нас любовь. Mesdames! Заставляйте нас творить прекрасные вещи, творить прекрасную жизнь!

Художнику аплодировали и мужчины и женщины, а тетушка сказала ему:

---

[1] Выскочка *(фр.)*.

[2] Разве это прилично? *(фр.)*.

— Молодец, но за купанье в Венере все равно клади штраф.

Мне стало очень тоскливо. Невольно я сравнивал, не к чести светского общества, пустозвонство здешних речей с глубиной, которую почувствовал я в неприятном мне кружке Веры. Но где же теперь мое место? Одинако отравленный противоположными влияниями, не осужден ли отныне я вечно стоять на распутье?

Ко мне подошел Шувалов. Он нет-нет, а поглядывал в мою сторону, словно стерег.

— Вы, как я замечаю, хотите уйти,— сказал он,— у меня те же намерения; исчезнем à l'anglaise [1],— не прощаясь.

Когда мы в передней одевались, у меня промелькнуло в уме: он позовет меня ехать с собой. И действительно, когда подали карету, Петр Андреевич сказал:

— Садитесь, у меня к вам разговор.

Боясь сделать промах, я молчал. Граф посмотрел на меня и сказал участливо:

— Вы совсем больны. Впрочем, не мудрено, у вас такое горе... Но я думаю, что могу вам очень помочь, если вы сами того захотите.

Я продолжал глупо молчать и напрягал всю свою энергию, чтобы догадаться, как мне себя с ним держать. На что намекает он, не называя? Неужто хочет, чтобы я невзначай вовлекся в разговор и выдал, что знаю, где Михаил? Но для ловушки это слишком просто и грубо. Мы подъехали к одному из лучших особняков и, минуя парадную лестницу, идущую вверх, прошли через коридор в какую-то дальнюю угловую комнату. В передней граф сказал швейцару, что у него спешное дело и гостям следует говорить, что его нет дома.

Комната, в которую мы вошли, была с очень глубокими небольшими окнами на Неву.

Прямо напротив сверкал длинный шпиц Петропавловской крепости, и вся она, с Трубецким бастионом и мысом треугольного равелина, была передо мной.

Кроме мягкого дивана вдоль стен, крытого каким-то летним, веселеньким ситцем, где чередовались птички и бабочки, не было ничего. На полу стояли ящики с упакованной в сено посудой, а в углу какая-то ломаная мебель. Комната была складочным местом.

---

[1] По-английски *(фр.)*.

— Прошу извинить, здесь весьма неказисто,— сказал граф, с удовольствием, как иностранец, преодолевший трудности языка, выговаривая слово «неказисто».— Но зато можно ручаться за нерушимость беседы. А беседа у нас, как вы сами отлично знаете,— первейшей важности.

Чтобы быть естественным, мне давно пора было воскликнуть, что я ровно ничего не понимаю, но горю желанием понять. Но я пропустил к тому все приличные сроки и сейчас, как откровеннейший дурак, стоял у подоконника. Я был в оцепенении, как заяц под взглядом удава.

Пустяк на окне привлек мое внимание: огромный стеклянный колпак, каким накрывается сыр, совсем пустой стоял на светло-желтом мраморе подоконника, и в нем, стукаясь то об одну стенку, то о другую, докучно жужжа, из последних сил билась синяя толстая муха.

— Отпустим мушку на волю!— Шувалов приподнял колпак и выхоленным тонким пальцем с длинным ногтем столкнул на пол обалдевшую муху. Потом он чуть улыбнулся и взял меня под руку:— Держу пари, милый поручик, что у вас сейчас промелькнула одна аналогия. Что, попал в цель?

Я вздрогнул и, фальшиво смеясь, подхватил:

— Не скрою, граф, вы действительно отгадали; но будьте великодушны, как с бедной мухой: освободите мой разум от дурацкого колпака. Я теряюсь в догадках, о чем будет наш разговор.

— О Михаиле Бейдемане,— сказал просто Шувалов.— Как вы уже знаете, он сидит у меня в Третьем отделении.

Я приказал себе сделать жест изумления и, как плохой актер, развел слишком широко руками. Шувалов не дал мне сказать, перебив снисходительно:

— Ну, разумеется, вы обязаны выразить изумление. Милый Сережа, бросим программу!

Он взял меня за руку и серьезно и ласково, без всякой игры, посмотрел долгим взглядом. Шуваловы были с нами в свойстве, граф знавал меня с детства, но, занятый делами, редко обращал на меня внимание.

Внезапная родственность обращения, не будучи привычной, разбила последнюю официальность между нами, за которою я хотел укрываться.

— Сядем на диван. Хотите курить?

Граф протянул портсигар. Мы закурили.

«Предательства еще нет»,— отмечал я себе. У меня в голове не было мыслей, было одно напряжение всех сил: не предать.

— Михаил Бейдеман пойман на финской границе, когда он под чужим именем хотел пробраться в Россию. Государь его делом раздражен необыкновенно, и юноше грозит наихудшая участь, если мне не удастся создать смягчающие обстоятельства.

Граф говорил очень серьезно, просто и только с той мерой чувства, которая была для него здесь уместна. Малейшая фальшь резнула бы мой слух, но, благодаря такту графа, я невольно стал верить обычному, столь естественному в порядочном человеке доброжелательству. К тому же, хоть я и помнил, что граф карьерист, но предположить, что история с Михаилом могла вплести новый лавр в его послужной список, было бы нелепостью. Однако это было именно так; но только сейчас, через пятьдесят с лишним лет, узнал я это доподлинно. Кое-что пережив и имея перед собой историческую перспективу, я только сейчас вижу ясно все дело Михаила в связи с окружающим.

Ведь это были шестидесятые годы, первые годы реформы, которых столь пламенно ожидали и которые столько всех обманули.

Начинались революционные волнения молодежи, университеты всколыхнулись. Появились прокламации. Почти перед злосчастным арестом Михаила шеф жандармов получил по почте листы «Великоросса». А в августе и сентябре уже разошлось по широким кругам знаменитое воззвание «К молодежи».

Конечно, графу Шувалову, молодому генералу, было очень важно проявить свои таланты защитника трона. Для этого нужно было создание крупных врагов. Михаил оказался как нельзя более подходящим материалом.

Граф Шувалов, сделав паузу, многозначительно прибавил еще раз:

— Итак, если мне при вашей помощи не удастся создать смягчающих обстоятельств, наихудшее грозит Бейдеману, да и не ему одному...

Шувалов ожидал моей реплики. Но, стиснув до боли руки, я молчал. Тогда он тем же сердечным и задушевным тоном, как родне и другу, сказал:

— Я принужден арестовать и снять допрос с дочери Лагутина, Веры Эрастовны.

— Нет, этого вы не сделаете...— Я вскочил, я был вне себя.— Вера Эрастовна совершенно ни при чем, ее вовлекли!

— Но вы с нею вместе посещали кружок Бейдемана!— Шувалов не подымал глаз, как бы боясь их остроты, не соответствовавшей мягкости тона.

— Никакого кружка нет,— сказал я твердо,— есть один Михаил Бейдеман, совлеченный в вольнодумство...

— Послушайте еще раз и очень серьезно: вы один можете избавить Веру Эрастовну от неизбежного ареста, если поможете мне пролить свет на один документ.

Шувалов вынул из бумажника исписанный лист бумаги, положил его на стол, прикрыл большой белой, еще белее, чем лицо, мраморной рукой и сказал, впервые глянув мне ярко и твердо в глаза:

— Все, что мы здесь говорим,— абсолютная тайна. При вашей малейшей нескромности и вы и Вера Эрастовна будете посажены в крепость, и еще кое-кто. У меня сведения есть о всех тех, с кем знаком Бейдеман.

— Каких вы хотите от меня объяснений? — сказал я.

— При тщательном обыске Бейдемана на дне коробки с папиросами мы нашли разорванную на мелкие клочья бумагу. Ее удалось сложить, и несмотря на пробелы, текст ясен. Вот он.

Шувалов протянул мне копию документа.

«Божьей милостью мы, Константин Первый, государь всероссийский»,— торжественно начинался подложный манифест от имени измышленного сына Константина Павловича. В манифесте воображаемый претендент заявляет, что престол был похищен у его отца, Константина, братом Николаем I, а сам он с детства заключен в тюрьму. Далее шел призыв к свержению незаконной власти, грабящей народ, и следовали обещания раздачи всей земли, отмены рекрутчины и все прочее, о чем кричали все подметные листки.

Шувалов не спускал с меня глаз, но это было мне уже все равно. Я утратил всякую от него обособленность, я был возмущен грубой ложью документа и дерзким самовластием составителя. Таковы были в ту минуту мои чувства. Они отразились на моем лице.

— Милый Сережа, как я рад, что в вас не ошибся! — Шувалов пожал мою руку и уже без наигранной доверчивости, а как союзнику, деловито сказал: — Помогите же мне не впутать в это дело Веру Эрастовну. Расскажите мне сами все, что вы знаете о Бейдемане.

И сейчас, как собственный предсмертный судья, без утайки озираясь на прошлое, я по совести не могу осудить себя, такого, каким я был, за этот разговор с Шуваловым, до двух пунктов ненужного и рокового сообщения.

Желая одного — выгородить Веру из дела, я описал Михаила как упорного обособлённого гордеца, желавшего привести в исполнение, ни с кем не соединяясь, а лишь всеми управляя, свои революционные замыслы. Шувалов значительно развязал мне руки своим сообщением о признании Бейдемана в том, что замышлено было им не более и не менее как цареубийство. Этот злодейский акт, по его изъяснению, нетрудно было ему исполнить потому, что как воспитанник военно-учебного заведения он знал прекрасно все обычаи и привычки государя. Шувалов привел подлинные слова Бейдемана, которые к тому же обновляет в моей памяти брошюра архивных изысканий об этом деле. Михаил сказал на допросе после признания, что ехал в Россию с тем, чтобы совершить покушение на государя.

«Не дорожа своею жизнью, которую я посвятил на это дело, я даже не намерен был по нанесении удара бежать и укрываться от преследования».

Бешенство охватило меня. Как, в своем беспредельном эгоизме бунтующего демона, Михаил смел не дорожить жизнью, предварительно связав свою судьбу с судьбой Веры? Имея хоть каплю рыцарского великодушия, он должен был бежать от ее любви, а не сметать мимоходом ее прекрасную юность, как сметают тяжелой рукой подлетевшую к огню бабочку, навеки губя ее легкие крылья.

Раздраженный этой его фразой, которая могла погубить во цвете лет близкое мне существо, уже не подстрекаемый Шуваловым, я был охвачен одной звериной ненавистью. Я стал толковать вслух, ища злейшего смысла в дьявольском по надменности заявлении Михаила.

— Он хотел поднять страну против дворянства! — вскричал я. — Убийство государя дворянином могло

быть понято как месть дворянина за освобождение крестьян... Бейдеман ненавидел свое сословие, я помню его речи: «Вырвать с корнем его, как крапиву»...

— Сережа, дружок, успокойтесь,— отечески обнял меня Шувалов,— быть может, Бейдеман только жалкий безумец?

— Нет, он не безумец, он злой фанатик! И если сейчас из презрения к властям он дает скудные показания, то, поверьте, это только затем, чтобы на суде с яростью предать гласности свои злодейские убеждения, в дикой гордости прослыть в глазах других революционеров мучеником...

Я глянул на Шувалова и осекся. Он сиял от восторга, как получивший нежданно августейшую благодарность. Да, за свою коварную игру опытной кошки с глупой мышью он и получил ее в превосходнейшей степени, перескочив в производстве товарищей. А мне за предательство и глупую злобу он выхлопотал не в очередь орден.

О, мы дешево продали могучий дух и светлый ум Михаила!

Но ведь окончательно я понимаю суть дела только сейчас, на восемьдесят третьем году, погибнув раньше смерти. А тогда?.. Тогда я только бессознательно испугался торжества в выражении графа и вдруг остыл от своего бешенства против недавнего друга и стал думать, не предал ли я его.

Нет, я этого не нашел. И, окончательно великодушный, вообразив, что этим могу смягчить положение Михаила, вдруг подхватил мысль графа, что он, может быть, психически ненормальный. Теперь, в свою очередь, я приводил этому многие доказательства, но граф Шувалов их слушал уже без интереса. Он уже был обычно бесстрастный, отлично собранный механизм, заключенный в красоту мраморных форм. Очевидно, мои первые показания в минуту бешеной вспышки пришлись ему более на руку.

Придворным движением, как бы кончая аудиенцию, он встал и любезно сказал мне:

— Извините, у меня спешные дела. Относительно себя и Веры Эрастовны — будьте спокойны.

— А участь Бейдемана?

— Решится по заслугам.

Последнюю фразу он бросил уже как начальник, самовластно отстраняющий всякое чужое вмешательство. Граф сам вывел меня в переднюю. Он сказал лакею: «Шинель поручику!» — и упругим шагом поднялся вверх.

Выйдя на улицу, я пошел куда глаза глядят — по одному проспекту, по другому. У меня было чувство, что из меня выбрали все, что было мною, и пустую оболочку пустили ходить. Предо мной, как видение, стоял дьявол Микеланджело и держал перед собой кожу, снятую с грешника. Как одержимый, я шатался по островам, а под утро вдруг очутился опять у подъезда графа. Я хотел было войти, но в окнах было темно. Я вдруг почувствовал себя безмерно несчастным и свалился тут же без чувств.

Конечно, если б я сознал тогда ясно все последствия моего разговора с Шуваловым, я бы не мог жить спокойно остаток своих дней. Но всего лишь смутное ощущение чего-то непоправимого в судьбе Михаила, свершившегося по моей воле, верней — посредством меня, неопределенной тяжестью легло мне на сердце. Вот это чувство, ставшее в дальнейшем невыносимым, двинуло меня на безумную попытку освободить Михаила с риском собственной жизни. После этого обстоятельства все укоры моей совести значительно притупились до нынешних дней.

Но сейчас, изучая нелгущие строки архивного изыскания, как не назвать мне себя главным виновником одиночной двадцатилетней пытки Михаила? Ведь у человека, в чьих руках была его жизнь и судьба, у графа Шувалова, самостоятельным было совершенно иное решение, нежели то, что последовало позднее, после разговора со мной.

Ведь это Шуваловым, как видно из доклада его великому князю Михаилу Николаевичу, было сделано предложение, чтоб передать Бейдемана в военное ведомство и судить его военным судом. Худшее, что могло ждать его,— была смертная казнь. Но не о ней ли как о милости будет умолять он в раздирающей сердце записке, которая словно чудом, из загробного мира, в один чудный вечер уютного чаепития появится с неизвестным перед нами... Но об этом поздней.

А теперь: вот итоги моего разговора с Шуваловым. Я подсказал графу новое освещение всего дела, а в свя-

зи с ним и роковое решение участи узника. Мое утверждение, что Бейдеман — не безумец, как они было склонялись признать, привело их к убеждению, что того, кто не гнется, всего проще сломать

Число в число, после нашего разговора, Шувалов доносил царю в Ливадию буквально мои собственные слова. Он говорил, что упорное молчание, которое хранит Бейдеман, не желая давать дальнейших показаний, происходит только от того, что он собирается во всю силу заговорить «в день суда в единственной надежде предать гласности свои намерения и выставить себя мучеником за политические убеждения».

Для того чтобы опасному арестанту пресечь все возможности гласности, его без суда и следствия заключили в Алексеевский равелин, в камеру № 2.

ГЛАВА X

ОДЕТ КАМНЕМ ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II

Был чудный июльский день, когда я нашел наконец силу пойти в Петропавловскую крепость, чтобы воссоздать в воображении Алексеевский равелин, где сидел Михаил двадцать лет в одиночном заключении.

Сколько раз я переходил Биржевой мост, вдоль тучнеющих огородов, которые разбил крепостной гарнизон рядом с деревянным широким помостом, ведущим во входные ворота! Вместе с экскурсией пытался я пройти внутрь. Но в глазах темнело, ноги подкашивались, и я мог только сесть на большой придорожный камень и долго бессмысленно созерцать громадный революционный плакат, вознесенный над этим первым входом. На небесном фоне изобразил художник слева и справа пушки, с высоким прицелом черного дула; над пушками вверху красная звезда, а в сердце у ней серп и молот. Еще выше труднейшее словосочетание: Штаб Петрогрукрепрайона. Я это слово твердил машинально весь обратный путь до своего чердака, стараясь отвести мысль от своей досадной слабости, которую, знал я, должен во что бы то ни стало преодолеть. Случай неожиданно мне помог.

Через бывшее Марсово поле, где этим летом разбивается отличный цветник, я, приветствуя украшение столицы, прошел было к Цепному мосту, чтобы точно

найти дом бывшего III отделения, где спервоначалу сидел Михаил и где еще с такой несокрушимой силой и гордостью он отвечал на допросах.

Я был одет приличней обыкновенного; для торжественных случаев у меня уцелели весьма старые, но все же темно-зеленого гвардейского сукна брюки и сюртук. Я надевал их в последний раз, когда определял девочек в школу.

В этом виде все зовут меня «дедушкой», и мне это очень приятно. Самое главное: на вопросы отвечают как равному, а сегодня мне вот именно важно, чтобы мне ответили на вопрос, где дом бывшего III отделения.

Найти этот дом я так и не успел, потому что как раз тут случилось то происшествие, которое меня придвинуло к цели.

На Фонтанке есть пристань, где отдают по часам лодки. Было пустынно. В конторе белела голова мальчика, дежурившего в этот вечерный час, да курил трубку, свесив босые ноги в воду, содержатель лодок.

Белокурая девушка, веселая, в коротком платье, с толстыми ножками, о чем-то шепталась со своим спутником-красноармейцем. Вдруг она подошла ко мне и сказала:

— Гражданин, не хотите ли с нами проехать на лодке? Наверное, вы умеете править рулем, брат мой будет грести, а я, как буржуйка, посижу сложа руки. Мы объедем крепость и вернемся назад. Времени не более часу.

Я поблагодарил и с биением сердца вступил в лодку. Эта поездка — как нельзя более кстати, если обречен я воскрешать в памяти былое...

Мы проплыли по Фонтанке мимо бывшего Училища правоведения и под тем странным местом, где бывали мы с Верой не раз, когда, как маньяки, одержимые упорной идеей, с утра до вечера искали одного: как ее выполнить?

Это было весной шестьдесят второго года, вскоре после того, как Петр проведал от кума, что Михаил свезен в крепость, но в Трубецком бастионе не числится. Оставалась догадка, что он в Алексеевском равелине.

Вера продала все, что осталось в наследство от отца и мужа, и, когда составилась крупная сумма, она, как безумная, стала требовать у нас помощи устроить побег Михаила. Напрасно твердил ей Линученко о непри-

ступности равелина, обнесенного высокой стеной, об обилии стражей, о неслыханной изоляции узников. Вера слышать ничего не хотела. Она отдавала на это дело все свое состояние и добилась того, что Линученко решил сделать попытку.

Петр должен был через верного своего кума организовать широкий подкуп людей в Трубецком бастионе и равелине. Целый месяц прошел в тщетной надежде, но если капля со временем долбит камень, то и золото в неограниченном количестве всегда разобьет наемное сопротивление.

И вот Петр объявил, что человек соответственный есть. Это был помощник одного из надзирателей равелина — Тулмасов. На подкуп часовых и прочих охранителей он требовал пятьдесят тысяч рублей.

Линученко объявил, что должен сам видеть этого человека. Свидание состоялось, и Линученко поведал нам план Тулмасова.

Глубокой ночью, когда не будет луны, двое должны будут подплыть в лодке со стороны Биржевого моста к стенке равелина и для сигнала на минуту зажечь огонь.

Кроме двух часовых, никто этого видеть не может. Часовые же, заметив сигнал, со стены бросят веревочную лестницу, по которой подымется Петр с необходимыми инструментами для распилки железной решетки каземата. В случае, если не удастся вывести узника из дверей, оба спустятся обратно по той же лестнице.

Линученко предупреждал, что Тулмасов ему крайне не понравился и что весь его план скорее всего вычитан им из дрянного романа и, кроме риска, не даст ничего. Но Вера, ослепленная страстью, умоляла нас отважиться на попытку. Вызвались я и Петр. Вот причина, почему так знакомы мне вдоль и поперек все протоки и речки, впадающие в Неву. Ведь мы целыми днями плавали с Верой, ища безопасных путей, как подойти к грозной крепости и уплыть обратно, увозя с собой Михаила.

Как Веру тешила эта затея! Но из-за этого с каждым днем все труднее было мне, подобно Линученку, ей объявить, что надежды нет ни малейшей, а риск для жизни велик. При первом подозрении нас с Петром уложат на месте. Но для меня, хотя б и бессмысленный, героический конец в глазах Веры — был в то же время и единственный желанный выход. Виновником заклю-

чения Михаила без суда и следствия я уже и тогда ощущал где-то втайне себя...

Кроме того, жизнь моя была расколота, и своего в ней места я найти не умел. Сколько я себе ни твердил, что разговор мой с Шуваловым не мог иметь плохого значения, чувство мое подсказывало мне иное.

Сейчас, когда мы через канавку входили в широкое лоно Невы, воскресает предо мною во всех подробностях незабвенная ночь нашей безумной попытки освобождения Михаила.

Сейчас от закатных лучей, как на густо-синем атласе, разлилось жидкое золото на могучих холодных волнах, а тогда...

Тогда целый день шел проливной дождь, к вечеру разыгралась буря, и зловеще ударяла пушка, объявляя об опасности наводнения.

Я перенесся на полвека назад. Да, была черная ночь. На Неве буря. Не часто шли пароходы. Огромным черным телом чернели затонувшие баржи...

— Дедушка, не попадите под катер! Правее! — окликнула белокурая девушка, потому что, весь в прошлом, я позабыл о руле.

Мы подъехали. Петропавловская крепость с шестью бастионами похожа на невиданного паука, выставившего верхние членики лап и спустившего в воду концы. Мне почудилось: лапы его не кончаются там, в воде, а, расчлененные на тысячу нитей, незримой паутиной опутали весь Петербург. Когда в Музее революции я недавно рассматривал сеть царской охранки с разноцветными кружками слежки, у меня воочию связалась эта паутина над городом с таинственной подводной работой чудовищного паука Петропавловской крепости.

— Смотри-ка, эта крепость похожа на паука,— выкрикнула белокурая девушка, а ее военный спутник вымолвил с важностью:

— Потому что здесь пауки царского режима сосали кровь революционного пролетариата.

Паук... какой пророческой меткой была та родинка на правой руке Михаила! Так в феодальные времена люди сюзерена носили на себе его герб.

На замшенных ветхих стенах Трубецкого бастиона крупными буквами выбито: «Одет камнем при Екатерине II».

Одет камнем...

Не один он, этот бастион,— и Михаил, на двадцать лет без выхода в четырех стенах, с окном под тремя решетками, выходившими на другую несокрушимую стену,— и Михаил был одет камнем с 1861 года.

И не один Михаил...

Чуть поднять голову, над бастионом пушки. Вот главная, которая бьет в полдень, минута в минуту, без перерыва, с Петра Великого до последнего из царей, и от его отречения до нынешних дней, шестого года революции. Над пушками вышка, мачта и флаг. Ныне — красный.

Вот здесь, где пышно разрослись деревья, за Трубецким бастионом шла стена и внутри. За ней, отделенный каналом, на острове был Алексеевский равелин, откуда людей не выпускали, а выносили или в могилу под чужой фамилией, или в дом сумасшедших. За равелином — опять стена, за стеною Нева.

На эту последнюю стену, шестьдесят один год тому назад, уговорено у нас было с Тулмасовым, что выйдут подкупленные им часовые с веревочной лестницей. На самом же деле, едва мы подъехали ночью в лодке и сверкнули огнем, из двух противоположных кустов раздались два выстрела. Одна пуля предназначена была для меня, но я как раз откинулся назад, доставая свой револьвер, и обе они угодили Петру в голову. Петр, едва не опрокинув лодку, бесшумно скользнул в воду и скрылся в волнах. Мне оставалось с удвоенной силой грести к берегу, где в кустах, полумертвые от ужаса, меня ждали Вера и несчастная Марфа...

Как безмятежно сейчас в этом месте плещутся волны, вызванные пробежавшим весело пароходом! Какой смех на том самом берегу, где из-за кустов стреляли в нас подкупленные злодеи!

Красноармейцы купали здесь маленького ручного медведя и купались сами. Смешной медвежонок прыгал на солдата и, пока тот плавал, сидел у него на спине, как обмокшая собачонка. Мои спутники очень смеялись и с большой неохотой поплыли обратно.

— Вот роскошная, вот веселая прогулка! — твердила белокурая девушка, а я не удержался, чтобы ей не сказать:

— Однако место, вокруг которого мы только что оплыли, далеко не веселое! Знаете ли, сударыня, там лучшие и умнейшие люди сидели по двадцати лет...

— Гражданин,— сказал хмуро красноармеец,— у вас старозаветная ориентация говорить про единичные случаи, что они лучшие и заслуженные. Оплот и базис революции — вовсе не отдельные единицы, а сознательность коллективов.

Он был очень молод и важен, этот юноша в чистенькой форме, с розовыми петлицами на груди. Я притворился глухим, что-то промычал и умолк.

На берегу мы расстались друзьями; оба пожали мне руку. Потом белокурая девушка купила у торговки булку и два куска постного сахару и подала мне, краснея:

— Мерси вам за руль, гражданин.

Эту ночь я вовсе не спал. Все, шестьдесят лет тому назад погребенное, продолжало воскресать...

Наутро после ужасной гибели Петра я подал начальству рапорт об исчезновении моего денщика. Его всюду искали и, не найдя, решили, что он утонул в пьяном виде. Для правдоподобности я дал показание о его пристрастии к водке. Мы боялись, что нас выдаст Марфа своим безудержным горем. В ее бессвязных речах о неудавшемся побеге было бы много подозрительного для опытных сыщиков. И, боясь, чтобы не пошла она к месту гибели своего мужа, мы держали ее взаперти, решив в скором времени увезти временно вон из города.

Вера как бы окаменела; глаза стали огромными и потухли. Пусто смотрела она часто в одну точку, и оживление в ней вспыхнуло вновь, только когда приехала из Бессарабии сестра Бейдемана, Виктория, хлопотать через видных родственников о смягчении участи брата.

На другой день после того, как я побывал в лодке у Петропавловской крепости в компании красноармейца и белокурой девушки, я уже не мог не попасть в нее и путем сухопутным.

Часам к трем я дошел до Троицкой площади, оттуда через мост — к Петропавловским воротам. Там руководитель делал перекличку своей экскурсии.

Это все были юные девушки с какого-то завода. Окончив свой рабочий день, они, не заходя домой отдохнуть, пришли сюда и на собственные сбережения наняли себе вольного инструктора, надеясь, как они выражались, что он и покажет «вольней»; у большинства я заметил ныне модные полосатые шарфы с мягкой кисточкой на концах. Когда их кто-то спросил: «Что это

у вас всех одинаковые?» — сказали: «А мы их гуртом купили в Пепе».

— Пепо, как и депо, не склоняется,— поправил руководитель и подвел всех к воротам.

— Обратите свое внимание, товарищи, на возглавляющий барельеф. Тут изображен не столько летящий, сколь неблагопристойно, вниз головою, застрявший в воздухе человек. На него указует сбоку мальчик такой чрезмерно длинной рукой, что, если ее опустить, она ему будет до пят. Бывший царь Петр хотел почтить своего ангела, апостола Петра, и приказал выискать какое-нибудь чудо, им содеянное. Чудо выискали в лице неблагопристойно летящего человека, он же — посрамленный апостолом колдун Симон-волхв. Все это не более как преданье и басни в угоду слабоумных и малограмотных.

— Религия — опиум для народа,— сказали две в шарфах.

Руководитель указал дальше на две ниши в воротах.

— В них статуи, языческий бог Марс и супруга его — Венера.— Он прибавил с иронией: — Конечно, Марс тут на месте, по случаю военного учреждения, но Венера — по той причине, что при прежнем буржуазном строе муж, словно каторжный к тачке, был прикован к своей жене, то и в каменном виде поставили ему в нишу Венеру.

— По мифологии муж Венеры — Гефест, а Марс всего-навсего — похититель,— сказал, смеясь, какой-то «вузник», приставший к экскурсии.— Так что выходит: царь Петр поощрял не законную любовь, а именно свободную.

Все засмеялись, а руководитель рассердился.

— Это спорный вопрос,— сказал он с достоинством. Потом вспыхнул: — Которые примазавшись к экскурсии — уходите!

Вузник, посвистывая, отошел, а меня девушки скрыли в рядах, пригрозив, чтоб молчал.

Вошли в собор. Я никогда не любил его нерусскую роскошь. Низкий алтарь в завитках барокко, золотая лестница с нависшей ложей проповедника, царское место под тяжким балдахином, митрополичье — посередине под красным сукном. Колонны до самого верху, как зимними сказочными цветами, усыпаны серебряными венками с похорон царей. Все важные гробни-

цы — серого мрамора, а Александра II символическая — кровавого камня.

В годы самодержавия любили цари в этом соборе проделывать однообразную восточную шутку. Волостных и сельских старшин, приезжавших поздравлять с коронацией, сюда приводили на парадную службу. Вспыхивала огромная хрустальная люстра, ей ответно сверкали серебряные листья несметных венков, бриль-янты придворных дам и золотая резьба иконостаса. Незримые хоры пели с небес, и, овеянные клубами росного ладана, падали старосты на колени.

Каждый раз царь и царица спрашивали их, как им понравилась служба, и говорили старшины от воцаренья к воцаренью то же самое: «Как в раю побывали, ваше величество!»

Едва ли этот вопрос и ответ не входили и в обязательный коронационный ритуал церемониймейстера двора.

Сейчас собор был не тот. Сняты все венки и свезены в московский музей. Лучшие образа — тоже. Бесприютней могил бедняков на сельском кладбище однообразные мраморные гробницы. Только у императора Павла непонятное стечение народа. Под цветами не видно мрамора, венки из васильков, ноготков и ромашек, неугасимая лампада и паломники — стар и млад. До революции Павел в народе считался святым: одни верили, что помогает он от всякой беды, а другие — что от одной лишь зубной боли.

Я задумался, пока не увидел, что остался один. Экскурсия мигом обежала гробницы. Я заметил, что мужчины, как и раньше, были в церкви без шапок. Но они их сняли еще у ворот, как сейчас догадался, именно для того, чтобы не вышло прежнего оттенка особого уважения к храму. Однако и остаться им в шапках, по-видимому, было тоже неприятно.

Я присоединился к экскурсии под громадным деревом. Все сидели на траве, и руководитель говорил, что как раз здесь было при Петре «плясовое место» — место пыток и наказаний, от которых «плясали». Сажали человека на железного коня с острой спиной, пускали ходить по острым кольям.

Наконец руководитель перешел к тому, ради чего я пришел в это место. Он нас повел тем самым путем, как возили арестованных в черных каретах с зелеными

занавесками. В карете сидели с каждым два жандарма и офицер.

Так проезжал тут в 1861 году Михаил Бейдеман — замуровать навеки свою юную жизнь.

Я больше не видел девичьих лиц и слышал руководителя, лишь поскольку мне это было надо, чтобы представить себе, где и как протекали дни заключения Михаила.

Не знаю, как именно везли его: вдоль Екатерининской куртины, как возили поздней Поливанова, или с другой стороны, мимо осевших в землю казарм Анны Иоанновны.

Впрочем, в обоих случаях была процедура одинакова. У низкого дома обер-коменданта карета останавливалась, офицер соскакивал и уходил в подъезд с докладом, а жандармы с арестованным доезжали до серых ворот, где сейчас на их месте — свернувшийся набок фонарь. Но с правой стороны все так же, как и тогда, врастали в небо частые бурые трубы Монетного двора.

Здесь уже угадываются сырые нижние камеры, черный карцер, двойные стены, вся глухая, бесправная гибель. И оттого ли, что так тесно сдвинуты небо и здания,— небо совсем не кажется уходящим вверх безграничным пространством, а низко упавшим, нелегким покровом.

Настоящему руководителю надо бы здесь перебить хохот и шуточки и ожидание легкомысленной молодежи поскорей увидать пошловатые рисуночки каких-то былых охранников, сейчас очень модные в публике...

Я сказал соседкам:

— Вот для того, чтобы вы могли прийти сюда с хохотом после восьмичасового рабочего дня, здесь на всю жизнь замурованы были люди.

Но они, как тщеславные гусята, ничего не поняли и сказали:

— Этого больше не будет, не бойтесь, гражданин, ведь мы опрокинули царский строй!

Я хотел было объяснить руководителю, что, прежде чем показать одиночную камеру, одиночную баню и, как он выражался, «прочее, все одиночное»,— надлежит найти слова, какими бы пронять молодежь, слова, какими бы им в глубину сердца ввести само содержание слов: принудительное бессрочное одиночное заключение.

Но я ничего не сказал, я не мог говорить. Я держался за стенку, чтобы не упасть. Волнение подрезало силы, я не мог угнаться за веселой экскурсией.

Посидев с десять минут на подоконнике, я попал в новую компанию. Четыре старые дамы, приехавшие из провинции, наняли себе ветерана-надзирателя, здешнего старожила чуть не со времен Николая I. Я попросил позволения примкнуть, и мы все, соответственно возрасту, побрели черепашьим шагом.

Я был обрадован этой неспешностью, я мог вживаться в протекшую жизнь. Нет, скажу, как в святцах про мучеников,— житие.

Прежде чем впустить сюда, узника долго морили перед последней железной решеткой. Офицер нарочито задерживался у коменданта, чтобы создать арестанту особое нервное состояние. Затем в караульном помещении с него снимали домашнюю одежду и надевали халат.

Старик-надзиратель — богомольного вида, с елеем в мелких чертах. У него есть гордость профессионала, когда он говорит:

— Я стерег заключенных при двух Александрах и при Николае последнем, стерег при Керенском... вот посудите размах времени. А почему уцелел в одном месте? Никому зла не делал, закон исполнял. Прикажут: «Гляди в глазок!» — я и гляжу. Арестант рассердится да в уголок, я его не дразню, отойду. А потом снова. А чтоб Фигнер не стучала соседям, мы ее отсадили промеж двух пустых кладовых,— вот, не угодно ли взглянуть? Она ножкой топнет, а внизу, как с боков,— никого-с!

Он говорил, как добрый дедушка про шалость внучат. Так в римском форуме с добродушным достоинством говорит опытный гид, гордясь перед иностранцами анекдотами древних времен. И как там путешественники, жадные к жестоким волнениям, не стесняясь меня, старика, потные от любопытства, приставали к надзирателю и эти женщины:

— А правда, что бывали тут избиения? А чем вы их тут били, куда?

Надзиратель с неудовольствием отрицал избиения; он стремился отвести внимание дам на заботу начальников:

— Вот, изволите видеть, мы сойдем этой лестничкой в сад, обратите, между прочим, внимание: к перилам приделан сплошной высокий забор — как бы вы думали, на какой именно предмет?

И, наслаждаясь недоумением, со своей стариковской улыбкой он сказал:

— Очень просто, это затем, чтобы политическим убиться не дать. Были случаи, были,— хитрый народ! И кому бы сидеть надо годы, он норовит собственный срок сократить. Очень просто: через лесенку в пролет да на голову.

В крохотном садике одиночная баня и несколько деревьев, дорожки чуть отмечаются — заросли.

— В прежнее время песочком тут было посыпано,— с укоризной к нынешним сказал надзиратель.— Напоследок, в военное времечко, царские генералы у нас тут гуляли. Адмиралы посиживали. Ну, у них уже не камера, а по два покоя, кабинет и спальня, а кушанье — свое, в три блюда. И супруг допускали. А глядите, на стенке Пуришкевича стихи длинно написаны и подпись: «Владимир Митрофанович, несчастный Пуришкевич, краса и гордость контрреволюции».

Я запомнил две последние строчки его стихов: «Безумья семена дадут вам рабства всходы...»

Дамы алчно кинулись к стенам модной камеры охранника. Она вся в размашистых рисунках из «Нивы»: девица в джерси у окошка, рот бантиком; огромный, во всю стену, подробный, как план, вид Люцерна, с отмеченными окнами самых дальних домов. Под видом стих:

Ах, если б мы сюда вернулись снова,
Где были мы столь счастливы с тобой...

Как выйти из Трубецкого бастиона, через несколько шагов влево — Васильевские ворота. Через туннель попадаешь в новое место, по уровню много ниже. Здесь через подъемный мост, под которым прорыт был канал, шел треугольником Алексеевский равелин — одноэтажное здание с четырнадцатью небольшими камерами. Туда заключали особо важных преступников. Заведовал им смотритель, и для внутреннего дозора при-

ставлены были стражи. Ключ от каждого номера был у смотрителя, без которого в камеру никто не входил. Днем и ночью смотрел в глазок — узкую щель в дверях — зоркий глаз дежурного. Из неприступного, несокрушимого равелина никто никогда не убежал.

В Алексеевском равелине было так сыро, что в 1873 году, второго октября, двух узников, Михаила и Нечаева, под наблюдением смотрителя Бобкова и караула равелинской команды, из-за угрозы наводнения, каждого порознь перевели в Трубецкой бастион. Там оставались они под наблюдением этих людей до рассвета следующего дня.

Дамы, пошептавшись о чем-то со смотрителем, сунули ему деньги. Сторож молча кивнул головой. Одна дама, обернувшись, сказала мне:

— Дедушка, и вы с нами идите, а то нам, женщинам, одним будет страшно.

Не спрашивая, куда мы пойдем, я молча кивнул головой. Мы спустились обратно в нижний этаж Трубецкого бастиона, вошли в какую-то камеру, и надзиратель захлопнул за нами плотно дверь.

— Посмотрите по часам, чтобы не больше десяти минут,— воскликнула дама.

— Разумеется,— сказала другая,— больше будет, пожалуй, и вредно, а представить себе то, что они испытали, можно и в кратчайший срок.

— Закройте, mesdames, глаза, потом откройте... ах, как интересно испытать, как испытали они!..

Надзиратель обиделся, как честный профессионал, и сказал болтливым дамам:

— А вы, сударыни, помолчите: здесь ни говорить, ни смеяться ни-ни!

Я смерил камеру: десять шагов в длину, пять ширины. Грязно-белый потолок, серые стены — вот и все здесь цвета. В окно за тройной железной решеткой — кусок подступившей грязной стены. Привинчена кровать, привинчен стол, и в стеклянной нише привинчена лампа, чтобы узник не задумал сжечь сам себя. Одежда из мешочного полотна, верхний халатишко. Жидкое, не греющее одеяло...

Все то же самое было и у Михаила в его камере № 2 и позднее № 13, только еще много сырее, чем

здесь. Но, по свидетельству там сидевших, звуки у них были слышнее и разнообразнее, нежели тут, отчего мука неволи становится острей: порой доносил ветер музыку Летнего сада.

Что же испытывал Михаил, одетый камнем, когда нараставшие пятилетия вошедшего юношу сделали зрелым и пожилым все в том же заключении: десять аршин длины и пять ширины? И это — при сознании, что всего лишь за двумя стенами течет прекраснейшая многоводная река, по ней идут пароходы через Балтийское море во все части света, что укрепляется берег строениями, что идет накопление разнообразнейших опытов жизни через войны, просвещение и через простой человеческий быт.

Эту богатую, пеструю жизнь изведал не он, а я, его бывший друг и предатель. Да, предатель — ибо человек есть только то, кем он себя сам ощущает. И да свершится надо мной справедливая Немезида!

Пусть читатель, искушенный в классификации явлений психологических, отнесет, соответственно своим познаниям, куда угодно мои дальнейшие сообщения. Я спорить не стану: нервическая ли это расслабленность старости или особое глубокое потрясение всего жизненного моего аппарата,— я слишком знаю то, что я знаю.

По капризу любопытных я пробыл в камере одиночного заключения всего десять минут. Но мука в ней заключенного, но вековая ползучая сырость насквозь пронизали меня — от волос головы до подошв моих распухших ног. Мука этих стен одела камнем. И вне этих стен мне уже не быть. И вот знаю, проведу ли я двадцать лет в этом застенке, незримом глазу, или какие-нибудь два-три года, что мне остается дожить,— я приму целиком заключение Михаила, я изживу его смертельные муки, и впишутся мне они, как ему, тем же полным числом, в мою черную книгу судьбы.

Читатель, свершилось надо мной пророчество предсказательницы m-me де Тэб.

Одетый камнем, как был Михаил в 1861 году, я в 1923-м — становлюсь на его место.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

ЧЕРНЫЙ ВРУБЕЛЬ

Сергей Русанин и Михаил Бейдеман — одно. Я узнал о проницаемости тел, об одержимости личностью другого человека не сразу. Это случилось после того, как я стал сыном матери Михаила, мужем его кратковременной жены. А третье... третье не скажу. Словом, мое устремление к его личности и судьбе заставляет меня порой настолько отождествлять себя с ним, что я не могу вспомнить своего имени и называю его имя.

Так, на той неделе, когда я вышел на рынок за пятью фунтами картофеля, я почувствовал головокружение и должен был сесть на паперть той большой церкви, где в семнадцатом году на колокольне обнаружен был пулемет и взамен его водружен красный флаг. Я сам не помнил, но Ивану Потапычу говорили те, кто меня свел в лечебницу душевнобольных, будто я там просидел с мешком недвижимо до вечера, чем и вызвал участие всех торговцев. Русский человек, как известно, настолько же добродушен, насколько жесток. Торговки накормили меня и хотели водворить домой, но я твердо заявил им, что дома никакого не имею, ибо сегодня лишь утром выпущен из Алексеевского равелина Петропавловской крепости. А в равелине я будто сидел со времен царевича Алексея Петровича и неустанно ловил мышей с ножек княжны Таракановой. Она очень долго, несмотря на смертельную опасность, ей угрожавшую, сохраняла свою наивную женственность и не столько пугалась подымавшейся в ее камере воды, сколько мышей, в изобилии прыгавших на красный бархат ее бального платья.

О лечебнице душевнобольных я хорошо помню все. На вопрос старшего врача о том, кто я такой, я немедленно вызвал в памяти самый эффектный момент из жизни Михаила и, подняв плечи, легкой походкой прошел в дальний угол, как бы приглашая на контрданс Веру Лагутину. Поклонившись с достоинством, я отрекомендовался из угла:

— Михаил Бейдеман, юнкер третьего корпуса Константиновского училища.

И еще прибавил:

— Vaut mieux tard jamais![1]

Последнее изречение должно было означать, что я желаю исправить с самого начала все вины перед другом, начиная с зависти к его прекрасной внешности.

Старший врач и помощники, конечно, полезные граждане, но они — лишь рабочие муравьи и ходят по своей линии. Они зарегистрировали меня сумасшедшим и приказали посадить меня в ванну. Но прочие, так называемые больные, меня отлично поняли и с одобрением мне аплодировали.

А горячо мною любимый художник Врубель, принявший образ какого-то верзилы с черной бородой, подошел ко мне и сказал:

— Из видов окончательного освобождения, о котором я узнал из своей последней работы — портрета Валерия Брюсова, теперь я таков. Но я вижу: меня вы признали, а значит, достойны, чтобы я разъяснил вам одну картину. Уединимся вечерком.

Я доволен, что неделю провел с сумасшедшими. И раньше я подозревал, что и здесь, как над каждою вещью в земном обиходе, этикетки все перепутаны, и эти сумасшедшие — самые свободные из людей. Они сбросили маску. Ведь все дело — в преодолении пространства. Люди в масках движутся вперед по прямой, а мы, как крабы... впрочем, этого я не смею открыть, разве что намекнуть.

Проницаемость тел, одержимость другими начинается так: левый локоть под углом в 45 градусов... как кинжал. И пятками сейчас же в его пятки, а теменем в темя. Так у меня всегда с Михаилом, следствие — легкая дурнота.

Оказывается, Врубель с чернобородым верзилой сделал то же. Он рассказал мне это в тот же вечер, вскрывая причину принятия нового образа. Но об этом немного поздней, сейчас мне надо идти только вперед по прямой линии и, чтобы читателю было понятно, продолжать повесть обыденным способом передачи: предложением главным, от придаточного отделяемым скромною запятой.

Кроме продолжительных бесед с художником о вещах, понятных нам обоим, но вызывавших улыбку у старшего врача, странного в моем поведении ничего не

---

[1] Лучше поздно, чем никогда! *(фр.)*.

нашли. К тому же на третий день я надел маску и, извиняясь за причиненное мной беспокойство врачебному персоналу, вежливо попросился домой, предполагая у Ивана Потапыча и у славных девочек тревогу по причине моего исчезновения. Я только отвечал на вопросы, дал телефон Ивана Потапыча. Сейчас он сторожем в Центросоюзе и, по ориентации на полнейшее равноправие в наши дни, имеет возможность говорить и слушать по телефону учреждения, как самый его главный товарищ начальник. Иван Потапыч не замедлил явиться. Он обрадовался мне, как родному, и тут же подарил антоновское яблоко, по своей обстоятельности прибавив, что в этом году яблоки дешевле огурцов.

Старший врач отпустил меня с Потапычем, наказав ему не выпускать меня вовсе из дому.

— Кровоизлияние в мозг,— сказал он,— может повториться, и старик, чего доброго, попадет под трамвай.

Я хотел было возразить доктору, что снимать маску я могу по собственной воле и в любой момент, так что этот способ расширения сознания совсем неосновательно называть почему-то кровоизлиянием в мозг... Но я ничего не сказал. Они в своих куцых знаниях упорны и посадили бы меня снова в ванну. Мне же сильно хотелось домой — чайку выпить с яблочком и записать необычайное открытие Врубеля, важное для каждого и для всех.

Однако продолжать будем по порядку, чтобы читателю стало понятно, как человек перестает быть «одетым камнем».

Первое доказательство взаимообщения через мысль, презирающее пространство и время, что в грядущем попадет в графу математических исчислений, а по модности обучения сменит ритмику, испытал я, идя навстречу событиям, еще в 1863 году осенью, когда я вез матушку Бейдемана в Крым.

После неудавшейся детской попытки освободить Михаила, жертвою чего погиб Петр, матушка внезапно пала силами, но не духом. Чувствуя, что болезнь ее (острое расстройство сердечной деятельности) значительно ухудшилась, она объявила нам, что должна торопиться прибегнуть к последнему средству: самолично молить государя о помиловании. Чувствуя к этой женщине искреннюю сыновнюю привязанность, я не мог

отпустить ее одну и, взяв краткий отпуск, поехал с ней вместе.

Матушка Михаила заболела. Мы должны были остановиться в дрянном городишке, в гостинице.

Здесь и произошло...

Как много можно узнать от человека умирающего, если этому человеку есть что сказать. Ведь все, что равняет нас друг с другом или создает преимущества в смысле образования, savoir vivre [1] и прочих, как сейчас принято говорить, «культурных ценностей», все это отходит перед лицом смерти, как к ней ни отнестись,— величайшей из тайн.

При человеке неотъемлемой до конца остается лишь емкость его собственной души. И вот в душе этой умирающей женщины горел целый мир.

Когда после одного особо острого припадка она поняла, что до Крыма ей не доехать, во всем существе ее изобразилась нечеловеческая мука. Но в одиночестве, собрав силы, она скоро овладела собой. У нее не было обычной женской религиозности, хватающейся за духовника, но доверие к великому разуму и добру, к которым идет мир, несмотря на горести жизни, было так сильно, что давало ей совершенную организованность для себя и любовь материнскую и покрывающую для каждого, кто подходил.

Малоречивая и, как внутренно собранный человек, невольно внимательная к малейшей расшатанности другого, матушка, в светлые промежутки между страданиями, своими простыми вопросами, из которых ни одного не оказалось пустого, как бы принудила меня сделать итоги всему тому, что я продумал и прочувствовал до сих пор. У нее было особое умение помогать и давать, не навязывая...

В знаменательных разговорах Гретхен и Фауста не те ли качества, столь пленительные в существе невинном и мудром, открываются много испытавшему скептику?

Сколько бы жены ни обрезали волос, ни дымили папиросами, беря себя руками в бок, и ни писали трактатов хотя бы не хуже мужчины,— только от этого особого их достоинства, от любви материнской и покрывающей, будет жив и прекрасен весь мир. Был и будет!

---

[1] Умения жить *(фр.)*.

Эта замученная горем, умирающая старая женщина в то же время была как артист, которого день-деньской заставили таскать тяжелые камни и лишь к вечеру освободили для любимого дела.

Музыкальность и гармония — основы высокой души — сообщили невыразимую нежность ее уходящему внутреннему существу.

— Стеша! — совсем перед кончиной сказала матушка убиравшей девушке, указывая при этом на принесенный ей голубой чайник кипятку.— Стеша, заткни ему носик чистой ваткой. Сережа придет — чай остынет, а я вдруг помру и уже не напомню тебе, чтобы согрела.

Но, к счастью, я поспел вовремя...

Какой земной последней радостью озарилось ее уже отрешенное от желаний лицо, когда я вошел! Торопясь, что не успеет, сняла она с шеи ключик и указала мне подать ей ореховую шкатулку. Я открыл; она передала мне твердой бумаги серый конверт с надписью: «Ларисе Полыновой».

— Эта женщина Михаила любила, она сделает то, чего я не смогла... Ее в Ялте знают, она близка ко двору.

После этого матушка закрыла глаза. С каждой минутой дыхание ее становилось порывистей, и сердце трепетало так сильно, что ослепительно белая кофточка вздрагивала. Лежать она не могла. С высоко приподнятой головой раскрыла навстречу широкому окну свои вдруг помолодевшие ярко-синие глаза.

Был закат, и пурпуром охвачено небо. На нем большое, тяжелое, как бы дымное солнце. Внезапно до острой боли припомнился мне тот незабвенный закат в день производства, когда я побежал по двору училища вслед Михаилу. Сходство довершали десятки нестерпимо сверкавших стекол больших домов нашей улицы.

«Что с Михаилом? Чувствует ли он, что его мать умирает?»

В эту минуту матушка еще приподнялась на кровати и, как бы потянувшись вслед заходящему солнцу, сказала мне тихо, но ясно:

— Сережа, пойдем к сыну моему Михаилу!

Она протянула мне обе руки и взяла их крепко в свои.

На другой день я очнулся в постели в своем номере, и доктор, считавший мой пульс, предупредив, чтобы

я не вздумал вставать и волноваться, рассказал мне, что вчера после заката, часов около восьми, меня нашли без чувств на кресле около старушки Бейдеман. Уже мертвая, она не выпускала моих рук из своих. Меня высвободили с трудом.

Я не расспрашивал о подробностях. Но и про себя я не рассказывал им всей правды. Но сейчас расскажу.

Едва матушка взяла мои руки в свои, солнце внезапно зашло, и наступило странное освещение, как бы без источника света, какое бывает только во сне.

Я увидал себя с нею в лодке и почему-то бешено стал грести. Мы мгновенно перерезали Неву поперек и подошли к Невским воротам Петропавловской крепости. Я было подумал: «Почему мы не входим Петропавловскими воротами, как обычно?» Но матушка махнула в том направлении легкой ручкой, и я увидел толпы людей вдоль валов. Через них нам с суши было не пройти. Новгородцы, олонецкие и петербургские крестьяне копошились по пояс в воде. Лишенные необходимейших инструментов и тачек, они рыли землю руками и, вместо мешков, подолами собственных рубах таскали ее на валы. Они были мертвенно бледны, с огромными белыми глазами. Их желтые длинные зубы стучали от холода. Мне стало их страшно жаль, но тут же я понял, что мы с матушкой незримы, хотя сами видим хорошо, иначе как могли бы нас не заметить два парадных кортежа: с левой стороны, в Екатерининской беседке, Екатерина I со штатом своих фрейлин, а с правой — сам великий царь Петр, входящий с приближенными на колокольню послушать игру курантов.

Тому, что я вижу людей, давно уже умерших, я не дивился нимало: ведь они, как и я, были во времени, а время что? Время — фикция.

Царь Петр с придворными сошел вниз и, соединившись на «плясовом месте» с двором Екатерины, шутя с хорошенькой фрейлиной, направил размашистые шаги к домику дедушки русского флота. Когда мы подошли к железной решетке Трубецкого бастиона, вдруг, заломив над бледной головой высоко руки, упала перед матушкой на колени княжна Тараканова. Прекрасная ее нагота была чуть прикрыта драгоценным кружевом и обрывком древнего истлевшего бархата. Матушка положила ей легкую руку на голову, будто игуменья, мимоходом дающая отпуск провинившейся послушнице,

и мы прошли далее. Царевич же Алексей, не подходя близко, осторожными шагами крался поодаль. Вобрав в плечи длинную узколобую голову, он недобрыми глазами воззрился нам вслед. Мы шли между Монетным двором и Трубецким бастионом. В глубине дорогу преградили ворота; не знаю как, но мы сквозь них прошли, хотя калитка была заперта. Налево зачернели другие ворота в Алексеевский равелин. Они открылись сами собой, будто чудовищный рот зевнул. Мы вошли под свод крепостной стены, перешли через канал с черной водой. В треугольном одноэтажном здании горел свет.

Перед последней калиткой вдруг выросли две фигуры. Высокий, в пальто военного врача, бормотал гробовым голосом:

— Я старик, и голова у меня поседела на службе, а я не помню, чтобы отсюда куда-нибудь увозили иначе, как на кладбище или в дом сумасшедших! — еще выкрикнул и отвратительно захохотал.

Бедная матушка как бы в отчаянии закрыла руками лицо, но я, обнадеживая ее, сказал:

— Это нас не касается, это слова грубого, недостойного своего человеколюбивого звания врача, некоего Вильмса, тюремного доктора, жестокие слова, брошенные им некогда народовольцам.

Вероятно, как в Дантовых адских кругах, здесь каждый таким, как он есть, застывает в своем преступлении.

— Пришли — так входите! — яростно крикнул нам другой омерзительный призрак и, подняв тяжелую руку, как будто для удара, вдруг опустив ее, быстро зашевелил короткими, словно обрубленными пальцами. Глаза его, бутылочного тусклого цвета, навыкате, не мигая, смотрели на нас, как глаза гнусного пресмыкающегося. Они застыли с выражением тупой и холодной жестокости.

— Соколов, — узнал я тюремщика, — ведите нас к Бейдеману!

— Есть пропуск — пущу, нет — самих посажу, — начал было Соколов, но вдруг снизилась с неба, тяжелого, как литая эмаль, голубая луна.

Луна нас покрыла. . . . .
. . . .

Едва ноги мои коснулись пола камеры Михаила, моим первым невольным движением было оглянуться, чтобы понять, как мне выйти обратно. Стекла были матовые, и на них лежали черными полосами тени перекладин решетки. Стены были страшно сырые. Они на аршин от пола, казалось, обтянуты были черным бархатом. Я тронул пальцем и раздавил противную черно-зеленую плесень.

Налево была огромная изразцовая печь с топкой из коридора, у другой стены — старая деревянная кровать. Около нее на полу кто-то лежал без чувств.

«Михаил»,— подумал я и хотел к нему кинуться, но матушка вдруг отдернула меня в угол, отдаленнейший от дверей, и вовремя. Покрышка над глазком поднялась, и кто-то глянул в него. Громыхнул запор, и в сопровождении Соколова и сторожей вошел доктор. Сторожа подняли того, кто лежал, с полу. Лицо его было сине-багровое, шея туго затянута полотенцем, привязанным к спинке кровати. Доктор стал делать искусственное дыхание, сняв петлю с шеи. Изо рта и носа хлынула кровь. Лицо из багрового стало как мел.

Я узнал Михаила. Он так похудел, что обозначились скулы, а тонкий нос с горбинкой обтянут был желтой кожей покойника. Глаза, не прежние, сверкавшие гордой силой, а глаза затравленного, угасающего в му́ке, с робкой надеждой смотрели перед собой.

— Я умер?— спросил он.— Значит, мне удалось?

— Удалось сойти с ума!— ответил грубо доктор.— Отобрать у него полотенце и простыни, чтобы он снова не вздумал...

Сторожа сдернули простыни, Михаил привстал. Глаза его бешено засверкали; казалось, что сейчас он выкинет чрезвычайное... В этот миг матушка, протянув ему обе руки, двинулась к нему из угла.

— Матушка, наконец-то!— И Михаил, не в силах сдержать радость, несмотря на присутствие сторожа, зарыдал как дитя.

— И без смирительной рубахи засмирел, ишь плачет...— сказал сторож.

— Ослабел, ночь обойдется без буйства,— решил врач и вышел, сопровождаемый сторожами, уносившими простыни и полотенце.

Опять загремел запор запираемой двери. Отвратительная светильня, распуская страшный чад, слабо оза-

ряла изможденное, бессильное тело распростертого на грязном соломенном матраце. Горели безумные глаза, слезы текли по бескровным щекам, и слышался лепет частый и однообразный, как маятник:

— Матушка, выведи меня, матушка, я погибаю.

. . . .

— Сергей Петрович, что это ты? Никак сонный пишешь,— потряс меня за плечи Иван Потапыч.— Чайку выпей.

Я очнулся. Тихо у нас. Девочки уже спят. Выпил с Потапычем чаю. Потапыч полез на диван. А я, когда все уснут, стелюсь на полу.

— Электричество не забудь,— говорит мне Потапыч,— оно с улицы видать, неравно донесут управдому-то, нас и выключат.

Задернул окно старым ковром. Перечел я написанное. Спросят: что правда, а что мне привиделось? А пусть раньше определит мне любопытствующий сам: что считать надо правдой? То ли, что случается с человеком, не бороздя ему душу и малейшею бороздою, или то, что он, едва лишь помыслит случившимся, запоминает навеки как самонужнейшую, как светлую правду?

Или правда лишь то, что можно ощупать? Извольте: такою правдою был толстый серый конверт с письмом матушки Михаила к Ларисе Полыновой, на которую была надежда, что довершит она дело с просьбой к царю.

А чернобородый верзила, рекомендовавшийся Врубелем, пожалуй, мечтанье. Но, как известно, мечтаньем открыта Америка, да не одна она...

ГЛАВА II

КОЗИЙ БОГ

Я давно не писал. Отбывал Михаиловы муки. Был одет камнем, как Трубецкой бастион. Во мне были камеры, и сам я был в камере заключен. А Иван Потапыч денно и нощно кричал:

— Не смей лазить в шкаф, отвезу в сумасшедший!

Надоел, как попугай, до того, что сегодня я опять стал во времени, надел маску и взялся за перо. Люди пугаются больше всего, когда отменяется время...

К Ивану Потапычу сегодня пришел доктор, говорил со мной, но я безмолвствовал. Доктор говорил Ивану Потапычу, что сейчас замечается новое помешательство в связи с перестановкой часов. Людям вдруг страшно, будто последнего кита выдернули. Какую-то Агафью Матвеевну свезли на днях в тихое отделение. Есть-пить перестала.

— Почему именно,— говорит,— я знаю, куда пища и питье пойдут дальше! Сейчас ничему нельзя верить — уж ежели и часы фальшивят.

А про себя вот что заметил: когда смешиваются у меня в памяти сроки, когда сквозным ощущаю непроницаемое, то, выйдя из камеры Михаила, ну, хотя бы на прогулку в треугольном садике равелина, я не хожу уже, как все люди, а подлетываю.

С каждым днем все лучше, все выше. Почти как тяжелый мякинный воробей, могу вспорхнуть уже на печку.

Вот своего лёта боюсь.

Иван Потапыч сейчас сознательный человек, ни живой, ни мертвой церкви не признает, а неблаголепия не спустит. Вдруг на печке в моем-то возрасте... и вообще, как ему после этого перед знакомыми быть? Но уходить раньше срока мне из дома не хочется: остается опять признать балласт дней и месяцев и осесть в плоскодонное.

Иван Потапыч верно отметил: перо и чернила меня, как няньки, ведут по гладкому... Ну, а уж я поведу свою повесть далее...

Я только ранней весной мог выполнить поручение матушки. Получив опять краткий отпуск, нигде не задерживаясь, я мчался в Ялту на поиски Ларисы Полыновой. Серый толстый конверт был у меня на груди. Я нашел дачу ее без труда. Ларису знал весь город. Почему-то я ожидал нечто вроде идейной девицы, стриженой и для меня не интересной, но оказалось наоборот...

Золотой дождь и густо-розовые цветы иудина дерева, как сейчас вижу, покрывали все склоны гор могучим расцветом, так что закаты казались потухшими. Все, что таилось в природе красок, было вызвано к жизни этим буйным цветением земли. Темный блестящий плющ, как змей, оползал вокруг огромных камней, а гроздья нежных глициний лиловели на его твердых листах. Кругом горели розы — оранжево-розовые, как внутрен-

ность больших раковин Средиземного моря, и пурпурные, и белые. Розы гордо качались в садах, взбегали на крыши, свисали над открытыми окнами, ткали на белых стенах нежнейших нюансов гобелены.

Весь город был корзиною роз. В общественных парках, по главным аллеям, высоко вознесенные на поперечных шестах, с восходом солнца уже сверкали они брильянтами еще не испарившейся росы и поили воздух запахом свежего чая. Две ночи я не спал, а бродил по горам, как безумец. Наконец мне показалось глупым не понимать того, что со мной случилось, и я понял.

Едва я увидел Ларису, я в нее влюбился. И если у нее был роман с Михаилом, то будет и со мной. Если с Михаилом были одни разговоры и лунная ночь, то же будет и со мной.

Какое взаимоотношение между этими условиями? Спросят — не умею объяснить, но угадано было верно.

Узнать окончательно и самое тайное про человека, можно, только сойдясь в той же мере близости, в какой бывал он с одним из выбранных им себе дополнений. Это одинаково по отношению к мужчинам и к женщинам.

Через Ларису мне откроется, почему от личной любви бежал Михаил. На каком горне судьбы ковалась его революционная воля? Ведь из одних глубоко личных причин куются даже достоинства и недостатки, ставшие достоянием человечества...

Но мне было не до философий. В краткосрочный отпуск, с лапидарностью древних времен, надлежало мне: прийти, увидеть, победить.

И хотя Лариса Полынова была молодая вдова с репутацией доступной ялтинской дамы, я был немало смущен и далеко в себе не уверен. За городом, у подножия гор, вблизи старинной крепости генуэзцев, у нее была своя дачка. Лариса была богата и, не считаясь с общественным мнением, жила по тем временам с поражавшей всех независимостью. Спервоначала я принял ее за прислугу, когда, подъехав верхом к ее даче, указанной мне первым встречным, я спрыгнул с коня и, не зная, где его привязать, обратился с вопросом к девушке, обвязанной по-украински платочком, в вышитой белой рубахе и темной юбке, возившейся с лейкой у гряд:

— Куда, милая, деть мне коня и где ваша барыня, госпожа Полынова?

— Коня привяжите к забору, здесь воров нет, а барыня я, точно, себе сама и есть.

И она засмеялась, освещая улыбкой лицо, такое необычайное, что я не понял, красиво оно или нет.

— Я — Лариса Полынова, войдите.

Дом был непохож на обычную дачную игрушку; выстроенный из красивого кирпича в стиле английского коттеджа, он был прост и удобен. В библиотечных шкафах много книг.

Горничная, подтянутая на петербургский манер, принесла мне кофе. Хозяйка, ничуть не меняя костюма, только вымыла руки, которые были в земле, вошла вслед за мной и спросила меня с прелестной естественностью:

— Вы ко мне от кого-нибудь с поручением?

— Вы угадали: я привез вам письмо.

Я вдруг почувствовал самолюбивое раздражение, которое испытывает мужчина от совершенной натуральности красивой женщины, которая позволяет себе в его присутствии продолжать свою жизнь, не вводя в нее ни малейшего волнения, которое — бессознательно считает он — должно бы было в ней вызвать его появление... Она же проходит сквозь вас, как сквозь пустое пространство.

Лариса смотрела на меня спокойно своими серыми, по-калмыцки приподнятыми глазами. Черты лица были некрупны, приятны, кожа ослепительно бела, и темно-рыжие волосы, с которых снят был платок, словно пронизанные солнцем, задержали в себе его блеск. Они, как у девушки, ниспадали до колен пышно густой косой. Поражала она и фигурой, подобной Тициановой Магдалине, крупной, здоровой, с выражением свободы и покоя в каждом движении.

И вдруг мне стало приятно разбить этот покой, сказав ей прямо в упор, подавая письмо:

— Вот вам от покойной матушки Михаила Бейдемана с мольбой взять на себя хлопотать об ее несчастном сыне. Он четвертый год как томится в каземате.

Лариса не изменилась в лице и продолжала с тем же спокойствием ждать, что я скажу ей еще.

Я подумал, что она не поняла моей речи, и воскликнул:

— Письмо от матери Бейдемана! Вы не можете не помнить ее сына, ведь вы же любили его...

У нее дрогнули брови, медлительно она покраснела, взяла письмо из моих рук, стала прямая и важная, позвонила. Вошла петербургская горничная, приносившая мне кофе, к которому я не поспел и притронуться.

— Маша, вы отвяжите коня от забора и покажите поручику, как короче проехать в город.

И, не дав мне выговорить что-либо, чуть склонив голову, ушла с письмом в свою комнату. Я же глупо пошел вслед за горничной.

ЕЩЕ ВТОРАЯ ГЛАВА

Я бродил по горам, не находя себе места. Все мной пережитое: безнадежная любовь к Вере, влечение дружбы и ненависть к Михаилу казались мне занимательной, но уже прочитанной книгой. Впервые сейчас я понял, что молод, что передо мной — вся жизнь неизведанных собственных радостей и своих страданий. Для чего, в самом деле, как отжившему и бесстрастному старику, мне жить не своей, а чужой судьбой?

Мое обещание матери Михаила было исполнено. Я письмо передал. Но женщина, интересная мне доселе лишь как разгадка чуждой мне психологии друга, внезапно стала завлекательной сама по себе. И вот бестактным напоминанием о бывшей любви я сразу испортил отношения с ней и был ею изгнан из дома. Впрочем, не этим ли меня раздражившим поступком воспламенила она все сложные взрывчатые вещества, из которых образуется страсть?

Все мои прогулки, откуда бы я их ни начал с утра, приводили меня к одному и тому же месту — развалинам Генуэзской крепости. Дня два окна в доме были закрыты, ее не было. Но вот все окна открылись, на рояле играли Шопена. Играли прескверно: с задержкой, с шумливой страстью. Я, помню, обрадовался, подумав: «Если это она, я тотчас ее разлюблю и буду снова свободен». Но играла не она. Ее, как и первый раз, я опять не узнал, хотя, когда она мне сказала, смеясь: «Здравствуйте!» — оказалось, что стояла она совсем близко на камнях. На ней были татарские шаровары и куртка, в руке альпийская палка и кожаный саквояж. Она, как будто между нами не вышло ничего неприятного, смотрела приветливо на меня.

— Куда вы идете? — осмелился я.

— Я иду к старому чабану, моему приятелю, несу ему разного зелья. У нас уговор: я хожу к нему каждое лето.

Я не знаю, как мог ей сказать:

— Возьмите меня с собой!

Она чуть подумала, медленно обмерила меня взглядом и сказала:

— Ну, хорошо, с одним условием: вы будете всю дорогу молчать. Я терпеть не могу с болтовней ходить в горы.

— Я стану глухонемым,— обещался я.

— Довольно только немым до козьей сторожки, там вы можете говорить.

Я взял у нее из рук чемоданчик, и мы пошли.

Сначала тропинка была некрутая. Справа синее море, слева цеплялся за ноги кривой кизил, цвели ломонос и шиповник... Серые скалы были навалены друг на друга, будто с силой брошены великанами из-за главного хребта огромной крутой горы, похожей на верблюда, поджавшего ноги. Растения встречались с душистыми листьями, и серебряной пылью подернуты были цветы из семьи эдельвейсов. Гора, похожая на верблюда, поросла небольшими колченогими соснами.

И сейчас вижу я, как странно они закрутились много раз вокруг своих же стволов, с облупленной вовсе корой, совсем серо-лиловые.

Иные, горбылями изогнув всю середину, будто червь-землемер, вершиной уперлись в камни, разметывая по скалам и шишки и темные ветви. Меня эти перекрученные жилистые сосны наполнили романтической грезой, и, памятуя Дантову песню, которую, по настоянию тетушки, графини Кушиной, я хорошо изучил и очень любил, как дающую воображению пищу, я, забыв обещание немоты, вдруг воскликнул, указывая Ларисе на горбыли сосны:

— Это — непокорные калеки адского круга, это — закрепленные в дереве души самоубийц!

— Ну вот, начинаете,— с непритворной досадой, как просыпаясь от сладкого сна, сказала Лариса.— Бросьте книжки из головы, да и мысли впридачу. Вы здесь ничего не поймете, если будете думать... Или хоть мне не мешайте.

— Простите, я не буду,— сказал я,— я люблю сам природу...

Я знал, что сказал глупо, но мне было все равно. Я вдруг перестал чувствовать близко Ларису. Пропала острота ее существа. Мне теперь только казалось, что я ее знаю бесконечно давно, что мы родные, что мы возвращаемся вместе, как дети, на родину.

Мы шли без конца. Под самым верхним хребтом го́ры, как за́мки зубцами своих бойниц, вырезывали легкое синее небо. Между бойницами окаменелые залегли навеки какие-то чудные ящеры и драконы. С самого верха скакали вниз по камням, будто мальчишки, разогнавшись в лошадки, веселые буйные ручейки. Было и освежающе и знойно. И чудилось, когда вошли мы в глубокое изумрудно-сумеречное ущелье, что это — вход в жизненную грудь земли. Мы присели на скалу, и, охваченный духовитостью трав, я сказал:

— О, если б обратно в мать-землю, в ее темные недра, и не думать, не знать и не чувствовать...

— Это на вас действует козий бог,— сказала Лариса,— тут все его... Но молчите, молчите.

Лариса сидела тяжелая. Лицо ее со странно застывшей улыбкой было как лица архаических статуй, чьи изображения меня так особенно волновали в музее. Сама богиня земли была предо мной, и от нее шла ко мне сила, текущая, ровная, как полуденный зной.

— Идем выше,— сказала она, встала и опять пошла безмолвно вперед. Я за ней.

Куда мы сейчас забрались, казалось, еще не ступала нога человека. Великолепие цветущей травы, диких ирисов и гвоздики не было примято и дыханием ветерка. Солнце слабело. Все быстрей шел таинственный обмен красок между небом и соснами. Густые сосны жадно вбирали в сéбя синий покров и одевались им, как венчальной фатой.

— Вот и козья сторожка,— сказала Лариса,— я вам возвращаю дар слова.

ВСЕ ЕЩЕ ВТОРАЯ ГЛАВА

(Заметка о дюжине и об единице)

Только сейчас, через полвека, когда черный Врубель объяснил самое нужное для всех людей, я понял всю бессмыслицу, которая случилась со мной в козьей сторожке. Для всякого — два выхода, только два, все прочее — обстоятельства второстепенные.

Вот слушайте: есть древняя мелкоглавая церковь вблизи сумасшедшего дома, где впервые сидел черный Врубель, объявив за литургией, что в этой церкви хозяин он, ибо сам же ее расписал. Было митрополичье служение, а он, столкнув с амвона владыку, встал на его место сам. Но ведь это чистая правда, что наверху, на коробовом своде хор, есть его картина — откровение всем. Он учил меня, как ее надо смотреть, чтобы вышло...

К заходу солнца по лестничке скоро взбежать, озираясь в пролеты сквозь узкое оконце, чтобы поспеть назад вовремя. Вдруг зажмуриться и вдруг глянуть на безбородого молодого пророка, на того, у кого уже глаза демона... Он готов к полету, как тот, кто разбился в падении, развеяв о скалы павлинье перо.

Над пророком двенадцать. Сидят плотно, твердо оперев две босые ноги на квадраты ковра. Сидят на деревянной скамье, огибающей внутренний купол. Кисти рук исполнены дивной жизни: лежат ли на коленях, как у старого справа, прижаты ли к груди или чуть воздеты.

Руки и ноги держат тела. Не будь их яростной силы, тела бесновато закорчились бы на квадратном полу.

Черный Врубель держал предо мною большую фототипию с той картины и раскрывал мне ее тайный смысл под гогот непосвященных. Он делал руками поочередно, как каждый из двенадцати.

— Люди думают, им нет числа. Им число есть. Двенадцать. И все, как солдаты по роду оружия, по этим вехам: Петровы выхватят меч; Иоанновы, безмолвствуя, знают; от Фомы не устают влагать перст. Все, что рассеяно мелочами во всех, отстоялось в двенадцати. Найди своего, встань, как он. Руки легонько сложи, чтобы их не знать, глаза закрой, и вся сила в точку: стой, солнце!..

Оно ударит последним лучом на картину, нестерпимый свет заструится... двести тысяч свечей. Хе-хе... Электрификация центров. А вы думали? Невинный образ на стене для молящихся? И кто это? Такой-то художник, как Врубель. Чтобы вам всласть плакать и каяться... да, черта с два! Завуалировано от дураков. И под покровом Изиды одному показалось ведь пусто...

А в газете читали? Отличнейшая передовица; я выписал слово в слово:

«Мы стоим у порога разрешения задачи передачи на расстояние энергии без проводов».

Так вот-с: некая энергия без проводов может заструиться на каждого, как там, на стенке, желтым лучом, с утолщением в виде шелковичного кокона... А наивно обнесенные вокруг голов венчики — фиговый лист. Ибо можно увидеть, можно услышать, можно узнать, чего обычно не знают! Но вывод делает каждый сам: расточить себя, как двенадцать, или собрать себя, как один.

Мы держали в руках фототипию, пока не стало заходить солнце. Пора.

Вдруг, глянув в окно, шепнул черный Врубель:

— Последний луч принять в себя, им, как багром, зацепить солнце, солнцу не дать зайти. Остановим солнце для мировой эле-ктри-фи-ка-ции! Всем, всем, всем!

Художник вскочил на кровать и залаял; я, помнится, ему лаял вслед, считая лай заклинаньем. Но кругом нас завыли. Увы! — опыт был опять преждевременный. Солнце зашло.

— Опыт с солнцем отменяется,— кричал в коридорах художник, когда нас обоих влекли в буйную.

Вот тогда-то, повернувшись ко мне, он и решил:

— Сперва единичный пример, мы призваны оба, оба!

И, подняв два указательных костлявых пальца кверху, он крикнул на весь коридор:

— Две единицы!

А в козьей сторожке, под властью козьего бога, я было сбился в числе. Единица — захотел подешевле прожить, стать из двенадцати, включиться в двенадцать.

Козий бог — страшный путаник.

Его капище

Мне Лариса сказала:

— Вы любите чувствовать по книжке, как давеча с кручеными стволами; так я же вам покажу...

Она взяла меня за руку и повела к каким-то постройкам циклопов.

Огромные белые камни навалены друг на друга. Каменным поясом-стеной охватили черный утоптанный круг. Посредине три жбана. На жбанах чабаны. Свиса-

ют с боков шаровары в густых, словно кожаных сборах. На бронзовых лицах этих людей, все лето живущих в горах, покой окружающей природы. Но вот они запели гортанно, чуть-чуть качаясь. У них была та же улыбка древних бездумных предков, что на лице у Ларисы.

— Песнь козьему богу,— шепнула она.— Они просят обильного удоя.

Перед узенькой дверцей толпились несметные козы, рвались доиться. Девичьи большие глаза полны крупных слез, бородки трясутся от мемеканья, громадное вымя напряглось и торчало. Татарин, низавший на толстую нитку бараньи шкурки для просушки, вдруг гикнул разбойничьим гиком и поднял заслон у ограды. Козы втиснулись, чабаны рванулись со жбанов, схватили коз за хвосты, развели им тонкие розовые ножки, посадили перед собою. Черными цепкими пальцами дернули за сосцы, будто пробуя инструмент, и вдруг, стиснув вымя, по горному обычаю, вытиснули из него разом все молоко. Подоенную козу татарин хлопал по пыльному заду, сгонял и сажал пред собой другую. Удой был обильный, все козы здоровы. Чабаны пели хвалебные песни козьему богу.

Козы перекликались человеческими голосами, смотрели девичьим кротким взором, а люди с улыбкой древнего предка, с глазами без мысли пели песнь козьему богу.

Я припал головою к камню. Он был как колени матери. Надо мною ласковым звездным покровом держалось небо. Кругом горы: каждая в собственной думе, с окаменелыми за́мками, зверями и бойницами стерегла, охраняла пастбища козьего бога и густые отары овец.

Вдруг Лариса взяла меня за руку, провела за камни и, подведя к обрыву, отвесно возникавшему с глубокого дна ущелья, сказала:

— Бросьте вниз камень!

Я бросил. Лишь через долгий миг глухой звук мне отметил падение.

— Вот в этом месте чуть было однажды не совершилось кровавой жертвы козьему богу,— сказала Лариса,— но козий бог крови не любит. Старый чабан-ведун поспел вовремя: только он да козы умеют ходить по откосу. На мое счастье, он поспел вовремя...

— Почему на ваше? Разве жертвой были вы?

— Да, меня бросил сюда в припадке дьявольской гордости тот, кто меня побоялся любить...

— Михаил Бейдеман! — со злобой окончил я, и вдруг, полный мести к нему за отнятую любовь Веры и сейчас за возникшую тень его между мною и новой любовью, я сказал в бешенстве:

— Так знайте ж, каков он! Он такой же звездной ночью другой женщине, которую любить не боялся, рассказал про этот случай с вами...

Лариса молчала. Стало очень темно. Я не видел ее лица, но я знал ее рядом: тяжелую, плотную, со страшным каменным лицом.

Когда она заговорила, как всегда, ее голос был прост и ровен.

— А как вы-то узнали о том, что ваш друг говорит, оставшись вдвоем? Вы подслушали?

Моего лица не было видно, и я сказал ей ли, себе ли — не знаю. Я был как пьяный, я сам будто летел по отвесному обрыву на дно глубокого ущелья. И слова мои были как отзвук падения.

— Да, да... Я подслушивал... Я любил безнадежно ту женщину, которая любит его.

— Почему же в прошедшем? И сейчас ее любите?

— Сейчас я люблю только вас, только вас...

— А... — сказала Лариса. — И вы позабудете, что вы его друг? И позабудете, зачем вы меня разыскали?

— Я передал поручение, — сказал я, — и какое мне дело... У меня своя жизнь!

— Здесь козий бог, здесь козья жизнь. — Лариса тихо засмеялась. — Это он, Михаил, так называл нашу любовь: козья. А меня — жрицею козьего бога. Что же: пусть так и будет. Так он про меня рассказал?

— Имени он не называл. Он сказал, что это было в Крыму.

— А если бы она спросила, он бы имя назвал?

— Они соединялись навеки. Он бы имя назвал...

— А... — протянула снова Лариса и безмолвно, взяв меня под руку, повела.

Перед козьей сторожкой, сложенной из камней, с холщовым верхом, стоял необыкновенный старик.

Он был невысок, совсем голый, в ярких лохмотьях вокруг пояса. На длинных седых волосах по самые брови надвинута полосатая шапка. За спиной желтая тыква паломника. Безусый, безбородый, он походил на жреца.

Улыбнулся Ларисе; не поздоровались, а хлопнули друг друга по рукам. Лариса передала чемоданчик.

Вдруг подскочил татарчонок, что-то прокричал, и два чабана, доившие коз, положили к ногам старика внезапно заболевшего козла.

Старик тотчас присел на корточки, замурлыкал протяжную песнь и, вынув из-за пояса кривой нож, подставил его луне. Луна, дымная и неполная, выходила из-за облаков. Как белые бельма, тускнели закатившиеся глаза больного козла. Старик прищурился, скрипнул зубами, полоснул козла около живота. Хлынула черная гадкая кровь. Он прихватил цепкими пальцами, как крючками, разверстую рану, придержал ее недолго и вдруг, дернув козла за рога, поставил его на ноги. Козел, шатаясь, пошел к стаду. Стадо шарахнулось от него, чего-то испугавшись.

Чабаны, гортанно гикая, стали щелкать бичами.

Старик подошел к нам, остро глянул на меня, тронул черной рукой. Проговорил что-то ласково Ларисе, указав на сторожку.

Лариса, побледневшая под луной, с каким-то новым помолодевшим лицом, сказала мне:

— Дед уводит стадо на ту сторону, а нам дает свою сторожку.

Многоглазый небесный покров, ужас стада, темная власть старика, кругом немая, плодородная земля.

— Идемте же в козью сторожку, к козьему богу!

И я сказал:

— Я пойду, куда поведете...

В большой холщовой палатке, обложенной снизу дерном, было душно и совершенно темно. На земле на душистом горном сене разостланы козьи шкуры, они же развешаны были вдоль и поперек. Несло острым потом, козьим молоком, кожей, сыром, прокисшим вином.

Усевшись в шелковистую шерсть, мы словно попали в отару овец.

И мы целовались, не видя друг друга.

Перед рассветом я, должно быть, заснул. Когда, открывая глаза, я почуял на лице своем солнечный луч, мысли мои прояснились, и я вдруг пришел в ужас, что сейчас увижу Ларису.

Но тут же по ощущению той физической свободы, которой ее присутствие меня всегда лишало, я мгновенно понял, что ее больше нет в палатке.

Эта мысль неожиданно меня наполнила беспокойством. Я вскочил — ее не было. Я выбежал наружу: солнце едва взошло. Горы, как умытые, стояли в нежно-голубых тенях.

Полное безмолвие. Стадо с пастухом ушло до восхода. Я крикнул:

— Лариса!

Откуда-то снизу, быть может из того же ущелья, куда ее столкнул Михаил, мне ответило твердое, неприятное, как попугай, эхо.

Я сел на камень и заплакал. Мне казалось: я себя потерял безвозвратно.

Старый чабан вырос откуда-то из кустов. Он мне знаками объяснил, что Лариса ушла. Своей узловатой палкой он указал мне подробно дорогу.

Я стремительно кинулся по тому же пути, где мы подымались вчера. Я, спотыкаясь, топтал огромные шишки с пахучей прозрачной смолой, и опять мелькали по краю обрыва серебристые сосны с перекрученным голым стволом. Опять в бархатистых складках зеленых долин между гор белели отары овец. Сейчас я не видел красот, мне все было — лишь вехи в пути. Мне надо было только одно: скорей ее видеть, заставить ее отвечать.

За минуту боявшийся ее присутствия, я сейчас был в бешенстве от одной мысли, как смела она убежать. Ее коварство походило на издевательство.

У водопада я услыхал голоса: девица и некто плотного вида, с золотой цепью, похоже — инженер. Он говорил галантно девице, покачивая тросточкой над разбитым в ручейки водопадом:

— Не правда ли, водопад этот — страсть: она свободная мчит, закусив удила, а разбитая исходит потоком слез...

Не задумываясь, не колеблясь, как был, запыленный, в колючках и белом пуху ломоноса, с небритым лицом, я вошел в дом к Ларисе.

— Барыня занята,— ответила мне петербургская горничная, и, как почудилось, с дерзкой усмешкой.

— Мне должно быть исключение, я вечером еду, и мне нужен ответ в Петербург.

Горничная пожала плечами, но через минуту пришла:

— Посидите в кабинете, пока барыня кончит работу.

Я прошел в кабинет и сел на диван. Из соседней комнаты, должно быть будуара Ларисы, дверь была полурастворена. Слышен был стук молотка, какое-то противное дребезжание.

— Барыня выстукивает себе камин,— пояснила горничная и исчезла.

Я видел с дивана белый утренний пеньюар Ларисы. Лицо было скрыто. Конечно, она знала, что я вошел. Она продолжала свою неприятную работу. Перед ней лежала полоска железа, и по узору, наставляя разной величины долотца, она сверху ударяла молотком.

Противный, раздражающий звук царапал нервы.

Я не выдержал, шагнул в полуоткрытую дверь и схватил Ларису за руку с молотком:

— Вы можете кончить потом, у меня есть дело...

— Дело?— Она усмехнулась.— Если упреки, то оставьте их при себе.

— Я желаю спросить не о себе.

Я осекся. Мои глаза уперлись в большой портрет на стене. Это была знакомая мне увеличенная карточка Михаила юнкером. Огненные глаза его вопросительным укором глянули на меня.

Я сухо спросил Ларису:

— Какой же ответ мне свезти в Петербург? Когда начнете вы хлопотать?

— Я хлопот никаких не начну.

Лариса теперь не стучала, но делала вид, что выбирает узор из кучи наваленных на столе.

— Вы мне сами сказали, что у Бейдемана осталась невеста. Пусть она и хлопочет.

Презрение меня охватило:

— Низкая женская злоба... Но никто ведь не добьется того, чего добиться можете вы, если верить слухам.

Она подняла глаза:

— Договаривайте здешнюю сплетню, тем более что она — правда.

— Правда, что вы были близки с великим князем?

— В той же мере, как с вами, если вы это называете близостью.

Эта женщина, влекущая к себе безглазой, тяжелой земляной силой, была мне сейчас отвратительна. Я видел перед собой одно лицо друга и — увы!— с поздним жаром стал умолять ее взяться за хлопоты. Не помню,

что я говорил, но я нашел краски изобразить его жестокую участь в противоположность ее годам свободы и праздных капризов.

— Только подумайте: он сидит в бес-сроч-ном одиночном заключении!

Ни стыда, ни смущения не было на лице ее, когда с непонятной мне горечью вдруг она прервала мое жалкое красноречие.

— Кто знает сроки?— сказала она.— Быть может, я завтра умру и больше не буду ничем наслаждаться. Но хлопотать за свободу того, кто был враждебен той земной жизни, которую я люблю, я не стану.

Дрожа от негодования и ненависти, я сказал:

— Не правда ль, предел этой жизни — лишь козья сторожка...

— Где я вам подобных обращаю в козлов?— с невыразимым презрением оборвала Лариса.

Я поклонился и пошел к дверям.

— Подождите,— вскрикнула она и встала во весь рост.— Запомните на всю жизнь, ведь больше мы не увидимся. Запомните: это вы разбудили во мне обиду и злейшие силы мои. А у меня нет, во имя чего с ними бороться. Я козьей жрицы — козий бог. Еще запомните, что в ваших руках было иное: вы могли соединить две наших воли только в заботе о друге. Если б вы были ему верны, и я б оказалась иной. Но вы мне предали Бейдемана. Будьте же вы прокляты, как и я!

Я уехал из Ялты. Последнюю неделю отпуска я пробыл в Севастополе. В ресторане у моря я слышал, как пришедший с пароходом капитан рассказывал о том, что все в Ялте взволнованы происшествием в горах.

— Я держал пари, что эта Лариса Полынова плохо кончит!

— Эксцентричных женщин всегда убивают, если они не догадываются убить себя раньше сами,— сказала ближняя дама.

— Я подозреваю, что тут не без романа с татарами,— вставила дальняя.

— Нет, нет! — защищал капитан.— Хотя ее действительно принесли с гор татары, но это простые, хорошие люди, всем известные пастухи, из которых главный, старик — приятель Ларисы, рыдал, как ребенок. Он рассказал, что она, принеся ему, как всегда, запас нужных лекарств, подарила на память часы. Он показал

расписку ее, где написано, что дарит в полной памяти и здравом уме такому-то в знак многолетней дружбы. Умнейшая барыня все обдумала: распоряжение насчет имущества написано отцу Герасиму заказным по почте, просит в смерти своей никого не винить... Татары говорят; она отбежала на край отвесной скалы и у всех на глазах застрелилась, они же ее вытащили с опасностью для жизни и принесли домой на руках. Хотя эти татары все же арестованы, но по следствию их, разумеется, оправдают.

— Уж какой-нибудь виновник да есть,— сказала ближняя дама и случайно глянула в мою сторону.

«Да, я виновник»,— подумал я, но вслух сказал, как обычно, лакею:

— Подайте мне счет!

Я пошел далеко по камням туда, где узкая коса клинком врезалась в море.

Я помню: вырезным и бумажным мне показался огромный диск луны, и отражение ее отвратительно. Все было кругом как захватанный и пошловатенький лунный ландшафт над красным бархатным гарнитуром гостиной в провинции. Больная душевная мука выветривала жизнь и красоту из самой природы. Вдруг я ощутил с новой силой, отделяющей меня от всего живого, свое клеймо древнего Каина — мой новый позор предателя.

Да, никем не изобличаемый, как мерзостный хитрый гад, сокрывший себя между трав уподоблением их окраске, предатель угнездился в бессознательных недрах моего существа.

Ибо я предавал людей, не желая предать.

ГЛАВА III

ГЛИНЯНЫЙ ПЕТУШОК

Когда, уезжая в Крым, я сказал Вере о письме матушки к Ларисе Полыновой, Вера, нахмурив брови, ответила:

— Такие женщины самоотверженно не помогают.

Она уже не верила в возможность освобождения Михаила и все силы свои и надежды направила на деятельность революционную. Только от нее в зависимости ставила она разрешение вечных узников от уз.

У Линученка, с которым Вера жила, умерла жена на хуторе, он поехал ее хоронить. Квартира Веры была теперь осаждаема откуда-то набравшейся молодежью. То заседали кружки взаимопомощи по доставлению средств образования, то составлялась библиотека запрещенных книг, то типографию приносили прятать. От меня она по-прежнему ничего не скрывала, и я терзался от мысли, что кто-нибудь донесет и ее постигнет ужасная участь. Наконец, когда я стал ее умолять быть осторожней, она сказала, глядя пустыми отчаянными глазами (такой точно взор был у Ларисы, когда она меня прокляла):

— Ради чего беречь мне себя? Хоть малую пользу делу, а значит и Михаилу, принести может только моя гибель. Без него я — рядовой боец и погибну в начале или в конце — дело случая. Сейчас для революции одно важно, чтобы правительство знало нашу непримиримость до смерти.

Но я всеми силами стал вливать в Веру надежду на освобождение Михаила через Ларису Полынову, рассказав ей, что, по наведенным справкам, эта женщина действительно близка к одному из великих князей. Я обещал, что найду слова убеждения, способные растопить камень...

Мне удалось повлиять на Веру, и она мне дала обещание, что до моего возвращения не примет участия в рискованном деле. Больше даже: она решила поступить на фельдшерские курсы и отдаться всецело занятиям.

И вот сейчас я ехал из Севастополя в Петербург, как негодяй, которому доверили последнюю ценность, необходимую для жизни, а он расточил ее на свою прихоть.

В Петербурге меня ждало новое испытание.

Как в романах Дюма события нарочно нагромождаются в особенно важных главах, так и в эпилоге моей жизни одно за одним пошли необычайные приключения.

Впрочем, именно такое неправдоподобие обличает порой самую правдоподобную действительность так же реально, как чудища из облаков на невероятно окрашенном фоне, вырывающие у зрителя восклицание: «Если б художник нарисовал, ему бы никто не поверил!»

Едва вошел я прямо с вокзала к Вере, в небольшую ее комнатку на Васильевском острове, как вместе со мной протянул руку к звонку некто высокого роста, в башлыке, обмотанном вокруг шеи. Он отдернул руку, уступив мне звонок. В комнате было сизо от дыма, на полу окурки, на диване и сундуке тесно сидели незнакомые люди. Председательствовал Линученко, вернувшийся с хутора. Лица все новые, молодые.

Только одного блондина, угрюмо забившегося в угол, я признал тотчас же. Лицо его было знаменательно, и я, еще в первый раз видя его, очень отметил. Вера почему-то именно его мне упорно не хотела назвать.

Сейчас, едва я вошел в комнату, Вера кинулась ко мне, схватила за руку и шепнула:

— Она согласилась?

Как заводной истукан, я ей ответил:

— Она внезапно скончалась, я в живых ее не застал.

Вера еще смотрела, не понимая смысла моих слов, как вошедший за мной, подойдя к Линученку, протянул ему руку и назвал себя. Тот радостно его обнял и громко объявил:

— Товарищи, поздравьте! Счастливый выходец из казематного ада. Ну, дружище, с какими вестями? Здесь все свои.

— Прежде всего поручение. Один из наших, выйдя из еще худшего места, чем я... из Алексеевского равелина, дал мне для передачи родным и друзьям Бейдемана записку. Он сидел полгода рядом с несчастным. Тот простукал ему и взял клятву о доставке домой. Мне сказали, что здесь...

— Здесь! — воскликнула Вера. Она протянула руку и застыла, как на миг застывает мать, у которой на глазах тонет дитя.

Линученко прочел вслух записку:

«Умоляю, хлопочите об освобождении. Надвигается безумие. Пусть сошлют в солдаты, на каторгу... Пусть казнят... Все, все лучше, чем это».

— При первом приступе безумия он пытался повеситься, но неудачно. У него отобрали полотенце и простыню, — сказал пришедший. — Это было осенью шестьдесят третьего года.

— Да, двенадцатого августа тысяча восемьсот шестьдесят третьего года! — воскликнул я. — Да, это было в день смерти его матери!..

Меня словно вихрем рвануло куда-то, и я без чувств грохнулся на пол. Это понято было всеми только как законная скорбь о друге, но на самом деле это был еще и обратный удар того потрясения, которое испытал я в этот день, уйдя вместе с матушкой в мое первое воздушное путешествие. Ведь я тогда не был еще обучен черным художником в том, что он зовет «электрификация центра», я еще не мог использовать миг, разрывающий предел и движение по линии, не теряя сознания.

Зато не далее, как сегодня утром, я пустил машину времени ровно на пятьдесят лет назад и, когда девочки и Иван Потапыч ушли в гости, сам вошел в камеру к Михаилу.

Он только что съел свои вечерние ужасные щи, из которых выловил двух тараканов живыми. Он забавлялся тем, что, вылепив из черного хлеба им помещение, искал, куда бы ему их запрятать от зорких глаз ирода Соколова, чтобы сделать потом их ручными. Хотя лицо его было бледно и изможденно, как бывает от тяжкой болезни, оно светилось хитрой улыбкой. Увидав меня, он испугался, но, как только узнал, ласково обнял.

Сидя с ним рядом на жестком матраце его нищенского ложа, я рассказал ему не про то, что было в горах, а только про то, что там должно было быть.

Я говорил, что Лариса и Вера подружились, как сестры, оттого, что обе любят его, и о нем завтра же пойдут хлопотать. А сейчас я предложил ему прогуляться в горах.

И, высоко подымая ноги, Михаил стал ходить по камере. Как дитя, он гонялся за бабочкой, рвал цветы, любовался направо восходом, налево луной. Времени не было; все, что вступало в мысль, вдруг делалось жизнью. А когда старый пастух напоил его теплым молоком, пришла Лариса и, обняв его, увела в козью сторожку. Я же не ревновал. Я был рад, что несчастный наш друг нашел хоть минуту забвения.

Когда вечером смотритель Соколов вошел со сторожем, Михаил спал с такой блаженной улыбкой, что даже это грубое животное было тронуто и проявило несвойственную ему заботу, конечно — в соответствующем ему выражении:

— Не будите его; натоптался днем, пускай дрыхнет!

. . . .

Иван Потапыч мне сегодня сказал:

— Это очень похвально, что ты перестал прыгать, как воробей, трепыхая локтями. А нынче окончательно возьмись за ум, прекрати бормотание, сделай милость,— девочек пугаешь. На вот, маракуй себе на бумаге: спокойное дело.

И добрый человек подарил мне стопу чистейшей бумаги, присовокупив пояснение:

— Тебя ради облегчил наверху канцелярию; чай, казенная, нет греха.

Сделаю праздник, попишу на белой бумаге и черновик. К тому же пусть канцелярская эта бумага — хищение Ивана Потапыча,— как действие, лежащее всецело в наших трех измерениях, удержит мою недавно освобожденную мысль в пределах, приемлемых здешними. Ибо про событие исключительной важности мне сейчас надлежит рассказать. Факты этого события общеизвестны, но кое-что из того, что за фактами, может вскрыть только такой, как я, кому время стало — фикция.

Однако сначала два слова о том, что произошло после записки, так чудесно попавшей из Алексеевского равелина к Вере.

Выписанная эстафетой, приехала сестра Михаила — Виктория, женщина высокая, очень лицом на него похожая, безмолвно твердая. От имени ее составили следующий документ, который ныне напечатан целиком в книге о Михаиле:

«Поручик драгунского Военного Ордена полка, Михаил Степанович Бейдеман, три года тому назад без вести пропавший, оказался содержащимся в С.-Петербургской крепости. Мать его в сентябре 1863 года умерла на пути из Бессарабии в Крым для испрошения у государя императора помилования ее сыну. Сестра заключенного в крепости Бейдемана, Виктория, уверенная в благодушии вашего сиятельства, осмеливается испрашивать единственной милости: дозволить навещать Бейдемана в его заточении».

Записка эта через влиятельного родственника с письмом от другого важного генерала к третьему была доложена самому шефу жандармов князю Долгорукову. Князь написал, что резолюция государя на этот раз и на все будущие попытки сношения с узником одна: о Михаиле Бейдемане правительству ничего не известно.

Пока не пропала последняя тень вновь воскресшей надежды, Вера, оставив свои кружки и даже единственное утешение — работу в госпитале, как в дни нашей безумной попытки освободить Михаила, опять, словно маньяк, с горящими глазами, безмолвная, с нечеловеческим напряжением воли, хлопотала о доставлении записки Виктории куда следовало. После резолюции, положенной свыше, она, как автомат, который рука заводящего перевела на другую пружину, стала так же безмолвно и без оглядки работать на дело революции: ходила на какие-то тайные сходки, кого-то осведомляла, кого-то прятала. Ни дождь, ни тьма, ни опасность глухой окраины ей не были препятствием. Она не худела, а просто таяла на глазах. Я сказал Линученку:

— Если ее не остановить, к весне у нее будет скоротечная чахотка.

Линученко горько ответил:

— Если можете — остановите.

Полный невыразимой жалости и вспыхнувшей с силой любви, я искал случая застать Веру одну. Однажды я пришел, когда в квартире не было никого; дверь в ее комнату полуотворена. Я увидел ее в кресле в глубокой задумчивости: исхудавшие руки ее были жалостно вытянуты на коленях, и крепко, по-детски, стиснуты пальцы. По тишине, царившей в комнате, как и во всем доме, я решил, что у Веры нет никого, и, войдя быстро, вдруг неожиданно для самого себя стал на колени и, целуя ее милые руки, сказал:

— Вера, очнись! Вера, если тебе не жаль себя, пожалей меня, я гибну... Уедем на Кавказ, попробуем начать новую жизнь. Ты будешь со мною свободна.

Кто-то сзади кашлянул. Я вскочил в ярости. Мы были не одни: здесь сидел этот, уже мною отмеченный, угрюмый молодой блондин. Он подошел ко мне и, глядя сконфуженными, прелестными, полными необычайной доброты голубыми глазами, сказал поспешно:

— Простите, но, право, я не в счет.

И действительно, неловкости от его присутствия я не почувствовал.

Вера встала, взяла этого человека за руку и с видом вдохновения, напомнившим мне лицо ее тогда на террасе в деревне, когда цвели липы и на один миг она, князь Глеб Федорович и я были нечеловечески счастливы, мне сказала:

— Сережа, брат, вот мой новый жених, единственный, чьей невестой я смею быть, не изменяя Михаилу. Но только невестой...

— Итак, поезжай,— повернулась она к нему,— и помни и знай: каждая мысль моя, и дыхание, и сила всей воли — с тобой! И больше нет колебаний. Бесповоротно.

Он повторил приятным и глуховатым, как у больного, голосом: «Бесповоротно».

Вера поцеловала его, он мне поклонился и ушел.

— Кто это?— спросил я.

— Зачем имя...— уклонилась Вера.— Впрочем, это имя скоро узнает вся Россия, и его впишут в историю. Сережа, я принадлежу к революционному обществу, которое зовется «Ад» и члены его — «мортусы». Это звучит по-ребячески; но, удастся нам она или нет, мы возобновим попытку декабристов дать родине свободу. Вас привела сейчас судьба в решительную и необычайную минуту, неужели опять понапрасну? Опять чтобы, мучительно раздвоив вашу душу, не выковать решения воли? Сережа, вы своего места в жизни все равно не нашли, пойдите же с нами! Мы знаем, за что и на что мы идем. Сейчас нет свободной жизни, сейчас нельзя жить для себя. Сейчас время гибели за грядущее. Пойдем вместе с нами!

— Смерти я не боюсь, но умереть предпочитаю один, а не за компанию.

Первый раз в жизни я враждебный простился с Верой и уехал в полк. У меня шевельнулось недоверие к ней из-за этого нового «жениха», и мелькнула мысль, что, как свойственно большинству женщин, самое обыкновенное увлечение свое она из самолюбивой гордости облекает в форму таинственную. И первый раз не в ее пользу я сравнил ее с гордой дикостью Ларисы.

Ужасные события не замедлили обнаружить всю плоскость моих суждений. Зиму я провел отвратительно: образ Ларисы, как бы оспаривая в моем сердце привязанность к Вере, возник вдруг с такой томительной силой, что двинул меня на нелепую связь, одну из тех связей, которых каждому надо бояться как огня. Случайное сходство в одном из поворотов головы, напомнившее мне ночь в козьей сторожке, заставило меня очертя голову, не ища подтверждения в уме и характере, бешено влюбиться в одну из полковых дам. Впрочем,

я больше всего искал забвения, которого ни вино, ни карты мне не давали.

Полковая дама в маленьком городке, как известно, исчисляет дни своей жизни от романа к роману, и страсть моя не только препятствия не встретила, но очень скоро превратилась в тяжкое обязательство. Дама оказалась неумной, с сильнейшим характером и совершенно мещанским обычаем. Она ревновала, делала сцены и всячески предъявляла «права». Соединение двух без участия чувств и разума, по одной лишь физической склонности, вероятно, безопасно для людей исключительно деловых, с воображением сонным и тупостью восприятий. Но ежели кому не редкость волнение чувств, пробужденных художеством или мыслью, тому будет жестокое наказание уже в том обстоятельстве, что он примет в свой организм, как инородное тело, всю грубейшую часть ему чуждой души. Качества эти ему придется или переработать, или быть ими отравленным.

Сколько я ни защищался от влияния этой женщины, я был ею затянут в болото каких-то отвратительных мелочей, и, не хвати у меня силы воли бежать, я бы погиб в этой тине, как гибнут десятки юнцов. Но я подал прошение об отчислении меня для подготовки в Академию генерального штаба и уехал в Петербург учиться.

Веру нашел я в совершенно мне новом состоянии. Она остриглась, курила прескверные папиросы и манеры свои изменила соответственно типу окружавших ее фельдшериц, акушерок, курсисток. И самое главное: она потеряла неуловимые, ей одной присущие черты. Только и узнал я прежнюю, особенную Веру, ту которую любил, когда на вопрос мой, зачем она себя изуродовала, она серьезно сказала:

— Так легче мне жить. Меня прежней нет вовсе, а есть только винтик сложной машины, которому легче делать работу, когда он смазан тем же маслом, что и соседние с ним винты.

Но, с другой стороны, уже не Линученко, почему-то вдруг страшно замкнувшийся и безмолвный, где-то занятый неизвестным мне делом, а Вера была верховодом и душой кружка. В кружке были опять новые лица. Из отрывков разговоров, которые велись много осмотрительнее и серьезнее, чем в первые годы, я понял, что в Москве у них главный центр, а здесь, у Веры, лишь самое первое звено.

Революционное движение после студенческой истории развивалось с необыкновенной быстротой, а в салонах тетушки графини Кушиной и ей подобных все еще считали, что движения серьезного нет, а есть, как выражалась тетушка, «сплошные амуры безобразнейших синих чулков с бурсаками». Интересовались в свете больше всего внешней политикой. Европейские старички захлебывались от восторга при имени Бисмарка, твердя в сотый раз всем и каждому, что канцлер превратил Staatenbund в Bundesstaat [1].

А у тетушки на столе в чудной ореховой рамке стоял наш посол барон Брунов, удостоенный этого отличия за находчивую поддержку, как выражалась тетушка, чести родины.

Когда в заседании лондонской конференции прусский уполномоченный возобновил давнее предложение Франции решить вопрос о пограничной черте в Шлезвиге между датчанами и немцами опросом населения, барон Брунов сказал корректно, но твердо:

— Было бы противно началам русской политики, чтобы подданных спрашивали, хотят ли они остаться верными своему государю.

И добавляла иронически тетушка:

— Смешно подчинять приговор правительств Европы мнению шлезвигской черни!

В конце пятой недели поста, через несколько дней после моего приезда в Петербург, я опять встретил у Веры того блондина с необыкновенным лицом.

Какие неопознанные психические силы стоят на страже нашего существа, которые при встрече с иным человеком, как бы угадывая роковое пересечение его судьбы с твоей, наполняют сердце необъяснимым ужасом? Впрочем, после встречи с черным Врубелем и разъяснения его схемы эволюции мира я могу формулировать.

Ужас испытывает каждый, кто связан с судьбой числом двенадцать при встрече с единицей.

Я был одним из многих, а тот человек с необычайно светящимися лаской глазами был единицей.

В эту встречу меня поразил его донельзя измученный вид: впалые щеки, чахоточный румянец, светлые

---

[1] Союз государств в союзное государство *(нем.)*.

волосы без блеска, мертвыми прядями прижатые к вискам.

— Вы больны? — спросил я его.

— Я только что из больницы, — отозвался он своим ослабевшим, глухим голосом, — и на самом деле я плохо оправился.

— Тогда отложить? — зорко глянула Вера, услышав разговор.

— Нет, откладывать дольше нельзя, — сказал он твердо, — моя чахотка не ждет, у меня сил будет все меньше... — Он говорил про себя, как говорит машинист про свою машину.

— Главное ваше дело, Вера Эрастовна, через месяц отпечатать воззвание. Поспеете?

— Отпечатаю и привезу... Но вы обещайте мне, что дождетесь меня и что еще мы увидимся.

Он подумал, глядя в сторону:

— Обещаю. Только для дела лучше, чтобы вы сидели в деревне.

— Но я еще поспею отдать делу остаток всей жизни!.. — Вера сказала это так резко, что я окончательно уверился в мысли, что чувства ее, отданные, как я предполагал, Михаилу навеки, вновь воскресли для этого человека.

Что поделать? Каждый из нас умеет любить всего только лишь для себя и предъявляет за му́ку лишения свободы требования без границ. За неверность Михаилу я, ревновавший всю жизнь к нему, сейчас презирал Веру за воображаемое новое чувство. Слепец, опутанный тиной провинции, я меньше, чем когда-либо, мог понимать тот особый пламень, которым горели эти чуждые мне по духу люди.

Вера уехала на хутор печатать прокламации. Я уже не боялся, что она будет арестована и сядет в тюрьму.

Вера, Лариса и моя последняя связь в провинции — все оскорбительно объединялось теперь у меня в одну женскую похоть, которая лживо носит то ту, то иную личину...

Я с головой ушел в светскую жизнь, и к апрелю у меня уже было несколько салонов, где наперерыв меня звали на спектакли и вечера. Один из интереснейших предстоял четвертого апреля в доме европейского старичка, приятеля тетушки.

Я еще накануне занялся своим туалетом. В голове у меня было легко и пусто, как у игрока, проигравшего все ставки и твердо решившего с последним грошом самому выйти в тираж.

Были сумерки. Что-то вроде разбавленного молока было разлито по небу и белесым туманом отодвинуло вдаль привычные глазу здания. Горели две лампы, я стоял перед большим зеркалом и при помощи маленького ручного пытался проверить, безукоризнен ли новый мундир.

Мне доложили, что меня хочет некто видеть.

— Не обзываются кто, должно быть по бедности, проситель...— от себя прибавил денщик.

— Пусть входит,— сказал я рассеянно, занятый швом, который разглядеть мне надо было, свернув в сторону шею. Так, увлеченный своим делом, не поворачивая головы на вошедшего, я увидел его в зеркале.

Краска залила мне щеки; я, сконфузившись, как мальчишка, застигнутый в глупости, спрятал спешно зеркальце и приказал слуге:

— Запри дверь и не пускай больше никого, пока не выйдет мой гость.

Предо мной стоял странный Верин «жених».

— Я к вам пришел,— сказал он, не подавая руки и тоном, каким не начинают, а продолжают давно начатый разговор,— чтобы просить вас передать Вере Эрастовне...

Он покачнулся, я подхватил его и усадил в кресло.

— Вы совершенно больны. Что с вами?

Я подумал, что он сумасшедший. Ярко голубели его удивленные глаза, устремленные прямо на лампу, рот, с детски сложенными, как бы огорченными губами, слабо улыбался. Его сознание отсутствовало.

— Вы, больны, больны!— бессмысленно повторял я, не зная, что предпринять. Я налил ему вина, он с видимой радостью выпил и немного оправился.

— Да, я глубоко болен,— сказал он,— но сейчас это кстати. Я вас прошу передать Вере Эрастовне, что больше ждать по причине моей болезни было нельзя. И так лучше для дела и для меня лично, что мы не видались. Еще передайте, что я ее благодарю...

Он встал и пошел к двери.

— Что вы хотите сделать? Вы собой не владеете...

Он вдруг твердо, с большой силой посмотрел на меня и сказал:

— Я владею собой совершенно, и это будет мною доказано завтра. Да, в пять часов у Летнего сада. Придите, чтобы ей рассказать. Но прошу: не называйте меня по имени никому после того, что будет завтра.

— Я не знаю, кто вы.

— И нет нужды. Слуга народа — вот мое имя!

— Я знаю, вы не скажете, что будете делать: себя ль убивать или другого, и в конце концов мне это решительно все равно! — закричал я, взбешенный, что судьба опять выбивает меня на чуждую мне колею. — Но вот на одно я прошу вас ответить, на то, что важно для каждого: во имя чего? В чем ваше дело?

— В достижении свободы.

— Слыхал и не верю... Свободы, которой сами-то вы не увидите, потому что лопух из вас вырастет, а в бессмертие души вы не верите. Я вас не про то, что полагается... про личное ваше спрашиваю. Лично для себя, зачем вы-то боретесь за других?

Он ответил то, что я ждал:

— Лично для каждого окончательная свобода — добровольная смерть.

— Но за что? За что?

— За что каждый найдет нужным... Надо найти. Я нашел.

Вдруг он страшно смутился, покраснел, неловко выворачивая худую руку в локте, полез в карман.

— Передайте вот это Вере Эрастовне.

Он вынул глиняного петушка, из тех, что продаются на ярмарке за пятак:

— Это с детства осталось, подарок матушки.

Он повернулся и ушел.

Почему я его не удержал — я не знаю. И зачем эти люди врезались в мою жизнь? Я не знал их. Пусть я совсем заурядный, не умный и не глупый человек, неудавшийся художник и офицер, как все; я, наконец, желаю прожить собственную свою жизнь, а не ихнюю.

Я помню, как в гневе еще и еще бормотал:

— Да, собственную, хотя бы тараканью...

Я напился пьян в одиночку и тут же свалился на диван в новом мундире, зажав в руке глиняного петушка. И в пьяном мозгу мне гвоздило одно: держать его, чтобы не вылетел!

Проснулся наутро я поздно, с отвратительной головой, и хватился сейчас же за часы: опоздал я или нет? Я не помнил, куда: то ли на обед к тетушке Кушиной, то ли на five o'clock [1] в два других дома. Я помнил одно: к пяти часам.

Денщик, которому раз навсегда не велено было будить меня, в каком бы виде и где бы я ни заснул, вошел с чаем и, поставив поднос, вдруг нагнулся поднять что-то с полу.

— Никак свистнет, ежели в хвост ей подуть,— сказал он.

— Как смеешь трогать, пошел вон! — закричал я, хватая петушка. Денщик, непривычный у меня к крику, думая, что я все еще пьян, пробормотал:

— Опохмелиться не прикажете ли, ваше благородие?

Я приказал приготовить мне ванну. Вид глиняного петушка напомнил мне все: больше того, я понял весь ужас своего поведения. У меня вчера был больной человек, в припадке на что-то роковое решившийся, и я, сознавая его состояние, не двинул пальцем, чтобы его остеречь.

Уложить его надо было в постель и не пускать из дому! В пять часов у Летнего сада он свершит роковое... Ну и черт с ним, пусть свершает. Что я, нянька им всем? Предназначен спасать их в последний момент? Как хотят, так пусть кончают. Обвинение Ларисы, что я ей принес смерть, ожесточило меня. А теперь этот Верин сумасшедший «жених», с указанием дня и часа! Не пойду!

Я пообедал и отправился играть на бильярде. Мне везло. Я позабыл про часы. Но, очевидно, внутренно это было не так. Часы важно ударили половину.

«Если это лишь половина пятого, я успею»,— подумал я и, взглянув на часы, увидел, что, точно, это было так. Я сказал, что у меня деловое свидание, и пошел к Летнему саду...

Не могу сегодня дальше писать. Как тогда, все воскресло во мне, и нестерпимая тяжесть на сердце. Будто великан стиснет и отпустит, как кошка мышь. Вот если б перебить это состояние, полетать бы по комнате? Да боюсь Ивана Потапыча, и то уж поваркивал:

---

[1] Пятичасовой чай *(англ.)*.

— Смотри мне, говорить сам с собой будешь — свезу тебя в сумасшедший!

А мне раньше срока нельзя, дописать надо. Милейший человек Иван Потапыч: с тех пор как я побывал в сумасшедшем, он считает, что я потерял себя, опозорился, вроде как проворовался, и он говорит мне «ты», ворча, как на баловника мальчишку.

ГЛАВА IV

РОВНО В ПЯТЬ

Когда я свернул к Летнему саду, я увидал необычайное зрелище: толпа народа с криками бешенства, с ревом «ура» толпилась у решетки. В коляске сидел государь с племянниками. Кучер не мог тронуть с места от напора людей. В другой коляске был граф Тотлебен с каким-то невзрачного вида малым. Дамы наперерыв сыпали этому человеку деньги, махали платками, купцы лезли в коляску с объятиями. Тут же поодаль была ужасная свалка: полицейские не то колотили кого-то, не то отбивали его от толпы, которая его избивала. Я подозвал извозчика, влез в пустую пролетку, так что, встав, оказался выше всех головой и мог разобрать то, что происходило.

— Вот злодей! В царя стрелял...

Извозчик мне указал на темную фигуру, которой полицейские скручивали назад руки; другие, став цепью, удерживали озверелую толпу, готовую кинуться и растерзать.

Лица схваченного человека не было видно. Шапка сбита в борьбе, и по волосам, светлым, льняного мягкого цвета без блеска, по покатым слабым плечам я узнал его. Вдруг он повернулся в мою сторону и, сияя прелестными серо-голубыми глазами, с невероятным чувством сказал:

— Дураки, дураки, я ведь это для вас!

И сейчас, через миг после покушения, в его лице не было и тени жестокости.

— Цареубийца! Антихрист! Смерть ему!

Полицейские посадили его в пролетку и, хотя связанного и не сопротивляющегося, держали его с двух сторон. В сопровождении конных чинов все двинулись к Цепному мосту.

Я пошел куда глаза глядят. Не помню, где я ходил. Мне казалось, я в необозримом поле, где надо мной только серое небо, под ногами талый почернелый снег...

А может, я ходил по улицам, и, как обычно, по обе стороны шли дома, горели огни, за самоваром пили чай почтенные семьи. Мне было безразлично. Я шел и крепко сжимал в кармане пальто грошового глиняного петушка. Вдруг вспомнил, как сказал давеча мой денщик: ежели подуть его в хвост, чай, свистнет. Я вынул, подул. Петушок не свистнул: вероятно, он засорился. Я сунул его обратно и опять крепко сжал. Я будто держался за него, как за единственный твердый предмет. Все разорвалось в моей голове. Всплывали какие-то рожи, и Петька Карский пел в самое ухо поганую песню.

Капитан, как я рад, что я вас увидел.
Вашей роты подпоручик дочь мою обидел...

Я старался об одном: шагать в такт словам.

Если признать меня умом поврежденным, как в этом заверил Ивана Потапыча старший врач, то повреждение мое началось именно в этот день.

И только внешне до самого последнего времени мне удавалось носить непроницаемую для постороннего глаза маску, приличествующую тому обществу, куда я попадал.

Поздним вечером того дня, четвертого апреля, я оказался у тетушки Кушиной. Помню, что глиняного петушка я переложил из кармана пальто в карман брюк и вошел, как обычно.

Народу у тетушки было несметно, и, к счастью, я мог, не участвуя в разговоре, узнать все подробности покушения. В четвертом часу царь выходил после обычной прогулки из Летнего сада в сопровождении племянника и племянницы. Неизвестный выстрелил из пистолета в него. Как говорили, крестьянин Осип Комиссаров ударил убийцу по руке, и пуля пролетела мимо.

В салоне все возмущались. Забыв свой благовоспитанный обычай, мужчины ругали грубейшим манером преступника. Прекрасные дамы одна перед другой изыскивали пытки, боясь, что преступник не сознается; предлагали письменно изложить эти пытки шефу жандармов. Всех без исключения раздражало, что пойман-

ный скрыл свое имя и звание, назвавшись крестьянином Петром Алексеевым. И с злорадством добавили: раз это звание неизвестно, на него наложат оковы.

Во всем винили князя Суворова, генерал-губернатора, за потачку революционерам. Утверждали, что в самый день покушения он получил предостерегающее письмо, но спрятал его под сукно.

— Должны вызвать Муравьева, этот сумеет принять меры...

Я ушел. Напился. Спал мертвецки до позднего часа. Встав, снова пошел по знакомым. Всюду можно было молчать, не возбуждая ничьего удивления. Говоривших было слишком много, и для чего-то мне было нужно каждый день слушать все, что будет сказано об этом человеке, имени которого я так и не знал. Но ни на чем ином, кроме него, я не мог остановить своих мыслей.

Вера не ехала с хутора. В былое время я бы к ней полетел. Сейчас мне было все безразлично, кроме события, участником которого я себя ощущал. Все прочее выпало из меня, как выпадает, то, что не вошло в поле зрения. Порой тупо я думал: если б я этого человека с голубыми глазами не выпустил от себя, а уложил бы в постель, происшествия не случилось бы. Но укоров совести я не ощущал.

. . . .

В Белой зале Александр II сказал дворянам.

— Все сословия выразили мне свое сочувствие единодушно; эта преданность поддерживает меня в трудном служении. Надеюсь, что господа дворяне радостно примут в свою среду вчерашнего крестьянина, который спас мне жизнь.

Этого обалдевшего от рукопожатий и объятий нового дворянина, недавнего пропойцу-картузника, я видал сам на обеде у князя Гагарина. С идиотским видом он молча напивался и в ответ на пространные тосты патриотов бормотал лишь свое: «Премного доволен». Супруга его, говорят, величала себя «женой спасителя».

Наперерыв графини, княгини вырывали друг у друга «спасителя», истязая его обедами и раутами, где сидел он обычно, растопырив все десять перстов на коленях, пока не валился, упившись, под стол.

Какой-то шутник обучил его на вопрос государя, чего ему еще хочется, непременно ответить: камер-юнке-

ра! Смеялись, что первое слово он позабыл и попросил просто юнкера, почему сейчас же был зачислен в Тверское юнкерское училище. Оттуда он в скором времени уволился в отставку корнетом.

В дальнейшем Комиссаров запил горькую и, как ходили слухи, в припадке белой горячки повесился.

Каракозова же повесили.

Черный Врубель, вскрывая свою схему «электрификации центра», объяснил мне, что до исполнения зрелого срока нанесенный удар не нарушит обычных законов физики, угол падения останется равным углу отражения.

Ранний выстрел пролетел мимо, и оба, проявившие активность, разбиты обратной силой. Каракозова повесили. Комиссаров повесился. Но исполнились сроки — и нет царя.

В тот день, когда на неизвестного надели оковы, Александр II принял поздравления сената, явившегося во дворец в полном составе, с министром юстиции во главе. На другой день принесли поздравления представители иностранных держав. Митрополит Филарет прислал образ в честь избавления.

Тетушкин сенатор говорил:

— Истинно, государь имел полное основание произнести: «Сочувствие ко мне всех сословий со всех концов обширной империи доставляет мне трогательное доказательство несокрушимой связи между мной и всем преданным мне народом».

Кругом вести так и сыпались:

— Вы слышали, князь Суворов оставил пост генерал-губернатора?

— Должность будет совсем упразднена.

— Заведование столичной полицией будет поручено генералу Трепову.

— Рескрипт председателю совета министров, князю Гагарину, с предписанием «охраны основ».

— Привлекут, слава богу, одни благонадежные силы!

— Граф Муравьев вызван. Опрокинет Валуева.

— А Суворову, князь-либералу, он припомнит его охотничью остроту. Как, вы не слыхали? Как же, государь удачным выстрелом убил медведя, а Суворов и вы-

скочи: недурно бы, дескать, двуногого Мишку [1] так-то. Царь его резко обрезал...

И еще важным известием для меня было то, что из Прибалтийского края вызывается граф Шувалов, с назначением его шефом жандармов.

О преступнике сообщил по секрету тетушкину старичку князь Долгоруков, что допрашивают его день и ночь, не давая заснуть ни на час, но, хотя он в совершенном изнеможении, а придется его еще «потомить». В городе говорили еще об иных пытках, сопровождающих эту пытку бессонницей. Пока преступник имени своего не открывал. Как известно, его имя — Каракозов — и звание дворянина были открыты случайно, по найденной записке в Знаменской гостинице, где он стоял. Привезенный из Москвы двоюродный брат Каракозова Ишутин подтвердил достоверность догадок. Когда я услышал, что привезен и писатель Худяков, организатор общества «Ад», я со дня на день ожидал услышать имена Веры и Линученка.

Каракозова перевели в Алексеевский равелин. В квартире же коменданта Сорокина стал заседать верховный уголовный суд. Для сильнейшего нравственного воздействия, чтобы вызвать на откровенность и раскаяние, приставили к Каракозову известного протоиерея Палисадова. Замученный непрерывным допросом, узник, придя к себе в камеру, не имел возможности прилечь, а должен был, не прислоняясь к стенке, слушать службу и речи о. Палисадова.

Этого протоиерея я не выносил. Он был модным светским священником и раза два в год служил у тетушки в доме молебны. Палисадов был лектором университета, и вечными про него анекдотами пересыпал игру на бильярде один мне знакомый веселый студент. Он любил изображать протоиерея со всеми его жестами и нижегородско-французским прононсом. В доказательство, что вера без дел мертва есть, он говорил:

— Допустим, что у нас есть некий flacon, а в нем две жидкости: желтая и голубая, два невзрачных сами по себе цвета; а попробуйте их взболтать, смешать, и у вас получится прелестный vert de gris [2].

---

[1] Имя Муравьева — Михаил.
[2] Серо-зеленый *(фр.)*.

О благости божией у о. Палисадова был не менее игривый вывод: он призывал слушателей восхищаться тем, что бог — великий любитель прекрасного, при создании человека преследовал не одну лишь грубую пользу, а и тончайшие наслаждения.

— Ибо что есть органы обоняния и вкуса, как не орудия наслаждения?— восхищенно разводил Палисадов руками.— Ибо для-ради поддержки бренного тела достаточно было б иметь в животе прорез, наподобие кармана, куда, как в оный, ссыпали бы просто-напросто пищу с тарелок.

Был Палисадов статного роста, чернокудр с проседью, с манерами недуховными. Любил вспоминать о томике своих проповедей, изданных в Берлине на французском языке.

Он настолько офранцузился в Париже, что, приехав в Россию, подал было прошение митрополиту о том, чтобы ему разрешили носить короткие волосы и штатское платье. За эту просьбу его чуть не упрятали в монастырь.

Какое утешение мог дать этот игривый, тщеславный человек Каракозову? Впрочем, как сейчас известно, не утешения ради просился модный пастырь напутствовать смертников, а для карьеры...

. . . .

Сегодня ночью я силой мысленного тока установил себя в том году, месяце и дне, о котором вчера написал. Я очень думал о Михаиле. Что должен был он испытать, когда тут же, недалеко, пытали Каракозова, а потом на рассвете увели на казнь? Конечно, я знал, что их комнаты не могли иметь сообщения. А хотя б и были рядом — о перестукивании не могло быть и речи. Но ведь на гребне великих страданий есть способ узнавать больше обычно доступного.

Итак, сегодня ночью я силой своих устремлений побывал у Михаила и разузнал доподлинно. Продолжаю сегодня уже как очевидец. Нам удалось пройти к Каракозову вместе. Уже тогда, силою страданий, Михаил научился тому, что я лишь недавно, в конце моей жизни, узнал от черного Врубеля: проницаемости материи перед напором воли.

Итак, сегодня ночью, а во времени в 1866 году в апреле, мы вошли к Каракозову. Была, вероятно, середина апреля.

Замученный бессонными ночами, бессменными допросами, Каракозов перестал владеть членораздельною речью, и сам Муравьев собирался доложить царю, что, по мнению докторов, надо дать отдых преступнику.

Мы вошли, когда Палисадов едва кончил всенощную в его темной камере и, сняв облачение, аккуратно его складывал обратно в большой принесенный платок на доске, привинченной к стенке, служившей столом. Мы с Михаилом спрятались за печь. Я не узнал Каракозова, видевши его месяц назад. Он был покинут жизнью больше, чем мы.

Если б он умел двигаться в нашем пространстве, то он нашел бы снова себя самого. Но он еще был неразрывен со всей тяжестью скелета, мускулов и крови, и небольшие оставшиеся силы его, до положенного каждому срока, обязаны были охранять его форму. Той же частью своего существа, которая мыслит и чувствует, он был уже вне этой формы и потому лишь с трудом мог отвечать обыкновенной человеческой речью.

Палисадов с недовольным лицом за то, что ему приходилось служить без дьякона и обходиться без помощи дьячка, о чем он впоследствии подавал записку с указанием особой за это мзды, подошел с узелком к Каракозову. Он поднял для благословения руку. Лицо его, выразительное и очень подвижное, изобразило религиозный восторг. Он сказал своим бархатным сладким голосом балованного проповедника:

— Да возбудится в вас живейшая вера в незримого судию вашей жизни, да возведет, да очистит он вашу душу до состояния ангелоподобного!

Он сам приложил к посинелым губам Каракозова свою холеную полную руку, потому что тот стоял как истукан, мертвенно бледный, с потухшим взором своих прекрасных серо-голубых глаз.

Собственная элоквенция настолько понравилась Палисадову, что у дверей камеры он еще раз сделал ручкою:

— Да, да, состояние ангелоподобное даруй вам бог!

Каракозов почти без чувств повалился на кровать. Мы оба с Михаилом подошли к нему. Михаил сел в ногах, я стал на колени и, целуя его восковую исхудавшую руку, сказал:

— Простите меня, что вас не остановил, когда вы больной были у меня накануне покушения. Ведь в здравом уме вы бы не рискнули на подобное дело.

Каракозова будто подкинуло, он сел. Румянец вспыхнул на ввалившихся щеках. Глаза, невыносимо яркие, пылали. Он своим прежним глуховатым голосом произнес:

— Если бы у меня была не одна, а сто жизней, я все бы их отдал за благо народа!

Эти слова общеизвестны. Каракозов написал их государю. Ими он выразил всю свою внутреннюю сущность.

— О, сколь вы счастливы! — вскричал Михаил.— Ваша смерть родит новых героев. О, почему мой злосчастный жребий не ваш!

Михаил стал неистово вопить, биясь головою о стену. Вошла стража; на него с побоями надели смирительную рубашку, связав узлом на спине... Я в бешенстве, не помня себя, кинулся с кулаками на стражу... все вмиг исчезло. Я со стоном открыл глаза. Со стаканом воды стоял Иван Потапыч:

— Испей водицы; привиделось что. Да не ори больше, девочек испужаешь.

Я извинился и притворился, что вновь задремал. Я понял, что изменил наставлению черного Врубеля. Овладеть центром животного электричества можно лишь при совершенном бесстрастии. Моя бурная жалость к Михаилу мгновенно, как постороннее тело, выбросила меня из той тончайшей сферы, где хранятся отпечатки событий...

Через некоторое время мне удалось вновь собрать свою разбитую чувством волю и привести себя в состояние хирурга, который чем закаленней, тем благоприятней для операции устремляет себя к заданной цели.

И вот опять я в уже знакомой мне камере Михаила с черным бархатом плесени внизу стен, с убогим соломенным матрацем, с которого сняты простыни, чтобы он снова не вздумал повеситься. Как белая мумия, туго спеленатый вместе с руками, лежал он на спине. Михаил был в глубоком, блаженном забытьи. За минуту искаженное безумием и гневом лицо его было покойно, и слабая улыбка была на бледных губах. Он бывал та-

ким в редкие минуты беспечной веселости, когда загибал мне салазки на огромном столе в дортуаре и мы в драке оба с грохотом катились на пол. Боясь потревожить редкий радостный отдых несчастного друга и самому от размягчения чувств утратить снова необходимый над собой контроль, я не стал будить Михаила и проник один к Каракозову. В его камере был смотритель тюрьмы. По его приказу жандармы одевали узника, чтобы вести его на первое заседание верховного уголовного суда, на квартирку коменданта.

Я не знаю, как перевели нас из Алексеевского равелина в крепость. Вероятно, это произошло еще прошлой ночью. Днем и вечером из равелина не выходили.

В длинной зале коменданта было заседание верховной уголовной комиссии. Оно было назначено для выдачи главным подсудимым копии с обвинительного акта, с правом вызвать себе защитника.

Я вспомнил, что у тетушки один из сенаторов рассказывал, как перед тем, чтобы впустить Каракозова, у председателя суда князя П. П. Гагарина было некое препирательство с секретарем: князь упирался на том, чтобы говорить Каракозову «ты», ибо с таким «злодеем» зазорно быть на «вы». Наконец секретарь убедил старика, что для судьи выражать таким образом негодование — неприлично. Сейчас, глядя на князя П. П. Гагарина, седоватого человека с большим носом и мохнатою бородою, похожего на доброго волка, я припомнил и комическое осуждение его тетушкой Кушиной: ежели злодей дворянин, его надо б и вешать без тыканья!

Первым из подсудимых должны были ввести Каракозова. Я сейчас же стал с ним рядом. Сзади и спереди нас — два солдата с обнаженными тесаками. Каракозов тонкой костлявой рукой пощипывал свои усики. Он был, видимо, смущен, не знал, куда ему идти и где сесть.

— Каракозов, подите сюда! — сказал князь Гагарин дрожащим от волнения голосом: он в сущности был добрый человек, и объявлять смертную казнь было ему тяжело.

Для отобрания показаний введен был и Осип Комиссаров, предполагаемый спаситель, о котором полгорода говорило, что он выдуман графом Тотлебеном, хронически пьяный картузник, случайно всех ближе стоявший к воротам. Но пьяный картузник был нужен

как символ руки народа, как охрана царя. Символ стал идолом. Басне спасения не верил никто, но по отобрании показания председатель суда встал. Встали все члены, и, стоя, князь Гагарин, председатель суда, сказал Комиссарову:

— Вам, Осип Иванович, вся Россия выражает свою благодарность!

Каракозов вздрогнул. На минуту с глубокой скорбью обвел глазами все лица; бледная улыбка чуть прошла по губам, когда он встретился на миг с перепуганными глазами Комиссарова, который, неестественно выпятив грудь и держа руки по швам, как любили стоять перед фотографом денщики, собрав в крупные сборы низкий, тупой лоб, силился понять, почему его снова чествуют.

Я не знаю, видел ли я все это сам, или только слышал рассказы, или только на днях прочел из тех книжек, что принес мне Иван Потапыч...

Путается у меня в голове с непривычки к новому способу думать и чувствовать. Все, что волнует чувство, сейчас для меня одинаково: прочел ли я это, услышал или сам пережил.

На столе вещественных доказательств лежали пистолеты Каракозова, шкатулка и яд, который он себе приготовил, чтобы отравиться немедленно после выстрела, но, придя в оцепенение, не поспел.

Глаза Каракозова приковались к столу. Секунда: схватить яд, проглотить — и нет долгого ужаса смертной казни. Глаза его как-то побелели. В тяжелых взорах была нечеловеческая борьба, потом сила их потухла. Глаза тускло-голубые, безмерно утомленные бессонницей. Часто моргали покрасневшие веки. Каракозов решил себя не убить, а принять казнь.

Через минуту граф Панин, перешепнувшись с соседом, быстро убрал яд и пистолет.

Я не могу больше писать сегодня. Нечеловеческая борьба Каракозова с самим собой разбила меня, как будто сильнейший ток мне пропустили сквозь сердце. Оно не выдержало, но я остался жить.

Какая сила, какая вера в свое дело были у этого человека, если дважды, имея перед собою неслыханные душевные муки и на месяцы отложенную смертную казнь, он не прибег к самовольному мгновенному концу?

ГЛАВА V

БАРАБАНЫ

Я не вставал эти дни совсем с постели; безнаказанно невозможно преодолеть волей пространство. Добрейший Иван Потапыч, давая мне с воркотней лучший в доме кусок, сказал:

— Дело твое старое, знай полеживай,— нам так от тебя безопаснее. А ежели к тому и чулок вязать выучишься — прямой толк. Понять не мудрое дело, когда грамоте знаешь; я ужотко бумагу и спицы тебе принесу, девчонки обучат.

Лежу я. Лежу, отдыхаю. Опять по-прежнему, по прямой пошли мысли. И в отличном порядке память. Но нет, сегодня ночью не пойду к Михаилу. Припомню, что видел я в тот страшный день сам, тем способом, как обычно видят люди.

Был конец августа 1866 года. Очень умилялись в салоне у тетушки, что государь дал знать через Шувалова: если казнь Каракозова не будет совершена до двадцать шестого августа, до дня коронации, то уж ему не угодно, чтобы она произошла между двадцать шестым и тридцатым августа — тезоименитством царя, памятью князя Александра Невского.

Это распоряжение Александра II, вызванное нежеланием омрачить высокоторжественные дни, доказывало, по мнению всех, необыкновенное сердце императора, которому даже казнь последнего злодея могла быть небезразлична. Помню по этому случаю «мо» графа Панина:

— Я того мнения, что двух казнить было бы лучше, чем одного. А трех лучше, чем двух. Но... faute de mieux [1], хорошо, что хоть один самый главный висельник будет.

Но были светские салоны оттенка либерального, где распоряжение государя о дне смертной казни не находили гуманным, а все восторги вызывал П. П. Гагарин, который от слез едва мог дочитать Каракозову резолюцию, осуждающую его. Он прибавил, что осужденный может подать просьбу о помиловании.

Защитник Остряков сам составил краткую и сильную просьбу. Каракозов, в последнее время почти ли-

---

[1] За неимением лучшего *(фр.)*.

шившийся сознания действительной жизни, прошение подписал.

Государь в помиловании отказал.

— Но как, как он это сделал? Что за изысканность формы! — восхищались дамы.

А европейский тетушкин старичок, нарушив ради этого свой до минуты размеренный день, как юноша, прибежал к тетушке рано утром, чтобы передать подлинные слова министра юстиции Замятина, который доложил прошение Каракозова царю в вагоне, когда ехал с ним из Петербурга в Царское Село.

— Какое ангельское выражение было на лице у государя, — говорил Дмитрий Николаевич Замятин европейскому старичку, — когда царь сказал: «Я давно простил преступника как христианин, но как государь простить его не считаю вправе».

Добрый старик П. П. Гагарин эту окончательную резолюцию передал Каракозову за несколько дней до казни, чтобы он поспел подумать о своей душе.

Узнав об этом, я взял обратно свое прошение о поступлении в Академию и стал хлопотать о зачислении меня в один из действующих отрядов против немирных горцев.

Охотников было немного, и я без труда получил назначение. Я до странности успокоился, словно поместил себя в верное место. В тот же день я прочел в газете, что казнь Каракозова будет произведена публично на Смоленском поле в семь часов утра.

Это было назавтра.

Второго сентября на всех углах улиц расклеены были объявления о казни Каракозова. Я знал, что я пойду. Не могу не пойти. Но до рассвета я не мог быть один и отправился играть на бильярде. Знакомый студент был уже там. Говорили все, как и в последние дни, лишь о правильности судебного процесса.

Чиновник юстиции, с губами ниточкою, медлительным голосом, будто в гору вел воз, доказывал, что Худякова, как идеолога организации, и Ишутина, как подстрекателя, справедливо было бы присудить к той же каре. Он говорил, что в высших сферах недовольны сентиментальностью первого гласного суда и что государь сказал с раздражением Гагарину:

— Вы ничего не оставили для моего милосердия!

Впрочем, Ишутину он заменил смертную казнь — после прочтения ему приговора у виселицы с наброшенным саваном — пожизненной каторгой.

Пришел и завсегдатай-студент. Он рассказал, что сегодня на лекции богословия о. Палисадов сидел долго задумавшись, потом тряхнул кудрями и отечески гневно сказал:

— Вот, поучай вас истинам христианским, а потом вози вас, вешай...

Но разговоры о суде были только вечером, когда еще много часов отделяло нас от того, что должно было произойти на рассвете на Смоленском поле. Вечером, при уютном освещении знакомого зала, при веселых возгласах: «дуплет в среднюю...», слово «смертная казнь» хотя говорилось в строчку, как другое всякое слово, но для чувства было оно и чудовищно и посторонне.

Но вот пробило четыре часа, пять часов, и кто-то сказал:

— Господа, надо бы двинуться, занять получше места.

Я вздрогнул и внезапно понял, что двинуться надо нам на Смоленское поле, где произойдет как раз то, что черными буквами на белом квадрате бумаги стояло на всех углах улиц:

«Исполнение приговора верховного уголовного суда о государственном преступнике Дмитрии Каракозове последует 3 сентября, в субботу, в С.-Петербурге на Смоленском поле, в 7 часов утра».

— Они соберутся у министра юстиции,— сказал чиновник с губами ниточкой.

— Кто они?— спросил студент.

— Директора департаментов, генералы, члены обвинительной комиссии, чиновники сената.— И, как бы наслаждаясь лицезрением переименованного блестящего сборища, он прибавил:— И все в золотом шитых мундирах.

Я вышел из бильярдной и пошел один на Смоленское поле.

День еще не начался, а уже дворники мели улицы. И оттого ли, что тротуары не были утоптаны прохожими, оттого ли, что не тарахтели по камням мостовой извозчики, двигаться было легко. Казалось, будто за ночь выпустили из-под голубого небесного купола весь вчерашний воздух и накачали нового. Сдержанное волне-

ние было в осеннем чистом, бестуманном небе. Солнце готовилось к выходу.

Я вдруг вспомнил о глиняном петушке. Да, он был здесь, в кармане. Значит, все правда. Помню, что тогда еще я подумал: «Если взойдет солнце без туч и день будет яркий, то все еще может быть хорошо».

Стали появляться в калитках кухарки с корзинами, под большими платками, отчего все они казались толстыми.

Солнце взошло яркое, точное, без малейшего облачка. И я, глядя на такую же яркую, для случая начищенную хлебной гущей медную бляху полицейского, понял вдруг, что ничего не будет хорошо, ничего не поможет: ни то, что метут рано улицы и кухарки с корзинами, ни глиняный петух...

Будет — казнь.

Улицы вдруг наполнились. На Васильевском острове это была уже сплошная масса во всю ширину до домов. Полиции едва удавалось создавать криками посредине проезд. Блестел, как зеркало, черный лак карет. Мимо меня протянулись в николаевках с плюмажами чины военные, штатские. Увидев экипаж, толпа решила, что опоздала, и кинулась бежать. Испуг и алчность исказили лица. Я свернул в сторону, чтобы пробраться одинокими закоулками. Сократив сильно путь, я подошел вместе с экипажами на Смоленское поле. Вдруг, не доезжая, экипажи остановились. Для комиссии по исполнению приговора приготовлен был небольшой домик. Все в него вошли, дожидаясь привоза осужденного. Некоторые, выходя из экипажей, разговаривали, но никто не улыбался, и все были бледны. Рядом со мной спешили на казнь гулящие женщины. Они говорили о своих делах. Та, что постарше, корила младшую:

— Гуляла ты с Васькой, гуляла с Сидором. Ну, а чем тебя разодолжил Клим? Уж без него тебе звезды не светят? Что он, что они — один товар.

— А вот и не один,— сказала младшая, с мягкими прядями из-под платка и пустыми глазами, так мне вдруг напомнившими глаза Веры в последнее время.— Гуляла я и с тем и с другим, а судьба моя — он, Клим. Ему одному я есть нужная. За него и ответ мне давать.

— За него ответ мне давать,— повторил я и злобно, помню, подумал, как отдавать буду Вере глиняного петушка.

Проехал обер-полицмейстер Трепов. Военные и штатские чины вышли из домика, сели в экипаж и поехали следом.

На поле, там, где было каре из войск, все снова вышли и медленно взошли на деревянную возвышенную площадку, выкрашенную черной краской. Я перевел глаза напротив и увидел то, что я ожидал увидеть, что знал отлично по начертанию, и все-таки не понял, что это то самое, то есть виселица.

Конечно, если б меня спросили, где виселица, я бы показал на эти черные два столба с перекладиной. Но чувством я этого не понял, потому, вероятно, что самый большой ужас я ощутил не от виселицы, как ожидал, а от высокого помоста, свежевыкрашенного, как и все здесь, черною краскою. Этот обширный черный помост, как резервуар с нечеловеческой черной кровью, зловеще отблескивал в ответ только что взошедшему солнцу. И самое ужасное произошло на этом помосте.

— Это зовется эшафот,— сказал гимназист гимназисту, показывая пальцем.

Может быть, позорная колесница подъехала тихо, я не знаю. В моих ушах стоял грохот. Но я думал, что это громыхала она, безобразная колымага, запряженная парой, с высоким сиденьем. На этом сиденье спиной к лошадям прикован был кто-то.

Я не узнал Каракозова. Да это и не был он. Не тот, который гордо кинул царю в предсмертном письме, что «не одну, а сто жизней отдал бы за благо народа», и не тот, исполненный сердечного обаяния, с прелестными серо-голубыми юношескими глазами, который поручил мне передать свой предсмертный привет, игрушку детства, той, которая была ему, может быть, дорога.

Здесь, на позорной безобразной колымаге,— синее лицо с беловатыми, уже словно незрячими, мертвыми глазами.

Глаза эти встретили виселицу, голова отдернулась назад, как в конвульсии.

Потом он окаменел. Как на распятье Рембрандта, на минуту, неживое, осело его тело, когда палачи отковали его от позорной колесницы, взвели по ступенькам на высокий черный эшафот и поставили к позорному столбу в глубине эшафота.

— Так называемый позорный столб,— сказал кто-то в швейцарской пелерине, и ответил ему такой же другой:

— Не позор ли... сколько позора! И казнить-то должны поподлей.

У самого эшафота сидел на лошади один из полицмейстеров; с другой стороны стояли кучкою североамериканцы с той эскадры, что пришла в Кронштадт. Я продвинулся ближе со стороны обер-полицмейстера. Я слышал, как он сказал секретарю суда:

— Необходимо, чтобы вы взошли на эшафот, а то никто не услышит приговора. Надо, чтобы народ понял, что у нас все чинится по закону.

Секретарь взошел по ступенькам, в мундире, генеральская шляпа с плюмажем под мышкой, бумага в руках. Он стоял у самых перил. Бумага дрожала в его руке, он был так же сине-бледен, как осужденный.

«По указу его императорского величества...»

Какой холод от боя барабанов! Меня всего затрясло отвратительной мелкой дрожью, пока войско делало на караул. Все сняли шапки. Барабаны утихли, но я продолжал дрожать и не понял ни слова из того, что прочел секретарь, сошедший обратно на помост, где стояли министры и комиссия.

На эшафоте перед Каракозовым был теперь протоиерей Палисадов. Он в твердо вытянутых руках, как бы защищаясь или нападая, держал сверкающий на солнце золотой крест. Палисадов был в полном облачении.

Что он говорил осужденному, не было слышно. Приложив крест к мертвым губам стоявшего под позорным столбом, Палисадов повернулся и сошел вниз.

Взошли на эшафот палачи. Вдвоем они подняли над замерзшим, посиневшим, мертвым лицом, в котором не оставалось и признака жизни, белый саван. Они его почему-то не умели надеть и прежде всего накинули колпак на голову и лицо.

Для приговоренного в этот миг потухло солнце, и, может быть, он уже умер сам.

Я думаю, что самая страшная из всех минут, когда еще живым сознанием переживается смерть.

Но тут произошло нечто, превышающее жестокостью все преступления и все кары. Пережитую сознанием

смерть на миг сделали вновь жизнью, чтобы в следующий за этим другой миг дать несчастному новый ужас смерти.

Палачи, ошибочно накинувшие саван, по движению руки полицмейстера сделали то, что делают только при помиловании. Они саван сняли.

На миг лицо его озарило солнце. На миг глаза, вдруг вспыхнувшие жизнью, просияли невыразимо. Дрогнул детски очерченный, вдруг заалевший рот. Кто бы он ни был, ему было всего двадцать четыре года, ему хотелось жить. И в этот миг он поверил, что жить будет.

Но два палача спешно втиснули его руки в длиннейшие, как у маскарадного Пьеро, рукава, завязанные сзади крепчайшим узлом, и вторично накинули саван.

Оба палача взяли крепко под локти эту огромную белоснежную куклу без лица и без рук, свели неспешно по лестничке вниз и влево под виселицу. Здесь оба палача бережно, как драгоценную вазу, поставили снежную куклу на скамью.

Тот, кто только что невыразимо просиял глазами и по-человечески, по-детски дрогнул ртом, как заводной, переступал тупо ногами.

Белоснежной кукле на шею надели веревку, и палачи ногой вышибли из-под ног скамью.

Забили барабаны...

И бьют они, бьют... Иван Потапыч, уймите ба-ра-ба-ны!

ГЛАВА VI

СПЛОШЬ БЛИНЫ

Пишу после большого промежутка. Иван Потапыч заставил меня лежать неделю, а вторую — в сидячем положении — вязать чулок. Если я не слушался, он грозил отвезти меня сейчас же в дом сумасшедших. Мне же ранее срока нельзя видеться с черным Врубелем. Но срок есть, и свидание будет...

Я решил не перечитывать написанное, я могу вычеркнуть совсем не то, что надо. Я ведь позабыл, что понятно всем, а что — только мне самому. Пусть вычеркнет для чистового товарищ Петя. Он отличный юноша и земляк, из нашей губернии, приятель Горецкого.

А случилось две недели тому назад вот что: когда писал я прошлый раз, то затрещали барабаны. Мне так невыносима была их гнусная дробь, что я стал кричать, а полицмейстер на коне один из барабанов приказал мне проглотить. Он сделал знак рукой, солдаты взяли на прицел, я испугался и проглотил. Руками защищаться я не мог, длинными белыми рукавами руки у меня завязаны туго сзади. Но проглоченный барабан и внутри меня продолжал выбивать дробь. Заткнув уши ватой из шубы Ивана Потапыча, я подлез под кровать и загородился мешками с мукой. Иван Потапыч таскает, как в восемнадцатом году, на всякий случай запасы. Так заслонившись, я думал, что скроюсь от полицмейстера на коне, и он меня перестанет пытать. Я за мешками заснул. Оказывается, Иван Потапыч очень испугался и искал меня до глубокой ночи, предполагая, что я ушел без верхнего, которое он запирает. Когда же девочки, подметая утром, закричали, обнаружив мои ноги, я не пожелал вылезать, по глупости решив, что это снова полицмейстер.

Иван Потапыч привел Горецкого 2-го, и его веселая болтовня перебила мой кошмар, вернула меня к действительной жизни. Я вылез, рассказал про барабан и вежливо извинился. Но Иван Потапыч был неумолим: он хотел немедля водворить меня к черному Врубелю, предположив вдруг смехотворную вещь, что я могу начать кусаться.

Благодаря заступничеству товарища Пети, молодого приятеля Горецкого, Иван Потапыч дал мне последнюю отсрочку. Он согласился продержать меня лишь только до октябрьских торжеств, но не иначе как в постели, отобрав у меня платье и сапоги. Он и не подозревает, что октябрьские торжества он назначил не свободно, а по моему внушению. Этот день — условная встреча и первый наш опыт с черным Врубелем.

Великий опыт

А Ивану Потапычу удобно сбыть меня с рук: у него и девочек в эти дни суматоха и выступление.

Я покорно лег в постель и отдал запереть в большой сундук мои сапоги. Но бумагу, перо и чернила он мне дал, как всегда, сказав: «Мне всегда спокойнее, когда ты пишешь».

Горецкий 2-й сел на сундук. Против света заметно, какой он глубокий старик. Но одет теперь чисто, опять держит грудь колесом и, как при Александре II, пробривает подбородок. Товарища Петю Тулупова я и раньше видел у него: он брал уроки французского и немецкого языка, привязался к старику и звал его дедушкой. А старик прозвал его: «Петя Ростов от коммуны или Петя Тулупов-Ростов». Он был похож на эстандарт-юнкера и отлично ездил верхом. Едва девятнадцати лет стал коммунистом — как чистейший сплав, без брака, без трещинки, отлился в форму. Мне он близок и особенно мил: ведь и мы по-иному, но были точно такими в своей юности.

Я сказал ему:

— Товарищ Петя, вас именно прошу я через две недели, накануне октябрьских торжеств, прийти сюда. Я передам вам свою рукопись о днях минувших и днях нынешних; прошу вас процензуровать и, что возможно, напечатать.

— Мемуарная литература?— сказал Петя.— Хорошо. Но если ориентация антимарксистская, я, знаете, не стану...

— Ориентация у него безотносительно военная,— вступился Горецкий 2-й.— Он, как и я: приемлет. Коль скоро дисциплина — значит, дело бамбук. Крепко. Вчера Петя водил меня в конюшни, ну, братец,— чистота! Фальцфейнова завода полукровки у него в денниках, как в салонах.

Горецкий, как это делал, бывало, при имени модной балерины, причмокнув, поцеловал кончики пальцев.

— В Корсаре здóрово крови,— сказал Петя,— может, он и кровный.

Горецкий в ужасе замахал руками:

— Без аттестата от Фальцфейна не в счет! Будь он Араповского завода — иное дело, но от Фальцфейна одни стати без аттестата не в счет.

Он стал так кричать, что я закрыл уши, боясь опять услышать барабаны. Однако, обернувшись на меня, он вдруг спохватился и сказал:

— Тебе, дружище, надобен покой. Вставай скорей да к нам на чаек. А я к тебе уж в последний, пухнут ноги, хоронить приходи!

— Протянешь до ста лет, дедушка,— сказал Петя.

— Вообрази, mon cher, Петя огорчается за мое социальное положение, сколько я ему ни твержу: «самодержавен», а канцелярии нет никакой! Но дело в том, что он пописывает. После моей смерти уж наметил препикантнейший некролог. Я, ma foi, жажду теперь одного: на этом месте скончать дни свои и положену быть в гробу. И последняя воля моя... дружище, я апеллирую к тебе!

— Вы бы их и не беспокоили,— начал было Иван Потапыч, но, глянув на возбужденного Горецкого, только рукой махнул: — Обои малые дети!

Горецкий сел ко мне на постель и вдруг заплакал:

— Я, mon cher, прошу у Пети уважения, а он не согласен.

— Брось, дедушка, брось,— сказал Петя.

— Mon bon ami, потерпи, я сейчас объясню. Моя последняя воля вот: вместо венчика пусть мне оденут пурпуровый ободок, c'est tout à fait simple à coller [1], мы детьми клеили. Гуммиарабиком отлично берет. Тем более что добротность бумаги безразлична, хотя бы папиросная. Главное — цвет: пурпур революции! Но отпевать должен поп, и не поп-живец, а отец Евгений, почтеннейший старец.

Горецкий вскочил на сундук. Он или бредил, или сошел с ума.

— Mon bon vieux [2],— сказал Горецкий,— я не уверен, достаточно ли я верил в бога, но вот двунадесятые праздники чтил я истово. Я до спаса, как у нас в доме водилось, яблочка не вкушал. Я на крестопоклонной говел и в рот спиртного ни-ни. Но прежде всего как был, так и есть — я военный. И вот со мною сделали так, что мне в церковь ходить стало так тяжело, как водить дружбу с товарищем, хоть любимым, но битым.

— Но при чем красный венчик?— спросил товарищ Петя.

— При чем?!— зарычал Горецкий.— А при том, что девять лет долбил я или нет катехизис Филарета? Я или не я целых полвека налаживался чувствовать так, как в наше время чувствовать полагалось? Волнение мозгов, быть может, в себе убивал, чтобы каждой кровинкой прирасти мне к походной нашей церквушке. Без водо-

---

[1] Это очень просто приклеить *(фр.)*.
[2] Мой добрый старик *(фр.)*.

святия в атаку никак... Хоть и в пьяном виде, а зря грудь грудью колоть — это, батенька, не фунт изюму! Небось Керенский солдатику-то ответить не сумел: зачем ему идти на смерть, когда от этой «земли и воли» ни черта не увидит?! Только ножками изволил топотать. Да-с, а нам, помимо доблести, «венец» был уготован, и на пролитие крови благословляли нас протоиереи. А про церковь мы знали: «врата адовы не одолеют ю». Ну-с, а теперь куда я пойду? Твердыня взорвана, острижен поп. Все, чему полвека веровал, что любил,— все насмарку! Так пускай в некоем высшем разуме совокупят происшедшее, ибо аз не вместих! Я вон путать стал, кто взял аул Гильхо. Я ли взял или Войноранский? А посему моя воля — на тот свет в пурпуровом венчике... Накось, выкуси!

Горецкий 2-й, как плохой король Лир, надменно вышел из комнаты.

Вдруг красное лицо его снова появилось в дверях. Он был окончательно вне себя, он крикнул:

— Полвека ступал правой ногой и вдруг пошел левой. А порох-то вышел. В расход, старичок! Но не смирно в расход, а с подъятою левой!

Горецкий дрыгнул ногой, к радости девочек прокричал петухом и ушел.

— Обожди, дедушка,— крикнул товарищ Петя и, подойдя ко мне, сказал:— А ваше писанье я обязательно заберу, будьте благонадежны...

После истории с проглоченным барабаном у меня к себе мало доверия. Вдруг случится со мной раньше времени то, что у нас с черным Врубелем назначено на октябрьские торжества. Передо мной всего две недели; надлежит мне торопиться занести только самое главное по линии Михаила.

Ну вот: я уже говорил, что в тот день, когда сентябрьское утро вставало такое румяное, а телега в одну лошадь везла черный гроб с телом Каракозова, провисевшим весь день до ночи, у меня впервые возникла в ушах эта мерзкая дробь барабана. Чтоб ее заглушить, я, не зная другого дурмана, пил непробудно неделю. Очнувшись, я, не колеблясь, пошел к одному прекрасному особняку. Я чувствовал в себе несметную силу, не боялся ни смерти, ни жизни и знал, что сейчас моей воле покорится всякий, кого я изберу.

Покорится даже он — шеф жандармов.

Я выбрал его не потому, что сейчас мне близка была участь друга, а потому, что шеф был каменный. Мне же надо было разбить камень. Что касается чувства дружбы и прочего, их я забыл. Я сам каменел.

Только собирался я узнать, когда принимает хозяин, как сам он, граф Шувалов, вышел из подъезда.

«Судьба»,— подумал я, и мне это придало решающую дерзость.

— Я должен с вами говорить, граф, секретно,— бросил я ему, как приказ.

Неподвижное лицо графа еще более застыло, и, сделав пригласительный жест к двери, он неспешно сказал:

— Я собирался было по личному делу, но оно подождет. Я к вашим услугам.

Мы вошли в переднюю. И так отвратительно иной раз повторяются вещи: граф повел меня в ту же комнату, где был некогда памятный наш разговор. В этой комнате было все, как тогда: ящики, запасная посуда и на подоконнике тот же стеклянный колпак. Я подумал невольно, нет ли под ним синей мухи. Мухи не было. Мне пришло в голову, что эта комната устроена тут нарочно. Я глянул на Шувалова и удивился, как за это время он постарел. Это был уже не мраморный красавец, а постаревший каменный истукан. То, что зовем мы душой, та, просвечивающая в чертах, внутренняя жизнь человека, казалось, окончательно от него отлетела. Сейчас это был механизм.

— Что же вы имеете мне сообщить?— спросил граф, стоя сам и предлагая мне сесть.

Но ни его отстраняющий вид, ни холодный прием, наметанный большой властью,— ничто меня сейчас не смущало. У меня возникла в ушах снова мерзкая дробь барабанов, и, заглушая ее, я с бешеной внутренней силой сказал:

— Я прошу вас доставить возможность Михаилу Бейдеману быть лично допрошенным государем.

— Вы нездоровы,— сказал опешивший от дерзкого тона Шувалов.— Раз навсегда по поводу этого узника дана резолюция начальству: о нем ничего не известно.

— Но вам лично, граф, должно быть известно, что этот узник близок к безумию, что сейчас, после судопроизводства и обличения всех причастных к делу покушения, еще очевидней стало, что Бейдеман вовсе не связан ни с какими организациями. Граф, он оговорил

себя сам, у вас и раньше мелькала догадка, что он безумец. Прошло шесть долгих лет, неужто нельзя сделать проверку?

По недрогнувшему лицу графа пробежало не чувство, нет, а будто какое-то соображение. Глаза его, точные и острые, какие должны быть у летчика перед сложным маневром, умно глянули на меня, когда он сказал:

— Я сделаю все, что возможно.

Но, тут же спохватившись, как примернейший формалист, он добавил:

— Если, разумеется, такой политический узник числится в списках. Будьте через неделю у вашей тетушки, графини Кушиной, и я дам вам ответ.

Я поклонился, мы вышли вместе.

. . . .

Я все еще не мог жить, как раньше, и всю неделю пил. В воскресенье я пошел к тетушке.

Когда я входил в салон, европейский старичок громогласно объявил, что сейчас пожалует граф Шувалов с интереснейшим письмом от священника Палисадова о последних минутах Каракозова.

— Эта конфиденция — чистейший плод недоразумения. Вы слыхали, что произошло на поле казни? — обратился к тетушке сенатор.— Граф спросил Палисадова, чистосердечно ли раскаялся преступник, и тот с необычайным для него достоинством обрезал: «Это секрет духовника!» Но, увы, достоинство модного пастыря не изменило ему лишь до тех пор, пока он не узнал о своей ошибке. Он было принял графа Шувалова за кого-то из обыкновенных смертных, но тотчас испугался и разрешился витиеватым посланием, которое вы будете иметь удовольствие сейчас услыхать.

— Какой ты нынче желчный,— сказала тетушка.— Хотя, положим, Палисадов мне самой не угодил — русскому попу французить непристойно. Но, бог с ним, в проповедях он соловей. Ты лучше объясни, что стало с графом: чисто монумент.

Славянофильский старичок, бывший на ножах с европейским, быстро поспешил сказать:

— Я сделал наблюдение, графиня, что все русские люди, коим идеал — Европа, презирая отечественную безалаберность, впадают в смехотворную крайность, втискивая год, месяц и каждый день до получасового

интервала в свою записную книжку. Безалаберность, точно, уходит, но с ней вместе и весь человек.

— Вот и выходит, что прав мой садовник Тишка,— сказала тетушка,— когда говорит: «Не в свой срок поспеет ягода, тотчас и скашлатится».

— Граф Шувалов скашлатился...— смеялись кругом.

Однако насмешка превратилась мигом в любезнейшие улыбки, едва лакей доложил о графе, и тот вошел, как всегда, великолепным и внушительным царедворцем.

Ни в его рукопожатии, ни в скользящем надменно взоре, на миг относившемся и ко мне, я не мог прочесть того, что он мне скажет. Мне даже показалось, по привычному элегантному движению, каким он вынул отереть усы ослепительный носовой платок, распространяя крепкие, но фешенебельные духи, что он позабыл наш разговор и меня самого не отличает от привычной ему тетушкиной мебели.

По просьбе присутствующих граф стал читать письмо Палисадова.

Письмо было исполнено гнусной пошлости и самого лживого ханжества. Но мужчины и дамы, вытянув шеи, с таким алчным любопытством слушали эти бездушные упражнения в элоквенции о последних минутах замученного человека, что меня вдруг охватило отвращение. Внезапно я перестал видеть лица. Вместо лиц мне почудились сплошь блины. Блин с усами, блин без усов. Ни глаз, ни характеров...

И сейчас едва вспоминаю того, с серо-голубыми глазами, и слышу необычайный голос его там, у Летнего сада:

«Дураки, я ведь для вас...»

И потом жадность уличной черни, бегущей на казнь, и жадность черни светской — услышать пикантное о последних минутах казнимого... Мне стало так страшно, так страшно!

Не могу, нырну под койку...

Полежал часочка два за мешками. Обошлось. Ни девочек, ни Ивана Потапыча еще нет дома. Я до их прихода опять прилично улегся в постель. А за мешками мне в полумраке легко, будто выскакиваю на другую планету. Если б рассказать, что я вижу, закрывши глаза, что я слышу!

Однако же нет, я не стану рассказывать: получился бы вред государственному ходу машины, ибо всякий гражданин вместо службы и прочих приличных занятий стал бы учиться выпрыгивать вон.

Но тогда, у тетушки, я еще дорожил мнением о себе, и, выпятя грудь и сделав в меру почтительное выражение, я подошел ближе к дверям, чтобы при выходе графа расспросить его про наше дело. Граф должен был в тот же вечер прочесть свое письмо еще в двух домах и очень торопился. Он подходил уже к ручкам дам; мимоходом, не глядя на меня, он мне обронил:

— Просьба не может быть уважена, его в списках нет.

Помню, я молча поглядел на его хищную, грациозно извивающуюся в поклонах спину и подумал: «Шеф жандармов солгал!»

Я ушел от тетушки ни с кем не прощаясь. Кому мне было жать руку: блинам с усами, блинам с буклями? Я пошел домой, чтобы застрелиться. Мне это было так просто в тот вечер и так неизбежно. Одно меня смущало: кому передать для Веры глиняного петушка? У кого не блин, у кого лицо? Кто человек?

Передо мною возникла вдруг сама Вера, как тогда, на крыльце лагутинского дома. Беловатым огнем сверкнули ее светлые глаза, и, опять вспыхнув, сказала отцу:

— Вы этого не сделаете, батюшка!

Лицо было у Михаила и у того... с серо-голубыми глазами. Даже с высоты черного эшафота, у позорного столба, сине-мертвенное — это было лицо.

Еще необыкновенным, единственным я запомнил лицо Достоевского. Если б я знал, где он живет, я бы пошел к нему. Пред тем как уйти совсем отсюда, я должен взглянуть на лицо человека. У себя дома, в зеркале, ведь я тоже вижу лишь блин. Но я не знал, где жил Достоевский.

Вдруг предо мною непрошеным всплыл некий адрес. Яркий, черным крупным шрифтом, на белом квадрате, как намедни были объявления о казни. «17-я линия, дом...», и голос серебряного румяного молодого старика Якова Степаныча:

— Придет час, по адресочку приди!

И, не рассуждая, я пошел.

ГЛАВА VII

ОДИН АДРЕСОК

Да, шеф жандармов солгал...

Но мне с каждым днем все труднее писать. Приближаются октябрьские торжества, и мое тело все легче, все легче. Теперь я уверен, что даже без упражнений, которые запретил мне Иван Потапыч, я полечу, когда черный Врубель даст знак. Да, через две недели мы соединимся для «великого опыта».

Товарищ Петя Ростов-Тулупов приходил еще раз уже без Горецкого за моими записками. Я рассказал ему, как в чулане достать у нас лестничку и, прислонив ее к железной печке, взять наверху рукопись. Я там спрятал ее от мышей. Я передал Пете все мной написанное, взяв обещание, что он придет через две недели еще, обязательно накануне двадцать пятого. Придет и унесет главу последнюю о последних событиях...

Я больше не могу писать связно, у меня мысли толчками, будто отара овец там, в горах: чуть без пастуха — разбегаются. Да, мысли мои — одни, без пастуха, и все лезут в голову сразу. А бумаги-то кот наплакал. Иван Потапыч больше не дарит. После сумасшедшего дома говорит: «Пиши сверху писанного, не все ли тебе равно!» Что же, напишу самое главное про себя и про Михаила.

Шеф жандармов солгал, царь с ним видался.

Как я об этом узнал? Хотя не сказка, но похоже на сказку. Мне все рассказал Яков Степаныч.

. . . .

Он сам отворил мне дверь. Комната была узкая, помню половик из разноцветных тряпок, какой плетут чухонки зимой. Яков Степаныч меня узнал; не только не удивился, а будто бы ждал:

— Посидите на диванчике, пока я отпущу пришедших; уж извините — приходят.

Он поклонился, пошел в комнату рядом, но дверь не закрыл за собою, и разговор мне был слышен. Мерцала из угла лампада, чернел темный лик. Я почему-то подумал, что Яков Степаныч старообрядец.

— Опять, батюшка, запил, опять,— говорил со слезами старик, вероятно — про сына.— Убить я могу, гажусь я им, опоганел он мне... Легче убить его мне, чем злобой давиться.

— Немедленно передай торговлю старухе, а сам вон из дому, вон! Стань работать, как давеча, год назад. Кули потаскай, гнев разгони: сам родил, сам. А порешишь его — не исправишь. Отопьет сын свое, я его в мыслях держу, отопьет — сам ко мне придет, как тогда, адресок вспомнит. Год целый не пил, а сейчас два не станет. Опять оступится, опять подбодрим. И прутья целым веником никому не сломать, а поодиночке — мигнуть не успеешь.

— Верю, отец, тебе, верю,— сказал восторженно старик и земно поклонился Якову Степанычу.— Пойду отработаю за его душеньку и всю выручку нищей братии...

Старик вышел, высокий, в пальто, с седой бородой, похоже — небогатый купец. Мне он поклонился со словами:

— Не печалуйтесь, барин, и вас Яков Степаныч, отец наш, рассудит.

Яков Степаныч сам проводил гостя, запер дверь на засов и, вернувшись, еще раз весело сказал мне:

— Извините-с.

Он принимал теперь старуху.

— Уж плачу, рекой изошла, в ногах у ей вяну... не слушает!— ноет старуха.— Как это села она уже три дня на сундук, ни пищи, ни сна, глаза — что чашки, уставила в угол, молчит. Опять, видно, в петлю затеяла. Кум да кума с ней, а я к тебе: облегчи, отец.

Старуха свалилась на пол. Яков Степаныч строго крикнул, подымая:

— Ленива ты, мать! Себя лишь слезами тешишь, а ей твои слезы — банный пар, вконец запаривают. А ей надо б силы поддать. Силушки жить у иного нехватка, бодрить надобно строгостью, да не с бабьей злостью твоей, а с одним гневом за лик человеческий. Эх, глупа ты, мать, что с тебя взять! Хоть силком, с кумой и кумом, тащи твою дочку ко мне, а не расположится — скажи: сам, старик, к ней зайду.

Яков Степаныч проводил благодарившую старуху, опять запер засов и, как добрый врач, сказал мне:

— Пожалте-с!

А у меня вдруг пропала охота с ним говорить.

«Василеостровский гипнотизер,— подумал я,— он, чай, и меня включил в число своих клиентов. И куда это платить ему: на стол или в руку?»

Комната была очень чистая. Вся беленая, без обоев. Постель, стол, два стула, на которых мы сидели, и все белое, но на больничный номер не похожа. Полка книг над столом. Я с изумлением отметил Ренана «Жизнь Иисуса» по-французски.

Яков Степаныч тотчас это заметил.

— Ренан вас дивит? Это Линученко мне подарил. Всю книгу с начала до конца самолично мне перевел и на память оставил. Вот завтра на хутор поедете, так особенно поклонитесь ему; твердый он человек.

Старик взял меня за руку и взглянул ясными, на первый взгляд простоватыми глазами.

— Я вовсе на хутор не собираюсь, откуда вы взяли? — сказал я, защищаясь от неприятного мне напора чужой воли.

— Обязательно соберетесь, обязательно... — очень серьезно сказал Яков Степаныч,— сами увидите, что иначе нельзя. Я о вас всю неделю подумывал. Адресочка не знаю, да и сказывали люди о вас, что вы с самого дня казни и дома-то не ночуете.

— Что вы, сыщик, что ли? — вдруг рассердился я.

— В особенном смысле, пожалуй, что и да,— усмехнулся Яков Степаныч,— без сыска и помощи не окажешь. Но перейдем к делу. Дело важное есть. Из-за этого дела я пристально дни и ночи о вас думаю, и вот посчастливилось: ведь всплыл у вас адресок-то, припомнили...

— Колдун вы, что ли? — Я хотел, чтобы меня возмущал шарлатанский прием старика, но внутри я ему почему-то сразу поверил.

— Никакого колдовства на свете и нет, сами вы знаете, и я знаю,— спокойно заговорил Яков Степаныч,— а может быть только большая воля у человека. У одного — к добру, у другого — к злу. В обоих случаях, если при тщательном управлении пристально думать, достигаются вещи, которым принято изумляться, а они вроде как телеграф. В Индии всякий голый факир, как фокус, делает... И у нас есть мужички. Я дедом обучен. Но не во мне сила. Я вам имею сообщить секретное дело для Линученка. Про такое не написать... Ну, словом: того офицера, заключенного в равелине, о котором денщик ваш Петр тогда при мне говорил, я на днях видел.

Яков Степаныч, лампада и темный лик спаса вдруг подернулись голубой мглой. Мгла поплыла, стало темно.

Измученный безобразным пьянством, бессонными ночами, я не выдержал внезапности сообщения. Очнулся я на белой кровати Якова Степаныча. На голове у меня был компресс. В комнате пахло чебрецом и мятой. Яков Степаныч ласково и по-бабьи, как бабушка, хлопотал вокруг меня, причитая:

— Прости, родной, прости, голубок, огрел я тебя, как медведь пустынника! Просчитался, старый дурак. А уж износил ты себя, износил...

Я совершенно пришел в себя и сел. Яков Степаныч взял меня за обе руки. Уже не защищаясь, я повлекся к нему с детским доверием. Просто узнал: все, что скажет он, чистая правда.

— Оправился? Ну, испей капель и лежи себе ровно, а я расскажу по порядку. Запомнить ты должен слово в слово. Сам поймешь, как услышишь. Этого записать нельзя.

И вот то, что я запомнил.

Граф Шувалов неделю тому назад присылал за Яковом Степанычем, принял его тайно и дал приказ: ночью, около часа, ждать его близ решетки дворца направо к Неве. У Якова Степаныча с Шуваловым дело не первое: он был истопником во дворце по рекомендации кума, тамошнего служащего, и граф его очень отметил: был у него на дому, уверился, что он не болтун, компании не водит, а живет по своей линии. Яков Степаныч через это доверие графа, по словам Линученка, оказывался многим полезен.

Итак, ночью Яков Степаныч был у решетки дворца, далеко до часа. Вот видит: карета Шувалова. Кучер его признал и по данному знаку сейчас же взял на козлы. Открылись бесшумно ворота, кучер подъехал к дворцу, ночь черная, зги не видать, на дворе часовые, у кареты два жандарма.

Вышел граф, жандармы вынесли кого-то, за темнотой не разобрать. Рост высокий, на ногах и руках кандалы. Выйдя, он не хотел дальше идти. Жандармы его тотчас под руки, подоспел третий, подхватил ноги. Лязгая цепями, внесли мигом в тамбур, тот, что внизу, в подвальном этаже; Яков Степаныч с графом вошли

следом. Захлопнулись обе двери. На ключ их и на засовы. Тогда осветили большим фонарем винтовую лестницу, что ведет в следующий этаж, в особые покои императора Николая. Жандармам с револьверами наготове граф приказал остаться у наружных дверей, как только ввели через порог этого человека. Дверь за ним запер граф собственноручно. Якову Степанычу приказал стать в первой комнате у бронзового бюста Михаила Павловича и по первому знаку кинуться на помощь, если приведенный станет бесноваться. Яков Степаныч запомнил, граф так и сказал: «бесноваться». Сам же граф вынул револьвер и, держа его в левой руке, правой открыл следующую дверь в спальню и вполголоса доложил сидящему у окна:

— Мы прибыли, ваше величество!

Граф взял под локоть нежданно послушного узника, с трудом переступавшего по ковру, звеня кандалами, и продвинул его за собой. Горели свечи в бронзовых канделябрах на столе. Царь сидел спиной к окну, к тому, что выходит на Неву и Адмиралтейство. На окнах были тяжелые двойные занавеси. Шувалов поставил узника направо, наискось от царя; свет бил ему и царю прямо в лицо.

Хотя царя отделял от него огромный письменный стол и в проходе между стеной и столом стоял граф Шувалов с револьвером наготове, за дверью два вооруженных жандарма и Яков Степаныч с веревкой в руках, врученной ему на тот случай, если узник начнет «бесноваться», Александр II был очень бледен и как будто испуган. Между тем высокий человек, стоявший перед ним, если б и захотел, едва ли имел силу что-нибудь сделать. Он был закован. Его руки висели, как плети. Тонкие длинные пальцы ровно вытянуты и прижаты к солдатской шинели, надетой на него, по случаю поездки, сверх арестантского халата.

Он поражал страшной худобой. Скулы на щеках были обтянуты темно-желтою нездоровою кожей, к которой черные как смоль борода и усы были словно приклеены. Невыразимое страдание было на лице его. Зрачки глаз, яркие и большие, как бы вопияли к кому-то, моля о сознании. Высокий лоб был мучительно сморщен, длинная шея вытянута, все тело застыло в неслыханном напряжении.

Он хотел и не мог что-то припомнить.

Возможно, что граф не предупредил узника, что везет во дворец для свидания с императором, или же, предупрежденный, от слишком большого волнения заключенный сейчас был разбит.

— Я думаю, что он не понимает, где находится,— сказал царь Шувалову,— предлагаю вам ему разъяснить.

Шувалов подошел близко к закованному человеку и сказал ему, как говорят глухому или иностранцу, излишне расчленяя слова:

— Государь по своему милосердию оказал вам неслыханную милость, приказав привезти вас из крепости во дворец. Шестилетнее заключение, надо надеяться, привело вас к полному раскаянию в злодейских помыслах вашей юности. Откровенно назвав всех вовлекших вас в пагубное заблуждение, вы тем самым смягчите свою участь. Вы поняли? Пред вами сам государь.

Вдруг узник выпрямился, закинул голову назад, глаза его загорелись дивным огнем...

Помню, тут Яков Степаныч показал мне на проповедующего Иоанна Крестителя на гравюре Иванова, висевшей у него на стене. Михаил вдохновенный действительно на него был похож.

Голосом хриплым, лающим, отвыкшим издавать человеческие звуки, узник произнес:

— Самозванец!

И, взмахнув рукою, гремя цепью, крикнул еще громче, сделав шаг к императору:

— Самозванец! Царя давно нет, я его смертью купил благо народа! Я даровал конституцию... Приказываю вернуть Чернышевского! Министрами Огарева и Герцена. Чего стоишь идолом?— кинулся он к Шувалову.— Беги! Выполняй! А этого самозванца...— Узник повернулся к побледневшему царю. Вдруг он словно признал его. В бешенстве, потрясшем все его тело, он поднял оба кулака над головою и крикнул:

— Палач! Да здравствует Польша! Да здравствует свободная Россия!

Шувалов стремительно закрыл узнику рот, крикнул Якову Степанычу:

— Держи его за руки!

Яков Степаныч подскочил, но держать ему пришлось падающее без чувств тело узника, силы которого надорвались.

— Ваше величество,— сказал Шувалов,— вы видите, он совершенный безумец. Прикажите, быть может, перевести его в Казань, в дом умалишенных? Это — отдаленное место, где держать его можно в одиночестве.

Царь встал, молча подошел к распростертому на полу бесчувственному страдальцу и долго смотрел на него. Страшно бледное лицо его дрожало от неразрешившегося гнева. Холодно и недовольно глянув на Шувалова, он сказал:

— Пусть узника водворят на прежнее место,— и, помедлив, прибавил: — для примера.

Шувалов впустил жандармов. Все еще бесчувственного человека они подняли и унесли. Яков Степаныч отметил: как у мертвого, в одну сторону свисали его руки, окованные кандалами. Страшно выдавался орлиный, заострившийся нос из-за впавших щек и черной спутанной бороды.

. . . .

Вот что я запомнил на всю жизнь — слово в слово.

ГЛАВА VIII

ОПЯТЬ НА РОДИНЕ

«Помимо занятых клеток, в мозгу человека есть еще масса свободных клеток для ощущений и представлений новых, имеющих еще проникнуть в мозг данного индивида, словом — запасной склад клеток, незанятых и свободных, куда можно было сложить будущий материал...

И дальше по Мейнерту: клеток в мозговой корке от 600 до 1200 миллионов, количество же наших представлений несравненно меньше. Кроме того, сила человека тратится в каждодневной жизни на прохождение волевых импульсов по проводниковым путям. Да, на это времени тратится в пять раз больше, чем на образование представлений.

Ну-с, а если волевые импульсы прекратить и всю силу собрать на одно? И кто знает, какие новые представления, а за ними какие новые открытия станут уделом незанятых клеток? Быть может, человек вновь откроет...»

. . . .

Эту выписку нашел я на листке голубой бумаги, написанной тончайшим, но не женским почерком, в старой «Ниве» с картинками, которую дал мне смотреть Иван Потапыч. «Ниву» же он вчера выменял на махорку еще с пайковых времен.

Я потрясен этой запиской. После слов «вновь откроет» приложен рисунок колеса Фортуны: колесо с двумя крылышками, летучее.

Да ведь это — как раз то, что мы с черным Врубелем знаем. Ко-ле-со!

Все у нас точно условлено, старший врач прозевал. Ему б нас рассадить, а не оставить шептаться. Дошептались, хе-хе...

Попросим у Ивана Потапыча ножницы. Надо вырезать кое-что из газетной бумаги, а ножницы он не дает. Повернулся ко мне от бритья, щека в мыле, скосил глаза под кустистой бровью, и будто не Ивана Потапыча голос, а того... художника черного:

— Проткни горло, проткни!

Ну, конечно. А я-то мучился, я позабыл...

Проглотить колесо надо накануне, чтобы за ночь оно вставилось в кадык, как пропеллер.

А днем, едва толпы народа заполнят проспект и музыка хватит под окнами, надо впустить воздух, чтобы началось вращение колеса. И вот я забыл... что именно для этого нужно сделать?

Утомленный мельканием колеса жизни, я овладел ключами, я прочел книгу, я понял символы. И мне разрешено передать мое знание. Для передачи нужно общепонятное действие.

Посредником между центрами движения и чувствительности служат нервы. Ну, а передачу между глубоко скрытым центром полета и первым удачным взмахом рук-крыльев еще надо создать!

Но мы догадались. Близка наша благая весть и другим.

Теперь ясно: на улицу Иван Потапыч меня не отпустит. Бежать у меня нету силы, ноги колодой. Придется лететь одному. К черному Врубелю я уже послал с этим известием воробья. Открывали форточку, и влетел воробей. Как только я сказал ему адрес, он вылетел, и напрасно Иван Потапыч собрался ловить его длинным сачком: воробей — по-польски ведь Врубель, хе-хе...

Колесо, по моим просьбам и слезам, вырезали девочки. Каждая по колесу. Если одного будет мало, проглочу и другое. Но пока Иван Потапыч не сказал: «проткни горло!» — я не знал, как мне принять воздух из сфер. Впрочем, как уже сказано, через Ивана Потапыча шел мне приказ от *иного* учителя.

Теперь только одно: к двадцать пятому октября украсть ножницы!

Я стал очень волноваться. Кричать я боялся, но каждый раз, как Иван Потапыч проходил мимо меня, я вытягивал шею и шипел, как змей. Деликатней и ясней нельзя было объяснить ему, что, задерживая мировое открытие, он уподобляется пресмыкающемуся. Но по невежеству Иван Потапыч не понял ничего, а девочки по невинности очень смеялись.

— Пиши свои сочинения! — крикнул мне Иван Потапыч и, как ему теперь стало обычным, сунул мне в руку перо.

Только взял я перо, как увидел на печке Якова Степаныча. Он сначала был маленький и похож на «американского жителя». Ему это было надо, чтобы сползти с печки по бечевке от душника. Когда он подходил ко мне, он был уже обычного своего роста, в люстриновом блестящем пиджачке, серебряный и румяный. Обе руки положил мне на голову.

— Успокойся и людей не пугай! Возьми глиняного петушка и Вере Эрастовне передай все, что видел.

Я взял глиняного петушка, и он перенес меня на хутор Линученка в комнату Веры.

Или нет, нет. Я ехал долго: и по железной дороге и на тройке мимо пожарища былой лагутинской усадьбы... Впрочем, не все ли равно, как я добрался, раз я попал?

В комнате было светло от первого выпавшего снежка, окна только что вставлены, чисто промыты. Сквозь стекла гляделись какие-то кудрявые молодые деревца. Они не хотели сдавать земле свои еще крепкие листья и предерзостно зеленели, продираясь сквозь снежную пелену.

Вера лежала высоко на подушках, покрытая из разноцветных шелков испанским одеялом. Это одеяло я помню с детства. Когда она бывала больна, я сидел около, и мы играли. Гуляли, как по парку, по дну мор-

скому, по лунному кратеру — по тончайшим оттенкам шелковой ткани.

Вера смотрела в окно и не заметила, как я тихо вошел с Линученком. Я с трудом узнал ее, так она исхудала. Она была прозрачно бледна, косы, без прежнего золотистого блеска, мертво и ровно лежали по плечам.

— Вера! — позвал Линученко. — Сережа приехал!

Она легко повернула голову. Глаза ее — огромные, пустые — в какой-то надежде глянули на меня. Она чуть протянула мне руки. Я встал на колени. Я взял эти бледные, слабые пальцы и приник к ним губами. Как я мог забыть ее? Я любил Веру за то, что не мог разлюбить. Едва видел ее — я любил.

— Он с вами видался? — спросила она, не называя кто.

— Он был накануне и просил меня вам передать, что больше ему ждать нельзя, он чувствовал себя очень больным. Он посылает вам любимое, что осталось от детства.

Я отдал Вере глиняного петушка. Но едва она взяла его и слезы безмолвно полились из глаз, мне стало невыразимо мучительно. Повинуясь сложным и едва ли добрым чувствам, не щадя ее слабости, я сказал:

— А Яков Степаныч видал Михаила. Он был свидетелем его свидания с царем; Михаила в кандалах привезли во дворец.

— Что вы делаете? — вскричал Линученко.

— Говорите, Сережа, я умру, если вы мне не скажете...

Она села. Судорожно сжала петушка, как бы держась за него — совсем как делал это я, когда бродил как безумный после покушения в Летнем саду.

Я ей все рассказал. Она слушала, не двигаясь, не дыша, так, что мне вдруг показалось, что она умерла. Я прервал речь и кинулся к ней. Она отвела меня рукою и твердо сказала:

— Я слушаю. Я все понимаю. Не пропускайте ни слова.

Когда я кончил, она повернула голову к Линученку, долго молча смотрела и выговорила с мольбой:

— Друг мой, никого, кроме меня, не посылайте по Волге! Я в Казани останусь. Ведь когда-нибудь его туда привезут.

Вера откинулась на подушки и закрыла глаза. Я вышел вслед за Линученком.

— Зачем вы ей рассказали? — начал он и перебил себя: — Впрочем, для нее так лучше. Для нее, не для вас.

Он испытующе и жестко мне глянул в лицо.

— Однако я сейчас не могу говорить с вами, придите ко мне поздно вечером. Но придите непременно!

Я пошел бродить по местам, родным с детства, с ними прощаться навеки. Я был уверен, что больше сюда не вернусь. Кончилась эта жизнь...

Ведь каждый живет несколько жизней. Изживает одну, временно пребывает, как труп, нет — как земля, под снежным саваном с мертвой травой и с глубоко дремлющим новым семенем. И, как земля от морозов, от лютейшего горя отходит убитый человек. Опять держится, опять, как и все, заполняет каждый свой день. Только ночи не те. Ночью у того, кто знал смертную муку, сама смерть держит сердце в руках; сама смерть не дает ему сна, не дает отдыха.

Но это ночью.

Наутро я уезжал на Кавказ. Сейчас я пошел по избам прощаться с молочными братьями, с крестниками, с кумовьями. Там мне так усердно наливали настойками «посошок» в дорогу, что, перед тем как идти к Линученку, я прошел к круглому озеру, к Ведьмину глазу, чтобы отрезвиться.

Вот и большой камень, где семь лет тому назад сидели мы втроем, полные муки и надежд, каждый своих. Сейчас один из нас — безумец, погибший для жизни, а мы с Верой — разбитые люди.

Но озеро все то же: весь день застывшее, словно зеркало, ночью оно дивно менялось. Тысячеглазое небо отражалось в воде, звезды вверху мигали звездам внизу и зарождали в воде совсем необычайную жизнь, которую не видать днем.

Мелкая рябь, как холодок по взволнованной коже, пробежала от одной звезды до другой. Под мелкой рябью чье-то смутное очертание, большое и темное, заколотилось глубоко на дне. Словно хотело оно вырваться, родиться наружу, и не умело.

На синее небо вышла луна, белыми лебедями проплыли облака. Луне отдавая почет, отступили вглубь звезды, и, как созревшая равнодушная красота, смахнув

облачных лебедей с чистого неба, в свое чистое зеркало — озеро, на себя одну залюбовалась луна.

Вот на дне закипели ключи: из вязкого ила, из тяжких пут водорослей, в судорогах выбивалось наружу плененное. Выбралось. Ударило в зеркальную гладь и на миг, на один только миг, разбило уверенный точный круг луны в миллионы сверкающих искр. Огнем зажгло озеро. На миг, на один только миг.

Ушла луна, огни умерли. И, торжествуя над усмирившимся бунтом, звезды вверху улыбнулись звездам внизу, как древние авгуры, храня про себя свою тайну.

«Но едва взорвешь все пограничные камни, земля станет легкой, и ты полетишь!» Кто сказал это, кто? Все равно кто. Он сказал, а я сделаю.

Полечу. По-ле-чу...

. . . .

Прошло полвека после этого разговора, а я до сих пор ненавижу его, Линученку. Этот человек обобрал меня и оставил жить. Есть вещи, которых или нельзя говорить вовсе, или, сказав, надо человека прикончить. Впрочем, мало кто подозревает силу слова, мало кто умеет действовать словом как оружием. Люди ссорятся, любят, изменяют, порой убивают, и все это как-то помимо друг друга. Каждый выставил в жизнь вместо себя заместителя, а сам скрыт.

Линученко добрался до меня самого, до того, кого знал только я. И только сам себе, и то в иную минуту, имел я силу сказать то, что открыл во мне, не повышая голоса, этот приземистый неприятный человек.

— Вы, я слышал, едете на Кавказ?— сказал Линученко, запирая комнату на ключ, чтобы никто не вошел.— И, надеюсь, надолго?

— Еду. Но почему вам приятно «надеяться»?

— Потому что иначе мне пришлось бы вам предложить прекратить с нами общение. Мы переходим на такую деятельность, которая безразличных свидетелей не выносит. Дальше недопустимо быть вам не с нами и не против нас. И еще я хотел вам сказать... как видно, вы сами не знаете... мне дает на это право известная привязанность к вам, как к человеку, знакомому с детства.

— А я думал, вы меня презираете,— вырвалось у меня.

— Пока не за что, насколько я знаю,— он сказал без улыбки, что меня очень кольнуло.— Но предупредить вас мне очень хочется. Вы разрешаете?

— Я вас прошу,— сказал я, ненавидя это скуластое твердое лицо.

— Вы уже не юноша, а все еще безответственны. Между тем пора бы знать вам, что мысль, чувство и воля должны быть согласованы. Говоря вашим военным языком, вам пора сделать себе инспекторский смотр, мобилизовать свои силы, наметить себе в жизни ту или иную позицию. Несобранные люди — худшие из предателей.

И, сверля меня узкими зелеными глазами, он бросил:

— Признайтесь, вы пытались изменить участь Михаила? Я уверен, что вы говорили с Шуваловым.

— Разве попытка смягчить участь друга, хотя бы и неудачная, есть предательство?

Мне показалось, что человек этот говорит оскорбительные вещи, но я не чувствовал гнева. Он говорил так бесстрастно, как какой-нибудь старший механик, сосредоточенный на том, чтобы части машины были свинчены скоро и точно.

— Если вы, хлопоча за Бейдемана, допускали по вашему слабоволию, как сейчас вы это сделали в разговоре с Верой, хоть тень чувств иных, разрушающих ваше стремление ему помочь,— вы его так или иначе предали. Разве вам не известно, что капля собачьей крови, привитая кошке, убивает ее? Там, где нет цельности воли, лучше не действовать. В вас этой цельности нет, а вы, как я уверен, действовали. Фактов я у вас не спрашиваю. Формально вы даже можете оказаться правы. Из своей среды вы вышли, но и к нам не пришли. Мы же — сплав одного металла. Прощайте!

Я опять подумал, что, быть может, надо вызвать его на дуэль, но вместо этого я поклонился ему сухо и сказал:

— Прощайте, если это вам угодно. Я еду завтра навсегда. Но я хочу видеть Веру наедине.

— Хорошо,— сказал Линученко,— все равно больше повредить ее здоровью, чем вы это сделали, вы не можете.

— К черту ваше менторство! — закричал я, теряя терпение. — Я к вашим услугам. Можно и без секундантов, на жребий... Американская дуэль.

Он посмотрел на меня отрывисто и прямо, как смотрят, кидая слово «дурак», но слова этого не сказал, пожал плечами, открыл дверь и вышел.

Ночь я не спал, я считал, сколько раз я предал Михаила. Я насчитал четыре. Да, благодаря вмешательству моей воли, судьба этого человека четыре раза была мною повернута. А воля моя была не из чистого, не из цельного сплава. Следовательно...

Первый раз я дал Мосеичу «Колокол», чем помешал соединению Веры и Михаила. Второй — я внушил Шувалову иное освещение всего дела, чему следствие — Алексеевский равелин, а не дом сумасшедших, откуда бы друг мог бежать. Третий раз я, чувственно увлеченный Ларисой, с пробудившейся завистью к безоружному другу лишил его мощной заступницы. Четвертый и последний раз, вовсе не помышляя об освобождении друга, а лишь желая разрядить свою собственную боль, я подвел его, уже безумного, под вечный гнев Александра II.

Пусть оправдывают меня присяжные судьи. Я в старости знаю лишь то, что я знаю.

Не только твой поступок — твоя злая мысль, твое злое чувство могут быть той решающей тяжестью, которая потянет книзу горькую чашу чужой судьбы.

ГЛАВА IX

ПАУК И УДОД

Я слежу за окном. Сегодня чуть было не случилось несчастья. У Ивана Потапыча вышел спор с девочками; он требовал, чтобы окно замазали, девочки стали плакать и божиться, что замажут двадцать шестого. Все к тому, чтобы двадцать пятого был мой последний бой. Осталось несколько дней.

И еще мне сегодня знаменье, что решение взято правильно: за стеклом между рамами незамазанного окна, моего окна, появился...

Появился Паук.

Едва я его приметил, как Иван Потапыч, о ком-то повествуя, выразительно сказал:

— Преданный друг.

Какое слово, какое слово! Ведь не иное, а это — выражение сильного чувства дружбы. Да, да, друг только и дорог, когда он предан.

У меня есть пре-дан-ный друг и:

Паук . . . .

. . . .

Как странно. Веру не должны были повесить, как того... с серо-голубыми глазами. Отчего же лицо ее было, как у него, мертвенно-синее, когда я сказал ей, что уезжаю навсегда.

Мы молчали. Я держал ее за тонкие пальцы, потом, указывая на испанское одеяло, я сказал:

— Вот и опять мы с вами, Вера, как, бывало, мальчик и девочка, прошлись по разноцветным шелкам. Не правда ли, пусть кто хочет нанимает квартиру, пусть кто хочет покупает гарнитуры в гостиную и множит детей. Мы начали и мы кончим тут, в разноцветных шелках испанского одеяла. Я не знаю, что это было у вас; у меня, сколько бы женщин я ни знавал,— это была только любовь. Неистребимо единая, как у бедного Вертера. Прощайте ж, моя любовь, навсегда, я еду на Кавказ.

— Навсегда, Сережа?

Она была так поражена словом «навсегда», что внезапно я понял: она привыкла считать меня своей собственностью. Кроме того, с моим отъездом обрывались все связи с ее личным прошлым и оставалось на долю ее одно лишь суровое служение революции под железной рукой Линученка.

И вдруг на миг, на один только миг, мелькнуло в глазах ее не Верино, а простое, женское... И я понял: она испугалась.

— Навсегда,— твердо сказал я и, вспыхнув от всплывшей в памяти отповеди Линученка, добавил гнѐвно:— Довольно быть мне при вас прикладным.

— Сережа!

Необычайная, впервые ко мне обращенная нежность пришла слишком поздно. Я был измучен, я был разорен. В этом выражении ее глаз, о котором мечтал я тщетно столь долгие годы, в ту минуту я лишь злобно прочел: она прикидывает, а вдруг можно со мной нанять ей квартиру, купить гарнитур и завести детей. Главное —

детей. Ведь женщины в отчаянии, как заяц в кусты, вечно прыгают в этих детей.

— Навсегда, Сережа!

И в этот миг, мной угаданный, вернее — по низкой злобе придуманный, случилось последнее ужасное несчастье...

Я выпустил ее руки и встал. Я ее разлюбил.

Неправдоподобно?

Нет, именно так и бывает.

Впрочем, понимаю я это только сейчас, а тогда я не знал, что я разлюбил. Мне только стало вдруг томительно скучно, но и вместе необычайно легко, будто я весь стал пустой. Только бы выйти из комнаты, только б уехать.

И вот уже не я, а она сказала с мольбой:

— Если я вам напишу, что мне необходимо вас видеть, вы приедете, где бы вы ни были? Обещаете? В память прошлого нашего детства, в память юности...

Я молча стоял у окна.

Она, угадав, что со мной произошло, но, как и я, не умея назвать, приподнялась и сказала:

— Ну, в память Михаила?

Она нашла верное слово. Я подошел к ее постели и, протягивая руку, сказал:

— И в память того, другого, кто дал нам глиняного петушка. Клянусь честью офицера, что приеду, где бы я ни был. Знаю, что зря вы меня не позовете.

Мы не поцеловались. Я приложился к ее руке, как к руке покойницы, и вышел.

Помню, я ехал на Кавказ совершенным мерзавцем. По дороге пьянствовал, играл в карты и твердил каждому, что возвышенно любимая женщина потребовала, чтобы я ей купил малиновый гарнитур. А жениться я — черта с два! Мне черный Врубель сказал, что каждый человек должен себя выразить художником. Завершиться и выразить, а в промежутке между человеком и невыраженным художником каждый просто-напросто негодяй.

Я был в промежутке. Как этот паук между окон. Однако скоро он ткет. Трудись, славный ткач! Он на чьей-то руке... Чья рука на такой высоте? И засучен по локоть рукав. А, это тетушка Кушина опять делает Ми-

хаилу перевязку. Матушка Михаила, будучи им в тягости, испугалась паука.

Паук отметил жизнь Михаила.

— В трамвае мужчина нонче как дятел сидит,— жалуется старушка гостья Ивану Потапычу,— а ты перед ним с корзиной стой. Здоровый мужчина сидит.

Солнце ударило в окно. Паутина — золотая игла. Еще такая на крепости. Там сидит. Двадцать один год здоровый мужчина сидит. На руке у мужчины паук. То Михаил — мой пре-дан-ный друг!

Я нарочно поклялся Вере честью офицера, чтобы отмежеваться от них. И действительно, я офицер. Я кавалер орденов: Георгия, Анны, Владимира, персидского Льва и Солнца и многих иных... послужной список при мне. Перепечатан на теменной кости внутри, чтобы скрыть от правительства, как скрыта фамилия. Там же дела мои против немирных горцев.

Кроме войн, было куначество. И чудесный кунак был рыжий имам даже после того, как оказался преступником. Его судили за то, что на груди у жены разводил он горячие угли, пока не прожег ей сердце. Но ведь жена обобрала его и бежала с другим. Он поймал и пытал.

А меня Вера обобрала безнаказанно: когда поняла, что теряет навеки, она в уме прикинула гарнитур. А я ей в ответ: черта с два!

И все-таки: тот, кто воевал с немирными горцами, дружил с преступными, бывал ранен и награжден, заводил любовь с татарками и офицершами, тот был не я, а черт знает кто.

Я же был и остался невыраженным художником. И поэтому я копил в памяти все восходы, закаты, запах горного воздуха, блеск кинжалов в попойках с резней и многое, не нужное никому. Я из лиц человеческих скопил три лица: лицо Михаила, лицо того, кто был повешен, и лицо Веры, которая для сердца моего умерла. Остальные мне были — блины. И, сам блин, жил с блинами. И когда ели блины, мы их запивали аи.

Но ордена я любил надевать и за честь офицера держался. И когда пришла эстафета от Веры из Казани с просьбой ехать немедленно и спешно — я выехал.

. . . .

Девочки очень смеются, мешают писать, допишу ночью; уже двадцать третье.

Девочки себе вшивают для сладостей большие карманы, их будут угощать комсомольцы. Пусть тащат — дело детское.

ГЛАВА X

МИРГИЛ

Я пишу ночью. Колесо проглотил. Устанавливается в кадыке. Легкая щекотка, но терпимо. Я лишен речи: мычу. Впрочем, речь ни к чему. Но завтра иное действие... убедительнее речи. В мозжечке кружится коечто, набирает пары́. Допишу, брошу перо и до утра продержу затылок ладонями, а локтями: мах, мах!

Этому я научился от Михаила. Я же сказал: Михаил Бейдеман и Сергей Русанин — одно. Понемножку и сделалось: пятками в его пятки, темечком в темя, и вместо имен Михаил и Сергей вышло имя новое: Миргил. Имя художника, который взорвал пограничные камни. Миргил полетит!

Я сказал: так стоял Михаил Бейдеман в одиночке, когда мы с Верой к нему вошли. Да, клянусь, это так было. И не сейчас, после смещения времени, а в самых настоящих человеческих днях с боем часов.

Да, пробило в коридоре дома умалишенных ровно шесть, когда подкупленный фельдшер Горленко провел меня с Верой к безумному таинственному узнику за номером 14, 46, 36, 40, 66, 35 и т. д.

Под этими цифрами, как сейчас стало известно, зашифровано было: Михаил Бейдеман.

Последними, несказанными усилиями мозга, уже перерождающегося в части дивного механизма для полета Миргила, я постараюсь передать то, что было в Казани.

Получив Верину эстафету, я подумал, что она при смерти и хочет со мной проститься. Получая изредка письма от тетушки, я знал, что Вера давно жила в Казани вместе с бывшей крепостной женщиной Марфой, а Линученко, как я узнал из газет, по участию в первом марте был давно сослан в Сибирь. Вера тоже немало просидела в тюрьме, подведенная плохими знакомствами, как по наивности писала мне тетушка, и, выйдя из тюрьмы, заболела злой чахоткой. Письмо последнее от

тетушки пришло в восемьдесят шестом году. Сейчас, когда я, спешно вызванный, ехал в Казань, был конец ноября 1887 года.

Я не видел Веру двадцать лет. Значит, сейчас ей, как и мне, пошел сорок седьмой. Я ехал бестрепетно, холодно любопытствуя о цели моего вызова. Но в Казани, когда на окраине города ямщик еще издали указал мне ее квартиру, я вдруг приказал ему остановиться и пешком прошелся раз-другой в переулке, чтобы унять неожиданную острую боль в сердце. Как ни пытался я объяснить себе, что у меня от долгого пути обыкновенный сердечный припадок, сознание, не обманываясь, знало, что это не сердечный припадок, а сердечное чувство.

— Ей сорок семь,— твердил я,— и давно я ее разлюбил.

Наконец вошел. Открыла она.

Вера не была старухой. Горели щеки ее, как никогда, ярким румянцем. Глаза блестели, седины не было видно из-под белоснежной косынки фельдшерицы. Безмолвно мы обнялись и разрыдались. Ведь, не живя, мы прожили вместе всю жизнь.

— Сережа, вы остались один из всех, кто знал Михаила. И Марфу весной унес тиф. Я бы не посмела вас звать, если б была хоть она. Но мне нужен свидетель.

Вера страшно закашлялась, у нее сделалось от волнения кровоизлияние. Доктор уложил ее в постель и, когда я назвал себя родственником, сказал мне, что дни ее сочтены.

Вера, горя той нечеловеческой энергией, которая охватывала ее, бывало, в дни надежды помочь Михаилу, уже на другой день овладела собой и могла рассказать мне, в чем дело.

Марфа, служа в доме умалишенных фельдшерицей, дозналась, что с первого июля 1881 года, в особой, ото всех изолированной комнате содержится таинственный узник, привезенный под конвоем двух жандармов из Петербурга. Из низшего персонала, кроме фельдшера, никто в эту комнату не допускался. Вера немедленно решила, что это Михаил. Фельдшер на подкуп не шел и ни за какие деньги не хотел устроить свидание.

— Мне удалось умолить его сделать одно.— Вдруг Вера побледнела:— Сережа, а что, если вы не помните?

Вся моя надежда на вас! У Михаила была родинка у правого локтя...

— По виду сущий паук,— прервал я, успокаивая, и рассказал ей эпизод с обваренной рукой в салоне тетушки Кушиной. Об эпизоде знала она от отца.

— Теперь я спокойно могу умереть,— сказала Вера,— свидетель есть. Сережа, фельдшер сказал, что родинка-паук на руке у безумного больного... Это было как раз пред внезапной болезнью Марфы. Сейчас этого фельдшера переводят в другой город, и за большую сумму он склонен дать мне свидание. Я говорила про вас. Ваше звание и чин на него сильно действуют. Подите к нему завтра же и устройте, чтобы назначен скорей был день и час. Мне осталось недолго.

Все уладилось. Подкупленный фельдшер назначил нам первое декабря в шесть часов вечера. Он сказал, что узник очень слаб, вероятно протянет недолго.

Первого декабря мы забрались за два часа в жарко натопленную комнату фельдшера в нижнем этаже здания, вблизи одиночной камеры узника. Нас не должен был видеть никто из персонала больницы. В половине седьмого, когда все мимо нижнего коридора пошли на обед, фельдшер сделал нам знак, взял ключи и повел в одиночную камеру.

— Одну минуту,— сказала Вера, когда повернул ключ,— одну минуту.

Она не могла дышать. У меня самого подгибались ноги. Нам предстояло увидеть Михаила после двадцатишестилетней разлуки.

— Он седой?— спросил я.

Надо было что-то узнать, как-то приготовиться, как готовятся к зрелищу дорогого покойника...

Фельдшеру вопрос показался пустячным, вместо ответа он пробормотал:

— Не дольше десяти минут по уговору.

Мы вошли.

В большой, давно не беленной комнате, на больничной койке сидело существо. Я не знаю кто... Ни одной черты Михаила. Как лунь белые волосы и борода. Глаза стеклянные, без признака мысли. Когда он увидел, что мы подходим, лицо его исказилось ужасом; он дернулся в постели, привстал, хотел было юркнуть под койку, но распухшие от колен ноги не пустили, и он, спасаясь от

воображаемых мучителей, сделал жалкую попытку улететь.

Вытянувшись во весь свой высокий рост, он заложил руки на затылок, отчего широкие рукава рубахи осели и обнажили иссохшие от худобы заостренные локти. На правом локте чернел явственно паук с тонкими, словно пером прочерченными ножками. Михаил захлопал локтями, как крыльями. Он думал взлететь...

Но он не знал, как знаю я, что нужны ножницы, чтобы через надрез горла впустить себе воздух сфер... Но это будет завтра. Сейчас я должен вспомнить, отчего Михаил стал таким.

Да. Двадцать лет одиночного заключения в равелине. Увезен безумным в казанский сумасшедший дом, где еще шесть лет одиночества. Итого: двадцать шесть лет. Я считал, глядя на этого чужого мне человека, где не было ни одной черты того вдохновенного, прекрасного юноши. Только черный паук на заломленной как птица трепыхавшей руке: мах... мах...

— Михаил, я — Вера. Я пришла... Вера. Я — Вера!

Она говорила голосом, после которого совершается чудо. Она поникла на колени, обняла его ноги. Она не уставала взывать к его померкшему сознанию, как, должно быть, взывал вне себя тот пророк, извлекая воду из скал.

— Я — Вера!

— Вера...

Он повторил хриплым, отвыкшим от речи, но все же своим голосом, ему одному присущим, глухим, глубоким звуком: «Вера...» И он протянул руки. Вере? Нет, не ей, не той, которая вызвала чудо. Ее образу юности, он увидал ее в прошлом...

Лицо его осветилось на миг подобием чувства, но тут же вдруг, утомленный, он рухнул на постель.

Она целовала его длинные, желтые, как у мертвого, руки. Он смотрел бесконечно утомленными, тусклыми глазами без признака мысли.

— Пора уходить, подведете, сударыня! Пора, пора,— торопил Горленко.

Узнав фельдшера, Михаил радостно замычал и, широко открыв беззубый рот, стал громко чавкать.

— Есть просит,— объяснил Горленко.

Мы ушли. Вместе с фельдшером я довез Веру домой. На другой день она лежала на столе, покрытая белым, такая же чужая, как Михаил.

Я не узнал ее, когда, обмыв ее, со словами «готово», какие-то женщины впустили меня в комнату. Помню: на глазах у этой желтой восковой куклы были медные пятаки. И под одним пятаком поблескивал белый-белый белок.

— Не закрылся один глазок; знать, высмотреть надо ей своего ворога,— сказала баба.

Этот ворог — я.

Я не исполнил и последней Вериной просьбы. Я не рассказал никому, как замучили Михаила, ни тогда, ни в 1905 году, когда ко всем с просьбой пролить свет на это дело обращался один историк.

В архивах все узнано без меня.

А я, не желая себе неприятностей, жил в своей деревеньке и очень часто бывал пьян. Тогда-то в моей голове завелся Верин удод и стучал день и ночь:

— Худо тут... худо тут.

. . . .

В мозжечке кое-что развивает давление всех атмосфер. Я бросаю перо, держать надо голову, приучать руки к крыльям — мах! мах!

Едва завтра музыка и такие слова: «Это есть наш последний и решительный бой...»

В горло... рраз!

Головой в стекло — два. И к черту Паук!

А над городом плавно Миргил.

Художника — лёт
И нет — лет...

Кавалер орденов: Владимира, Анны, Георгия... пр-ра-вое плечо впе-ред!

1924—1925

МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В 1798 году Наполеон мимоходом, направляясь в Египет, захватил остров Мальту. Несмотря на боевые запасы артиллерии, магистр Ордена сдался без всякого сопротивления и скрылся в Триест. Достоинство великого магистра предложено было русскому императору Павлу Первому. Мечтая о воскрешении древнего рыцарства, Павел не только принял предложение кавалеров Ордена, но дал приказ: «Повелеваем опубликовать о сем во всей империи нашей и новый титул внести в прочие титулы наши». Тотчас дана была аудиенция в Зимнем дворце депутации капитула Ордена, которая торжественно поднесла императору корону и регалии великого магистра. На Новый год Павел явился перед изумленными придворными в короне, супервесте и великолепной мантии и объявил, что впервые будут сожжены в Павловске в канун Иванова дня знаменитые костры Мальтийского ордена.

Преувеличенный восторг, с которым русский император отнесся к протекторату над Мальтийским орденом, вызвал в Европе насмешку, и с лукавой иронией записал аббат Жоржель: «Русский император, не принадлежащий к католической церкви, но исповедующий схизму Фотия, сделался гроссмейстером Ордена религиозного и военного, имеющего первым своим начальником папу. Император Павел поразил Европу».

Однако, кроме этой, забавной аббату, стороны дела, возникновение постоянных сношений с Мальтой было

серьезным по своим последствиям расчетом Павла и продолжением умной политики Екатерины. Упрочив свое влияние на Мальте, Россия могла на Ближнем Востоке успешней бороться с Англией.

Накануне Иванова дня Павел ушел из дворца один в дальнюю прогулку. В конце липовой аллеи, на парадном плацу, уже сложены были в клетку и белели серебряной корой молодой березы девять костров. Гирлянды из редких оранжерейных цветов и прочие украшения плаца поручены были молодому ученику придворного живописца Бренны — Карлу Росси. Мать его была знаменитая прима-балерина, мадам Гертруда Росси, отчим — не менее знаменитый постановщик балетов Лепик, а настоящий отец его был неизвестен.

Император задумался, приближаясь в своей одинокой прогулке к любимой им Старой Сильвии. Было здесь безлюдно и не парадно. Под июньским солнцем особой свежестью пахли травы, еще не кошенные, блестевшие после недавнего дождя. На этих вот лужайках, бывало, отроком, в сопровождении любимого воспитателя Порошина, собирал он цветы и травы для гербария. Порошин, душою преданный,— был бы жив — охранял и сейчас...

Впрочем, к чему теперь охрана, если завтра ночью вспыхнут девять мальтийских костров? Иезуит патер Грубер, которому разрешено в любой час дня и ночи входить в императорскую спальню, сказал сегодня особо торжественно:

— Едва запылают девять костров во имя святого Иоанна, как охранительная стена, незримая глазу, будет воздвигнута вокруг вас, помазанника и духовного главы рыцарства всего мира.

Как всегда, в минуты, когда он верил всей душой в могущество охраняющих его сил, Павел вдруг освобождался от подозрений, страхи отступали от него, и он был счастлив тем простым счастьем, как в памятный день, когда царица-матушка подарила ему это сельцо — Павловское.

И, молодо оглянувшись вокруг голубыми глазами, прекрасными, когда не затемняло их безумие, отбросив докучные мысли, Павел с любопытствующим восхищением новичка, попавшего впервые в эти прелестные места, стал осматривать извилистые берега веселой речки Славянки.

Двадцать лет тому назад Екатерина подарила ему эти земли, но полюбил их он много раньше. Сюда, в этот густой сосновый бор, когда здесь еще было всего два охотничьих домика, смешные Крик и Крак, спасался он, бывало, из Петербурга, оскорбляемый фаворитами.

...Все дальше шел Павел, любуясь цветущим своим парком. Вспоминал, как начинал разбивку его вдоль речки Славянки к старому шале и от него к мосту Крика. По модному английскому образцу вели посадку кустов, искусно пользуясь красивыми склонами речки. Давно забытая детская радость охватила, когда узнал места самых первых наивных построек: вот хижина монаха, трельяж, там беседка на китайский манер, и другая подальше — подражание Пиранези — построена в виде полуразрушенной башни-руины...

А какие были узорные цветники на многочисленных островках, какие шаловливые между островками каскады! Камерон давал указания на устройство просек. И хотя все, что напоминало царство и вкусы матушки, было непереносимо и наполовину уже уничтожено, Павел сейчас воздавал должное Камерону, вызывая в памяти им одним созданную особую легкость, изящество и прелесть планировки.

Когда под именем князей Северных он с женой путешествовал по Европе, построен был большой дворец, начата колоннада Аполлона, храм Дианы, большой каскад, вольер и дворцовая баня. Всё заботы ее, матушки-царицы.

Пока сын отсутствовал, Европы ради строила напоказ, чтобы крепко держалась молва об ее материнской заботе. О каждом пустяке писала своим друзьям за границу, забрасывала их подарками, они же ее — хвалой. Всё для видимости... А скуповата была для истинных нужд семейных! Выписан был знаменитый Гонзаго для росписи дворца, а приехал — платежей нет. В необходимом, в белье и платье нуждались. Зато сейчас его время, его право.

Едва мать умерла шестого ноября, как уже двенадцатого император переименовал сельцо Павловское в город. И судорожно, с раздражением, стал по-своему переделывать парк: Славянку приказал запрудить, часть островов уничтожить...

Павел дошел до мыльни и Пиль-башни и присел на скамью.

Да, не тот теперь Павловск — подтянулся. А при матушке-то сколько фальшивого сентимента вызвал приказ его о прекращении нищенства? Правда, случился некий пересол — на цепь посадили одного инвалида... Так ведь не помер же он с того!

И с удовольствием Павел подумал о своих последних приказах директору парка: воспретить строжайше в парке свист, зряшные разговоры, непотребный хохот... не матушкин, чай, дом распутства. В городе Павловске пребывает он, самодержец, гроссмейстер Мальтийского ордена.

Впрочем, приличному веселью и он не препона: кавалькады, прогулки, завтраки в молочном домике, вечерний чай в шале. Но императору и отцу необходимо всегда знать, куда именно, надолго ли и зачем ушли от него его близкие. Придумал лотерею, чтобы прикрыть свою тайную подозрительную настороженность: вынимали как бы шутя билетики, куда именно идти сегодня,— он же записывал.

Прогулки, им одобренные, были: в зверинец, в охотничью будку, по пограничной просеке и назад, по аглицкой дороге и через Звезду назад — семь верст. Самая длинная прогулка.

Любил, чтобы приходили назад точно, по часам. Все концы были выверены. Дышал спокойно, когда знал, что никуда зайти не могут, что некогда им пошушукаться — только и дела, что прошагать туда и обратно.

Вдруг Павел налился кровью, побагровел, сильней забилось сердце. Вспомнил, как недавно наткнулся на Александра, который записан был как ушедший на просеку. Александр с книжкой в руках сидел в беседке и в вытянутой руке держал большие карманные часы. На просеку он с прочими, видимо, не пошел, а сидел тут один и следил по часам, когда ему явиться к отцу.

Оттого что тогда сдержался и сына не обличил — тем тяжелее запомнил ему эту обиду.

Мысль о сыне повела в те места, которые с такой любовью украшала царица-матушка для любимца своего и — тайно мнила — наследника.

Павел двинулся к Александровской даче и с горечью думал:

«Неужто матушка, столь разумная и в многих государственных случаях справедливая, не понимала, что,

минуя отца для преимущества сына, она сеет в сердце моем страшные семена?»

Вот она — Александрова дача — воплощение сказки императрицыной о «розе без шипов и царевиче Хлоре», написанной для любимого внука.

Встали в памяти слова пиита:

И отрок с самого начала,
Когда рассудку мысль его внимала,
Научится быть осторожным здесь...

Дом на крутом берегу, а в долине театр с золотым верхом. Недлинная аллея, обсаженная цветами, ведущая к дому, неожиданно обрывается, и восхищенному взору предстают раздолья полей и синева дальних лесов.

Павел не мог удержаться от зависти к сыну, когда попадал в царство его счастливого детства. Сколько внимания и нежности шло к внуку от той, которая обидно пренебрегала им, родным сыном. Таков ли был бы он сейчас, выпади ему в детстве жребий Александров?

«И отрок с самого начала... научится быть осторожным здесь». Да, осторожности Александр научился!

И вдруг неудержимо и больно пронзила сознание одна мысль — так огненная змейка, вновь возникшая на пожарище, которое, сдавалось, потушено, вырастает вмиг в злое пламя: Екатерина вовлекла Александра и Константина в постройку дворца. Ребята, забавляясь, клали фундамент. А что, если заложили туда и такое, что может взорваться? И оно взорвется?

Долго в оцепенении стоял, прислонясь к статуе Амура. В смертной тоске глядел, как Амур, на веки вечные обреченный натягивать лук свой, медленно розовел, словно оживал под лучами летнего солнца. Стоял неживой, пока совсем простая, здоровая мысль не пришла сама на выручку: да ведь дворец-то уже много лет тому назад строили, ребятишками сыновья были... Вздор это! Вздор и безумие! Сам дьявол взбудоражит вдруг подозрениями, спутает сроки, навеет бессмыслицу...

Павел пугливо оглянулся: не видал ли кто, не угадал ли его постыдные мысли? Вдруг посветлел и весело крикнул:

— Полкашка, сюда!

Стремглав летел к нему через кусты и тропинки большой лохматый пес. В собачьем восторге, что донюхался, где его хозяин, Полкан неистово прыгал, норовя лизнуть прямо в губы.

Ребячливо смеясь, Павел сам обнимал собаку, усаживал рядом с собой на скамейку. Полкан с сознанием исполненного долга высунул красный язык и спустил пышный хвост со скамьи.

Павел рассмеялся, вдруг что-то вспомнив, и сказал Полкану, доставая из кармана вчетверо сложенную бумажку:

— А ты, братец Полкан,— знаменитость. Адмиралы про тебя пишут. Вот послушай-ка...

И он стал читать собаке вслух то, что давеча досрочно списали из записок гостившего в Павловске адмирала Шишкова:

«Забáвы наши в Павловске однообразны и скучны».

— Ну и поскучай, коли хочешь быть при дворе. Так, Полкашка?

«После обеда степенно, мерными шагами прогуливаемся по саду. После шести шествуем на беседу весьма утомительную. Государь с великими князьями садится рядом, мы подпираем стены, как безмолвные истуканы. Государь ведет с детьми сухие разговоры, мы же не смеем ни говорить между собой, ни вставать со стульев. На длинном шлейфе императрицы лежит всегда простая дворная собака».

— Это же ты, Полкашка!— мазнул Павел собаку листом по морде.— И простая и дворная, а мне сего адмирала милей.

«Неизвестно, откуда явилась сия собака. Но она не отстает от императора...»

— И не отставай, Полкан, охраняй меня!

«И скоро со всеми прочими сия собака стала предерзкая, государь может один ее гладить, и его она не кусает. Однажды она залаяла во время вахтпарада. Государь рассердился и крикнул: «Уберите ее от меня!» Но она не далась никому на руки и просила прощенья, повалившись на спину, четыре лапы вверх, и махала хвостом,— он простил ее».

— А ведь и точно, было дело,— смеялся Павел.— Ну и дурак же этот Шишков, такое записывать! Как с ровней, с тобой, Полкашка, считается. Если бы рим-

ский безумец Калигула не произвел своего коня в сенаторы, я бы тебя, Полкан, пожаловал в адмиралы.

«Сия собака любит театр. Во время действия сидит в партере на задних ногах и смотрит на актеров, будто понимает их речи и действия».

— Донос на тебя,— веселился Павел.— Ай да адмирал Шишков! Завтра, на зависть ему, посажу тебя с собой рядом в ложу.

Павел спрятал бумажку в карман, решив еще посмеяться вечером вместе с Аннушкой Гагариной, и, веселый, пошел в сопровождении Полкана через мост, украшенный трофеями, к храму Цереры, рядом с которым высокой струей бил ключ, посвященный Марии Федоровне.

Император и пес напились студеной воды и, поднявшись на высокий холм, вошли в храм «Розы без шипов».

У храма был крутой купол на семи колоннах. Посреди алтарь, на нем ваза. В вазе прекрасная роза с гладким блестящим стеблем без единого шипа. На плафоне торжественная фреска: Петр с высоты небес смотрит на блаженствующую Россию — дородную женщину в сарафане. Она же, окруженная наукой и промышленностью, опирается на щит с изображением Фелицы. Внизу орел когтями разламывает рога луны.

Павел вспомнил, что граф Литта вручил ему статут Ордена, требующий неукоснительного выполнения всех правил, от чего крепла сила охраняющего действия ритуальных костров, которые зажгут завтра на парадном плацу. Он вынул записную книжку, посмотрел в который раз параграфы и сделанные к ним собственные отметки. Между прочим была и такая:

«Справиться у Винцента Бренны, кто истинный отец ученика Карла Росси? Если не дворянин, обладавший грамотой, восходящей к десяти предкам, личное присутствие одного Росси на сожжении костров допустить нельзя».

Кроме Росси, записаны были и другие...

Вдруг Полкан с веселым лаем кинулся со всех ног к небольшой открытой беседке, и Павел увидал там рисующим в альбоме того самого юношу, о котором только что думал.

Карл Росси так был охвачен своей работой, что, погладив мимоходом Полкана, даже не оглянулся на им-

ператора, хотя не мог не знать, что лохматый пес неотлучен при царе.

Павел большими шагами направился к беседке, он готов был разгневаться. Мария Федоровна, супруга, не нахвалится изяществом рисунков этого Росси, только по ним и режет свою слоновую кость, а намедни донесли, что в городе болтают — Михайловский-де замок воздвигается дарованием сего юного Карла, его учитель Бренна только проекты подписывает...

Тем более столь доблестному юнцу не след манкировать своему императору. Всем существом обязан он чувствовать его приближение.

Подойдя вплотную, Павел хлопнул Росси по спине. Тот, испуганный, вскочил:

— Ваше величество?..

— Хвалю, сударь, хвалю,— мгновенно смягчившись, скороговоркой проговорил Павел,— у вас чистый взгляд, чистый!

Росси недоумевающе смотрел на императора широко расставленными глазами, еще весь поглощенный своей работой.

— Дышать забываете, сударь, когда рисуете,— смеялся Павел,— не то что салютовать вовремя своему императору. А ну, покажите.

— Эскизы украшений для завтрашнего празднества,— протянул Росси альбом.

Он был очень молод, прекрасной внешности. Соразмерность частей его стройного тела давала впечатление особого изящества. Волосы вились, усиливая приветливость лица, глаза, светлые, с ярко отмеченным зрачком, доверчиво, не страшась, смотрели в глаза императора.

— Ваши рисунки отменного качества, сударь. А известно ли вам символическое содержание завтрашнего таинства костров?

Павлу отрадно было думать, что никакой задней, скрываемой мысли у этого юноши нет, он полон одним беззаветным увлечением своим искусством. И горько мелькнуло: «Вот такого б мне сына... такому б я верил».

Полуобняв Росси, облизанного мохнатым Полканом, Павел пошел с ним обратно к Большому дворцу. Дорогой он давал Карлу последние указания, как надлежит распределить гирлянды и венки, какую постепенность требует сожжение костров и фейерверка. Подойдя к плацу, где сейчас производилось учение, Павел на-

хмурился, заложил руки за спину, что всегда у него было началом гнева. Вдруг он оттолкнул Полкана и один проскочил далеко вперед, бросив Росси. Ему показалось, что сын Александр, командовавший марширующими гатчинцами, потушил мгновенную усмешку, увидя отца с молодым архитектором. К тому же и гарнизон шагал не по артикулу. Хотя это были любимые гатчинцы, под командою Александра они с неряшеством, неточно печатали шаг.

Вмиг рассердившись на сына, на гатчинцев и неимоверным усилием воли сдержав этот гнев, Павел круто повернулся к оторопевшему Росси и неприятным, повизгивающим голосом прокричал ему:

— О вашем происхождении, сударь, не имею чести знать в точности! Матушка ваша — прима-балерина, вотчим — Лепик, ну-с, а, собственно, родной ваш батюшка кто будет?

Павел попал в больное место. Росси покраснел до слез, однако, не теряя достоинства, отчетливо вымолвил:

— Я не знаю, сам, ваше величество, кто мой родной отец.

Опять юноша стал приятен.

— Бы-ва-ет... — с мягкой насмешкой протянул Павел, вспомнив, как сам немало страдал от пересудов досужих придворных, что он не сын Петра Третьего, а всего-навсего Сергея Салтыкова.

— Учителю вашему, Бренне, передайте, что прожекты я ваши одобрил. А точные сведения об отце — добыть от матери и представить мне наутро.

Павел, стуча каблуками, держа за ошейник Полкана, зашагал быстро к дворцу, а Карл Росси, потрясенный происшедшим, избегая ненужных встреч, пошел темными аллеями на почтовый двор.

Тройка отличных коней быстро домчала Карла до города. Он взял ялик и, перед тем как увидеться с матерью в театре, поехал кататься по Неве. Как спасательный круг утопающему, чтобы выбраться из захлестнувшей пучины, необходимо Карлу в хватившей его лютой тоске убедиться, что все так же незыблем вознесенный над Невой монумент Фальконета, все так же великолепны творения Растрелли, усыпанные украшениями, залитые золотом, дремотно мерцающие под нежным, нежарким северным солнцем.

Карл мысленно вызвал в памяти своей и то, чего сейчас не было перед глазами: вот усилием воли, под мерный плеск весел, перенесся он в здание изящного Камерона, и тотчас знакомой утешающей лаской коснулось его разбитых чувств это ожившее в новой форме чудесное искусство древней Помпеи. От Камероновой галереи перешел он мыслями к строгим, величественным колоннадам Кваренги, этой души воскрешенного Рима, и ему стало легче, отпустили горечь и боль.

Эти воображаемые, мгновенные, по желанию вызванные путешествия по творениям великих мастеров зодчества были ему привычны с детства, как его сверстникам слова молитв. В минуту душевного упадка они просто спасали. Выхватывали по волшебству из тяжелой действительности и, как на ковре-самолете, вмиг переносили в область навеки незыблемого и прекрасного.

Яличник налег на весла, и Карл погрузился в бездумный отдых, глядя на студеную и летом сине-стальную воду Невы, на чаек, белых и легких, как большие хлопья снега.

Чайки, занесенные на многоводную красавицу реку с моря, казалось, приносили с собой и его освежающий морской запах.

С освобождающей душу отрадой смотрел Карл на гранит, одевший Неву, на Мраморный дворец Ринальди, на изумлявшую каждый раз заново своей воздушной красотой Фельтенову сквозную решетку Летнего сада...

Далеко отступило, выпало из памяти лживое придворное общество Павловска, и потухли обиды, нанесенные безумным царем и легкомыслием родной матери.

В углах средней башни Адмиралтейства, рядом с флагами, вдруг зажглись фонари,— так повелела Екатерина после наводнения,— и Карл, боясь опоздать в театр к матери, приказал яличнику причалить к берегу.

Ему повезло. Сегодня дежурили служители, знавшие его с детства, они беспрепятственно пропустили в уборную матери. Она была одна.

— Мадама гримируется,— сказала горничная,— но вы пожалуйте...

— О, сынок мой маленький, хотя уже большой,— с нежной лаской пропела Гертруда, не отрываясь от

зеркала, перед которым она кончала накладывать грим.— Ты сейчас увидишь мать крылатой Психеей. Я буду сегодня чудесно танцевать. О, я уничтожу Настасью Берилеву, уничтожу!

Гертруда постучала заячьей лапкой по столу.

— Настасье сбавят столовые и квартирные, и на башмаки и на чулки. Не ей равняться со мной!

Карл съежился, онемел. Как далека была от него эта женщина, полная закулисных интриг. И даже свои ласковые слова говорила она ему без всякой мысли, как говорят любимой комнатной собачке.

Карл встал, подошел к Гертруде, сказал жестоко, не глядя:

— Я требую от вас правды, пора мне узнать... кто, собственно, мой отец?

— О, зачем так сердито,— простонала Гертруда,— ты ранишь мое сердце этим голосом.

Она не сказала — словами...

— Император мне задал вопрос, и я должен узнать про отца. Понимаете: кто тот человек, от которого я рожден?

Гертруда жеманно хихикнула и, как в балете, погрозила игриво пальчиком:

— Неприлично говорить о таком со своей матерью!

— Мать должна открыть тайну моего появления на свет.

Росси подошел к выходной двери и загородил ее собою, чтобы Гертруда не упорхнула без ответа на сцену.

Мадам Гертруда, все еще прекрасная, неистребимо молодая, подбежала к сыну, высокому ростом. Поднявшись на носки, туго обтянутые розовыми туфельками, она пригнула голову Карла обнаженными душистыми руками к своей груди и с очаровательной грацией прошептала:

— Сын мой, дитя... ведь я не ведаю и сама, кто твой отец! Но я люблю тебя за двоих. И сейчас я буду танцевать для тебя... только для тебя.

В дверь постучали. «Иду!» — весело крикнула Гертруда и, еще прильнув к сыну, сказала с мольбой:

— Не надо нам ссориться, дорогой, не надо!

Прима-балерина была права. Едва сын увидел ее на сцене театра легкокрылой, поистине воздушной Психеей, он все ей простил. Точность рисунка ее танца, волшебный полет, совершенство движений восхитили

его, освободили, унесли. Прославленный танец Гертруды Росси был совершенной силой искусства, снимавшей бремя вседневных тягостей. Недаром писали про нее, что она вызывает благодарные слезы восторга.

А когда, минуя жадные взоры гвардейцев-балетоманов, ловивших ее улыбку, ему одному, возлюбленному сыну, она послала воздушным шарфом приветствие и скрылась за кулисами,— Карл выбежал из театра.

Он боялся, что мать позовет его ужинать. Он уже не хотел утратить свое разнеженное дивным танцем благодарное к ней чувство. На сцене мать — совершенный художник, в жизни — неумная, тщеславная женщина. Какие с ней счеты!..

Была лунная ночь. В зеленоватом прозрачном свете стоял город. Росси, не отдавая себе отчета, не глядя по сторонам, почти без сознания мчался по непривычным ночным улицам к великому утешителю своему, бессмертному всаднику Фальконета. Перед ним замер.

Глядя на Петра, юноша испытывал великое удовлетворение.

Его охватило настроение совершенного бескорыстия. Ничего он для себя не хотел и вместе с тем сейчас впервые узнал — он свершит в своей жизни великое, для всех нужное.

Он глядел неотрывно на освещенного лунным светом скакуна, который откуда-то, из недр, вихрем взлетел на самую вершину скалы.

Невиданный этот конь нес на себе всадника, увенчанного лаврами. Всадник простер над городом отеческую десницу. Он звал вперед.

И Карл ощутил всем своим существом, что несокрушимая, всепреодолевающая воля к созданию еще никем не угаданных зданий до конца дней стала ему второй природой.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Согласно ритуалу мальтийских рыцарей Карл Росси не был включен в число гостей, имеющих право присутствовать при сожжении девяти костров. Необходимых по статуту предков у него не оказалось.

— Как художнику, вам даже будет любопытнее охватить все зрелище сразу, с вершины ближайшего холма...

Так, с любезной улыбкой, желая смягчить удар его самолюбию, сказал Росси церемониймейстер Ордена.

Но Карлу было только дело до того, что скажет ему его Психея, Катрин Тугарина.

Воспитанная отцом-вольтерьянцем, веселая насмешница — кто лучше ее способен подметить неумное чванство придворных, их фальшь, ханжество? Как мило, наверное, она посмеется над тем, что у него не хватило предков, тогда как у нее их излишек.

Но сейчас искать встречи с Катрин невозможно, работы еще по горло. Придется отложить свидание до позднего вечера, уже после сожжения знаменитых костров. Любопытно, прочтет ли Катрин без ошибки его любовный мадригал на гирляндах? Подбором разнообразных оттенков живых цветов Карл собирался окончательно выразить Катрин свои чувства. Ему уже удалось послать ей предупреждающую записку:

«Возобновите в памяти «язык цветов», чтобы прочесть на гирляндах костров предназначенные вам слова».

Хотя император Павел строго преследовал все забавы, которые были в обычае при дворе его матери, у каждой девицы хранился в тайничке вместе с толкователем снов и «язык цветов».

Карл отправился в оранжерею, где он должен был дать последние указания помощникам. Дорогой он еще раз осмотрел воздушные зеленые беседки, затейливые павильоны, боскеты, сооруженные по его рисункам, и остался доволен. Хотя ему давно хотелось на чем-то громадном развернуть свой дар, которому, чувствовал он, уже пора найти достойное применение,— эти легкие, веселые работы из живого материала самой природы восхищали его. Он был как первый создатель мира, располагая по собственному вкусу купы дерев и кустов, нагромождая скалы и камни в излучинах речки, вознося лиственные арки, низвергая каскады...

В оранжерее подручный Митя рассказал Карлу, что и наследник Александр по поводу запрета художникам, как не имеющим достаточного количества предков, присутствовать на празднестве вместе со двором, прищурясь, вымолвил: «И дело. Всяк сверчок знай свой шесток. Иные из молодых уж слишком подбираются к государю...»

— Это он на вас намекал, Карл Иванович,— бережно сказал Митя,— все отметили, наследник вроде вам завидует, потому что государь особливо к вам ласков.

— Для ученика Лагарпова такие чувства едва ли подходящи,— улыбнулся Росси,— но меня Александр и вправду не слишком жалует.

Карл вспомнил, как он недавно принес в кабинет Марии Федоровны заказанные ею рисунки для чернильницы, а она, восхищаясь, протянула их наследнику и сказала:

— Хорошо, если бы вы так умели для меня рисовать.

— Но я ведь в художники не готовлюсь,— вспыхнул Александр.

— Очень помню, мой сын,— вы готовитесь царствовать,— уязвленная его тоном, подчеркнула мать.

И намедни как нехорошо на него глянул Александр, когда с обнявшим его императором он подошел к марширующим гатчинцам.

— Самолюбив очень,— неодобрительно сказал Митя,— и фрунтом задерган, и отцом запуган, и глухоту свою скрывает. А у вас так все выходит легко и свободно.

— Наследнику, конечно, живется невесело, но довольно о нем. Нам с тобой, Митя, сейчас дело кончать. И домой мне еще заглянуть, переодеться...

Карл быстро и точно сделал последние распоряжения; не в силах сдержать счастливую улыбку, перечислил Мите, какие оттенки цветов еще необходимо доставить из самой дальней оранжереи. Наконец он двинулся к проспекту Лепика — так, по приказу Павла, именем его отчима окрещена была близлежащая прямая улица, в конце которой возвышалась затейливая дача знаменитого танцовщика.

Митя догнал Карла и, шагая с ним в ногу, застенчиво сказал:

— Просить вас хочу об одном деле...

— Проси, Митя, только шаг не задерживай.

— Узнайте у господина Лепика про Машеньку. Она ведь всегда при вашей матушке в кордебалете танцует. Сильфидой ее прозвали... а сольной партии всё не дают. Очень ей это обидно. Проведать бы у господина Лепика, есть ли скорая надежда?

— Спрошу, Митя,— улыбнулся Карл.— Машенька — твоя невеста?

— Выкупить мне ее надо раньше,— грустно ответил Митя.— Я, Карл Иванович, на это жизнь свою положу. Сумма немалая, но благодаря вашей помощи и господина Бренны я кое-что уже скопил. Годика через два-три авось...

— Будет ли Машенька так долго ждать? Соблазнителей много в балете.

— Она верная,— прервал, вспыхнув, Митя.— Она давеча мне сказала: «Лучше умру, а бесчестьем сольной партии не возьму».

— Хорошо, Митя, что ты веришь Машеньке. Вот и я верю...

Карл запнулся и покраснел. Митя сам деликатно закончил:

— Вашей избраннице, Карл Иванович, тоже вполне можно верить. Умница какая, красавица... Уж я вам для мадригала всё как есть подберу. Куда мне доставить цветы?

— Всю охапку неси прямо к кострам, я туда скоро приду. А просьбу твою, будь покоен, исполню. Ну, беги.

Митя был племянник и крестник замечательного литейщика Хайлова, который спас при отливке монумент Фальконета от гибели. Он был сероглазый юноша, почти с белыми льняными волосами, младший ученик Бренны, который употреблялся больше для работ подготовительных, нежели живописных. Как мастера Возрождения, Бренна почитал приличным иметь штат подростков-помощников при выполнении больших заказов и работ, требуемых двором.

Росси сразу отличил Митю за недюжинные способности, прямодушный ум и, узнав про мечту его выкупить свою невесту, стал ему передавать доходную работу.

Митя нравился ему и сам по себе и тем, что был племянником человека, который вызывал особое уважение. Бецкий передал отливку памятника Петра самому Фальконету, а надзор за работой — русскому мастеру Хайлову. Меди заготовили триста пятьдесят пудов, и когда она, растопленная, была уже пущена в нижние части формы и заполнила их, произошел прорыв, и медь разлилась по полу.

Фальконет в отчаянии, что его труд рушится и честь погибает, выбежал вон из мастерской. Его примеру последовали все рабочие, кроме Митиного дяди. Один он, не потерявшись, заделал отверстие и стал, с опасностью для жизни, вычерпывать медь и вновь заполнять ею формы.

Отливка вышла на славу, только лишних два года пошло на шлифовку изъяна. За спасение памятника Хайлов получил денежную награду и первым долгом выкупил из крепостного состояния родную сестру с Митей, его крестником. Литейный мастер был крепкий, умный, вольный человек, и Митя, подрастая, наследовал его независимый нрав. Карла Росси он преданно любил, восхищался его талантом и мечтал в будущем, когда женится на свободной Машеньке, строить под его началом.

Карл Росси подходил к даче своего отчима, очень приметной благодаря большой террасе, затканной сверху донизу ярко-красным турецким бобом.

Павел не выносил танцующих мужчин, считая, что самим богом они предназначены быть только воинами. Но для Лепика император сделал исключение: кроме того, что Лепик был европейски признанный танцовщик, он писал балеты на модные классические темы, среди которых попадались и военные — балет «Дезертир».

Феликс Лепик вместе с Гертрудой Росси и ее маленьким мальчиком Карлом — после триумфов в Париже и Лондоне — из Италии приехал в Россию.

Карл значился в бумагах — пасынок Лепиков; так он был записан и дальше на службу при дворе.

После особого успеха поставленных Лепиком балетов собственного сочинения — «Амур и Психея», «Прекрасная Арсена» — ему предоставлена была, к зависти всех прочих актеров, «безденежно» ложа третьего яруса и наивысший оклад.

Феликс Лепик дремал в большом кресле на собственной террасе, а несколько поодаль стоял мальчишка-казачок с длиннейшим чубуком в руках. Вся фигурка казачка выражала большое напряжение. По опыту он знал, что если промедлит минуту, чтобы поднести барину, едва он проснется, раскуренную трубку,— размашистый удар по спине этим самым, вырванным из рук, чубуком будет ему назиданием. Казачок не переставая

дул на тлеющие угольки, Лепик мирно похрапывал, и черные усы его, отпущенные за лето, пока он не танцевал, а только писал балет, вздрагивали, как у таракана. Нос был горбатый, римский, а брови, как намазанные густой черной краской, полукружием обегали закрытые веками глаза. Одет Лепик был пестро, словно фазан: шелковый халат с разводами, на голове красная феска, узорные шитые туфли на босу ногу.

Сон отчима был чуток. Еще сладко храпел его римский нос, как внезапно приоткрылся карий глаз, с любопытством оглянул Карла, и Лепик прокричал тенорком:

— Пасынка бог послал! С чем поздравить?

Он вскочил с кресла, легко подбежал к Росси и скороговоркой насмешливо сказал:

— Веночки, беседки, гирлянды цветов — дамское занятие, дамское... Не вижу для вас в том много чести — не в садовники вас готовили.

Карл что-то хотел возразить, Лепик не дал, сам продолжал, махая руками:

— Говорят, ваш учитель Бренна, как на осле, на вас воду возит... Вашими руками жар загребает. Постоять за себя не умеете. Ну, с чем пришли? Есть до меня дело? Говорите скорей, я сейчас примусь за работу.

Лепик выхватил у подскочившего казачка свой чубук, кинулся обратно в кресло и скоро исчез в клубах дыма, как сказочный волшебник.

Воспользовавшись минутой, когда отчим, занятый делом, принужден был помолчать, Росси, памятуя просьбу Мити, сказал:

— С моей матерью танцует в вашей постановке некая Машенька, именуемая за грацию Сильфидой. Она в кордебалете...

— Знаю Сильфиду и первый ее одобряю,— сказал важно Лепик.— Ну и что же, ты влюблен?

— Она невеста моего приятеля Мити, одного из младших учеников наших. Он просил меня узнать, есть ли надежда получить ей вскорости сольное выступление.

Лепик вынул изо рта чубук и рассмеялся.

— Как раз вчера получила. Из-за ее упрямства твоя мать разбила два хороших стеклянных стакана, пока наконец убедила Сильфиду. Маша свое счастье поняла и сделала то единственное, чего не хотела делать: по

приглашению нашего князя Игреева с ним поужинала наедине. А сегодня я получил предписание дать ей партию Амура. И если твой приятель не будет дурить, эта Маша от щедрот князя скорее добудет себе вольную сама, нежели ожидая до седых волос выкупа от жениха. Убеди этого Митю... Жизнь есть жизнь!

— Как можете вы так говорить? Вы ничего не понимаете в таких людях, как Митя...

Лепик заклектал опять птичьим смехом, потом выпучил страшно глаза и крикнул:

— Умная рыба ищет, где глубже, умный человек — где лучше! Здешняя русская пословица есть истина, а жизнь есть жизнь. Это надо понимать, а вы тоже не понимаете. Почему вы наотрез отказались учиться танцам? Вы отказались от своей фортуны. О, если бы вы танцевали!

Лепик ловко бросил подскочившему казачку свой потухший чубук.

— Если бы вы танцевали, вы могли бы стать наследником славы вашей матери и моей... да, моей славы.

Лепик хлопнул небольшой растопыренной рукой по шелковым разводам выпиравшей грудной клетки и поднял голос, как актер высокой трагедии:

— Если бы вы танцевали, я бы мог вас вполне назвать своим сыном. Но молодой человек, рисующий беседки, цветочки, веночки, вместо того чтобы посвятить себя благородному богу движения,— мне не может быть сыном.

— И желания особого к тому не имею,— сказал холодно Росси.

— Предерзкий негодяй!— вскричал гневно Лепик. Брови его, черные и толстые, как пиявки, вздернулись кверху, щеки побагровели, римский нос побелел.

Карл круто повернулся и пошел в свою комнату переодеться.

— Осел!..— крикнул ему вдогонку отчим, кидая на пол ноты, пепельницу, черешковый чубук, вырванный у перепуганного казачка, и с нарастающим гневом продолжал:— Пудель любит танцевать... Лошадь любит танцевать... Одного осла надо стегать, чтобы он танцевал. Но и осел танцует... Вы — хуже осла.

Не найдя больше достойных для утишения своего гнева предметов, Лепик дрыгнул ногой и послал далеко

в коридор, через незакрытую дверь, свою туфлю с босой ноги.

Казачок, как собачка, стремглав кинулся к туфле и водворил ее снова на ногу барина.

Вдруг Лепик сразу охладился, взял в руки карандаш и, как ни в чем не бывало, стал им выстукивать такт и напевать что-то, черкая в нотах.

А Карл, нарядный, красивый, полный мечтаний о восхитительной Катрин, желая, чтобы его не увидел отчим, черным ходом направился к парадному месту.

Карл шел и думал о том, как он встретится с Катрин. Вероятно, она уже знает, что его не будет на парадном торжестве. Конечно, она не сочтет это для него унижением. Сколько раз сама ему говорила, что таланты выше всякого происхождения. Да, одной ей, восхитительной Психее, хотел Карл рассказать о том, что пережил недавно ночью у памятника Петра. Рассказать, как ему, великому всаднику, и самому себе дал обет — сделаться первым в мире зодчим.

И, взяв ее прекрасную руку, он ей скажет:

«Быть может, вы, Катрин, никому не отдадите вашу свободу, пока я этим зодчим не стану?»

Или нет... зачем так долго ждать? Быть может, довольно ему только вернуться из двухлетней поездки в Италию, куда повезти его хочет Бренна. И когда он, как Баженов, привезет из Рима и Флоренции признание его высоких успехов,— с ее умом, свободой взглядов, ужели она сама не скажет смело отцу:

«Я люблю этого художника. У него большое будущее...»

И отец-вольтерьянец благосклонно ответит:

«Как вы оба можете сомневаться в моем согласии?»

Так юношески мечтая, наслаждаясь медовым запахом лип, Карл вдруг приметил в конце темной старой аллеи два белых платья. Как узнать, кто эти гуляющие так близко от дворца? Карл, чтобы остаться самому незримым, когда белые платья с ним сравняются, спрятался за скамью, укрытую кустами жасмина. В просветы ветвей вдруг мелькнули голубые ленты, как дымок завился белый газовый шарф, и обе женщины, смеясь, кинулись вперегонки к скамье. Это была Катрин со своей замужней подругой Аделью.

Насмеявшись, они продолжали прерванный разговор, и вдруг Катрин назвала его по имени. Она сказала:

— Какое же благополучное разрешение судьбы любезного Карла Росси вы придумали, дорогая Адель?

Адель, смеясь, вынула из ридикюля книжку в сафьяновом переплете:

— Это наш женский оракул. Здесь советы на все случаи жизни и на самые тайные наши желания. Откроем заветную главу...

— Я хочу прочесть сама.— Катрин потянула книжку.

— Только читайте вслух, ведь в вашем деле заинтересована и я,— лукаво сказала Адель.— Начинайте отсюда. Это подходящий для наших разговоров анекдот прошлого времени.

И Катрин прочла:

— «С некоей мадемуазель Дюшатель случилась беда, неприятная для девицы высокого положения в свете. Она влюбилась без ума в красивого гувернера своего младшего брата. Молодой человек отвечал ей пламенной взаимностью. Каролина — так звали девицу — таяла на глазах своих родителей и знакомых, молодой человек, на ее счастье, был робок».

— Ну, разве это не ваш случай, Катрин?— всплеснула руками Адель.— Но продолжайте, разрешение ваших мук через несколько строк.

— «Старшая сестра Каролины, опытная в сердечных делах баронесса Д., приласкав сестру, ей тихонько сказала: «Я вижу все, дорогая, но помочь вашему горю вы легко можете сами. Скорей примите предложение старого маркиза де Зет, вы станете несметно богаты, и, так как сейчас у нас в моде книжки Жан Жака Руссо, вы даже подниметесь во мнении света, если вашим любовником станет красавец бедняк. У меня же для вас и для вашего милого всегда найдется уютный приют...»

— Но ведь это решение времени прошлого,— сказала Катрин,— и я думаю...

— Это решение бессмертно,— прервала Адель.— Время только вносит маленькие внешние изменения. Сейчас не только вам надо выйти замуж, но и Карлу жениться на какой-нибудь титулованной, чтобы быть принятым в нашем обществе по праву; руссоизм не в моде, и бедный зодчий списка ваших побед не украсит. Я, конечно, возьму свою долю,— тонко улыбнулась Адель,— но зато отлично сосватаю вашего Карла...

— Хорошо, если б на глупом уроде,— подсказала насмешливо Катрин.— Но как вы мыслите вашу долю?

— О, я не оригинальна, помирюсь как раз на том, чего хочет от своей младшей сестры предприимчивая баронесса Д. Прочитайте...

«Чтобы все между нами было без облачка и претензии,— сказала старшая сестра, привлекая в объятия свою младшую,— уговоримся сейчас: иногда вместо тебя встречать его буду в гнездышке — я».

Карл, сдерживая дыхание, смотрел на мелкие золотистые кудри Катрин, на ее детскую шею... Психея. Что ответит она?

Катрин сказала тем спокойным, чуть насмешливым тоном, который всегда — так казалось Росси — таил в себе и свободу ума и благородство поступков:

— Я принимаю все ваши условия, мудрая Адель.

Она тихо засмеялась, и ее голубая лента, взметнувшись далеко за куст жасмина, шаловливо чуть скользнула по щеке Карла.

Карл рванулся, толкнул нечаянно дерево, под которым сидели Катрин и Адель. На них посыпались листочки и сучья, они вскрикнули и, как лани, помчались далеко по аллее.

Карл, не прибавляя шагу, по внешности спокойно двинулся к месту сожжения костров, но, погруженный в странное оцепенение, вдруг спутал тропинки и, не зная как, очутился перед крепостью Бип.

Там шла какая-то возня. Он вздрогнул, сразу не понял, потом сообразил: после вечерней зори подымают игрушечный подъемный мост.

Несуразная средневековая подделка. Как сравнить эту безвкусную нелепицу с той совершенной Камероновой постройкой, которую Павел приказал здесь разрушить? Это грубое зачеркивание произведения большого мастера, эта возведенная на его месте тяжелая, как солдатский прусский сапог, крепость сейчас вдруг до слез оскорбила его.

Не так ли всё в жизни? Не так ли она, Катрин, его Психея, растоптала его любовь? Она, конечно, выйдет замуж с расчетом и спокойно отдаст руку тому, с кем выгодно вступит в сделку ее вольтерьянствующий отец. А после, как все... заведет салон и займется игрой в любовь. Неужто эти умные глаза, этот рот, сладостно изо-

гнутый, эти движения, полные грации,— одна оболочка, прикрывающая пустое и грубое сердце?

Карл стоял, недвижно прислонившись к большой березе. Ему казалось — оборвалась его жизнь. Час тому назад он в полноте радости и надежд погрузился мечтами в воображаемый, полный чувств, разговор с Катрин, и вот через миг, как при землетрясении, пред ним вдруг разверзлась на месте цветущего сада бездонная пропасть. Страшные речи возлюбленной, которые он только что услыхал, обличая холод ее сердца и раннюю развращенность, убили его любовь. Карл плакал и не замечал, что плачет. Он пришел в себя, когда вблизи пробили башенные часы и привычка к ответственности за работу заставила вспомнить, что нельзя терять времени.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Карл Росси, слегка запыхавшийся от быстрой ходьбы, но подтянутый, точный, каким всегда был в работе, появился на парадном плацу у костров, сложенных в клетку, из чистых, стройных березок. Белоснежные, с черными отметинами, они издали казались мантией из горностая.

Рабочие подкатили целые тачки великолепных цветов: во множестве были здесь розы, орхидеи и стойкие декоративные циннии...

— А я уже боялся, что мы запоздали,— сказал Митя,— увлеклись с садовником. Вот принимайте, Карл Иваныч, тут все оранжерейные богатства на выбор для вашего мадригала. Затем... Но что с вами? Не случилось ли чего?— с беспокойством глянул Митя на вдруг побледневшего, как от сильной внезапной боли, Карла.

— Нездоровится что-то,— отрывисто сказал Росси.— Сейчас не до разговоров, Митя, как бы нам не опоздать.

И Росси стал распоряжаться окончательным украшением костров. Когда окончили, Митя отбежал, чтобы прочесть по цветам обещанный Катрин мадригал, но, хотя он отлично проштудировал «язык цветов»,— ничего не получилось.

— Как же у вас тут построен стишок, Карл Иванович,— постичь не могу... Либо эти лилии не у места, либо шарлаховый тон тех бутонов... Уж нет ли ошибки?

— Читать здесь совершенно нечего, Митя,— спокойно ответил Росси,— мадригала нет и не будет.

И, поймав безмолвный вопрос в глазах друга, предупреждая его нескромное любопытство, поспешно добавил:

— Я навсегда желаю забыть имя той, кому были предназначены стихи.

Митя слушал и укоризненно молчал. Росси, вспыхнув, поспешно добавил:

— Поверь, Митя, основание есть... Не спрашивай, не поминай мне ее...

Карл вдруг смешался. Он вспомнил, какой ценой Маша-Сильфида, невеста Мити, получила наконец сольную партию. Неужто сказать ему?.. Нет, он не мог нанести другу сердечную рану, так схожую с той, которую только что в аллее старых лип нанесла ему Катрин. Не глядя на Митю, он смог только вымолвить:

— Твоя Маша, сказал отчим, сегодня танцует с моей матерью в здешнем театре. Кажется, роль Амура...

— Извещен уже ею...— блаженно улыбаясь, сказал Митя.— Умудрилась цидульку мне прислать — назначила свидание после танцев, у Аполлона... И просьба моя к вам, Карл Иваныч: придите туда же, когда зажгут фейерверки. Нам оттуда все будет видно превосходно, а я хочу в вашем присутствии взять торжественное обещание с Маши, что она будет меня ждать непоколебимо среди всех соблазнов. Чай, теперь их у нее прибавится... Не подумайте плохого о Маше, Карл Иваныч, я по-прежнему в ней уверен. Но именно ваше присутствие как свидетеля — это новый шаг, закрепляющий пока духовные наши узы. Мы оба вас ценим безмерно, вы мне — как старший брат.

Росси глянул в добрые восторженные глаза Мити, крепко пожал руку и горько подумал: «Еще немного часов — и конец его радости».

— Да, Митя, я непременно приду к Аполлону.

— Карл Иваныч, я оставшиеся белые розы отдам вечером Маше — ведь можно?

— Конечно, Митя, отдай...

Послышался звук трубы — сигнал для общего сбора на празднество. Росси и Митя быстрым шагом пошли к дворцу.

Эскадрон конной гвардии был уже размещен по пути следования на парадный плац. Кавалеры и командоры,

приехавшие из Петербурга, в супервестах прошествовали по два в ряд.

Павел под звуки труб и литавр в большой тронной зале дворца занял вместе с женой места на троне. Великий сенекал Нарышкин, чья должность соответствовала гофмаршальской, поднес Павлу на золотом блюде факел. Пажи вручили факелы всем прочим, и процессия двинулась к кострам.

Росси хорошо видел издали всю церемонию сожжения костров. Процессию открывал церемониймейстер Ордена, тот самый, который его вычеркнул из списка. Сейчас его незначительное, мелкое лицо было важно, и сам он в нарядном облачении как будто стал выше ростом и дороднее.

За ним, по два в ряд, начиная с младших чинов, шли капелланы. Кто-то из толпы людей, стоявших сзади Росси, скрытый уже наступившей темнотой, отчетливо называл чины и достоинства, с особенным удовольствием выговаривая трудные, никому не понятные звания:

— Вот эти расшитые, с лентами — кавалеры Большого Креста, а те — конъюнктуальные капелланы... кавалеры по праву российского приорства — свои, русские, они от государя направо, а католики с левой стороны.

И заспорили, что почетней: правая рука, десница, старше левой, но зато левая ближе к сердцу.

Вся процессия, торжественная и нарядная, три раза обошла вокруг девяти костров. Росси знал, что для большинства придворных эта церемония была смехотворна, и даже вечный страх перед внезапностью гнева государя сейчас не мог сдержать то тут, то там насмешливых улыбок и перемигивания.

Но большинство пыталось истово исполнять ритуал, как службу, как новый вид фрунтовой повинности. И только один император, в роскошном облачении, в тяжелой короне на полысевшей голове, высоко подняв курносое лицо, с вдохновенной молитвой смотрел в небо. Он веровал в спасительную силу обряда мальтийских рыцарей.

Когда император остановился, великий сенекал взял из рук его факел, зажег его и вручил ему обратно. Камергеры подошли к членам совета, и когда огни вспыхнули у всех, Павел возжег первый костер.

Мария Федоровна, княжны, придворные девицы и дамы смотрели на торжество из роскошной палатки черных, белых и красных полос.

Вечер был прелестной нежности, без ветерка, и с веселым треском горели костры. Купы дерев, искусно расположенных Камероном, живописно освещались живыми языками пламени. Вдруг взвились разноцветные ракеты и, добежав до середины потемневшего, но еще прозрачного неба, как бы завидя оттуда покинутую отчизну, стремглав упали в веселые воды Славянки. Император, отстояв, сколько полагалось по ритуалу перед пламеневшими кострами, пошел садиться в золотую карету. Сквозь стекла ее, в которых дрожали багровые отсветы, Росси видел все то же лицо, застывшее в экстазе, и золотую корону в бриллиантах.

Росси в раздумье тихо шел по тропинке к храму Аполлона и невольно остановился, когда ему путь пересекла Катрин. Она была одна и, видимо, его давно заприметив, с намерением здесь поджидала.

— Ваши цветы на гирляндах ни по какой азбуке мне ничего не сказали. Отчего же вы не держите обещания?— сказала Катрин кокетливо, но с заметной досадой.

Карл ответил ей холодным, отстраняющим голосом, сам себе дивясь, куда вдруг ушло недавнее чувство:

— По вашей вине у меня пропала охота сказать вам что-либо не только на языке цветов, а простыми словами...

— Какая немилость,— насмешливо сморщила губы Катрин.— Что же, в вашем сердце другая?

— Во всяком случае — единственной в моем сердце больше никогда не будет. Вы меня излечили навсегда. Как у всех, у меня отныне будут многие... но не одна.

— Что за дерзости... чем они вызваны?

— Извольте, скажу — и на этом мы кончим. Несколько часов тому назад я в старой липовой аллее собственными ушами слышал, как вы с вашей подругой торговали моей персоной. Вы с ней условились поочередно играть со мною в любовь, предварительно женив меня на титулованном уроде...

— Так это вы обрушили на нас целый водопад листьев и сору?..— Катрин несколько смущенно засмеялась, все еще не веря серьезности Карла.— Месть дикаря. Ваш вкус надо развить... Хотите, я этим займусь?

Карл церемонно поклонился:

— Я предпочитаю руководствоваться вкусом собственным.

— Но, Карл, вы не так меня поняли...

Катрин впервые и очень нежно назвала его по имени, но Росси, поклонившись ей еще раз, не оглядываясь направился к колоннаде Аполлона.

Статуя Аполлона стояла в двойном круге благородных дорических колонн. Мягкое журчание каскада, большие камни, поросшие мохом,— все вместе, овевая поэзией, переносило в древние века оживленной богами природы.

Карл Росси шел и думал, что как у него, так вот сейчас рушится и первая любовь его друга — Мити. Успел ли он отдать белые розы невесте?

Развалины Аполлонова храма освещены были луной, и не мог Карл не подумать, насколько этот серебряный вкрадчивый свет благородней разноцветных огней только что отгоревшего фейерверка.

Чуть голубели, светились фосфорным светом колонны старого дорического ордена, и среди них на высоком цоколе стоял юный бог, совершенство соразмерности и гармонии. От лунного света бронза, из которой Аполлон отлит был Гордеевым, не утратив точности контуров, как бы окуталась легчайшей дымкой и утратила свой вес и плотность. Дополнить чудесную картину могли только звуки какой-нибудь воздушной золотой арфы. И Карл болезненно вздрогнул, услыхав чье-то отчаянное, полное большого горя рыдание...

Митя лежал на скамье, зажав в ладони лицо, и плакал, как ребенок. У ног его на каменных плитах, особенно ярко освещенные луной, белели не поднесенные невесте розы.

Карл приподнял со скамьи и безмолвно обнял друга.

— Все кончено между нами,— сказал Митя.— Она получила свободу из рук князя, меня слишком долго ей ждать... О проклятая наша жизнь!..

— Не кляни ее, Митя,— сказал твердо Росси,— наша жизнь только что начинается... И может быть, хорошо, что начинается с такой горькой личной утраты. Искусство ревниво... отдадимся ему без оглядки. У нас с тобой одна судьба...

Митя горячо прервал Карла:

— Нет, Карл Иванович, у нас не одна... У нас с вами разные судьбы. Вы — великий талант, им вы ответите миру. А я — человек обыкновенный. Я в художники пошел ради невесты, соблазнился скорей ее выкупить. Настоящего призвания у меня нет. Мне суждено другое...

Митя совсем оправился. Теперь он шагал взад и вперед, освещенный луной. От ее света он сам становился серебряным, а попадая в тень, внезапно потухал. Митя остановился перед другом:

— Карл Иванович, пока людей возможно продавать, как скотов, пока можно отнять невесту, потому что нет денег для ее выкупа на волю, я душу мою положу, чтобы с этим бороться. Не знаю как, не знаю где, но я путь найду.

Карл обнял Митю, и долго молча стояли два друга перед цоколем бесстрастного бога гармонии.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Двадцать девятого июня, на Петра и Павла, как обычно, была блестящая иллюминация в Павловске — день ангела императора.

Укрытые цветущими кустами придворные певцы и певицы распевали стихи Нелединского-Мелецкого:

Сторона, как мать родная,
О возлюбленно Павловско...

И еще другой стишок, полный детской преданной любви, исторгавший из очей чувствительной Марии Федоровны слезы и умилявший самого государя:

Наш надёжа государь,
Православный белый царь,
Нас скрывает в свою пазушку:
Отирайте, мои детушки,
Вы с очей горячи слезушки,
Подбивайтесь, мои милушки,
Под мои ли теплы крылушки.

Защитительные костры Ивановой ночи всё еще оказывали на Павла свое благодетельное влияние. Непоколебимой пребывала в нем уверенность в особой охране и личной безопасности. Патер Грубер, ежедневно вру-

чая искусно им приготовленный «иезуитский шоколад», проникновенно напоминал, сопровождая слова ласковым внушающим взором, что отныне вокруг гроссмейстера Мальтийского ордена, главы рыцарей всего мира, незримо присутствует небесная стража.

Павел, получив долгожданный покой, отогнал от себя подозрительность. С благожелательным вниманием слушал он доклады своих вельмож — то ли на террасе в саду, то ли в Камероновом изящном павильоне Трех граций.

Однако в начале августа злая судьба словно позаботилась замутить его недолгие светлые дни.

Распустил некто слух, что будет тревога, солдатам она вдруг почудилась, и с примкнутыми штыками они ринулись вверх по горе со стороны трельяжа. Здесь их остановил сам Павел, катавшийся неподалеку верхом. Слегка побледневший, но вполне владея собой, он похвалил за порядок семеновцев и отечески пожурил преображенцев за то, что бежали вразброд.

Мария Федоровна плакала. Ее губы, еще сохранившие свежесть, дрожали, и жалобным, тонким голосом, который в первые годы брака заставлял Павла исполнять немедля желанья супруги, а сейчас раздражал, словно писк комара, Мария Федоровна просила:

— Запретите, мой друг, собираться толпе. Когда эти люди мчатся вперед, как бизоны, я их ужасно страшусь. Сигнал к тревоге исходить должен только от вас. От монарха...

Государь любезно согласился с женой. Благодарил за усердие окружившие дворец столь поспешно войска и в причину тревоги углубляться не стал. Но, удалившись в свою опочивальню, внезапно охвачен был приступом оставившей было его подозрительности.

Можно ли было верить Марии Федоровне, жене, которая могла в свое время скрыть от него, супруга, что Екатерина принуждала ее дать свое согласие на лишение его насильственно престола?

После смерти матери сам он нашел этот документ. Когда Мария Федоровна после родов младшего сына, Николая, еще оставалась одна в Царском Селе, матушка потребовала у нее подписи на заготовленном акте его предполагаемого отречения. Правда, самой подписи жены не стояло, было только обозначенное, заготовленное для нее место,— и Мария Федоровна уверяла, что Ека-

терина сильно разгневалась по поводу ее отказа, а она сама все это дело скрыла от него, Павла, из великой к нему любви, оберегая его чувства к матери.

Отказалась... Павел горько усмехнулся. Свои расчеты у нее: участвовать в лишении престола отца ради сына не захотела, но, при ее тщеславии, о престоле для себя самой мечтает. Пример не за горами — ведь тридцать четыре года царствовала незаконно, после смерти Петра Третьего, его матушка. Россия слишком привыкла к правлению женщин... И Павел не выполнил просьбы Марии Федоровны, не запретил сбираться по неизвестно кем данной тревоге, указал только место для сбора.

Загадочное происшествие вскоре опять повторилось; царская семья, вся бывшая на прогулке, поражена была криками, суматохой, вразброд устремившимися к замку гусарами и казаками. Павел кинулся к назначенному пункту, произвел дознание — оказались сущие пустяки: рожок почтаря ошибочно приняли за сигнал, барабанщики ударили в барабан, полки двинулись.

Но окружавшие его солдаты с неподдельным простодушием такое выразили о нем беспокойство, что Павел до слез был растроган. Вот солдатам он верил, а жене, едва глянул в ее глаза, изображавшие верность до гроба,— не поверил. И как делал раньше, не желая слушать придуманных ею домыслов, убежал скорее в глубь парка.

Нет, сколь ни борется он с собой, нет больше здоровья душе! Видать, неизлечимым осталось то глубочайшее потрясение, которому был подвергнут родной матерью почти в день смерти его первой, так беззаветно, так молодо любимой жены Натальи Алексеевны.

Видать, навеки разбил его сердце и помрачил разум тот страшный миг, когда матушка сочла нужным сообщить ему с неотвратимыми доказательствами об измене ближайших ему людей — любимой жены и друга ближайшего Андрея Разумовского...

Быть может, той внезапностью потрясения она хотела свести с ума нелюбимого сына, вечного наследника, как звала его, рассердясь, Мария Федоровна, и уже на основании законном объявить его лишенным престола...

Вот она — незаживающая рана. Порой сдается, что затянулась, что всё в прошлом, всё позади. Но вот малейший повод — и всё горше прежнего. Ведь если Ма-

рия Федоровна еще так недавно, хоть сгоряча, но могла ему сказать: «пожилой вечный наследник»,— сколько чувствует она как женщина к нему в своем сердце презрения! И поставить себя на его место, захватить трон, как сделала его мать с его отцом,— ужели не приходит ей в голову?

Если первая, любимейшая жена, первейший друг могла так предать, а родная мать — нанести смертельный сердцу удар, что ждать от этой весьма тщеславной спутницы жизни?

А ведь основой чувства его было с юности — великодушие, щедрость, любовь. Да еще недавно... разве не эти качества толкнули его обласкать своего врага лютого — Платона Зубова? Тронулся рыданием его над телом покойной царицы, поднял его, с неистовым чувством при всех вскрикнул:

«Кто старое помянет — тому глаз вон!»

Дворец подарил Зубову. Из кабинета двора приказал заплатить тайному советнику Мятлеву за тот дом сто тысяч. За обедом здравицу врагу лютому возгласил:

«Сколько капель в сем бокале, столько лет тебе здравствовать!»

— Ни в чем меры не знаю...— горько прошептал Павел и погромче сказал:

— Нет, не прошла обида на Зубова. Внутрь загнал ее, а она вдвое лютей.

Вот они, старые охотничьи домики. Сюда спасался в тот страшный день, когда Зубов за обедом у матушки оскорбил, а она не вступилась.

Забавно рассказал что-то за обедом Зубов, и Павел, позабыв свои злые с ним счеты, весело засмеялся, а тот, приняв несносный свой чопорный вид, дерзко вымолвил: «Сморозил я глупость, что наследник изволит веселиться?» Не оборвала мать фаворита, напротив, своим молчанием подтвердила мнение, что сын — дурачок и до сознания его доходить могут одни глупости.

Воскрешенная памятью обида — что снежный ком: двинулся невелик, а докатился до подножия горы — сам горой стал.

Плетей достоин тот Зубов, а он, император, Дон Кихот наших дней, дворец ему жалует, придворную ливрею, чтобы покрепче запомнили: через матушкину спальню Зубовы с ним породнились, одного корня стали.

И вот не удержался, гневный приказ вырвался сам собой: генерал-фельдцехмейстера графа Платона Зубова — вон из службы. Вон из России, за границу, в свои литовские именья пусть убирается.

Черт его веревочкой с этим фаворитом матушкиным связал. Несет проклятье его судьбе этот человек. Вот и сейчас кабы новой беды не накликал.

Самый выезд Зубова за границу вплел зловещее звено. На его путь императорский бросил черную предостерегающую тень: вызвал бешеный гнев на барона фон дер Палена. Роковой этот гнев, ибо он вызван в самый день закладки Михайловского замка, последней твердыни, оплота от предателей.

Через Ригу должен был въехать польский король Станислав-Август, ему готовилось торжество, встречи, парадный обед. Но король чего-то замешкался, вместо него объявился в Риге Зубов. И вот ему как русскому важному генералу рижские бюргеры воздали королевскую честь,— не пропадать же закупленным на парадный обед яствам и винам.

Павлу обо всем последовал донос, а от него немедля приказ: выключить со службы барона фон дер Палена.

Но по тайному учению масонскому, ему известному, если при закладке нового здания омрачен дух закладчика гневом, нет и не будет делу успеха. Ничто, предпринятое в гневе, на пользу не пойдет. Еще хорошо, что не кто иной — свой, верный человек под его гнев подвернулся.

Фон дер Пален сейчас — граф и военный губернатор города и человек ближайший, доверенный. Этот не предаст.

Сейчас Мария Федоровна на очереди, она всех больше мучает. Но когда же, собственно, с ней началось?

Оглянувшись, увидал вблизи скамью Оленьего мостика: вот на этом месте еще в прошлом году впервые сам себя испугался, потому что назвал свою болезнь. Имя ей — безумие. До тех пор носил в себе, и не называл, и не ведал, что это болезнь.

Павел не сопротивлялся воспоминаниям, и они влекли его неумолимой своей постепенностью...

Прошлой осенью были большие маневры в Гатчине — любимые угрюмые места, верные гатчинцы. Все вышло удачно, всем остался доволен. Отдохнул душой

и приехал обратно веселый к своей семье в Павловск. Радовался всех увидать, и даже наследника Александра.

Первенец, любящий сын, кто смеет на него клеветать?

И почему ему не быть любящим сыном? Разве претерпел он от отца то, что самому Павлу пришлось претерпеть от матери, великой императрицы? Нелюбовь ее, оскорбительную скупость, в то время как на очередного фаворита миллионы бросала. Кто был он при матери? Незаконно лишаемый трона, преследуемый призраком убитого отца. Прочь, прочь недоверие к Александру!

После успешных гатчинских маневров поехал в Павловск. Было отменно приятно, спокойно на душе, но вдруг странно поразило, что никто из домашних при въезде его не встречает. Однако не рассердился, а, озабоченный, любопытствовал узнать, не случилось ли чего, здоровы ли все.

А произошло то, что супруга Мария Федоровна, в своей немецкой сентиментальности припомнив, как любили у нее в родном Этюпе всякие нежные сюрпризы, придумала устроить ему встречу в костюмах и гримах. Некий, словом, затейливый домашний машкерад.

Когда, уже не на шутку встревоженный, он далеко впереди свиты почти побежал ко дворцу, вблизи Крика раздалось пенье, чудеснейший хор. И тотчас некий авантажный мужчина, вроде хозяина дома, стал, низко кланяясь, приглашать почтить его посещением.

— Верно, Нарышкина затеи... посмотрим, чего начудил,— сказал свите император, развеселясь и входя сам в игру.

Тут окружен он был хористами и завлечен ими в хорошенький сельский домик под пение:

Где же лучше, как не в недрах собственной семьи...

И на пороге дома кто-то в сладостных слезах радостной встречи пал ему в объятия.

Батюшки, супруга Мария Федоровна! Отяжелела, сударыня, однако ловко ее подхватил и любезно оглянулся, слушая концерт нарядных маркиз и маркизов. И вдруг всех узнал: скрипач — Александр, певица — его супруга Елизавета Алексеевна, а дочери — кто за арфой, кто за органом.

— Ловко средь бела дня сумели меня одурачить,— то ли в похвалу, то ли с осуждением вымолвил.

Сразу и не разобрал, кто кем наряжен. Обошли, слов нет, обошли. А в шуточном сумели, сумеют и в главном. В том, чего тайно хотят и сын и жена. Престола хотят...

Схватило удушье, предвестник великого гнева. Того, с которым не справиться. Поражая всех, вдруг вырвался из объятий, выбежал, хриплым голосом крикнул: «Не сметь за мной!» Сам себя испугался. Убежал, чтобы не отдать приказ Кутайсову: «В крепость тех двух — мать и сына. В Шлиссельбург!»

Вот тут, на этой самой скамье, опомнился. И то, что медлил понять и назвать — свою несказанную муку, назвал: *безумие.*

Сейчас тихие над ним мерцали звезды. Всюду в парке был великий покой. Только речка журчала.

Нет, ни патер Грубер, ни костры Мальтийского ордена — ничто ему не в силах помочь. А без конца терпеть безумие на троне кто станет?

Недаром, когда рыли фундамент для возведения Михайловского замка, нашли монету чеканки считанных дней злополучного императора Иоанна Антоновича — плохое предзнаменование. Ужели бывают предначертанные, роковые судьбы? Но помирать, как одураченный, усыпленный всякими там машкерадами,— слуга покорный! Лучше сам я всех обдурю. Буду защищаться — я император, помазанник. Архистратиг Михаил — мой страж.

Павел поспешно вернулся во дворец, призвал архитектора Бренну и, не слушая больше никаких возражений о сырости, вредной здоровью, гневно приказал без проволочек заканчивать Михайловский замок.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Бренна дал Карлу Росси доверенность на вывоз всех чертежей, планов и рисунков заканчиваемой постройки Михайловского замка. Их надлежало передать на выставку в Академию художеств.

Душевное состояние Карла было отчаянное. Им владело одно желание — хоть на короткий срок бежать от этих мест, где его первое восхищение женщиной, первая юношеская любовь были так грубо поруганы. И казалось ему, это навеки лишило его надежд на счастье. И не отпускало ощущение, что рухнула защищавшая от

пропасти цветущая ограда, и вот — под ногами бездна. Такое безудержное горе его охватывало порой, что кружилась голова и дело валилось из рук.

Присутствие Мити сейчас ему было желаннее всего. Оба без слов понимали друг друга. Митя окаменел в своем отчаянии, и Карл, чувствуя себя старшим, находил для него слова бодрости, которые вдруг стали помогать и ему самому. Он стал опять верить, что искусство выведет его из охватившей тьмы душевной...

Выйдя на Охте из экипажа, Карл и Митя сели в ялик и поплыли к Фонтанке, к Михайловскому замку. Яличник налег на весла, Митя взял другую пару. Карл сел за руль, ялик полетел, как чайка.

Высоко над горестями людей, прекрасные в своем бессмертии, стояли творения гениальных зодчих, и Росси невольно подумал, что, быть может, нужны человеку великие личные утраты как исходная точка для создания чего-нибудь большего, чем он сам. Митя снял шапку, и стриженные под скобку волосы, уже выгоревшие на солнце, как густой парик обрамляли загоревшее безбровое грустное лицо.

— Игла адмиралтейская,— слабо улыбнувшись, указал он веслом,— сколь стремительно пронзает она голубую высь!..

— Она — как сверкающий на солнце обнаженный меч, самим Петром подъятый на защиту города, так бы воспеть ее поэту,— подхватил Росси и с привычным вниманием скользнул по коробовскому Адмиралтейству.

— Живая история города и самого основателя навеки связана с Адмиралтейством; сколько великих побед его вспомнит тут всякий, когда они прославлены будут барельефами,— и захват северных морей, и шведы... развитие торговли и промышленности.

Карл широко указал рукой на оба берега Невы:

— Чудеса наших зодчих. Да, если сам хочешь стать мастером, надо принять в себя, вы́носить в себе, как мать — ребенка, тоже не меньшее, чем они. Найти новое, подымающее этот чудесный город, пойти еще дальше в соразмерности частей, в гармонии — ведь здание строится навсегда и для всех людей. Непогрешима, как математика, должна быть работа зодчего.

— Куда же дальше этого?— указал Митя на Мраморный дворец Ринальди.

— Не могу тебе сказать, Митя, сам еще не знаю. Только повторять никого не стану, я найду свое слово в зодчестве, как ты давеча сказал мне, что найдешь в жизни свой путь.

— И послужу им родному городу,— тряхнув кудрями, повеселев, сказал Митя.— Как в сказке, по щучьему веленью воздвиг его здесь великий Петр. Что людей на работе легло! Дядя Хайлов сказывал, дед наш тут в основание тоже залег. На родных мне костях город наш... Дядя Хайлов монумент Петров с опасностью для собственной жизни, как вам известно, спас, ну, а мне уж не украшать город придется, а исправлять в нем великое зло бесправия.

И снова, как раньше, смелый, сильный, вдруг загоревшись румянцем, Митя спросил:

— Про Павла Аргунова ничего не слыхали, Карл Иваныч? Ведь он сюда приехал из Останкина.

— Очень хочу его повидать,— обрадовался Карл.— Большой талант этот Аргунов, с каким вкусом дворец в Останкине построил, а отделка комнат по его указанию восторг вызвала даже за границей. Недавно польский король Останкино посетил, говорят, сказал, что его дворцы много хуже.

— И у нас прославлен этот Аргунов, а сейчас, знаете, он кто?— Митино лицо дрожало от негодования, он отрывисто и гневно сказал:— Сейчас он поставлен своим барином здесь, в Фонтанном доме, надзирать за тем, чтобы гуляющие в саду не обрывали кустов малины и крыжовника. Да вот лучше сами его расспросите, он у Брызгалова сегодня будет, а нам ведь там ключи получать. Да вы меня не слушаете, все свое думаете...

— Запомни, Митя,— сказал Росси с некоторым волнением,— не одно здание, которое строишь, в центре твоего внимания: все пространство надлежит организовать вокруг. Весь окрестный пейзаж, все, что может глаз охватить. Здание — центр. Все, все связано с этим центром. Если весь город перестроить в новой, дивной гармонии,— я уверен, и люди, в нем живущие, найдут в душе своей великий покой. Найдут и порядок и силу самим что-либо сотворить. Ведь все, среди чего мы растем и живем, что видит наш глаз, слышит ухо,— нечувствительно образовывает наши чувства, ум и вкус. А творцом, Митя, каждый человек быть обязан. В чем,

как, кем — его дело. Но обязан вырасти из себя самого и создать что-либо.

Карл оборвал речь, задумался. Яличник свернул на Фонтанку. Издали предстала громада ярко-красных, под заходящим солнцем как бы раскаленных, камней Михайловского замка.

Митя с озорством воскликнул:

– А все-таки насколько слабее великих зодчих наш с вами учитель, Карл Иванович! Только что государю сумел угодить.

— Ты слишком строго...— прервал Росси.— Можно найти точку, с которой и в постройках Бренны открывается живописная перспектива.

— Вы же сами учили, Карл Иванович, что архитектура удачна, если в ней со всех точек здание хорошо. А уж чего-чего в этом замке не налеплено?

— И все-таки замок — уже необходимая принадлежность города нашего, значит, что-то угадано верно. Правда, трофеев многовато и единой композиции нет.

Винценто Бренна приехал из Варшавы, где занимался росписью плафонов арабесками. Поначалу он работал живописцем в Павловске, выполняя задачи Камерона. Он оказался незаменимым в украшении придворного быта во вкусе Павла. Рукой мастера сочетал военные трофеи — орлов, венки, колчаны, полные стрел, гирлянды, оружие, хотя рисовальщик был слабый.

Карл помнил свое старшинство и не хотел соединяться с Митей в осуждении учителя. Однако и ему давно наскучила назойливая напыщенность Бренны: бархатные его занавесы, марсиальные уборы, рыцарские доспехи. Но вслух он выразил только последнюю, обобщающую мысль:

— Русское зодчество сейчас словно в раздумье — вернуться ему к своему прошлому или искать новых форм. Но каких?

Яличник причалил вблизи законченного средневекового замка во вкусе императора Павла.

Росси пошел по узкой аллее между зданиями манежа и сразу наткнулся на расклеенные на столбах афиши сегодняшних спектаклей. Во французском театре шло «Дианино дерево» — перевод с итальянского придворного капельмейстера Мартини. В театре Гритри пела красавица Шевалье. Сводная сестра Карла была замужем за ее братом, и от сестры он знал, что одновре-

менно пользовались успехом у красавицы певицы император и его камердинер Кутайсов. Мать Карла Гертруда Росси сегодня не танцевала, и он решил зайти к ней, чтобы вместе ехать в Павловск.

Карл и Митя вошли в портал на восьми дорических колоннах красноватого мрамора. Трое решетчатых ворот между гранитными столбами, вензель Павла в кресте Иоанна Иерусалимского, орлы, венки, гирлянды из вызолоченной бронзы,— на это Бренна мастер,— так и пестрят в глаза. Средние, главные ворота распахиваются только для семьи императора,— вошли слева в аллею из лип и берез, посаженных еще при императрице Анне Иоанновне. Налево экзерциргауз, направо конюшни. Аллея упирается в два павильона, где живут чины двора.

— Что, мы сразу зайдем к Брызгалову,— спросил Митя, указывая на окно комнаты кастеляна Михайловского дворца,— или обежим постройку?

— Обязательно обежим, давно я тут не был,— задумчиво огляделся Росси.

Прошли через ров укрепления на площадь Коннетабля.

Привычным общим взглядом охватил Росси возвышавшийся перед ним правильный квадрат, со всех сторон окруженный рвами в гранитных одеждах. Пять подъемных мостов переброшено было через рвы.

— Не алый, не пурпуровый, а какой-то сказочный, драконовой крови этот цвет. Точно ли говорят,— спросил Митя,— что это наш император навеки закрепил свою рыцарскую любезность по отношению Анны Гагариной? Будто явилась она на бал в такого цвета перчатках, а он тотчас одну из них послал как образец составителю краски для Михайловского замка, для наружных дворцовых стен.

— Похоже на правду,— усмехнулся Росси,— но лучше бы этот цвет остался только на перчатках Гагариной,— там он много уместнее, чем здесь. Однако вообрази, Митя, сейчас я уже полюбил эту багровую груду камней. Полюбовался как-то этим пламенем среди темно-зеленых кущ при закате солнца, полюбовался приглушенными, неожиданно мягкими, теплыми тонами среди серебристого петербургского тумана — и понравилось. И уже неотъемлема от лица нашего города мне вся эта громада.

Росси указал на торчавшие при самом входе в замок два обелиска из серого мрамора. Они вырастали до самой крыши. Но по бокам в маленьких нишах стояли несоразмерно мизерные статуи Аполлона и Дианы. Повыше шел фронтон паросского мрамора работы братьев Стаджи, изображавший Историю в виде Молвы. Еще выше две богини Славы держали герб императора Павла. И опять обилие вензелей, какое-то страстное утверждение своего имени.

— Не по душе мне, Карл Иванович, поверх всего этого железная крыша, выкрашенная притом зеленью,— ворчал Митя.

— Да и ряд плохих статуй с коронами и щитами не украшает, а только тяжелит,— запрокинув голову, отметил Росси. И медленно прочел на порфировых плитах фриза: «Дому Твоему подобаетъ святыня Господня въ долготу дней».

— Карл Иванович,— совсем уже шепотом сказал Митя, склонившись к его уху,— знаете, что про эту надпись в народе пущено? Богомолка сказывала... будто юродивая со Смоленского кладбища прорекла: сколько букв сей надписи — такова долгота лет и императора. А ну-ка посчитайте, сколько букв.

— Ерунда, Митя!— воскликнул Карл.

Однако буквы сосчитали оба, проверили — сорок семь.

— Тоже выдумал — богомолок слушать,— досадливо сказал Росси и, обойдя замок со стороны Летнего сада, остановился перед круглой лестницей из сердобольского гранита, которая вела в обширные сени с мраморным белым полом и дорическими красноватыми, тоже мраморными, колоннами.

На площадке лестницы по обе стороны стояли великолепные статуи Геракла и Флоры, вылитые из бронзы в Академии художеств.

На гранитных консолях две бронзовые вазы, аттик с шестью кариатидами, обширный балкон над колоннадой и барельеф работы Лебо из белого мрамора. Все это было прекрасно, взятое отдельно, но не давало того общего стиля, единого вздоха, который восхищает в архитектурном совершенстве.

И, пытаясь разъяснить Мите, почему получилось столь путаное нагромождение, Росси извиняющим тоном сказал:

— Бренна не вполне виновен. Он уверяет, что так именно расположить статуи и обелиски ему приказал сам император.

От долгого неудобного положения задранной вверх головы Карл вдруг ощутил, как она у него болит, как вообще он разбит, как устал пред людьми и самим собой делать вид, будто ему совсем легко от погибшей любви, от обидного легкомыслия своей матери.

В мозгу настойчиво, как жужжанье злого веретена, застучали слова: Карло Джакомо Росси... сын итальянки, отец неизвестен. По-русски без отчества нельзя, и ему из второго личного имени Джакомо сделали Иванович. Никакой отец по имени Иван ему неведом.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Чертежи и планы, которые надлежало отвезти на выставку в Академию художеств, были сданы на хранение кастеляну Михайловского замка Ивану Семеновичу Брызгалову, человеку примечательному, известному всему городу.

Сын крестьянина Тверской губернии, он поступил в истопники Гатчинского дворца, когда Павел еще был наследником, и привлек его внимание тем, что с неописуемым восторгом, раскрыв рот, следил, как печатали свой шаг гатчинцы. Созвучие родственной души было у него с Аракчеевым, и столь же, как тот, оказался и Брызгалов «без лести предан». Вскорости он был сделан камер-лакеем, а затем и гоф-фурьером. В дни воцарения Павла Брызгалов в своем звании явился в Петербург, где пожалован был уже в обер-фурьеры Михайловского замка.

Как только замок достроился, Брызгалова, как лицо доверенное и проверенное, назначили кастеляном внутренних дворов с обязанностью наблюдать за своевременным поднятием и спуском мостов над каналами, которыми замок был окружен.

Брызгалов женился на дочери одного из придворных служителей Зимнего дворца и немедленно превратил свою жену в боязливую рабыню, неустанно попрекая ее, что цвет красный, присвоенный ливреям Зимнего дворца, где был ее отчий дом, ниже краской, беднее, чем

цвет малиновый, который император утвердил за одеянием дворцовой службы Михайловского замка.

Брызгалов, мелкая пылинка, попавшая в орбиту самодержавного солнца, был, как и царственный хозяин его, охвачен болезненной манией величия и, по мере своих возможностей, воплощал ее в свой быт.

Одевался с иголочки, по форме, в руках носил саженной вышины трость для представительства. Двое мальчишек, рожденных от жены-молчальницы, обращены были в рабов и слушались мановенья его бровей.

Когда Росси и Митя постучали в дверь, им открыла молодая, но преждевременно увядшая женщина с грудным ребенком на руках. На вопрос, дома ли Иван Семенович, потупясь, ответила:

— Во дворце они, на приеме. Их двое уже ожидают. Присядьте и вы.

Она провела в комнату, которая окнами выходила на площадь Коннетабля, а сама скрылась в детской.

В приемной действительно сидели двое. Один из них — европейского вида, хорошо одетый человек лет тридцати, с умным и тонким лицом художника.

Завидя Росси, он стремительно двинулся ему навстречу.

— Павел Иванович, дорогой,— ответил Росси дружеским объятием,— до чего рад тебя видеть!

— Да я уж два дня как приехал. Справлялся о тебе у твоего отчима, а он в ответ только рукой машет, словно ты какой стал беспутный. Я, грешным делом, подумал, не пустился ли ты зашибать от огорчения какого или по слабости? Да нет, ясен ликом, как некий греческий бог.

— Какие бы огорчения на меня ни сваливались, я никогда не запью,— сказал с твердостью Росси.— Не сдаваться жизни хочу, а ее побеждать.

— Легко тебе гордо чувствовать — ты рожден свободным,— горько усмехнулся Аргунов и указал на сидящего на скамье человека довольно странного вида.— А вот нам с Артамонычем без шкалика хоть в воду!

Сидевший на скамье вскочил и стал весело кланяться. Он был острижен празднично, «под горшок», волосы смочены квасом. Поддевка, хоть из дешевеньких,— новая.

— Вот, рекомендую,— сказал Павел Иванович,— изобретатель. Шутка сказать — самокат выдумал. Из своей Сибири по нашим-то дорогам на нем прикатил.

— Дороги, что говорить, родовспомогательные,— кивнул Артамоныч.

— Полагаю, не везде пехтурой, где и подвозили тебя вдвоем с самокатом?— подмигнул Павел Иванович. И, повернувшись к Росси, отрекомендовал:— Зовется он — Иван Петров Артамонов.

— А ей-богу, не подвозили,— веселой скороговоркой зачастил Артамонов.— Деньги нужны в мошне, чтобы подвозили, а у меня в кармане — вошь на аркане да блоха на цепи. Сейчас в разобранном виде моя машинка, а как соберу ее, просим милости поглядеть. Авось в грязь не ударим!

— Кому-кому, а тебе надо ладиться уж только на победу: сам знаешь, либо пан, либо пропал — перед государем нельзя тебе сплоховать.

Росси с интересом оглядел изобретателя. Был он сухой, среднего роста, с лицом остреньким, как у лисички. Глаза умные, с быстрым, легким взглядом. Глянут — сразу все высмотрят.

— Это, значит, про вас мне на днях говорил Воронихин?— осведомился Росси.— Не у него ли вы и остановились?

— А как же не у него, когда мы с ним во всем городе только и есть земляки. У них и стоим, у господина Воронихина, пока его величество перед свои очи не потребует.

— Император заинтересован его выдумкой,— пояснил Аргунов,— прослышал от кого-то, приказал выписать. Все сейчас ему предоставлено, чтобы он мог свою машину в совершенном виде представить. В случае успеха посулили дать вольную не только ему — всей семье.

— А сорвется дело,— с привычной усмешкой сказал изобретатель,— ежели мы, к примеру, опростоволосимся, плетьми угостят — не хвались!

Митя взволновался.

— За самокат дадут вольную? И всей семье посулили? Иван Петрович, да неужто?

— Царское слово — закон,— важно сказал самокатчик.

— Такие милости у нас всегда по капризу даются...— Аргунов, видимо волнуясь, подошел к Росси.— Иной талант, за границей прославленный, с отменным образованием, как мой отец и мой дед — знаменитости, да я сам только что королем польским за работу прославлен,— как были рабы, рабами умрем.

— Вы, Павел Иванович, блистательно закончили Останкинский дворец,— деликатно желая перевести разговор в другое русло, сказал Росси.— Я от самого императора слышал: феерия — не дворец. И какие великолепные празднества завершили окончание.

— А кончил я дворец строить, меня граф откомандировал сюда сопровождать обоз мебели. Дни свои проводить стану подручным у Кваренги по перестройке Фонтанного дома. Ну, это еще терпимо: понижение в работе. Но торговаться с вашим отчимом насчет продажи его павловской дачи графу — много хуже. Горячий и, простите меня, грубоватый человек ваш отчим, Лепик. Вам, конечно, о продаже дачи известно?

Карл вспыхнул, но тотчас утвердительно кивнул головой. Ему о продаже дачи мать и отчим еще ничего не сказали. «Ну что же,— подумал он,— отличный случай окончательно отделиться от родных и начать вполне самостоятельную жизнь. Давно нет родного дома...»

Росси овладел собой и, отстраняя досадные мысли, с искренним восхищением стал хвалить убранство Останкинского дворца:

— Все свидетельствует о совершенстве вашего вкуса, Павел Иванович, о вашем великом таланте декоратора...

— А вот ихний граф, знать, невысоко ценит талант,— неожиданно тонким голосом сказал самокатчик,— простую баньку им по-черному для людей заказал выстроить, это после расчудесного их дворца! Да это же так, словно б цветистую бабочку запрячь воду возить!

Он захохотал, но тут же застыдился, умолк, из угла стал глядеть волком.

— Должность крепостного архитектора таит в себе большие опасности,— мрачно проговорил Аргунов,— и чем он даровитей, тем горше его судьба. Пройдет у барина каприз строить, и он вчерашнего творца, которым восхищалась хотя бы и Европа, повернет, не моргнув, в лакеи, в свинопасы.

Аргунов прошелся по комнате и стал перед Росси.

— Вот бегаю я сейчас, как мальчишка, достаю для дачи образцы обоев, чиню мебель, которую любой столяр лучше меня чинить может. А как подрядчик ремонт затянул, мало считаясь с моими только что признанными заслугами, через канцелярию прислал граф мне лично позорный выговор с наложением смехотворного наказания, заставившего меня вспомнить детство, когда за шалости мать без сладкого оставляла.

— А ну-ну, какое такое наказание?— с веселым любопытством спросил Артамонов.

— Граф приказал снять меня со «скатертного стола», то есть с улучшенного довольствия, и перевести на харчи, общие с прислугой. Самое же обидное, что ничего я не строю с той самой минуты, как зарекомендовался первоклассным строителем.

Аргунов сел на место рядом с Росси и, невесело ухмыляясь, сказал:

— До нелепости сужен сейчас круг моей деятельности. Приставлен я, кроме всего прочего, к наблюдению за гуляющими в Фонтанном саду, дабы они фруктов, вишен, малины не рвали.

— Вот тут и запьешь горе водочкой,— щелкнул изобретатель себя по горлу, доканчивая речь Аргунова.

— Но ведь граф Шереметев не невежда,— возмутился Росси,— он учился в Лейденском университете, в искусстве, несомненно, понимает. Как же так грубо третировать художника?

— Понимание искусства не препятствует собственных крепостных художников считать своей вещью и распоряжаться ими как мебелью. Брат мой, Николай, прославленный своими портретами фельдмаршала Шереметева и прочими, который на правах друга жил с барином за границей,— разве отпущен им на волю? Да о чем говорить, если сам Андрей Никифорович Воронихин вовсе недавно получил вольную.

Все минуту молчали, изобретатель убежденно сказал:

— Самокатами надо свободу себе добывать. Позабавишь барина, повеселишь — он и размякнет. Господ потешать надоть, чтоб от них резону добиться, аль как наши сольвычегодские...

Самокатчик вскинул волосами, плотно сжал губы и страшновато подмигнул.

— А как же сольвычегодские? — насторожился Митя.

Самокатчик быстро оглянулся, пригнулся к Мите и шепнул:

— Митрополита Иакинфа тюкнули... Еще при покойной царице дело вышло. Несуразную барщину налагал монастырь. Терпели мужички, сколько хватило терпения, впоследок времени — тюкнули.

В дверях выглянуло испуганное лицо жены Брызгалова, и, словно на пожар, она крикнула:

— Паша, Саша, тятеньку встречать!

К изумлению присутствовавших, из-под ног, как собачонки, выкатились мальчишки-погодки. Они под скамейками играли в карты. У обоих были громадные головы в кудрях, круто завитых наподобие парика, желтые канифасовые панталончики, заправленные в желтые сапожки с кисточками на кривых, обручем, ногах. Нацепив на голову один — игрушечную казацкую шапку, другой — кивер, они, как были, в одних пунцовых шпензерах, кинулись на двор.

— Хозяйка, дети ваши простудятся, — крикнул женщине Митя.

— Они привычные, — равнодушно отозвалась хозяйка.

Через некоторое время мальчики вновь появились в сопровождении папаши Брызгалова. Паша нес его огромную бамбуковую трость с темляком на золотом шнуре, другой — Саша — нес треуголку с широким галуном.

У Брызгалова было сухое, морщинистое буро-красное лицо, с крючковатым, узким как клюв, синеватым носом. Из-под напудренных широких бровей блестели черные быстрые глаза, костлявый подбородок начисто выбрит. Он походил на какую-то беспокойную нарядную птицу. Брызгалов важно поклонился и сел в кресло, а сыновья стали по сторонам. Отец отпустил сыновей мановением руки и осведомился у Росси, зачем пожаловал. Услышав, что за чертежами, встал, прошествовал в комнату. Долго там возился, так что мальчишки, шмыгнувшие опять под скамейку, успели, к забаве всех присутствующих, подраться, помириться и снова начать игру.

Брызгалов, переодетый в домашнее платье попроще, вынес чертежи и подал их Карлу.

— Все в сохранности, как было мне препоручено господином Бренной. Почтенный он зодчий по возрасту, и не к лицу б ему спешка. По пословице: поспешишь — людей насмешишь. А то и похуже, как у него с надписью над главным входом вышло. Читали вы?

— А что особенного в этой надписи?..— уклончиво ответил Росси, желая послушать, что скажет сам Брызгалов.

— А то, что юродивая со Смоленского не сдуру о ней изрекла, вот что.

— И по-моему, в надписи ничего необыкновенного нет,— нарочно подзадоривал Брызгалова Митя.

— В обыкновенном исчислении букв — вся необыкновенность,— тоном открывающего великую тайну, понизив голос, сказал Брызгалов.— Ваш учитель приобвык за эти годы тащить на стройку замка что ни попало. Ухватил, не разобрав, изречение, заготовленное для собора святого Исаакия, и водрузил в замке над главным входом. Число букв надписи — сорок семь, столько же и годков нашему государю. Вернее — сёмый еще не ударил. Идет сёмый... в феврале ему стукнет.

Брызгалов обернулся на одни двери, на другие и, сильно труся, но и горя желанием поразить воображение слушателей, произнес значительно:

— Хорошо, коль благополучно сойдет ему этот годик. Плохие предзнаменования насчет этого дворца пророкла юродивая!

— Иван Семенович, уважаемый, поведайте нам... кто же мудрее вас в таких тонких делах разберется?— подольстился Аргунов.

— Только, чур, язык держать за зубами!— погрозил пальцем польщенный лестью Брызгалов и торжественно продолжал:

— Из предзнаменований перво-наперво виденье солдатово. Известно, что стоявшему на карауле в Летнем дворце явился в сиянии некий юноша и сказал: «Иди к императору, передай мою волю, дабы на сем месте заместо старого Летнего дворца храм был воздвигнут во имя архистратига Михаила». Донес солдат по начальству, довели до императора. Он солдата расспросил и сказал: «Мне уже самому известна воля архистратига, она будет исполнена». А кто есть оный архистратиг?— обвел всех строгим вопрошающим оком Брызгалов и сам себе важно ответил:

— Сей архистратиг изгнал из рая первых грехопавших людей, и самого дьявола поразил он мечом. Ему положено являться с той поры в местах, где готовится особливо злое дело... Ох, недаром великий предок, царь Петр Алексеевич, о своем правнуке тревожится. Всем известно виденье, которое было императору. Князь Куракин свидетелем. За границей сам государь про́ это рассказал — публично. Не раз, дважды сказал великий царь: «Бедный, бедный Павел!»

— А и впрямь — бедный,— сказал вдруг пришедший в волнение самокатчик.— Не ведает, что творит, сам себе яму роет — врагов с друзьями путает. Аракчееву, слыхать, потакает, когда он над покойной матушкой царицей насмешки строит... Шутка ль, победные знамена екатерининского славного полка назвал во всеуслышание — царицыны юбки? В Херсоне-городе сокрушен памятник Потемкину. В Новороссийскую губернию пришло, говорят, секретное предписание — до нашей Сибири молва донесла — тело светлейшего князя из склепа вынуть и псам кинуть...

— Уж это едва ли правда,— сказал Аргунов,— а что царствование он начал с великого кощунства над прахом матери и отца — это уж всенародно было...

— Даром не пройдет, говорят в народе, что вырыл прах отца, короновал и силком с матерью соединил,— подтвердил самокатчик.

— Расскажите, как вышло дело, Иван Семенович,— попросил Аргунов,— меня в городе не было, а из очевидцев кто ж лучше вашего изобразит?

— Для потомства запомнят молодые.

— Очень просим,— вежливо поклонился Росси.

Брызгалов не стал ждать, чтобы его упрашивали. Он любил рассказывать, когда хорошо слушали. Превыше всего почитал ритуал, фрунт, правило — за что взыскан Павлом, а к странному поступку императора у него было совершенно особое уважение. И в то время как все Павла осуждали за то, что он, вырыв прах Петра Третьего, облек его мантией, водрузил на голый череп корону и, в издевку над родной матерью, похоронил его заново с нею рядом,— Брызгалова поступок этот восхищал необычайно.

— Уж ежели рассказывать, так все по порядку,— сказал он,— и чтобы не было мне от вас никакой перебивки. Мать!— крикнул он по направлению комнаты,

где находилась жена с маленьким, и стукнул своей длинной палкой в дверь.— Убери сейчас ребят!

— Пашенька, Сашенька,— молила женщина, но отроки забились глубоко и не обнаруживали признаков жизни.

Брызгалов пошарил своей тростью под скамьей, должно быть задел хорошо мальчиков, потому что оба, взвизгнув истошными голосами, тотчас прожелтели нанковыми панталонами и на четвереньках убрались к матери.

Засунув в нос понюшку табаку и основательно прочихавшись, Брызгалов начал:

— Всем вам известно, что императору Петру Третьему смертный час приключился в Ропше, как свыше объявлено было, «по причине геморроидальных колик». В народе же сильно болтали, будто Алексей Орлов ему саморучно жизнь прекратил и прочее тому подобное. Словом, тело его привезли в Лавру в бедном гробу, четыре свечи возжены были по сторонам гроба. На императоре всего облачения — поношенный голштинский мундирчик. Ручки в белых перчатках больших, на которых, многие тогда приметили, тут и там кровь запеклась — следы, сказывают, неаккуратного вскрытия тела. Предан земле был без пышности, с одной лишь малой церковной обрядностью. Матушка-императрица не почтила своим присутствием погребения супруга. Да-с, как некоего разжалованного, лишенного короны и державы российской, хоронили горемычного Петра Федоровича...

И сколь похвальна сыновняя справедливая ревность об отце императора Павла! Ревность к восстановлению, хотя бы посмертному, прав отчих.

Тридцать карет, обитых черным сукном, запряженных цугом, каждая в шесть лошадей, выступали чинно одна за другой. Лошади с головы по самый хвост в черном сукне, при каждой свой лакей с факелом, опять-таки в черной епанче с длинным воротником, в шляпе с широченными полями с крепом. И лакеи, с обеих сторон кареты, в таком же наряде, и кучера...

И в сих черных каретах сидели черные кавалеры двора и на бархатных черных подушках держали на своих коленях регалии.

Семь часов вечера в этом месяце — это мрак ночной. И смертный страх обуял, когда двинулась эта могиль-

ная чернота из Зимнего дворца в Невскую лавру за два дня до вырытия из могилы Петра Третьего.

Не забыть этой страшной картины. Багрово горящие дымные факелы, зеленоватые от их света перепуганные люди.

Наконец тело императора Петра Третьего вырыто из могилы и купно с его старым гробом положено в богато обитый золотым глазетом новый гроб. И выставлено посреди церкви.

Брызгалов задумался, как бы заново созерцая все, о чем вспоминал...

— А дальше, Семеныч,— вымолвил просительно Аргунов,— ужели сегодня не докончите?

— А дальше, согласно церемониалу, вот что последовало: в пять часов дня император прибыл в храм в сопровождении великих князей, придворных, жены. Вошел в царские врата. С престола взял приготовленную корону и возложил на себя. Подошел затем к останкам родителя, снял корону с себя и возложил на него. Пусть осуждают, кто посмеет, я же полагаю, сим поступком сын восстановил упущенное пред отцом. Из останков же уцелели следующие предметы, обстоятельно перебрал их Брызгалов:— кости, шляпа, перчатки, ботфорты.

— Какой ужас!— поеживаясь, заговорил Аргунов.— Коронованный скелет с его оскалом зубов, пустотой глазниц, в перчатках и ботфортах. Какой сюжет для картины!

Брызгалов, увлеченный последовательностью воспоминаний, не отвечая, продолжал:

— В карауле по обеим сторонам гроба стояли шесть кавалеров в парадном уборе. В головах два капитана гвардии, в ногах четыре пажа. И пребывало тело Петра Третьего в этой роскоши с девятнадцатого ноября по второе декабря. Дежурили непрерывно особы первых четырех классов. Все это было сделано в посрамление первоначальному нищему и безлюдному погребению.

Император Павел самолично был пять раз на панихиде. Всякий раз, открывая гроб, он прикладывался к руке покойного. Особо же торжественный церемониал был при перенесении праха.

Брызгалов встал и широко отставил руку с бамбуковой тростью:

— Все полки, все как есть полки армии и гвардии, которые находились в столице!— сказал торжественно,

с такой важностью, как будто сейчас ему предстояло этими полками командовать.— Войска стояли шпалерами от лавры до дворца. Произведен был троекратный беглый огонь. Пушечная пальба, колокольный звон по всем как есть церквам. Алексею Орлову, убийце, повелено свыше нести в собственных руках императорскую корону. Тут прилично случаю вспомнить...— Брызгалов таинственно понизил голос:— Ведь именно он, сей Орлов, и лишил Петра Третьего этой короны. Ищут его везде, дабы принял свою искупительную пытку,— нигде не находится. Исчез, растаял, словно сквозь землю от позора и стыда провалился. Вообразите, обнаружила его убогая старушка нищая. Коленопреклоненный и рыдающий, укрылся он в темном углу за колоннами церкви. Вывели, принудили принять в руки корону. Плакал, шатался, а шел. Принял казнь.

Мороз был страшенный, один рыцарь печальный в латах, в кольчуге и забрале насмерть замерз. Но гроб Петра Третьего отвезли в Зимний дворец и поставили рядом с гробом Екатерины. Наконец оба гроба проплыли по нарочито наведенному мосту — от Мраморного дворца прямо в крепость.

Да, уважительный государь и не гордый! Давеча ко мне с каким делом прибег. Очень мучается он, что графа Палена в самый день закладки замка изругал, ногами на него топал, мучается, что в гневе закладку сделал. Хоть сейчас и возвеличен им Пален, но как государь во всякие приметы верит, то опасается, кабы вред от того гнева его не произошел ему в новом замке. Вот намедни призвал он меня и говорит: «К обедне сходи, Брызгалов, да вынь за него, за фон дер Палена, за раба божия Петра, просфорку, чтобы мне от него какой беды не вышло».— «Помолиться, говорю, завсегда рад, ваше величество, а только просфору вынимать неподобающе, как граф фон дер Пален, говорю, вроде нехристь — лютеран он, и нашей просфоры евонная душа не признает». Расхохотался, однако милостиво сказал: «Ну как хочешь, дурак...»

А разве я неправильно разъяснил? Нехристь — может, слово излишнее, а все же, если он лютеран, значит, не по нашему приказу числится на небе.

— Затейник наш царь-батюшка, слов нет, затейник,— то ли одобрительно, то ли с укором сказал самокатчик, когда Брызгалов по знаку выглянувшей в двери

жены для чего-то ушел в соседнюю комнату.— Над покойником покуражиться легко, когда помер, а вот, слыхал я, в городе говорят, рабочих-строителей замка отблагодарить знатно приказано — всех сюда вселить, и с семьями. Пущай своими боками сырость обсушат!

— Медики всячески удерживают императора от переезда в Михайловский замок и вселения туда кого бы то ни было — сырость его смертоносна,— сказал Росси.

Брызгалов, входя, услышал эти слова и рассудительно добавил, обводя всех совиным взором из-под напудренных широких бровей:

— И я государю императору осмелился доложить, что рабочих потому вселять нежелательно, что у них произойти могут от лютой здешней сырости повальные болезни, почему заместо осушения стен дыхание их расточать будет одну лишь заразу. Но его величество уперлись в своей мысли о скорейшем въезде: хочу, сказали, помереть на том месте, где родился. И точно, когда стоял здесь Летний императрицын дворец, там и народились они двадцатого сентября тысяча семьсот пятьдесят четвертого году.

— И что же торопятся сорок сёмый именно тут проводить, ежели юродивая остереженье дала?..— подмигивая Брызгалову, сказал самокатчик.— Довести надо до государя слова юродивой.

— Вот ты и доведи, когда с твоим самокатом пойдешь,— буркнул Брызгалов,— все одно тебе путь — обратно в Сибирь. А мне, браток, туда ехать неохота...

Все засмеялись. Росси сказал Мите, чтобы тот, забрав чертежи, ждал его в Академии внизу, у Ватиканского торса, он же на минутку зайдет по дороге к матери.

— Поговорить мне с тобой желательно, Иван Петрович,— сказал Митя, выходя с самокатчиком от Брызгалова,— зайти удобно ль к тебе?

— А ты заходи, не сумлевайся, чайку выпьем. Андрей Никифорович, хоть и большой барин, а с земляком свой, не чванливый.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Росси пошел к матери, чтобы узнать подробности про Лепикову дачу и объявить о своем намерении жить совершенно отдельно. Как обычно, едва он вошел

в затемненную тяжелыми драпировками прихожую, его охватил слегка удушливый, пропитавший, казалось, самые стены, запах французских духов, неразлучных с его матерью.

— Мадамы нет дома, но у них в гостиной господин Воронихин рисуют госпожу Сильфидину,— глупо превращая в фамилию прозвание Маши, сказала краснощекая, так называемая непарадная, горничная матери.

— Где матушка?

— Уехали в Павловск — дачу продавать.

Росси передернуло: и девка, черная горничная, знала про дачу, а он, родной сын, даже уведомлен не был. Пожалуй, и вещи его — рисунки, чертежи, картоны — засунут куда ни попало, а то и в печке спалят,— надо самому озаботиться об их сохранности. Мать, как и отчим, кроме танца, иных искусств ценными не почитала. С досадой Росси шагнул в гостиную, но, увидя Воронихина, которого очень почитал, любезно ему поклонился.

— А, Шарло, приветствую тебя, очень рад видеть!

Воронихин положил на стол палитру с кистями и, повернувшись к позировавшей ему женщине, сказал:

— На сегодня, Машенька, довольно. Спасибо тебе — танцуешь, как Сильфида, а сидишь, как мраморная богиня.

Маша привстала, спокойно поклонилась Росси и пересела в глубокое кресло. Взяв книжку со стола, она, казалось, погрузилась в чтение.

Росси внутренне рассердился: Маша отлично знала о дружбе его с Митей, и естественно было бы ей смутиться, вспыхнуть, смешаться при встрече с человеком, которому, наверное, уже известно ее гнусное коварство. И, не удостаивая Машу вниманием, Росси отошел с Воронихиным к окну.

Архитектор был, как обычно, одет щегольски, с красиво причесанной головой и белоснежным батистовым жабо, от которого холеное его лицо казалось еще значительнее. Но вместо свойственной ему тонкой иронической усмешки и несколько скованной сдержанности все существо его выражало какое-то нежданно радостное удовлетворение.

— Счастлив увидать вас в столь добром здоровье, Андрей Никифорович, вы словно именинник сегодня,— восхитился им Росси.— Счастлив за вас, если у вас радость.

— Именинник и есть,— засмеялся Воронихин.— Веря твоим искренним ко мне чувствам, Шарло,— Воронихин посмотрел ему в глаза своим внимательным, твердым взглядом,— тебе одному из первых рад я сказать, что мне фортуна весьма улыбнулась. Сегодня граф Строганов приказал мне готовиться к конкурсу на составление проекта большого Казанского собора.

— Как! Разве эта постройка уже не поручена императором Камерону?

— Камеронов проект, как и следовало ожидать, императору не понравился. На минуту удалось ему заглушить в себе нелюбовь к великому зодчему екатерининского времени, но вот новая внезапная вспышка гнева против всех любимцев его матери — и проект уже не принят, осужден. Требуется нечто весьма грандиозное, не совсем в духе гения Камеронова. Дан пока негласный приказ о конкурсе — я включен.

— И выйдете победителем!— восторженно сказал Росси.— От души вам желаю...

— И сам я себе желаю того же,— чарующе улыбнулся Воронихин, словно осуждая нескромность своего пожелания. Но почему ты, Шарло, не спрашиваешь у меня разрешения взглянуть на портрет Сильфиды?

— Разрешите, Андрей Никифорович?— И Росси покраснел, как мальчик, чья злая мысль вдруг обнаружена.

Воронихин вывел на свет мольберт с большим поясным портретом. Несколько суховато, но как-то глубоко, изнутри выразительно подчеркнут данный в теплых вечерних тонах характер Маши. Не в балетном, в простом домашнем платье. Строго, как у молодой монахини, только что принявшей постриг, смотрели ее большие невеселые серые глаза. Очень молодое лицо носило печать душевной зрелости, которая дается только способностью глубоких постижений. Рот пленительной формы, с чуть поднятыми в неразрешенной улыбке губами, выражал характер незаурядной непреклонности.

Замечательное лицо Маши, рассказанное большим искусством Воронихина, вдруг глубоко взволновало и тронуло Карла, между тем как к живой женщине, оригиналу портрета, к Маше, разбившей жизнь его друга, он продолжал относиться враждебно. И потому, когда Воронихин спросил: «Каково впечатление, Шарло?» — Росси горячей, чем было пристойно, ответил:

— Вы чрезмерно опоэтизировали натуру.

— Ну, это, братец, ересь чистейшая!— улыбнулся Воронихин.— Машу опоэтизировать нельзя, ибо она есть сама поэзия. Не смущайся, Машенька!

Маша встала, подошла — легкая, тонкая, прямая Сильфида — и голосом, дрогнувшим от сдерживаемого волнения, сказала:

— Как благодарить вас, Андрей Никифорович? Век не забуду вашего внимания.

— Не тебе, мне благодарить тебя, Машенька.

И Воронихин поцеловал Маше руку так почтительно и бережно, что Росси глазам не поверил и злобно подумал: «Протекции для чего-то ищет у новой княжеской содержанки», но тотчас устыдился таких мыслей. Воронихин, показалось, их прочел и опять, пристально глядя ему в глаза, веско сказал:

— Я не только ценю Машу как дивную балерину, но уважаю ее как прекрасного человека. А тебя, Шарло, прошу зайти ко мне после посещения Академии, у меня сегодня проведет вечер столь почитаемый тобой Василий Иванович Баженов. Он передает сегодня Академии свой проект об издании многотомной «Архитектуры Российской», а потом — ко мне.

— Счастлив видеть и слышать Баженова!— воскликнул Росси.— Не разрешите ли прийти вместе с другом моим, Митей Сверловым?— сказал он громко и вызывающе глянул на Машу — покраснеет ли?

Но Маша не покраснела, а подошла близко и сказала ему вежливо, но с твердостью, не допускающей отказа:

— Попрошу вас, Карл Иванович, уделить мне несколько времени, у меня дело есть к вам.

— А я исчезаю,— сказал Воронихин.— Так, Шарло, мы встретимся с тобой в Академии.

Воронихин ушел. Маша, как хозяйка, предложила Карлу сесть. И вдруг он почувствовал, что смущается сам, и, чтобы оттянуть время волнующего разговора, сказал:

— Я и не знал, что вы так хорошо знакомы с Андреем Никифоровичем.

— Знаком он мне давно, а особенно близок стал сейчас... ближе всех на свете. Ведь у нас с ним одно горе. У него, как у меня, отнята была любовь всей жизни оттого, что мы рождены крепостными...

— Позвольте,— вспыхнул Росси,— частная жизнь Воронихина мне неизвестна, но у вас... Кто же у вас отнимал Митю? Сами вы от него отказались, найдя для себя нечто более подходящее.

Маша и тут не смутилась, не разгневалась, она с горьким достоинством сказала:

— Обстоятельства, которых не побороть, жестокость жизни — вот кто отнял у меня Митю. Думайте обо мне что хотите, я ведь вижу ваше отношение ко мне, но как друга Мити прошу вас, выслушайте меня. Когда-нибудь передадите ему.

Маша села на диван и, как дама равного ему круга, указала Карлу жестом маленькой руки сесть рядом. Он покорно опустился на кресло и приготовился с любопытством слушать Машу. Его мысли путались. Он так был уверен, что когда встретит ее, то, полный презрения и гнева, отчитает за измену Мите, за корыстолюбие, низость души, продажность и предательство... И вдруг эта спокойная, печальная женщина оказалась совсем не легкомысленной, тщеславной и пустой девчонкой, как его коварная Психея.

Перед ним сидела умная, зрелая характером, ни на кого не похожая своей благородной простотой, почти светская женщина.

— Я прошу вас, Карл Иванович, запомнить для Мити то, что я сейчас вам скажу.— Маша заговорила ровным голосом, без жестов, крепко сжав руки, словно боясь выраженным чувством затемнить смысл своей речи.— Человек, который называется моим барином, призвал меня на днях и сказал: «Тебя хочет выкупить на волю князь Игреев, мой большой приятель. Ведь вот какое большое счастье тебе улыбнулось! Кроме него, говорит, никому никогда я тебя не продам, твердо запомни. И если о ком мечтаешь, оставь свою надежду навсегда. Но князю — что поделать!— уступлю. Иди, до завтрашнего вечера обдумай — либо вольной у князя, либо навечно моей крепостной. Впрочем, думать-то не о чем: если, по дурости, князя отвергнешь, все равно попадешь к нему же, моим изволением. Говорю тебе обо всем этом потому, что блажит князь Игреев — хочет твоей непринужденной любви... и я ее ему обещал».

Сутки я думала — хотела было умереть. Не смогла. Убежать с Митей некуда. Да и счастья не выйдет ни мне, ни ему. Все как в пропасть низринулось. Одна

осталась мечта — воля. Князь Игреев мне ее обещал. Я думаю, остальное понятно. Мите я прошу эту историю передать для того, чтобы не осталось у него из-за меня злобы и презрения ко всем женщинам. Ведь не от низости души я так поступила, не сольная партия, предложенная князем, не особняк и богатство его меня соблазнили — одна воля. Конечно, честнее было бы мне умереть... Но я не смогла умереть...

Маша так трогательно, с такой прелестной виноватой улыбкой посмотрела в глаза Карлу, что он в порыве нежного сострадания взял ее за руку и с раскаянием вымолвил:

— Простите меня, я о вас несправедливо подумал плохо.

Маша слабо улыбнулась:

— Имеете все основания. Я, как видите,— не героиня. Героиня в таком случае погибает. Но я не могу... я не хочу сдаться перед жестокостью жизни.

Маша встала с пылающим лицом. Оно было вдохновенно, прекрасно той особой внутренней красотой, когда человек идет на сжигающий его подвиг.

— Скажите Мите, я выбрала вместо смерти волю не для того, чтобы наслаждаться богатством, которое мне предлагается, но лишь для того, чтобы все свои силы отдать искусству. И в нем я достигну совершенства! Вот что дает мне силу вынести... невыносимое.

Маша закрыла глаза рукой, чтобы скрыть слезы.

Росси глубоко понял ее состояние и с великим сочувствием в голосе сказал:

— Я верю вам, Маша. Когда Митя в состоянии будет справедливо оценить ваш поступок, я ему передам ваши слова.

— Берегите Митю, любите его, Карл Иванович,— прошептала Маша, и крупные, уж не сдерживаемые слезы закапали из глубоко печальных глаз.— Если Митя точно по-настоящему любит меня, он должен понять, что не я низка душой, а выхода, поймите, выхода иного мне не было! Не дала жизнь выхода, загнала меня в тупик.— Маша вытерла платочком глаза, они горели как в лихорадке. Она заговорила горячо, отрывисто, торопясь все скорей высказать.— Ну, допустим, что скопил бы Митя денег на выкуп,— да ведь барин согласен продать меня только под нажимом сильнейшего, чем он. У князя Игреева он в долгу как в шелку... Ох, сколько

бессонных ночей я провела! Сколько думала все о том же, и так и этак примеряла — один конец! А князь все настойчивей. И невесть что сулит. Я же одно лишь ставлю условием своего бесчестья и горя — отпускную вольную. И вот, намедни, принес он мне эту вольную, издали показал, говорит: «Перейдешь ко мне в особняк — получай ее из рук в руки! Пройдет мой любовный каприз — иди с этой вольной на все четыре, и твоя балетная карьера при тебе. Но если о женихе своем мечтаешь,— слыхал я, жених у тебя есть,— мечтания брось. Кроме меня, никому твой барин тебя не продаст. И главное — как своей судьбы, ты меня не минуешь. Все равно ко мне попадешь. Но если не по доброй воле, уже не посетуй, на ином окажешься у меня положении. Сейчас я твой раб. Ну а там — ты моя раба. И твою вольную я сам на твоих глазах разорву, и останешься крепостной ты навек». Еще раз скажу — умереть надо бы мне.— Маша чуть улыбнулась опять трогательно и виновато.— Пусть меня Митя вот только за это и простит.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Баженов был только что назначен Павлом вице-президентом Академии художеств. С присущим ему огненным вдохновением принялся он исправлять ложную педагогическую систему недалекого и упрямого Бецкого.

Приказано было набирать сирот от трех- до пятилетнего возраста, сдавать их классным дамам-француженкам и в принудительном порядке обучать рисованию.

— Насильно Аполлону мил не будешь,— говорил Баженов, превращая классы малолетних, умученных дрессировкой, в веселое общежитие маленьких художников.

Кроме реформы воспитательной, было еще одно дело, и надо было с ним торопиться, потому что здоровье ему изменяло... Надлежало ему настоять на издании многотомного труда под общим заглавием «Архитектура Российская», куда должны были войти как построенные здания, так и здания, оставшиеся только в «прожектах».

Большинство работ Василия Ивановича Баженова, ценителями искусств всего образованного мира признанных гениальными, осуществлено не было.

Уже несколько раз за последнее время Баженов назначал день для передачи Академии папок со своими творениями, но, от волнения чувствуя себя худо, сам создавал своему делу отсрочку.

Наконец вечером, в середине марта, он сказал жене:

— Грушенька, я завтра решил передать Академии мои папки. Уж извини, милый друг, шагать буду ночью. Чаю крепкого наготовь...

— Наготовлю, Васенька,— отозвалась Аграфена Лукинична, и в простые эти слова ею было вложено столько понимания и чувства, что Баженов, обняв ее, вымолвил:

— Ну и спасибо ж тебе!

У них теперь редко бывали длинные разговоры — объяснять было нечего. За долгую жизнь любви и согласия они как бы стали одним существом. Слова могли быть случайные, как сказанные сейчас, и невольному свидетелю их разговора было бы невдомек, за что Баженов мог вдруг наполниться такой благодарностью к жене.

Но Груша знала, что если Баженов вынул из тайника свою папку с надписью «Большой Кремлевский дворец», его ночь будет без сна, и в свои обыденные слова лишний раз вложила неустанную готовность делить с мужем до гроба всю горечь его необыкновенной судьбы.

Василий Иванович шагал по комнате далеко за полночь, погруженный в свои думы, когда Аграфена Лукинична внесла ему на подносе крепкий чай и графинчик водки. Скользнув по нему взглядом, Баженов улыбнулся:

— Поторопилась, Груша, навстречу событиям,— ан графинчика-то мне и не надо.

Груша много страдала, когда Баженов после приказа Екатерины прекратить постройку Большого дворца горько запил и потом сделал своим обычаем при всякой несправедливости прибегать к этому исконному утешению оскорбленных талантов.

Все понимающая жена, без укоров и осуждения, одной неистребимой любовью, перешедшей уже в материнскую, делала то, чего не достигла бы упреками: Баженов запивал все реже. И сейчас, когда ему надлежало пересмотреть, как чужую, работу всей своей жизни и отобрать то, что достойно стать вечным памятником

русской архитектуры,— никакого подкрепления сил, кроме напряжения собственной воли, ему уже не было нужно.

Как давно, больше полвека назад, уехал он мальчиком из родного села Калужской губернии, чтобы попасть в «архитектурную команду» в Москву... Около Охотного ряда была та команда, и заведовал ею князь-архитектор Ухтомский. Он же своего «гезелия» Баженова за особые успехи записал в только что учрежденный университет, где на парте с ним оказались Потемкин, Фонвизин и Новиков Николай Иванович... С последним большие события связаны в его жизни... но это потом. А тогда, в юности, по капризу судьбы, Новиков и Потемкин как неспособные исключены были из университета.

Ему же в те годы словно бабушка ворожила: удача за удачей. Вот уж он в Академии художеств, где превознесен за таланты и отличен командировкой в Париж. И дальше... такая щедрая ему выпала юность, такое беспрепятственное погружение в искусство ему предложила судьба. Жили с живописцем Лосенкой где-то в мансарде, не слишком сытно,— Академия была скуповата,— но какая свобода, какие сокровища живописи и зодчества навсегда сделались составной частью его души! Учитель его, придворный архитектор де Вальи, привил ему тонкий вкус к обилию остроумных деталей без лишнего нагромождения, чему великим примером был чудесный Лувр. В Париже научился он давать простор своей безграничной фантазии, организуя ее неослабным расчетом математика.

— Вы овладели той тайной, благодаря которой архитектор себе может позволить необычайное,— говорил ему с восхищением де Вальи, когда Баженову присудили первую награду за проект Дома инвалидов.

В Риме как ученик Академии св. Луки он был также отличен перед всеми за свою «лестницу Капитолия», а вернувшись домой, на родину, поразил воображение современников своей моделью Большого Кремлевского дворца.

Если бы дворец этот был выполнен, ему пророчили место среди чудес мирового зодчества — виллы Адриана, форума Траяна...

Когда модель была готова, Екатерина показала ее иностранным дипломатам и своей цели достигла. Была

война с Турцией, и надлежало показать Европе, что Россия нимало не затруднена в финансах, о чем уже шла досадная молва. Хотя Баженов представил смету в двадцать пять миллионов, разнесли по всей Европе, что Екатерина отпускает все пятьдесят.

«Легко было ей накидывать лишнее,— горько подумал Баженов,— когда она строить и вовсе-то не собиралась. Только меня, дурака-мечтателя, морочила, чтобы из кожи лез, старался... И разве не берег я работу свою больше жизни: пять лет все мысли о ней... Когда же налетела чума и разъяренный народ пошел все сносить, в Модельный дом кинулся, чтобы защитить либо вместе с моделью погибнуть».

Уцелела модель, а дворец не построен.

Баженов прошелся к окну, отворил его. Густая мартовская сырость вошла в комнату и стала в ней, как туман. Еще тяжелей стало дышать. Закрыл окно, опять стал шагать.

Как торжественна была закладка дворца! Какой фейерверк, музыка, славословие! Молодой поэт Державин сложил в честь его стихи, а сам он с великим волнением произнес свою лучшую речь. На месте закладки храма зарыта медная доска с надписью; вот она, точная копия. Баженов подошел к высокой конторке, выдвинул ящик, вынул погнувшийся золото-обрезанный лист, прочел, хотя надпись знал наизусть:

«Сему зданию прожект сделал и практику начал Российский архитектор, москвитянин Василий Иванович Баженов, Болонской и Флорентийской Академии и Петербургской Императорской Академии Художеств академик. Главный артиллерии архитектор и капитан...»

Это все его титулы. Пониже в углу стояло: «От роду ему 35 лет».

— А сегодня уже шестьдесят один,— прошептал Баженов,— двадцать шесть лет со дня закладки прошло.— Если бы не выгравированная эта доска, не модель, чья память удержала бы для потомства его могучий замысел? Необходимо, пока еще жив, закрепить все работы в чертежах и планах, скорее издавать том первый.

Опять заметался по комнате. Движение давало порядок толпившимся в памяти мыслям, или, верней, образам.

Вот окно того дома на набережной Москвы-реки, перед которым, счастливые, молодые, стояли с Грушенькой и веселились, глядя, как ползут гуськом подводы с лесом, песком, кирпичами к высокому месту постройки дворца. Порой видели из этого же окна, как в бессильном гневе за разрушение священной старины, произведенное по необходимости для возведения неохватного глазом фундамента нового Большого дворца, местные старики-старожилы грозили кулаками и проклинали строителя за «бальзамный» дух, который он выпустил на волю из вековых подвалов взятых на слом приказов.

Василию Ивановичу с Грушей тогда, по молодости лет и прекрасной удаче, все было смех и забава, а между тем этот гнев старожилов был одной из причин, повлиявших на императрицу дать приказ о прекращении постройки.

Скоро деньги для дела стали задерживать, разрослась бесконечная бумажная неразбериха, отписываться приходилось больше, чем строить. Баженов не выдержал и надерзил государыне в отчетном письме: «Опасаюсь, кабы сия переписка не сделалась моей единственной работой».

Шли месяцы, а постройка не подвигалась. Мечтатель зодчий медлил понять, что Екатерине дворец больше не нужен. Война с Турцией была выиграна, и дальнейшее разорение на «чудо искусства» ей было ни к чему. И вот пробил страшный час.

Генерал Измайлов, заведующий постройкой, призвал зодчего и возвестил ему голосом чиновным, не допускавшим возражений, что ее величество, опасаясь, как бы близость основания нового дворца к Архангельскому собору не повредила священных могил русских царей, а бальзамный дух разоренных подвалов не отравил болезнями воздух,— повелевает строительство нового Большого Кремлевского дворца прекратить.

Баженов, обессиленный, склонил голову на руки: пять лет весь ум и чувства отдавал вдохновенной работе, ею только и жил...

С первоначальной силой воскресла ни с чем не сравнимая боль творца, имеющего талант и силу довести свой труд до конца и грубо лишенного любимой работы.

От сердечной внезапной слабости Баженов задремал. Побледневшее его лицо понемногу озарялось глубоким

торжеством: на высоком Кремлевском холме он во сне увидал свой заветный дворец законченным.

Увидал обращенный к Москве-реке величественный главный корпус в четыре этажа и за ним чуть золотевший купол Ивана Великого. Колонны пронзали нижних два этажа. На них легко и гордо лежали два верхних; большой выступ, выбегающий далеко вперед из центра, лишал холода симметрию и создавал то присущее ему свободное величие, так отличавшее от других зодчих его мастерство.

Ярко освещенные солнцем шестиколонные портики, большие ионические колонны поддерживали антаблемент с плоским аттиком... А вот и они, столь нарядно задуманные, новые выступы на краях корпуса с двойными колоннами, богато украшенные кариатидами, которые как бы подымают карнизы окон. Восхищенным глазом победителя созерцал он свой грандиозный дворец, удостоверяя сам перед собой, что главное дело его жизни ему удалось. Он глубоко изучил памятники мирового зодчества, могуче переработал все своим русским сознанием и своей работой дал свидетельство торжества гения отечественного.

Баженов с удовлетворением проверил, сколь правильно был им задуман и весь гигантский треугольник, куда свободно включалось все лучшее, что было в старом Кремле... А Иван Великий замкнулся мощной стеной с колоннадой, где живописно шли между колонн ложи, а по цоколю — трибуны для зрителей.

Да, он по праву засмотрелся на собственный гениальный размах — величавый полуциркуль с целым полчищем вознесенных над Москвою колонн...

Какой вечный памятник воздвиг он родине и себе!

От бури нахлынувшего чувства горячо встрепенулось сердце, дрогнул лес колонн и стал плавно, как под музыку, наступать на него. Окружили его летящие виктории с венками. Он видел, как они вдруг вспорхнули с пустого пространства над тремя великолепными арками, которые он довел до второго этажа.

Как близко от него зазмеились широкие пересекающиеся лестницы! В своем сложном переплетении они двигались от переднего входа в театр, и ему нужно было внезапно отодвинуться, чтобы пропустить мимо себя беседку из двенадцати колонн розового мрамора.

— Вестибюль дворца...— узнал он и, резко двинувшись, проснулся.

Свой осуществленный грандиозный проект — новый Кремлевский дворец на высоком холме Кремля — Баженов увидел во сне. На самом же деле у него только то окно в его московском, уже проданном доме, откуда смотрел он с женой, как воздвигали и как разрушали фундаменты его бессмертного замысла.

Вошла обеспокоенная Грушенька, смущенная непотушенной лампой в комнате мужа. Она и сама не ложилась.

— Тебе худо, Васенька, что-то ты очень бледен?

— Это было во сне, Грушенька...— сказал тихо Баженов,— я во сне увидел мой дворец построенным. Нет, не жалей меня,— поспешил он сказать в ответ на проступившие в глазах жены слезы,— я счастлив. Я уверен, что проекты мои будут когда-нибудь изучать. Сейчас я пересмотрел их, и не как свои, а словно чужие,— и я их одобрил. И еще я уверен, что грядущее русское зодчество не обойдется без того, чтобы при всех великих работах не вызывать в памяти работы мои... Да открой, Груша, настежь окно — видишь, солнышко...

Раннее, не греющее, но уже ласковое солнце осветило лицо Баженова и всю его легкую, нестарую фигуру. Несмотря на болезнь и без сна проведенную ночь, большая сила жизни была в его удивительных глазах, больших, светящихся, как бы одаряющих своим творческим богатством. Он взял жену за руку и, словно подводя итоги самым затаенным мыслям, сказал:

— Как часто в горькие минуты крушения моих замыслов вставала передо мной высокая оценка моего дарования академиями Флоренции и Рима и особо любезного мне Парижа, где предложено было мне оставаться высоко ценимым придворным архитектором, но, поверь, никогда, даже в день, когда наша русская Академия оскорбила меня отказом дать мне звание профессора, уже дважды данное мне за границей,— не пожалел я, что вернулся домой. И сейчас, когда у меня впереди сама смерть, а позади — вместо великих осуществленных зданий одни их проекты, я повторяю перед этим взошедшим солнцем слова, сказанные мною в день закладки Большого Кремлевского дворца: ум мой, сердце мое, знание не пощадят моего покоя, здравия, самой жизни моей ради тебя, моя родина!..

Когда Росси, по уговору с Митей, подошел к Ватиканскому торсу, который стоял в нижнем этаже скульптурного отдела, оказалось, что Митя давно его тут поджидал.

— Я уже все картоны сдал в канцелярию,— сказал он,— завтра их будут развешивать в конференц-зале.

— Надо бы сперва показать Воронихину,— с досадой вымолвил Росси,— и главное, я его только что видел, а про чертежи и позабыл.

— Воронихин сейчас обязательно будет, такой он почитатель Баженова,— успокаивал Митя,— ужель упустит случай его поздравить. Проект издания принят, весь вопрос в сроках и объеме его...

— Да, конечно, он придет,— отозвался Росси и задумался о намеке, который по адресу Воронихина сделала Маша, говоря о несчастной любви в крепостном звании.

— Ты не слыхивал, Митя, какая была у Андрея Никифоровича в юности история с Натали Строгановой, которая так рано умерла?

— Как не знать. Все, что касается горемычной доли крепостных, мне особенно теперь близко к сердцу, сами, чай, знаете, почему... История эта такая: строгановская знаменитая на весь мир золотошвейка Настя из любви к Андрею Никифоровичу на убийство этой молодой графини пошла, отчего знаменитый наш зодчий остался навек обездоленным.

— Сейчас пошел слух, что он задумал жениться на англичанке?— осторожно спросил Росси.

— И я слышал. Ну, это, полагать надо, из гордости, чтоб людям и себе доказать, будто ни от какой личной сердечной причины он надолго пасть духом не может. Гордый очень.

— Невесту нынешнюю его я знаю,— сказал Росси,— это чертежница Мери Лонг. Она и в архитектуре сведуща; словом, брак рассудительный, что и говорить.

— А тогда, в юности,— перебил Митя,— он любил, как один раз в жизни можно любить! Сам я лично ничего не знаю, но строгановские люди подробно рассказали. Лет десять тому назад была у Воронихина связь с этой первейшей золотошвейкой Настей. Она не только золотом вышивала, лучшие французские гобелены копиро-

вала — от подлинника не отличить. Воронихин с молодым графом Строгановым в Париж собирался — он уже в силу входил. Натали приходилась ему дальней родственницей с левой стороны; ведь двоюродный брат графа, барон Строганов, всем известно, родной его отец. Недаром Андрея Никифоровича, когда он рос, в деревне «бароненок» прозывали, самокатчик Артамонов давеча рассказал. Так вот какие вышли дела: хоть за талант ему славу пророчили, а все же Строгановых он — вчерашний крепостной. И Натали его на свое горе полюбила. А тут еще эта золотошвейка Настасья... Сперва она с собой порешить хотела, утопилась, ее вытащили, откачали. Оправилась... Но опять сердца не сдержала — отравила на этот раз Натали. Крепостные всё это ведали, но до господ смутные слухи дошли, и правду узнать не больно допытывались, сраму боялись. А славный наш зодчий надолго уехал в Париж и вернулся уж не тот: на все пуговицы застегнут — важный, только к простому люду особливо добр.

— А какова судьба Настасьи? — заинтересовался Росси.

— А тут повернулось дело как в сказке: она вышила такой замечательный гобелен, что граф порешил послать его в дар австрийскому императору, а ей вольную дали, да еще в обучение за границу отправили...

— Замолчи, Митя, к нам идет сам Воронихин, — сказал Росси, — да не один — чудак с ним какой-то.

— Да это знакомец наш недавний, — улыбнулся Митя, — самокатчик Артамонов; в новую суконную поддевку вырядился и цепочку серебряную выпустил.

Воронихин приветливо поздоровался:

— Вот разъясняю своему земляку искусство древних... Он давно тут плутает один, я его и взял в обучение.

— Да тут и заблудиться не мудрено, — сказал Артамонов, — среди этих калечных: всё безрукие да безногие, а то и вовсе без головы, небитых совсем мало.

— И часто это не самые лучшие, отметьте себе, — улыбнулся Росси, указывая на Ватиканский торс, мягко освещенный рассеянным светом. — Вот, например, непревзойденная, величайшая скульптура, а между тем у этой статуи нет ни головы, ни рук, ни ног.

Артамонов нахмурился, кольнул быстрым взглядом говорившего, словно справился, не потешаются ли над

ним. Воронихин угадал его недоумение и серьезно сказал:

— Карл Иванович говорит правду. В главном городе Италии, в Риме, в великолепнейшем дворце эта самая статуя помещена в особой комнате. Свет на нее падает сверху, и люди, входя в залу, как в храм, изумляются этому произведению неизвестного гения. Правда, сразу понять его мудрено...

— Чего ж не понять, коли людям понятно,— сметливо ухмыльнулся Артамонов,— глаз тут вострый требуется, а не ученость... Вот, примерно, песню,— у кого ухо есть, и безграмотный схватит, а нет уха — наукой ему не вобьешь. У меня родной племяш пастухом, так он из костра уголек вытянет, овечку на камешке, как живую, начиркает. А кто обучал? Босой да сопливый...

— Скажи-ка, нам, Артамонов, на совесть,— указал Воронихин на Ватиканский торс,— видится тебе что в этом безголовом?

Артамонов окинул всех умными, острыми глазами и проговорил, не смущаясь:

— А вижу я на этом обломе, что спина у мужика согнувши, а живот легко втянут, с боков, как у живого, мускулы явственны, и ребра под ними чуешь и кожу на них. Все без обмана, весело сработано! В столь точном виде, что, прямо сказать,— дальше некуда! И еще скажу, сдается мне, что ничего к этому облому добавлять нет надобности, чтобы цельный человек увиделся... Ну, этого в точности я рассказать, Андрей Никифорович, не сумею, вот разве иной раз заглядишься, как в тихой воде солнышко отражается, и радость тебя возьмет: не велика, кажись, лужица, а солнце в ней как есть целиком.

— Да ведь это в переводе на образованный наш язык звучит так, что важно показать хоть малую, дробную часть совершенства, чтобы получить ощущение совершенного целого. Но как это постиг самокатчик?— изумился Росси.

Артамонов вдруг низко поклонился Воронихину:

— Спасибо, Андрей Никифорович, уму-разуму учишь, я сюда еще много раз заверну, а сейчас отпусти — по базарам охота пройтись, подручного из оброчных выискать, одному всей работы мне не поднять.

— Ну и ловкач,— засмеялся Воронихин,— видать, надоели тебе антики! Да ты знаешь ли, где стоянки об-

рочных? Могу их тебе перечислить, мы там натурщиков выбираем.

— Не утруждайтесь, Андрей Никифорович,— сказал Митя,— я сам пойду с Артамоновым.

И оба скрылись в гулких коридорах Академии.

— Вот что, Шарло,— сказал Воронихин, кладя руку на плечо Росси,— нам необходимо провести вечер вместе с Баженовым. Я — старый ученик и друг его, ты — новое поколение, подающее великие надежды. Не дадим ему почувствовать горькое одиночество гения среди чиновников и врагов хотя бы сегодня, в этот важный для его жизни день.

— Я счастлив, что вы обо мне вспомнили,— ответил взволнованно Росси,— а сейчас разрешите передать вам чертежи и планы Михайловского замка, они уже в канцелярии.

— Я рассмотрю их один, тебя же прошу посторожить Василия Ивановича у колонн вестибюля; скажешь ему, что я здесь.

Воронихин своим размеренным шагом, с выправкой, почти военной, удалился в канцелярию Академии, а Росси занял выжидательный пост у колонн вестибюля. Карл волновался при мысли, что он увидит Баженова и тот может спросить его о привезенных планах и чертежах Михайловского замка. Все они были подписаны одним именем — Бренна, а между тем в городе не смолкали толки о том, что самый первый замысел и проект принадлежали ему, Василию Ивановичу Баженову. Но придворным архитектором и любимцем Павла стал теперь Бренна, угадавший его тайное желание и согласно ему закончивший замок.

Мысли Карла с Баженова перескочили на самого Павла. Конечно, не произведение искусства было ему важно, а прежде всего — крепость, твердыня, где можно укрыться от пули и штыка. Нынешний государь — не Петр Великий, а несчастный человек, которому все сильней мерещится, что он окружен врагами и заговорщиками. Он жадно хватается за каждую новую выдумку, где ему мнится спасение от опасности. Так было с кострами Мальтийского ордена, так сейчас с этим замком. Как торопил Бренну с постройкой! Разобран для нее чудесный дворец в Пелле работы Старова, захвачены заготовки для собора Исаакия. И все для того, чтобы укрыться ему поскорей в этом, словно кровью окрашен-

ном, замке, вокруг которого рвы полны воды, подъемные мосты легко вздымаются и летят вниз, где на каждом шагу караулы и тайные лестницы...

Да, велика разница вдохновения зодчего, когда он воздвигает светлый Олимпейон для радостей народных или для одинокого деспота мрачную крепость.

Воображение Карла так было занято этими мыслями, что раздавшийся откуда-то сверху голос Баженова заставил его вздрогнуть. Голос единственный, различимый из тысячи, приподнятый, слегка в интонациях повизгивающий. Голос этот всегда невообразимо трогал Карла.

На ступеньках парадной лестницы столпились вицмундиры академического начальства. Все слушали Баженова, стоявшего несколько повыше на площадке и задержавшего общее движение вниз своей речью. Свет был у него за спиной, и на фоне белой стены рисовался только стройный его силуэт.

В тоне Баженова слышалось с трудом сдерживаемое волнение... Вдруг он сверху увидел подходившего к Карлу Росси Воронихина и, прервав свою речь, стремительно зашагал по ступенькам.

Он несся, словно подлетывал, легкий, изящный человек с лицом, овеянным гением. И вместе с тем это было лицо русского деревенского парня, с многообразным тончайшим налетом европейской культуры.

Несмотря на шестьдесят лет, была юношеская сила, стремительность в фигуре, брови разлетные, приподнятые с особым изумлением, словно это был человек, увидавший какую-то красоту мира, незримую другим. В юности из-за своего восхищенного выражения его прекрасного лица говорили о нем, смеясь, товарищи: «лик архангельский».

Баженов дошел до Воронихина и, обнимая его, быстро сказал:

— Как хочется мне провести с тобой, дорогой Андре, сегодняшний вечер.

— Я сам о том же мечтал,— улыбнулся Воронихин,— вот свидетель, Карл Росси, или, как я его называю, Шарло!

Баженов, сияя чарующей улыбкой, протянул Росси руку.

— Знаю, знаю, подающий большие надежды наш юный преемник и продолжатель, конечно, тоже мой дорогой гость.

Росси, закрасневшись от радости, поклонился.

Форменные вицмундиры спустились вниз с лестницы и опять окружили Баженова. Он выступил вперед и заговорил так, словно начатый вверху разговор не прерывался им вовсе:

— Поймите же, предложенный мной проект необходимо привести в исполнение как можно скорее. Он должен войти в преподавание, в живую жизнь для назидания молодым. На этих образцах нашим зодчим надлежит развивать свое дарование...

Баженов остановился, ему не хватало воздуха. С недавних пор, когда приходил в волнение, отказывало вдруг сердце... Однако в минуту преодолел слабость, ярко оглядел всех своими вдохновенными глазами и широко очертил рукой воздух, будто собрал воедино этих грядущих зодчих, и повторил весело:

— Именно в поученье молодым будет это издание работ всех мастеров русских...

Он было умолк, но через миг опять вспыхнул, словно встретил какое-то обидное опровержение. Чиновники молчали, но своей повышенной чуткостью Баженов уловил их внутреннее несогласие и, повысив голос, резко сказал:

— И в первую голову надлежит издать те проекты, кои по превосходным своим замыслам и вкусу достойны были быть выполненными, но...

Снова голос пресекся. Волнение было крайнее. Тяжко было закончить речь признанием неудачи собственной судьбы художника. Однако еще сделал усилие и окончил:

— ...кои остались всего лишь в замысле.

Баженов поднял голову, краска прилила к побледневшим щекам; с гордостью, тихо, но твердо он вымолвил:

— Ежели здания предполагаемые почему-либо построены не были, но по важности своей, по высоте архитектурного знания стоят превыше многих построенных, потомство обязано сохранить их в своей памяти — ради себя самих, ради искусства, ради истории отечественной.

За несколько витиеватыми словами Баженова не только молодой Росси, все одеревенелые в службе академические чиновники и адъюнкты застарелой живописи почувствовали и на миг разделили обиду изломанного жизнью гениального строителя.

Вдруг Росси, подойдя близко к Баженову, сказал, краснея, со слезами на глазах:

— Василий Иванович, поверьте, мы высоко чтим вас, великого зодчего и учителя нашего.

Приветливо встретила гостей жена Баженова, Аграфена Лукинична. Взял ее Василий Иванович, сироту, из дому своего близкого друга — Федора Каржавина, хорошего переводчика и неугомонного путешественника. Грушенька была воспитанница его родителей.

В необыкновенно светлой столовой с обилием благоуханных цветов было радостно. Дикий виноград из трельяжа выбрался высоко над окнами и, путешествуя по стене, заткал ее живым зеленым ковром.

— Прямо зимний сад,— сказал Баженов, обводя жестом стены,— таков вкус моей хозяйки, ее вкусу я радуюсь.

— Еще бы вам не радоваться,— смеясь, сказал Воронихин,— ежели благодаря этому вкусу она выбрала в супруги именно вас.

— Претонкий вы комплиментщик, Андрей Никифорович,— чуть покраснела Грушенька,— недаром вы в высшем свете пребываете... А вот я вам по-домашнему напрямик скажу, пересядьте-ка все от стола к камину. И помягче там на диване, и хозяйке дадите простор.

Грушенька вышла из комнаты готовить чай, а Баженов с Воронихиным уселись перед огнем на диване.

Росси сел поодаль, чтобы видеть их обоих и навеки запечатлеть в своей памяти их столь разные, но, каждое по-своему, прекрасные лица.

От безыскусственной доброты Аграфены Лукиничны ему стало так ласково, как будто он попал наконец в настоящий родной дом. Тем более что замечательные два человека, которые сидели перед ним так близко, были для него самыми дорогими на свете. Баженов тихо, с видимым облегчением, сказал:

— Ну вот, если мое последнее желание исполнится и затеянное издание «Архитектуры Российской» выйдет, как мною задумано, я буду доволен. Я умру спокойно, потому что, хотя бы в проектах, моя большая ра-

бота останется для потомков.— Он сел ближе к Воронихину и обнял его.— Бессонная ночь была у меня нынче, Андре. Вспомнил я все свои огорчения на родине и великую хвалу и признание в Европе... Шутка ли,— весело усмехнулся он, как бы не доверяя своим словам,— ведь я член четырех академий, и король французский предлагал мне остаться у него придворным архитектором. Но нет, не мог я жить вдали от дорогой моей родины, хоть бы и в королевском почете. Только здесь, для своих хотел строить... Нечего сказать — много настроил... Воздвигал — разрушали. Истинно злой колдуньей из сказок была царица в моей судьбе. Утешает меня, Андре, пример великого Витрувия — мы с Каржавиным неплохо перевели его, помнишь, ты одобрял?

Воронихин утвердительно кивнул.

— Вот и думаю. Может, мне его жребий выпадет, ежели уж собственный не удался. Жил он до нашей эры в первом веке, а, гляди, до нынешних дней его книги не утратили своей цены. Был он невзрачен видом, без придворной хватки, льстивые борзописцы обскакали его при всяких августах-императорах. Но прошли дни. Наступила нелицеприятная для всех история, и кому на пользу соперники Витрувия? Один прах... А сам он еще надолго будет питать поколения.

Грушенька, внеся самовар, озабоченно взглянула на мужа — он слишком был оживлен. Блестели удивительные его глаза, и румянец не сходил с тонкой кожи его лица.

— Тебе, Васенька, от Казакова из Москвы посылка — тридцать пять чертежей и эстампов твоего Царицынского дворца.

— Очень рад, давно ожидал. Мы потом их рассмотрим, Андре, не так ли?

— Счастливы будем, дорогой Василий Иванович! Вот Шарло давно в Москву рвался, чтобы их раздобыть,— ан они и сами приехали.

— Я столь восхищен этим дворцом,— сказал Росси,— очень хотел съездить зарисовать его...

— Не много от дворца осталось,— оборвал резко Баженов.— Казаков прислал наилучшее.

И опять, полуобняв Воронихина, ласково обратился к нему, видимо, желая стряхнуть подступившую тяжесть.

— Ну как же я рад, дорогой Андре, что ты сейчас у меня, и вы, юный Шарло,— он крепко пожал руку Росси.— Я ведь полюбил тебя, Андре, едва принял тебя в число моих учеников тогда, в московской школе. Сколько тебе тогда стукнуло годков?

— Да не больше семнадцати,— улыбнулся Воронихин,— и ведь я еще не знал, кем буду,— очень увлекался живописью Возрождения...

Камин разгорелся и картинно осветил сидящих на диване. Между ними было двадцать лет разницы, но они не казались представителями двух разных поколений, а как-то неожиданно дополняли друг друга. Непринужденная грация движений Баженова, нервная стремительность его худощавой фигуры как бы опирались, брали себе пьедесталом твердость рисунка, точную отчетливость Воронихина. Большая сила была в его красивых глазах. Чисто народная смекалка в соединении с надменностью, выработанной обстоятельствами жизни, усвоенной как наилучшая защита самолюбивого характера. Сразу чувствовалось, что этот щегольски одетый человек с вельможными манерами каждую минуту знает твердо, чего он хочет, и желание свое имеет силу осуществить.

— Мне дорого узнать, Василий Иванович,— сказал Воронихин,— каково ваше мнение относительно предложения, сделанного мне Строгановым. Президент нашей Академии привлекает меня, пока негласно, к соучастию в конкурсе на Казанский собор.

— Как я счастлив, Андре,— душевно воскликнул Баженов,— что жребий пал именно на тебя! Как другу и ученику скажу тебе: вот-вот уходя из этого мира, я хотел бы еще пожить в твоей работе.

Баженов улыбнулся и взял за руку Воронихина:

— И вот просьба: возьми за исходную точку твоего собора мой юный французский проект Дома инвалидов. Там неплохо найдено разрешение легкого купола и колоннады... Едва ли не из-за этой удачи, весьма оцененной французами, наш Чернышев мне выдал паспорт на два года в Италию.

— Глубоко чту эту вашу работу,— склонив голову, сказал Воронихин.

— Да поможет она тебе, как мне в свое время помогли работы учителей Суфло, де Вальи и Пейера.

В искусстве, как в науке, пламенный факел вдохновения передается преемственно.

— Именно надлежит пересмотреть образцы...

Баженов живо подхватил мысль Воронихина:

— Не только пересмотреть, Андре, пережить их заново. Все вобрать, пропустить сквозь сознание и чувства — и отдать их России. Все истинно великие художники так делали. Даже не будучи по крови русскими, но полюбивши новую родину, как свою, они слились с нашим особливым постижением видимого — и что же: итальянец Кваренги создает русскую классику, итальянец Растрелли — русское барокко такого высокого совершенства, что все дальнейшие попытки в этом стиле уже окажутся премного ниже его работ. Царская пышность, изобилие скульптуры, всегда поставленной, где ей надлежит, его вкус, праздник, нарядность — их уже не превзойти. Надо искать чего-то нового.

— Как рано вы это поняли, вот что меня удивляет,— сказал с уважением Воронихин.— Ведь как были молоды, когда Растрелли, обер-архитектор, приглашал вас принять участие в постройке Николы Морского, а вы отказались.

— Я сын московского дьячка,— улыбнулся Баженов,— быть может, торжественность великолепной нашей литургии прозвучала мне более родственно в возвышенной мощи классицизма, нежели в изысканной декоративности барокко. Кроме того, громадное значение имели раскопки Помпеи. От строгой красоты грекоримского зодчества повеяло вдруг таким здоровьем, такой свежей силой, возродившейся из древней колыбели, что не соблазниться было нельзя.

— Тем более, что барокко на Западе вырождалось в болезненное рококо,— согласился Воронихин.

— Вот рококо и способствовало больше всего укреплению нового. Простота и мощь, выраженные строгостью линий архитектуры античной, немедленно и заслуженно убили пустую, хрупкую красоту этих ломаных, капризных, скоро утомляющих декораций. Вы, молодые,— обернулся Баженов к Росси,— должны серьезно задуматься над раскопками в Помпее.

— Я их пристально изучаю,— поспешил ответить Карл, упивавшийся речью учителя.

— Но для нас обоих колыбелью, взрастившею наш талант и давшею ему направление, был все-таки Па-

риж: с непревзойденными луврскими колоннадами, с версальской роскошью,— сказал мечтательно Воронихин.

— Только с той разницей,— продолжал Баженов,— что для меня это еще был королевский Париж Луи Пятнадцатого, а для тебя — Париж Национального собрания, «Прав человека» и клуба якобинцев. О, сколь твое время было завиднее моего!

— Оно — счастливейшее в моей жизни.

Сквозь обычную сдержанность Воронихина прорвалось такое глубокое чувство,— будто сквозь плотный покров взметнулось из глубины пламя,— что Карл дрогнул и вдруг по-новому увидал своего наставника.

Воронихин встал, прошелся, стал далеко от камина. Волнение его теперь выражал только голос, необычно размягченный.

— Меня с кузеном моим Полем Строгановым и воспитателем его, замечательным человеком, Жильбертом Роммом, послали в восемьдесят девятом году в Париж. Не встречал я богаче и благороднее характера, нежели этот Ромм. Образованнейший человек, талантливый скульптор, помощник Фальконета, он вместе с тем был пламенным якобинцем. Едва мы приехали, он основал клуб Друзей закона, где библиотекарем сделался Поль, а заведовала архивом красавица Теруань де Мерикур... Потом Поль вступил в клуб якобинцев, и у него на пальце появилось кольцо с девизом: «Жить свободным или умереть».

Росси слушал Воронихина, затаив дыхание, глубоко спрятавшись в тень за выступом камина,— боялся своим присутствием помешать такому важному для него разговору.

— Поль принимал участие и во взятии Бастилии?— тихо спросил Баженов.

— Он был в первых рядах. Поль Очер, так звался он в Париже. Как сейчас вижу его молодое вдохновенное лицо и слышу слова, которых ни он, ни я не забудем...

Воронихин прошелся по комнате и, подойдя к Баженову, слегка нагнулся и протянул к нему обе руки, словно хотел передать какое-то сохраненное им сокровище:

— Поль сказал после взятия Бастилии: «Лучшим днем моей жизни будет день, когда я увижу Россию обновленной такой же революцией. И быть может, мне

там выпадет та же роль, которую здесь играет гениальный Мирабо».

— Твоему Полю скоро представится прекрасный случай доказать на деле свой девиз и провести в жизнь свои замечательные слова,— сказал, подымая голову, с загоревшимся взглядом Баженов,— он ведь близкий друг Александра, а как только тот станет царем... обширное поле ему для опытов.

— Васенька,— просительно сказала Груша, давно вошедшая и слушавшая разговор,— не надо об этом, опять зря разволнуешься.

Но Баженов отстранил жену, положившую ему на плечо руку, встал, подошел к Воронихину, с горечью сказал:

— Ведь с мечтой о Павле и я соединял в молодости мечту о счастье моей родины. Я пожертвовал этой мечте наибольшим, чем обладал,— моим даром зодчего. Но что за безумие питать надежду о преобразовании деспотизма в разумную власть рукой самого деспота!

— Признаюсь, и у меня такой надежды больше нет,— отозвался потухшим голосом Воронихин.— Я слишком близко и рано узнал, как невозможно людям, стоящим вверху лестницы, где фортуна сыплет дары, добровольно отказаться от своих преимуществ. Прекраснейший человек граф Строганов, я премного ему обязан, однако как трудно было из его рук получить свободу даже мне, его, так сказать, родственнику... Этот барон Строганов, мой отец, когда открыл масонскую ложу в Перми, желая и меня провести в масоны, настоял, чтобы граф дал моей матери, его крепостной, вольную. Ведь по масонскому уставу только сын свободной матери имеет право стать членом ложи. И масонство для меня прежде всего оказалось свободой — прекращением бытия рабского. Входя в ложу, я действительно был равный с равными.

— Пожалуйте к столу,— сказала весело Грушенька, хлопоча у кипящего старозаветного самовара, еще полученного в приданое,— а потом и Казакова посылку рассмотрим. Любимый это ведь мой дворец в Царицыне, как сказка он из тысячи одной ночи.

— И какой грандиозный у вас получился тут размах,— сказал Воронихин,— какая мощность воображения! Этот переход от кремлевского классицизма к такой необыкновенной пышности.

— Царицына причуда,— пожал плечами Баженов,— ничего она в искусстве не смыслила, а как раньше заладила по-модному — у меня все самое римское, так вдруг — вынь да положь — мавританское. Однако мне эта мысль понравилась: вышло неожиданно в гармонии с пейзажем и в какой-то фантастической связи с древним русским зодчеством... Вот, гляньте, главный фасад,— Баженов раскрыл на свободном краю стола большую папку и вынул прекрасный рисунок тушью.

Два больших квадрата с восьмигранными башнями. Стены красные, изукрашены ажурным из белого камня орнаментом, стрельчатые окна, белые колонны.

— В густой зелени парка это белое на красном было как кружево,— сказала восхищенно Грушенька,— особенно хороша вот эта галерея в два яруса с белыми башенками, островерхими пирамидками, арками. Я входила туда как в чудный сон,— мечтательно добавила она, и Росси на миг загляделся на ее вдруг помолодевшее, прелестное в своей непритязательной женственности лицо.

Но когда из рук Воронихина до него дошли рисунки и чертежи, присланные Казаковым, он погрузился в них и забыл, где находится. Главное, что поразило его уже требовательный глаз, это было полное отсутствие громоздкости, тяжести при большой и сложной монументальности замысла.

Галерея соединяла большой дворец с особливым корпусом в два этажа для кухонь, приспешень и погребов, и это было так умно рассчитано, что только облегчало массивность центрального здания и хлебного двора, подхваченного двойными колоннами.

— Вот здесь, от дворца к оперному дому, пробегала моя самая любимая «утренняя дорожка»,— указала на рисунок Грушенька.— Ах, что за чудесные липы благоухали по обеим ее сторонам! Даже пчелки там только жужжали, а не жалили...

— В какой несравненной пропорции линий взяты арки, зубчатые башни, стрельчатые окна,— восхитился Воронихин.— Русская псевдоготика — явление столь самобытное! Ничего подобного нигде не найти, а у нас стоит под самой Москвой...

— Не стоит, а стояло,— поправил его насмешливо Баженов.

— Но почему, по какой причине это сказочное строение, которому по оригинальности замысла нету равного, подверглось столь жестокому отвержению? — невольно вырвалось у Росси.

— Почему? — с горькой иронией повторил Баженов. — А вот послушайте: Екатерина возвращалась в Москву из знаменитого своего путешествия по Крыму, когда великий льстец, светлейший князь Тавриды, сумел ей показать, подобно хитрому актеру, товар лицом. Одни знаменитые «потемкинские деревни» чего стоили? Словом, императрица возвращалась в окончательно окрепшей уверенности относительно счастья и благоденствия своего царствования. В Москве ее встретили с восторженной пышностью. И вдруг — потрясающая весть — заговор. Посягательство на ее трон, быть может — на жизнь... Так донес ей о неосторожной деятельности масонов московский главнокомандующий граф Брюс. Самая вольнодумная и опасная для монархии часть масонов, иллюминаты, вступила в сношение с заграницей. Императрице представили точные сведения об особом расположении масонов к персоне наследника Павла, связь же с ним установлена через меня, сиречь архитектора Баженова. И вот тут-то назначается день для осмотра Царицынского дворца. Все последующее понятно, — закончил, как бы утомившись, Баженов.

— А какой веселый пришел Васенька домой, — воскликнула Груша, — он позвал меня, приказал понаряднее одеться для дня осмотра: «Ведь ты должна быть представлена императрице — так сказал мне генерал Измайлов, надзиратель за работами...»

— Ну, раз ты начала об этом, — сказал Баженов, хмуро обернувшись к жене, уже испуганной своей непосредственностью, — я не могу не кончить: назавтра, друзья мои, вместо торжества — позор! Страшный, безобразный сон. В парадной карете появление императрицы, ее знакомое надменное лицо, не смягчаемое, как на портретах, искусной приветливой улыбкой, а лицо злое, с угрожающе стиснутым, властным тонкогубым ртом.

«Это острог, а не дворец, — сломать оный до основания!» — И жест маленькой руки, не терпящий возражения, генералу Измайлову. Повернулась, поплыла к своей карете.

— Васенька, дорогой! — воскликнула Грушенька в каком-то странном восторге, беря Баженова за руку.— И все-таки этот день для меня наисчастливейший, он возвеличил меня твоей любовью. Перед всеми ты, не нобоясь, ее засвидетельствовал, чем гордиться я буду до смерти... Только послушайте, Андрей Никифорович, и вы, Шарло, что он сделал: едва отвернулась разгневанная императрица, Василий Иванович побледнел, как стена,— и за ней следом, чуть ли не дернул за шелковый шлейф: «Ваше величество,— говорит, задыхаясь от волнения,— минуту внимания». Она обернулась, испуганная, подскочили придворные. «Ваше величество,— говорит Василий Иванович и меня тянет за руку,— моей жене сказали явиться, дабы вам быть представленной. Если я имел несчастье не угодить вам своей работой, моя жена тут ни при чем, она не строила...» Императрица такими белыми от гнева глазами глянула на Васеньку, но, должно быть, вспомнила о своем милосердии, прославленном льстецами, и подала мне руку, потом все так же безмолвно прошла к карете. Но Васято не испугался гнева царского, не дал перед всеми в обиду свою жену. Даже супруга архитектора Казакова мне завидовала: «Это, говорит, почетнее, чем пара перчаток, присланная от нее мне в подарок».

Баженов благодарно обнял жену:

— Уж ты, Груша, известная позолотчица — и в черной ночи луч солнца найдешь. Дело было в том, что императрица свой гнев лично на мне сорвала, на моей работе. Ей уж были представлены бумаги, взятые у масонов, и могла быть найдена моя записка о разговорах с наследником в Гатчине. Я был в ее руках, но предать суду меня было нельзя, не бросив всенародно тень на самого Павла. К делу Новикова меня не привлекли, но моя карьера русского зодчего была загублена.

Баженов вдруг побледнел и покачнулся.

Воронихин сильной рукой подхватил его. Вместе с встревоженной Аграфеной Лукиничной отвели его в спальню. Через несколько минут Воронихин вышел и сказал обеспокоенному Росси:

— Ничего опасного, ему только необходим покой. Я тут на ночь останусь, в случае чего доктор в двух шагах, а ты, Шарло, иди домой.

Карл вышел. Предрассветная тьма поглотила его. Он прошел прямо к Неве. Хотя она еще была скована

льдом, но уже не было в нем зимней прочности. Особая, предвесенняя мягкая сырость шла от реки.

Карл глубоко задумался, не замечая бегущих часов. Перед ним только что раскрылась жизнь человека замечательного, и он ярко понял, что каждый рожден как бы начерно, условно названный «человек», но по-настоящему больше это имя каждому надо еще заслужить. По праву назовется им не за то только, что растет, множится, умирает, а лишь когда найдет дело своей жизни и вольет в это дело всего себя, всю свою энергию, отдаст ему свое неповторимое, неотъемлемое лицо...

И еще думал он, что, может быть, необходимо судьбе разбить человеку все, что зовется «личное счастье», чтобы он опирался на эти развалины, как на трамплин, для необходимости прыжка в нечто большее своей эгоистически личной природы.

Из великих личных страданий выросли в великих художников Данте, Микеланджело, Леонардо.

И как бы мог справиться со своей горестной судьбой гениального зодчего Баженов, чьи замыслы остались лишь в чертежах и обломках, если бы он не перевел уже свою лучшую силу творца в область совершенного бескорыстия, не превратил ее в источник вдохновения грядущих за ним...

Но тут же Карл ощутил величайший протест против этой горестной судьбы Баженова. И со всей страстью нерастраченных юных сил и сознанного дарования он поклялся себе, что добьется своего, оставит после себя не только проекты, но все задуманное выполнит.

В эту лунную мягкую ночь, полную ожиданий весны, Карл до рассвета бродил по великому городу, глубоко принимал его в душу с его великолепными зданиями, уже вознесенными над Невой, и с дворцами и домами новыми, которым, он уже знал наверное, даст когда-нибудь жизнь и воплощение не чья иная — его творческая сила.

Карл не заметил, как дошел до старого деревянного театра Казасси. Придворное ведомство его купило и переименовало в Малый. Карл остановился. В проясневшем небе далеко взором обвел пространство. Мечты охватили его: этот старый театр снести, возвести новый, великолепный в своей гармонии. Перед парадным фасадом с колоннадой развернуть до проспекта партерный цветник, сзади театра — полукруглую площадь, как

в парижском Пале-Рояль, окружить ее сводчатой галереей.

Долго в воображении Карл раздвигал пространство, создавал великолепному зданию своей мечты достойное его окружение.

Совсем посветлело небо, ожил ранний занятой люд. Открылся на Неве последний неопасный переход. Серо-голубое тающее небо над адмиралтейской золотой иглой, бледно-желтый с белым орнаментом чудесный фасад — как дивно открыта гармония сочетания красок. Эти тона, эта роскошная простота должны быть неотъемлемы от петербургского зодчества.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Имя Маши, которую, как это теперь было в моде, князь Игреев одарил новой, звучной фамилией — Яхонтова, появлялось все чаще в афишах, все хвалебней были о ней отзывы ценителей, и даже проскользнуло в газетах, что Психея, которую она как-то танцевала, заменяя больную мадам Гертруду Росси, в ее исполнении получила новую прелесть и свежесть.

Гертруда рассердилась и в присутствии Карла безобразно кричала, что Маша никак не сильфида, а всего лишь хитрая змея, которая хочет завладеть ее лаврами, и отказалась давать ей уроки. Бедная Маша была в отчаянии. Она в Карле искала поддержку, робко надеясь, что он ей устроит свидание с Митей. Но Карл и сам давно не видал друга и чувствовал, что тот намеренно его избегает. Так оно и было.

Митя, никогда раньше не задумывавшийся о том, что он был рожден крепостным и если бы не доброта дяди-литейщика, то, вероятно, навеки остался б рабом, сейчас болезненно переживал это обстоятельство. Никем не оскорбляемый, здоровый, красивый юноша, он до горестного события, связанного с утратой любимой невесты, был бессознательно эгоистичен, счастлив и полон надежд на будущее благодаря сразу признанным способностям и легкой удаче в живописи.

Все, что пришлось ему испытать из-за Маши, довело в несколько месяцев ум его и чувства до внутренней зрелости.

Тысячи мыслей, одна рождаемая другой, мучили его теперь, не находя себе разрешения и ответа.

Страстное возмущение рабством, которым была полна неистовая книга Радищева, хранившаяся у него как святыня, стало постоянным его состоянием. Легче всего Мите было теперь в доме Воронихина. У него к Андрею Никифоровичу появилось чувство, похожее на обожание, за то, что он был тоже рожден крепостным, немало претерпел унижений на своем пути, но все победил и стал таким могучим человеком. Благодарен был ему и за отношение к его горю как к своему собственному, чего не мог он ожидать от Карла Росси, при всей его дружбе.

Родным стал Мите и смышленый мужичок-самокатчик, который с необыкновенным спокойствием и уверенностью в успехе мастерил свое мудреное орудие освобождения — удивлявший всех самокат. Чем ближе узнавал его Митя, тем сильней поражал его необыкновенно умными насмешливыми суждениями прирожденного наблюдателя.

Сегодня Артамонов и Митя опять должны были обойти, как говорил Воронихин, «невольничьи рынки» в поисках подручного, хорошего слесаря, которого они всё еще не нашли. Прежде всего оба двинулись к Синему мосту на Мойке, где перед великолепным дворцом Чернышева кишел народ. На скате у самой реки было пестро от людей, закусывавших и отдыхавших в ожидании подходящего наемника.

Кое-кто после хмельной выпивки крепко спал просто на камнях. Эта площадь была главным местом купли-продажи, найма и обмена.

И кого только тут не было! Олонецкие пильщики с отливавшими синью на совесть разведенными пилами чинно стояли целой артелью, как войско с особым видом оружия. Ярославские маляры, тороватые говорливые мужики в фартуках, сидели при своих ведрах с целым набором больших кистей; кисти малого размера они аккуратно засунули за свои голенища. Ямские кучера в синих суконных армяках, подпоясанные красными кушаками сразу под мышками, казавшиеся оттого великанами, степенно гуторили, выхваляя друг перед другом отличные стати жеребцов, прошедших через их руки, и богатых господ, которыми сейчас гордились, забыв, как те их драли на конюшне. Ямские эти как бы

держались без помощи ног — на одних лишь туго простеганных ватных армяках, доходящих до земли. И так велика была их важность от привычки надменно покрикивать на пешеходов с высоких козел, что и сейчас ни один не удостаивал разговором сновавшую вокруг мелкоту вроде садовника с лейкой и мальчишек-парикмахеров, взаимно завивших друг другу головы бараном, чтобы нанимателю стало наглядным их высокое искусство.

Только появление дородной кормилицы в расшитом кокошнике, богатых бусах и лентах привлекло внимание извозчиков. Все они на нее обернулись, а один даже выкрикнул одобрительную оценку ее дородству:

— Король-баба!

Но кормилица, сопровождаемая строгой женщиной в темном, которая оказалась свекровью, только тихо плакала и просила старуху:

— Уж вы, матушка, бога ради, моему Ванюшке молочко-то водой не разводите! Вы ему целенькое...

— Сыт будет, не твой первый на рожке выпоен,— ворчала старуха, а ты смотри, не больно-то реви. Хорошие господа уважают мамок приятных, да чтобы к родному своему дитю не тянулась...

Лакей, прогнанный за беспробудное пьянство, прихорашиваясь и глядясь в карманное зеркальце, сказал:

— Хорошие господа завсегда имеют в себе бесчувственность. Они этого не потерпят — чтобы убиваться. Им которая из ваших сестер поумней — обязательно соврет, что ребенок ее помер, хотя б он и жил.

— Ванюшка чтоб помер!— завопила мамка и, грозно наступая на лакея, ко всеобщей радости, осыпала его отборнейшей бранью.

Под общий веселый хохот лакей поспешил скрыться в толпе.

— Вот она — взаправдашняя-то жизнь,— глянул самокатчик на Митю,— в хоромах сидеть — вовек правды не узнать.

К ним подошел, поздоровался Павел Иванович Аргунов. Он сюда пришел в поисках штукатуров для Фонтанного дома. Рассказали ему про мамку...

— Этим еще не так плохо,— знающим тоном сказал Аргунов,— они уже обломались в городе, и ночлег верный есть. Вот пришлым плохо, тому, кто впервые сюда залетел оброк барину собирать. Все-то ему чужаки, все

звери, всякого-то он боится. Ну и ловят их, сердешных, за грош! Чиновники на это дело особые мастаки. Наймет девчонку одной прислугой, да и навалит весь дом ей на плечи.

— А нужда-то мужичка из избы гонит,— сказал самокатчик.— Хлеба до весны редко где хватит, весной — иди в кусочки, побирайся.

Внезапно поднялась в толпе брань, перешедшая в крики, а вот уже стали стеной, засучили рукава одни на других — и пошли в кулачки.

— Это подрядчики со старостами, выбранными обществом, никак в драку вступают,— пояснил Артамонов.— Наниматели больно ценой их прижали, а у старост еще и к рукам с этой платы прилипнуть должно. Даром все норовят мужицкий труд взять. А ну-ка, пойти разузнать...

Самокатчик и Аргунов пошли к гудящей, как улей, толпе. Митя же оцепенел на месте, наблюдая, как подошедший к пожилой женщине чиновник, словно лошадь, осматривал ее сына, подростка-паренька: он отворачивал ему губу, считал зубы, пока мать его безмолвно плакала.

— Не от нужды наши господа продают — от излишка,— скороговоркой расхваливал паренька доверенный от хозяев.— Больно много этих недомерков у нас в вотчине наплодилось, девать их некуда! А он парнишка тихий, еще вовсе не поротый,— тараторил приказчик,— и в комнатах хорошо обучен и при гардеробе, он на все руки вам будет. В придачу, ваша милость, и матку его берите — тоже кухарка за повара.

Чиновник, оглядев женщину тем же глазом барышника, угрюмо сказал:

— Была да вся вышла, ты б еще мальчишкину бабку мне сватал.— Чиновник стал не торопясь платить за мальчика.

Митя, конечно, знал, что такие сцены происходят ежедневно на вот этой самой площади, да и в книге Радищева довольно было примеров жестокой продажи людей. И все же, когда чиновник вместе с приказчиком стал из объятий матери вырывать парнишку, Митя не выдержал и, подбежав, крикнул:

— Звери вы — не люди! Хоть попрощаться дайте да адрес ваш скажите, чтобы мать сына могла навестить.

— А нам материнских визитов не потребуется, неизвестный молодой человек,— язвительно сказал чиновник.— Себя же вы успокойте, беззаконных дел здесь не производится. А коли вы законами государя императора недовольны, уж это будет иной разговор, и на вас мы найдем управу.

Митя, вне себя, заладил одно:

— Обязаны дать ваш адрес, обязаны!

Подоспевший Аргунов отвел его за руку и шепнул:

— Молчи, они сейчас будочника позовут и такое обвинение на тебя состряпают, что не обрадуешься. И чего ты своим криком добьешься? Ведь они в своем праве. Лучше пусть Артамонов пойдет тихонько за чиновником и своими глазами увидит, где тот проживает. Парнишкину мать, наверное, в отъезд продадут, и необходимо, чтобы она не потеряла своего сына из виду.

Самокатчик тем временем шушукался с матерью мальчика и, узнав, где она живет, обнадежил ее насчет сына, подмигнул Мите и, как ни в чем не бывало, потихоньку пошел следом за чиновником, уводившим паренька, да так хитро, что тому было невдомек. Митя упорно остался ждать возвращения Артамонова, отдав плачущей кухарке все, что при нем было. На эту историю в толпе и внимания не обратили.

Как улей, все взбудоражены были победой плотницкой артели, которая не пошла в кабалу к нанимателю, устояла и нагнала себе цену.

Оброчные со всех концов России прибывали сюда все новыми партиями. Были тут землекопы из Белоруссии, ярославские штукатуры, печники, галицкие плотники...

— Эй, чухлома!— кричали кожевникам, неразлучным с особым кислым дубильным запахом.— Пойдем на кулачки, погреемся, пока покупатель не клюет,— подступали веселые саечники-хлебопеки к мрачным мужикам.

— Пошехонье,— пренебрежительно отвечали кожемяки,— да рази такой это час, чтобы в кулачки иттить? Эх, неправильный вы народ!

Ростовец-огородник, указывая на победителей, позавидовал:

— У энтих всегда прибыточные дела будут, потому — ловкачи-москвичи!

— Павел Иванович,— сказал Аргунову Митя,— ужели этот народ, который, как скот, набирают на ра-

боту и содержат еще хуже скота, неужели он никогда не взбунтуется?

— А Пугачев?— вопросом ответил тихо Аргунов.— Сообрази он тогда свернуть вместо степей на Москву — может быть, о крепостном рабстве только понаслышке б и знали. Да и помимо Пугачева бывали дела... Недалече ходить — при матушке-царице, в тысяча семьсот восемьдесят седьмом году, богатый подрядчик, купец Долгов, руководил работами по облицовке гранитом набережных Фонтанки и учинял ужасные притеснения находившимся при строении. И вот, помнится, осенью выборные четыреста человек от четырех тысяч двинулись к Зимнему дворцу с челобитной. Они кланялись до земли каждой фрейлине, высунувшейся из окна, по невинности принимая ее за царицу,— много над этим смеялись в свете, слыхал от Шереметевых. Ну что же, сколько-то челобитчиков схватили под караул за «учинение скопа и заговора», только про них и слыхали. Видом они были от горя и нищеты — краше в гроб кладут, тоже заговорщики!.. Да, Митенька,— закончил печально Аргунов,— дорого плачено за гранитные набережные, за красоту города Санкт-Петербурга. Кровью да по́том народными.

Особый интерес был у Мити к судьбе продававшихся крепостных женщин, потому что невольно гвоздила мысль: вот такова была б участь Маши, не пойди она на посулы князя Игреева. Аргунов и о крепостных женщинах мог в подробности рассказать. Кроме продажи по газетным объявлениям рядом с борзыми и дорогой сбруей, были невольничьи женские рынки и в центре города и в преуютных прицерковных двориках. Искусницы разного рода рукоделий ценились подороже, черная рабочая девка шла вовсе дешево.

Рассказал Аргунов и про более затейливые способы сбыта девушек с рук. Так, одна шереметевская знакомая, именитая барыня, отобрав самых пригожих девочек, обучила их танцам и музыке и продала за большой куш предпринимателю «веселого заведения».

— За одной такой — Анетой звали ее — я долго следил,— невесело сказал Аргунов,— дважды ее в карты проигрывали, переходила из рук в руки, пока особо злому издевателю не попала. Заколола его, а потом и себя... Гордая была.

У Мити злобно промелькнуло в голове: а Маша не закололась, в балете сильфидой порхает!

И желая услышать от Аргунова какое-либо косвенное осуждение поступка Маши, в надежде хоть немного разрешить свою сердечную боль, Митя с раздражением спросил:

— Заколоть оскорбителя с пьяных глаз сумела, а заработать на выкуп честно — пороху не хватило? Если она танцы и музыку знала, могла бы в оброк отпроситься.

— Так ее и отпустят! Еще мужчину туда-сюда, да и то пока барина каприз не прошел. А не то, хоть европейским портретистом считается, домой отзовут, и, бывает, в лакейскую. А непокорливый нрав — на конюшню. Нет, брат, крепостному с талантом впору петлю на шею либо водку глушить. А девка коль хороша, один путь — в канареечки. Хоть золотой клеткой потешится. А в оброк — не слыхал, чтоб пускали... Наши Шереметевы — наилучшие из господ. Уж эти и разбогатевшему оброчному вовек не скажут: сам ты весь мой, значит, и деньги твои — мои. Эти чужого не отберут, напротив того: «Пользуйся своим миллионом на здоровье,— сказал наш граф одному богатею, принесшему его за себя в выкуп,— а вольной тебе не дам. Своих денег у меня довольно, а владеть тобой, богачом, мне только лестно».

— А как же Шелушин, шереметевский крепостной, получил вольную?— поспешил спросить Митя.

— А за что? За анекдот веселый. Тысячу раз прав ваш сибиряк-самокатчик: хохотком да прибауткой, а не честью надо господ брать, всего они объевшись, их только на пряное тянет. А с Шелушиным вышло так: неоднократно просил он отпускную, уже известный богач. Уперся наш: «На что тебе воля? Что я, богатеть тебе мешаю? Да на здоровье!» И вот какая оказия вышла: привез как-то Шелушин в подарок графу устриц бочонок и тут нежданно-негаданно свою фортуну прямо за косы и схватил. Как раз в этот день у графа на Фонтанном доме парадный ужин предполагался, а в устрицах нехватка. Во всем городе, как назло, нет и нет. Шумит граф, у метрдотеля требует — вынь да положь. А тут и принесло к нему оброчника-богатея. Граф ему: вот просил ты у меня не раз вольную; слово мое — отпущу, добудь только нынче к ужину устриц. А у богатея в прихожей — готовенькие. Выкатил он молча бочо-

нок — получайте, ваше сиятельство! Граф тут ему в обмен — свой подарочек. На том самом бочонке и вольную написал.

— То-то я не дурак, что свой самокат затеял,— усмехаясь, сказал недавно подоспевший Артамонов,— не я буду, если мой самокат не обернется тем бочонком с устрицами...

— В добрый час сказано,— потряс ему Аргунов руку,— я уж и сам тебя к слову помянул. Ну, узнал адресок?

— До самой калиточки довел, теперь только маменьку-кухарку порадовать. Она тоже помещена к некоей старушке, видать, не окончательно лютой, и по пути к сыну живет. Проведаю ужо обоих.

— А сейчас пройдемте на Неву, душно мне здесь,— сказал Митя.

День был чудесный. Зима опять перебила начавшуюся было оттепель, но морозец стоял небольшой, сухой при ярко-синем небе.

Остановясь на мосту, залюбовались городом и его дальними перспективами.

— Весело тут летом,— тряхнул Митя светловолосой головой, как бы отгоняя тяжелые впечатления дня,— часами, бывало, стою тут и любуюсь на гребные команды, особливо юсуповские. Те, что на длинных веслах, идут по Неве, а коротковесельные — по каналам. Гребцы разукрашены, как в сказке: великолепно по краскам — вишневые куртки, шитые серебром, на шелковой белизне рубах, шляпы с перьями, ну просто Венеция. А в лодках музыканты, роговая музыка чистейшего звука, какая-то уносящая от земли...

Аргунов зло рассмеялся:

— А каково музыканту, создающему это неземное впечатление, хоть раз пришло тебе в голову? Участник рогового оркестра должен каждый навеки свистать одну и ту же свою известную ноту. Утратив всякое человеческое достоинство, иные из них, слыхивал я, не без гордости величают себя уже не своим именем, а исполняемой нотой; я нарышкинское до́...

— А сколько палок на таком обломали, пока обмозговал он свою ноту!— сказал самокатчик.

— Да ты сам много ль бит?— хлопнул его по плечу Аргунов.

— Маху дали,— ухмыльнулся сибиряк,— я сызмальства увертливый. Хоть и сказано: душа божия, голова царская, спина барская,— свою спину сумел сберечь. Бывало, возьмут мальчонкой в форейтора. Свалиться — беда: если лошадь не потопчет, на конюшне запорют. Так я старших просить надоумился, чтобы меня ремнями привязывали к седлу. Сомлеешь, бывало, а свалиться — не свалишься. Болтается голова, как кочан на ветру, случалось, водой отливали, зато розгой нет, не трогали. Ну, однако ж, мне пора и честь знать, за разговорами свое дело забыл. Пойти засветло подручных себе подыскать. Ведь из-за того парнишки я утренних всех упустил.

— Сейчас иди искать только на Вшивую биржу, на угол Владимирского,— сказал Аргунов,— там обжорный ряд торговлю раскинул, и все полдничать кинулись. На пирогах их настигнешь; кто лихо ест, тот, известно, лих и в работе.

Самокатчик пошел было, что-то вспомнил, вернулся, подошел к Мите, внушительно сказал:

— Нынче вечером к Андрею Никифоровичу приди, Митенька, он мне строго наказывал. Чтобы обязательно...

— Да уж приду,— отозвался Митя.

Его опять захлестнула тоска, и еще горшая, чем поутру. И странная детская злоба на Аргунова — зачем не дал и минуты отдыха, опять повернул мысли на оборотную, мрачную сторону восхищающей чувство красоты. Он раздраженно сказал:

— Дивлюсь на вас, Павел Иванович, так вы беспощадно крепостное зло видите, а хоть бы одного барина уложили?

— Совсем было раз собрался, да вовремя одумался,— неожиданно поведал Аргунов.

— Сибири устрашились?

— Не столько Сибири, сколько бессмыслицы такого занятия: одного барина убьешь, другой на его место станет.

— Расскажите, Павел Иванович, как было дело,— устыдившись себя, серьезно попросил Митя.

— Невеселый рассказ, хотя живописный в смысле картины наших помещичьих нравов. Взял меня как-то граф к своему соседу-приятелю — вместо заболевшего художника ему для спектакля домашнего занавес напи-

сать. Занавес написал, а декорации не поспели, и лес пришлось изображать, так сказать, домашними средствами. На подмостках тесно уставили мальчиков с кудрявыми березками в руках — чудесный издали молодняк. В этом лесочке, по тексту пьесы, появились охотники и медведь. Актер-медведь, завернувшись в мохнатую полость саней, взревел и, согласно замыслу автора, пошел на охотников. А барин-хозяин тихонечко своему датскому догу как шепнет: ату его! — и спустил с цепочки. — Дог — на медведя, впился клычищами, тот ревет благим матом, березовый лес вмиг попадал, ребята врассыпную. Крик, слезы, у медведя кровь ручьем... А я рядом с барином с большим молотком стоял, уйти не успел — последние гвозди в декорации заколачивал. Вот как все заревут, а барин — ну хохотать, у меня сама собой рука с молотком поднялась. Из последних сил удержался, чтобы его по голому черепу не хватить. Эх, — вздохнул Аргунов, — что за толк в бунтах и убийствах? Запорют — и вся недолга. Раньше срока не повернешь это дело.

— А срок этот будет когда? — спросил гневно Митя.

— Обязательно будет, — строго и веско ответил Аргунов, — только увидим ли мы с тобой — не скажу. Но времечко стукнет.

Воронихин, не говоря о причине приглашения, звал Митю для того, чтобы показать ему законченный им портрет Маши. Он близко принимал к сердцу ее печальную историю и то, как тяжко и бесповоротно осудил ее Митя. Он решил с ним об этом поговорить.

Когда Митя вечером вошел в просторный кабинет Воронихина, он с отеческой лаской усадил его рядом с собой на широкий диван и умело заставил рассказать не только про зрелище «невольничьих рынков», но и про всю ту бурю негодующих чувств и гневных мыслей об ужасе крепостничества, которые оно вызвало.

— Вот теперь по всей справедливости и суди бедную Машу, — сказал Воронихин, беря Митю за руку, — посмотри-ка ее портрет.

Воронихин подошел к мольберту и поставил на него большой подрамок, который стоял перевернутым к стене.

Митя опешил: если б можно, он убежал бы, не взглянув на портрет, но Воронихин подвел его ближе, спросил:

— Ну, как ты находишь, похож?

Воронихин поднял зажженный канделябр, и боковой свет мягко упал на вдохновленное большим талантом и вместе с тем бесконечно печальное лицо Маши.

Нервное напряжение всего этого дня было велико, и сейчас Митя не выдержал: он повалился на диван и зарыдал.

Воронихин бережно, как все понимающий старший брат, обнял Митю и, крепко сжимая его руку, сказал:

— Если по-прежнему любишь Машу, все будет хорошо. И горе ваше пройдет, едва она получит свободу.

Митя мигом пришел в себя и спросил с изумлением:

— Но разве не куплена ее свобода ценой нашего счастья? Разве не совершилось непоправимое? Ведь Маша — фаворитка Игреева.

— Нет,— сказал Воронихин,— и, я надеюсь, ею не будет. Князь Игреев, всем пресыщенный, в этом своем новом сердечном капризе желает, чтобы угодить государю, предстать рыцарем. Всем, кроме того, вскружило голову известие, что Шереметев женится на бывшей своей крепостной. И сейчас, согласно модному капризу нашей знати, князь объявил Маше, что будет ждать от нее любви свободной, по склонности сердца.

— Но вольная?

— Вольная действительно имеется, но не у Маши в руках. Игреев взял меня и мать Карла Росси в свидетели, что им совершена формальная отпускная, и он нам ее издали с дьявольской улыбочкой показал. Но при этом прибавил, что испытанию его сердца положен целый год: если Маша в течение этого времени не «снизойдет» к его нежности, то ее вольную он разрывает, а она из балерин может быть разжалована хоть в скотницы. Но дела, кажется, могут повернуться к лучшему. Пока ты, Митя, в тоске всех нас избегал и никому не верил, мы оказались неплохими кузнецами твоего счастья,— любезно улыбнулся Воронихин.

Митя страшно побледнел:

— Этот сиятельный негодяй при вас выговорил свои чудовищные условия, и вы его не убили? Не дали ему пощечины? Ну, так это сделаю я. Я убью его как собаку...

Митя вне себя рванулся куда-то бежать. Воронихин почти насильно усадил его рядом с собой на диван.

— Если бы я убил Игреева,— сказал он,— меня бы сослали в Сибирь, а Маше навеки быть крепостной. Если сейчас убьешь ты его, будет то же самое. Но вот пока ты с незаслуженным гневом отвернулся от несчастной невесты, об освобождении ее взялись хлопотать другие... Ты же должен одно — повидаться с Машей, вдохнуть в нее новые силы, надежду. Она чахнет, здоровье ей заметно изменяет. Она просто на глазах сгорает. Искусство — единственное, что дает ей забвенье той большой муки, которую терпит она ради тебя. И может случиться то, чего уж, конечно, ты не желаешь. Через год, когда, надеюсь, свободы мы для нее добьемся, ей она уже не будет нужна.

Митя, впервые забыв свою боль и желая понять только состояние Маши, с беспокойством спросил:

— Больна она? Как ей помочь?

— Об этом позаботятся разные люди с разными личными побуждениями, но, к твоему счастью, направленными к одной цели — вырвать возможно скорее из рук Игреева Машину отпускную. Люди эти: твой друг Карл Росси, его мать, знаменитая балерина, и некая высокопоставленная девица Тугарина.

— Катрин,— воскликнул изумленный Митя,— она-то как здесь?

— Имей терпение дослушать,— учительно, как обычно, остановил Воронихин.— Росси движим чувствами благороднейшей дружбы и бескорыстным восхищением перед Машей; его мать Гертруда полна бешеной актерской зависти к своей ученице, которая нежданно выросла в ее соперницу. Сын уверил свою тщеславную мать, что едва Маша получит на руки вольную, она бросит сцену и уйдет с тобой куда глаза глядят, подальше от Игреева. Ну, а третье заинтересованное в этом лицо, Катрин Тугарина, недавно усмотрела в князе Игрееве самую для себя блестящую партию и, выходя за него замуж, очищает свой будущий дом от соперниц.

— Вы уверены, Андрей Никифорович,— сдерживая дыхание, спросил Митя,— что, как сказал своей матери Карл, действительно Маша готова совсем бросить сцену и уехать со мной?— С надеждой и страхом смотрел Митя в умное, сильное лицо Воронихина, привыкшее сдер-

живать свои чувства и скрывать мысли.— Умоляю вас, одну чистую правду.

— Я скажу тебе эту правду, Митя,— твердо ответил Воронихин.— Если бы Маша в порыве долго таимого чувства и бросила ради тебя свое искусство и сцену, она бы вскорости стала так же заметно хиреть, как мы видим сейчас, когда она живет одним лишь искусством, лишенная твоей любви. И то и другое необходимо сочетать. Но как — пока я не вижу возможности. Как только Маша лишится протекции князя, она в театре окажется у разбитого корыта. Завистницы ее заклюют, и карьера ее как балерины окончена. Все они там держатся связями или имеют очень прочное положение, а она новенькая.

— Значит, остается мне самому завоевывать себе положение, чтобы не лишить Машу возможности делать любимое дело, не заглушить своего дара. Но как? Где? Ума не приложу.

— Мне кое-что пришло в голову, Митя,— осторожно сказал Воронихин.— Сейчас ко мне придет один, по-моему, очень тебе нужный человек; ты послушай-ка, что он расскажет, а потом и поговорим.

— Загадками говорите, Андрей Никифорович, ума не приложу, кто может быть этот человек.

— Если я скажу тебе, что зовут его Иван Петрович Дронин, что он военный и состоит при Суворове, это ничего тебе нового не прибавит, не правда ли?

— Суворова я высоко почитаю, но к военному делу у меня влечения нет, все-таки путь мой в Академию. Только на днях решил я идти не на архитектурное отделение, а на живописное: думаю, у меня способностей к этому больше.

— И я так думаю,— одобрил Воронихин,— и это обстоятельство как нельзя более кстати для того, что́ я для тебя придумал. Однако немного терпения.

Воронихин указал на часы:

— Иван Петрович человек военный, как сказал — не опоздает.

И действительно, вошедший слуга доложил о приходе майора Дронина.

— Проси прямо в кабинет.

И Воронихин оживленно пошел гостю навстречу.

Дронин был человек, по возрасту годившийся Мите в отцы. В жизни у него случилась тяжелая драма: жена,

которой он слепо верил, обманывала его с ближайшим другом. Дронин, вызвав оскорбителя на дуэль, убил его, а жена через некоторое время повесилась. Отсидев за дуэль в крепости, он отправился к Суворову в армию с надеждой в первом же деле с турками найти свою гибель. При взятии Измаила он отличился необыкновенной храбростью и умением вести за собой людей, был тяжело ранен и высоко награжден. Суворов его особенно отметил, посещал во время болезни, узнал всю его печальную историю и сумел так на него повлиять, что встал он с больничной койки новым человеком, думающим о победах русского оружия, а не о смерти. С тех пор Дронин сопровождал обожаемого полководца во всех боях, не оставил его и в ссылке.

Сейчас он временно приехал в Петербург хлопотать о своей отставке, чтобы иметь возможность уехать в Кончанское и быть полезным тому, кого в душе своей звал — благодетель навеки и отец.

Однако окончательные шаги для выхода в отставку внезапно приостановило известие, облетевшее все военные круги, о том, что государь весьма милостивым письмом вызвал Суворова из Кончанского.

Сегодня он узнал радостное дополнение к слухам: что государь получил от австрийского императора предложение отпустить Суворова принять командование над союзной армией в предполагаемом итальянском походе против Наполеона.

Дронин не сомневался, что Суворов примет предложение, отмахнув в сторону все нанесенные ему Павлом обиды. Давно он с волнением следил за успехами Бонапартовой армии и горько сетовал, что он не у дел, а бездарные полководцы не могут дать острастки «далеко шагнувшему молодому человеку», как именовал он первого консула. Дронин, конечно, решил следовать за своим полководцем и, переживая вторую молодость, как после измаильского дела, стал, в нетерпеливом ожидании приезда Суворова, готовиться к походу в Италию. С Воронихиным его связывало то, что он был ему земляком, происходя из мелкопоместных дворян Пермской губернии. Посетив как-то знаменитого зодчего по просьбе родных его по матери, оставшихся жить в деревне, соседней с именьицем Дрониных, майор пленился всей душой своим замечательным земляком и уже при каждом своем приезде в Петербург его навещал. Ушедший

с головой в свое военное дело, Дронин в общении с Воронихиным находил большое обогащение для ума и всех чувств. Взаимным обменом впечатлений был доволен и любознательный Воронихин. Кроме того, с тех пор как он принял близко к сердцу несчастье Мити, у него возник некий план в связи с энергичной личностью майора.

— Вот познакомьтесь, Иван Петрович, с моим юным другом Митей Сверловым, рекомендую — способный художник.

Майор ласково потряс несколько растерянному Мите руку, шумно и весело стал говорить Воронихину о том, сколь он счастлив сбираться в итальянский поход и не сегодня-завтра встречать дорогого фельдмаршала.

Митя подумывал, как бы ему приличным образом улизнуть: он особенно дичился военных, почитая их за светских людей, которые преимущественно обращают внимание на костюм и манеры, но, прислушавшись к тому, что говорил майор, скоро перестал помышлять об уходе.

Воронихин спросил, точно ли верны слухи о вызове Суворова из ссылки, и майор с восторгом приводил собранные им подтверждения, что от императора австрийского прислано письмо с предложением фельдмаршалу командовать союзной армией.

— Однако для Суворова будет тут плохо,— сказал Воронихин,— придется ему из австрийских рук смотреть.

— Посмотрит он, черта с два,— вспыхнул обидой майор,— да разве ему не привычно без австрийцев дело решать? Он баталию на один собственный страх любит вести. Было дело в восемьдесят девятом, разгромил он турецкий фланг и решил фронт переменить. Нам сказал, австрийцам же ни гу-гу, вот обиделись! Зато баталия без проволочек — победная. И посмеяться над ними умеет. Под тем же Рымником набрали мы турецких пушек. Австрийцы вцепились — к себе, а наши, натурально,— к себе. Как обычно, наш старик в самую гущу ввинтился, кричит: «Нашли о чем спорить! Дари, ребята, все пушки союзнику, где ему, бедному, еще взять! А мы себе получше добудем». Хохочут ребята: давись, Австрия, турецкими пушками.

Майор хохотом, словно громом, наполнил чопорный кабинет Воронихина, всем стало весело.

— Суворов ни в чем общему порядку не следует, так осудительно говорят про него при дворе,— заметил Воронихин,— то-то загнали его в Кончанское. Без своего дела давно сидит...

— Да не усидел,— подхватил майор,— ему вот семьдесят стукнет, а помоложе-то никого, чтобы русское войско прославить, когда час пробил. Сам государь в карман гонор спрятал, на все суворовские причуды сквозь пальцы глянул — вызывает ведь.

— По всему, что я слыхал про Суворова,— вступил наконец и Митя в разговор,— он, помимо гения воинского, и крепостью характера невиданный человек. Откуда только свою силу берет! Невелик, слаб здоровьем...

— А духом-то?— прервал Дронин и всем существом своим выразил восхищение.— Наш Суворов духом гигант. Во славу России воюет, и весь народ, как земля, его держит. Сам-то, конечно, здоровья хилого, худ, невелик — воробышек некий, однако ни жара, ни мороз его не берут. Насмотрелись мы в походах — всем пример. Закалил он себя, не жалеючи,— вот и сила его. И в солдатской любви. Не шпицрутеном — своим сердцем он солдатское взял, то-то в его руках тысяча штыков — десятка тысяч стоит. А почему? Из дерева высечь искру умеет и получает огонь и пламень. У других же полководцев, особливо на прусский манер, живой солдат в дерево обращен. Еще в давности, когда он под Кунерсдорфом воевал, хорошая, говорит наш фельдмаршал, вышла школа на чужих ошибках. «Насмотрелся я там Фридриховых правил, с которыми он чуть Пруссию не упустил. И создал понемногу свои правила, навыворот прусским». И что же, спрошу вас, воспоследовало?

Майор — небольшой, крепкий — круто, как ядрышко, вертелся в кабинете, перебегая от Воронихина к Мите, дополняя жестом пламенность чувства.

— А воспоследовало от применения суворовских правил следующее: военная служба у всех — пугало, а у Суворова служить — превеликое счастье. Он — отец-командир, и семья при нем выходит одна, военная. Каждому она — родной дом. У пруссаков не семья — точный механизм часовой. Заведен — идут часы, но человек из солдат вовсе выхолощен. Истинно тупозрячие. А у Суворова каждый станет героем, потому сам он истинно герой и до себя всех подымает...

Майор подошел к Воронихину, с трогательным доверием сказал:

— Ну, кто я был, когда к нему попал после вам известной моей несчастной истории? Как узнал, что жена моя себя порешила, ведь поехал я на турецкий фронт одной только смерти искать. А нашел-то благодаря ему не смерть, а воскресение из мертвых. Кисель я был, недоросль балованный, от первой в жизни беды распустил слюни. Суворов — отец он мне оказался — от себя самого спас. Мои растрепанные силы к новой, благородной и мне доселе неведомой цели собрал. Мозги мне своим примером прочистил, до сознания довел, что нельзя весь смысл в своем курятнике полагать, когда родина твоей доблести ждет...

— И вы под Измаилом дрались?— с загоревшимися глазами спросил Митя.

— А как же, я тогда несколько другим человеком стал. Разжег нас Суворов неприступную крепость эту забрать. А Измаил-то рвом широченнейшим окружен — в глубину не мал, водой все полнехонько. А над рвом этим вал, сажени в три. Ну-кась, перемахни. Гарнизон турецкий стянут с окрестных все крепостей, и приказ дан с угрозой — долой башку, коль сдадут. Над гарнизоном наилучший ихний паша — Айдос-Мехмет. А как на нас в Европе смотрели: не взять нам Измаила, не быть России великой державой. Решающая баталия. А у нас ни осадной артиллерии, ни войск. Большинство — казаки — не тем сильны, чтобы крепости брать. Но раз невозможное дело совершить надлежит, кого выбирать?— Суворова. Потемкин что-что, а приказать умел: атаковать Измаил, взять! Осмотрел неприступную крепость наш старик вдоль и поперек, отвечает Потемкину: обещать нельзя. Однако сам, между прочим, не медля ни минуты, к штурму готовится. Ну, в подробности вдаваться не стану, до завтра мне не кончить, как начну. А в краткости скажу, вспомня главное: созвал Суворов совет, объявляет: хоть Измаил неприступен и гарнизон нас сильней, однако я решил его взять либо сложить свою голову под его стеной. И на рассвете предложил штурм... И ведь до чего бедовый старик,— любовно рассмеялся майор,— сераскиру еще послание закатил: «Прибыл Суворов брать Измаил. Двадцать четыре часа на размышление — воля. Первый мой выстрел — уже неволя. Штурм — смерть». Затем преспокойно объехал

полки, со всеми вел свой короткий суворовский разговор, после которого ему все как богу поверили и в победу полную уверенность возымели. То есть сомнения ни малейшего, чародей он, ей-богу. Спокойно колоннами войска ко рвам подошли, и фашины свои во рвы побросали, и лестницы как надо подставили, и на вал взобрались. И в ответ на бешеную защиту турок с «фурией необычайной», как любил он выражаться, накинулись на врага. Как про это дело вспомню, так в ушах и стоят: «Ал-ла!.. Ур-р-ра!..»

Майор закричал во всю богатырскую глотку, забыв в своем увлечении, где находится. Двое слуг испуганно вбежали в кабинет. Воронихин только махнул им с улыбкой рукой, и, поняв, что господа забавляются, представляя войну, они чинно удалились. Майор, ничего не видя, продолжал свой рассказ:

— Со всех сторон к вечеру прорвались в Измаил колонны наши и зажали турецкий гарнизон. Комендант-паша убит, из конюшен вырвались бесноватые тысячи жеребцов, буря, адский огонь, безошибочный суворовский бой... Измаил наш. Свершилось дело, по аттестации самой императрицы, «едва ли в истории где находящееся». Кем совершено? Суворовым.

— Однако Екатерина даже фельдмаршала ему за него не дала...— начал было Воронихин.

Но майор, вытирая вспотевший лоб белым платком, взмахнул им, как флагом, прокричал:

— Интриги... зависть. Такова участь величайших благодетелей человечества — одарять его бескорыстнейше. А в смысле мелком, житейском, причина такова — большие обиды светлейший князь от Суворова терпел. В языке наш несдержан. Не однажды высмеивал Потемкина за леность, пиры и роскошество. Особливо утомил тот его вялостью, как расселся перед Очаковом и ни с места. Суворов и пустил известное всем словцо: «Одним погляденьем крепостей не берут». Донесли. Еще и стишок он пустил: «Я на камушке сижу, на Очаков я гляжу» — донесли. А после Измаила, своего неслыханного геройства, Суворов окончательно Потемкина оборвал. Тот ему сверху вниз, как со всеми привык говорить: «Чем могу я вас наградить?» А наш-то в ответ с изумлением: «Вы меня? Да ничем. От одного господа бога себе жду награды...» Дождался. Вместо фельдмаршальского жезла и почета его в Финляндию почти на

штатскую службу государыня упекла. Однако все же Суворову было легче в Екатеринино царствование, чем сейчас. Царица его хоть не любила, да ценила, а Потемкин кое в чем одного с ним мнения насчет солдата был, что для Суворова важнее персонального к нему фавора. Потемкин облегчение солдату в амуниции сделал — «солдатский туалет таков, что встал да готов». А ныне-то: шагистика, фрунт, коса, шпицрутен, Сибирь... За непризнание таковой науки и посажен в Кончанское. Ну и отрубил он, как на камне вырезал, свой приговор подобным свыше распоряжением: «Строгость от прихоти есть тиранство».

— Что старое поминать, дорогой Иван Петрович,— примирительно сказал Воронихин,— сами говорили, сейчас Суворов опять вознесен будет. Опять понадобится России.

— И как бы мог не понадобиться, ежели он первейший полководец и первейший по качеству человек?— с гордостью и чувством закончил Дронин и, вдруг глянув на стенные часы, смешался.— Ах, батюшки, у меня ж свидание важное по поручению фельдмаршала. А я столь задержался...

— Из-за него же и задержались,— улыбнулся Воронихин.— Это простительно; будь я помоложе, после вашей блистательной ему аттестации непременно просился б к нему волонтером.

— На своем месте и вы, Андрей Никифорович, первейший хозяин, что ни построите — гляди, на мраморной доске надлежит написать золотыми буквами, потомкам на память.

Крепкий, подвижной как ртуть, Дронин попрощался с Митей и Воронихиным рукопожатием сильной руки, словно передавая свое здоровье и свежесть чувств. Он позвал их обоих зайти к нему как-нибудь на днях посмотреть какой-то необычайной масти жеребца, интересного для живописной картины, и ушел быстрым военным шагом.

— Понравился тебе, Митя, мой земляк?

— Очень понравился,— улыбнулся Митя,— хандру он снимает. Повеселело, словно с ним вместе лесной воздух ворвался.

— А ты обратил внимание, Митя, на главную часть его рассказа, что таковым он совсем раньше не был, напротив того, аттестовал он себя погибавшим от разбития

личной судьбы. Ведь это не кто иной, как Суворов его воскресил...

— Не пойму, куда вы клоните, Андрей Никифорович,— насторожился Митя,— ведь не в волонтеры же мне проситься к Суворову?

— Почему бы и нет,— сказал Воронихин своим приятным, слегка наставительным голосом,— если пребывание в его войсках превращает недоросля, разбитого жизнью, в отлично свинченного, нужного человека, каким оказался Иван Петрович Дронин. Еще сходим к нему, присмотрись. А то порекомендую тебя как подходящего художника, им в походах весьма будешь кстати. А случится опасное дело — от него не откажешься, ты ведь, знаю, не трус. За время же твоего отсутствия, надеюсь, Маше добудем свободу, ко всеобщей радости. Ты можешь вернуться прославленным, с новым совсем положением. Чем судьба не шутит?— Воронихин взял Митю за руку.— Подумай-ка.

— А ежели буду убит, либо хуже того — изуродован?

— Я с судьбой не привык торговаться,— суховато отозвался Воронихин,— по мне всего лучше тут пословица: «Либо пан, либо пропал».

— Андрей Никифорович, простите, ежели дерзок покажется мой вопрос: я слышал, задача масонского ордена — создание высшей породы людей, лучших, чем обычные люди... Но как, в таком случае, члены подобного ордена терпеть могут рабство? Прошу вас, скажите, многие ли отпустили на волю своих крепостных?

Воронихин нахмурился. Митя попал в больное его место.

— Один Гамалея отпустил,— сказал он угрюмо,— один из всех нас он роздал свое имущество отпущенным на волю всем крепостным и остался гол как сокол. Последователей не нашлось.

— Но сейчас, Андрей Никифорович, во что сейчас вы верите?

— Только в лучшие будущие времена,— ответил со всей серьезностью Воронихин.— Не скоро, но таковые настанут. А сейчас вашему поколению надлежит самих себя создавать, людьми делаться такими, которые достойны будут принять новую, лучшую жизнь. И еще раз, Митя, совет: с твоей разбитостью, оставшись здесь, ты никуда не выберешься. Судьба предлагает тебе не-

жданную помощь — великий и доблестный пример человека, у которого слова не расходятся с делом. Воспользуйся не колеблясь.

Митя благодарно взглянул на Воронихина.

— Вы — как отец мне, Андрей Никифорович.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Денщик Прохор, вдруг отрезвевший после обеденной выпивки при виде лихой фельдъегерской тройки, свернувшей к дому Суворова, ворвался к нему в комнату и испуганно прошептал:

— Фельдъегерь жалует...

Суворов сильно побледнел, забилось сердце, и в голове пронеслось: дождался.

— Открыть ворота! — приказал он.

И, не забыв заложить закладку, вышитую крестиком дочкой Наташей, на оборванном чтении любимой книги о деяниях Петра Великого, он прошел к теплой печке и стал прямо, словно во фрунт, прислонясь спиной к расписным изразцам.

Суворов недавно послал государю просьбу о разрешении идти ему в монастырь. Он был истомлен вынужденным бездействием ссылки, тоской и обидой на Павла, которому не мог помешать калечить на прусский образец любимое войско. «Каждый солдат мне дороже себя,— говорил, не скрываясь, Суворов,— а у нас он подчинен ныне прихотям и тиранству. За солдата я кого угодно себе воздвигну врагом».

И воздвиг — самого императора.

— Покажет он мне тихую обитель в сибирской тайге,— шептал Суворов, ожидая фельдъегеря.

Но вторично распахнулась дверь, и, улыбаясь восхищенно, Прохор возвестил:

— Обознался я. К нам генерал Толбухин приехали!

— Проси, проси...— И Суворов сам кинулся в прихожую.

Толбухин был одним из немногих приятных ему генералов, присылка его в Кончанское означала царскую милость. Не изгнание, а почет.

В передней обнялись. Сбрасывая на руки Прохору, теперь уже опьяневшему от счастья, обширную волчью шубу, которую не прошибают никакие морозы, санови-

тый Толбухин, уважительно поклонившись Суворову, произнес:

— С великой вас честью!

Войдя в горницу, он вручил большой пакет с царской печатью.

— Его императорского величества собственноручное вам письмо!

Суворов сломал печать и прочел послание Павла:

«Граф Александр Васильевич! Теперь нам не время рассчитываться. Римский император требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии. Мое дело на сие согласиться, а ваше — спасти их. Поспешите приездом сюда и не отнимайте от славы вашей времени, а у меня удовольствия вас видеть».

— Пригодился Суворов! — усмехнулся фельдмаршал. Глаза его загорелись веселым лукавством.— В монахи-то, пожалуй, мне отложить?

— Это Питт, английский премьер, предложил вас союзной армии,— сказал Толбухин,— а министр австрийский Тугут, слыхать, упирался. Боятся они вас, однако пришлось уступить.

— Тугут! — воскликнул Суворов, и слабый румянец вспыхнул на его тонком лице, где, как на лице Вольтера, ничего не было лишнего, мертвого, не выражавшего силы, мысли и воли.— Сия сова или сошла с ума, или его никогда у ней не было! Засел в своем гофкригсрате и оттуда, за сотни верст, мнит управлять своей армией. То-то французишки бьют их. И не зря они меня боятся: я ихнего венского кабинета слушать не стану. И персонального себе профита австрийцы пусть не ждут от меня — я им не каштанный кот из огня каштаны таскать!

— Наши войска, согласно союзному договору, двинуты против Франции...— осторожно начал Толбухин, но Суворов быстро прервал:

— А коли двинуты — о чем и говорить? Теперь только нам побеждать во славу оружия русского! А сие возможно, ежели воевать будем по-русски, а не как нынче обучены все Тугутовы да и наши — по-прусски. Когда я молод был, мы Фридриха бить ходили, и аттестовал он нас так: московиты суть дикие орды. Зато после Кунерсдорфа редакцию изменил: этих русских, сказал он, можно всех до единого перебить, но не побе-

дить. А не он ли кричал, не помня себя, когда проиграл баталию: «Ужели для меня не найдется пули?»

И с обидой, заново вспыхнувшей, за свое возлюбленное войско, замученное павловской муштрой, Суворов выкрикнул:

— Ежели русские всегда били прусских, что ж и перенять нам у них?

Поужинали рано и пошли на покой. Выезжать надлежало на рассвете.

— Проша,— сказал, словно робея, Суворов,— ты бы у старосты в долг раздобыл. Путь-дорога нам дальняя, а у фельдмаршала денег-то...

— В кармане вошь на аркане — известное дело,— докончил Проша и пошел к Фомке, старосте.

Достал двести рублей.

Всю дорогу Суворов погружен был в глубокую думу. Лицо его, пленявшее быстрой сменой выражений, как бы замерло. Большие веки прикрыли зоркие глаза, он весь ушел внутрь себя. Он готовился к великому бою... Несмотря на большой соблазн предложения Австрии, он твердо решил взять командование союзной армией только в том случае, если Павел не свяжет его никаким обязательством следовать в предстоящем итальянском походе его прусским затеям.

В свою очередь и Павел немало волновался, ожидая Суворова. Прежде всего он боялся, что строптивый старик не поедет вовсе, и что же тогда с ним прикажете делать? Сейчас, ввиду внимания к нему всей коалиции, не ссылать же его, в самом деле, в Сибирь?

Со все растущей обидой вспомнил Павел, как в последнем свидании тщетно уламывал фельдмаршала вступить вновь на службу; как на разводе, куда Суворов был им приглашен, единственно из уважения к нему солдат пустили «в штыки», а Суворов развода не досмотрел и уехал раньше его, императора, явно придумав зазорный предлог: «Помилуй бог, схватило брюхо!» Припоминал Павел, шагая взад и вперед по опостылевшему покою Зимнего дворца, из которого все еще не удалось переехать в Михайловский замок, и все уже ставшие поговоркой народной издевательские словечки Суворова над введенной им формой одежды, над косой, треуголкой и пудрой. И как при встрече с ним Суворов нарочно не мог вылезти из дверцы кареты: все будто

путался в ней со своей шпагой нового образца под приглушенный хохот придворных.

«И какой только силой этот старик побеждает, воюя противу всех воинских правил?» — с досадой спросил себя Павел. Тут же с радостью вспомнил отзыв завистливого царедворца, услышанный им намедни: у Суворова не искусство военное, а чистый натурализм, сиречь — случай, безумие, счастье. Однако сей натурализм немалую нам снискал победу при матушке — под Рымником Суворов побил с двадцатью пятью тысячами сто турецких, а при Козлудже с восемью нашими вражеских сорок.

Павел подошел к высокому готическому шкафу, вынул старую книгу в кожаном переплете и сел в кресло. Он раскрыл Сен-Мартена на главе «О священной иерархии» и прочел знакомые страницы, которые неизменно подкрепляли его веру в свое высшее право и значение.

Выходило, что монарх — орудие самого бога, и на нем, после помазания на царство, как на лице духовном, почиет благодать.

«Коль скоро я не самовольно на троне, как моя покойная матушка,— гордо думал Павел,— я самим рождением моим поставлен над всеми, то сим правом обязан воспользоваться. Более того: обязан настаивать, хоть бы с применением силы, на исполнении воли моей».

А воля Павла была выражена еще в той записке, которую, будучи наследником, он подавал Екатерине о необходимости ограничить людей, от фельдмаршала до рядового, столь подробными на все инструкциями, чтобы ни мысли собственной, ни самоволия иметь не могли.

Тем более сейчас больная душа его находила недостающую ей опору в механичности порядка, доведенного до того предела, где и лишний вздох становится проступком.

А строптивый фельдмаршал, ему не раз доносили, во всеуслышанье объявлял: «Действуй неустанно собственным разумом — будешь жив, человек!»

Усилием воли Павел отогнал от себя распалявшие гнев воспоминания о Суворове. Сейчас все-таки самое главное — чтобы он приехал.

Наконец бешено примчавшийся курьер, предваряя фельдъегерскую тройку, привез известие, что фельдмаршал вот-вот прибудет в Петербург.

У Павла отлегло от сердца — не посмел ослушаться! Но тут же привычная подозрительность влила свою отраву:

«За легкими лаврами старик поспешил, думает, за горами мне его не достать. А ну, как разложит он мне самовольством всю армию? Досмотр за ним нужен, досмотр...»

И Павел велел призвать к себе генерала Германа.

Недаровитый, старательный служака, этот генерал, всем подтянутым видом отвечавший требованиям Павла, изобразил на тусклом лице своем одну готовность слушать и исполнять.

Павел сказал:

— Венский двор просил меня начальство над союзными войсками вверить графу Суворову. Предваряю вас, что вы будете все время его командования иметь за ним наблюдение и соответственно делать доклады об оном. Не допускайте его увлекаться своим воображением, заставляющим его забывать все на свете.

— Ваше величество,— оторопев от испуга, сказал Герман,— но фельдмаршал ведь всемирно прославлен победами, и ему шестьдесят девять лет...

— Нет ему возраста,— оборвал Павел,— а его своеволию нет предела. Исполнять, что приказано!

Доложили Суворова. Павел, сильно волнуясь, сделал несколько шагов на середину покоя. Суворов вошел.

Обычная легкость его существа от усилившейся худобы и болезней стала какой-то невесомой, крылатой. Казалось, он освобожден от всей земной тяжести и, если захочет, может взлететь. Гармоничность его быстрых мелких движений и соразмерность всех членов создавали впечатление отлично подогнанного легчайшего механизма, вместе с тем не хрупкого, но обладающего гибкой крепостью стали.

От нервного возбуждения сейчас особо подчеркнут был мускул правой щеки, чуть змеилась улыбка. Его глаза, широко раскрытые, синие, полны были такого зоркого огня, такой превышающей силы, что Павел вдруг смешался и не знал, что сказать.

Суворов поклонился согласно этикету, но заговорил первый:

— Ваше величество! Во славу моей родины приношу жизнь мою и все мои знания. Но слушаться гофкригсрата — воля ваша — не стану! За тысячу верст невозможно баталией руководить. Одна минута решает исход. Один час — успех кампании. Один день — судьбу империи. Коли я полководец — сам действую, сам решаю, сам отвечаю.

Павел сделал еще шаг к Суворову и внезапно для себя самого вдруг сказал:

— Воюй как умеешь...

Очень скоро Суворов уже несся в дорожной кибитке в Вену с неизменным своим спутником, денщиком Прошкой.

После прощальных возлияний с приятелями Прохор мирно похрапывал, а Суворов никак не мог успокоиться на кожаных подушках сиденья: то он вскакивал, наклоняясь вперед, как бы стремясь еще ускорить бег коней, то, взобравшись высоко, говорил сам себе:

— «Воюй как умеешь» — вот это дело! Ну и повоюем же мы...

Прохор проснулся и ворчливо сказал:

— И мягко, кажись, вам и тепло. Чего еще требуется? А человеку из-за вас не вздремнуть.

— Торжествуй, Проша,— Суворов хлопнул денщика по колену,— первая наша победа одержана. Как в поход тронемся, окаянную косу всем прочь!

— И дело,— согласился Прохор, зевая,— давно б ее крысам сожрать.

Митя уехал с Дрониным вслед Суворову.

Он виделся с Машей перед своим отъездом на плацу Коннетабля после развода. Случилось так, что Павел как-то, внезапно обернувшись, увидал смотревшую на развод Настеньку Берилеву, лично известную ему балерину. Вместе с подругой она прибежала сюда к своему воздыхателю на свидание, но государь пришел раньше обычного и, подбежав к балерине, грозно спросил: «Вам что здесь надо, сударыня?»

— Ваше величество, мы пришли любоваться, влекомые красотой сего военного зрелища,— окунаясь в придворном реверансе, сказали обе подруги.

Павел улыбнулся, и назавтра императорский балет получил приказ ежедневно присылать наряд балерин

присутствовать при разводе, если он столь сильно их восхищает. Немало досталось от подруг Настеньке Берилевой. Однако воля государя священна, и несчастные балерины, проклиная разводы и парады, принуждены были вставать еще раньше, дабы не явиться после государя. Пока Гертруда была заступницей Маши; ее не назначали на это досадное дежурство, но едва стало известно, что положение ее заколебалось, тотчас ее зачислили в список «разводных» балерин. Митя узнал, что Маша должна быть в «наряде», и поторопился увидеть ее по дороге домой.

Маша была предупреждена Митиной запиской о том, что ему необходимо ее повидать. Сильно волнуясь, она незаметно отстала от подруг, обещавших скрыть от надзирательницы ее недолгое отсутствие, и села на скамью под одну из древних елизаветинских лип, только что скинувшую зимний снег и особо отчетливо на бледно-голубом небе выделявшую сложный рисунок черных ветвей.

Воронихин рассказал ей, что Митя счастлив, узнав про ее действительные отношения с князем Игреевым. Но Машу это не обрадовало, как можно было бы ожидать. Ее гордость была задета, и сейчас, ожидая Митю, она, несмотря на счастье опять увидеть его, говорить с ним, горько думала о том, сколько примеси самолюбия в мужской любви.

— Ты меня простила... пришла?— сказал незаметно подошедший Митя, опускаясь рядом с ней на скамью и беря ее за руку.— Отчего же я должен был узнать от других, а не от тебя самой, что ты не состоишь в фаворитках Игреева?— с нежным упреком вымолвил Митя, вглядываясь жадно в похудевшее, но ставшее еще прекраснее лицо Маши.

Маша, слегка покраснев, сказала:

— Судьба моя и сейчас на волоске; как и раньше, я завишу от прихоти князя. На мое счастье, он стал увлекаться Тугариной, а у нее расчет — за него выйти замуж. Но все может опять измениться. Словом, счастья со мной я тебе не могу обещать,— сказала она со своей особой грациозной улыбкой,— но фавориткой княжеской я не стану, в этом теперь можешь быть уверен,— жизнь для меня уже потеряла заманчивость.

— А искусство? Оно ведь ревниво, ему надо всем жертвовать,— горячо спросил Митя, пытливо смотря в ее умные, усталые глаза.

— Если нельзя будет мне проявить это искусство, не замаравшись в грязи,— я и без сцены могу обойтись.

— Безмерно люблю тебя, Маша. Прости меня, прости,— и Митя, охваченный горьким раскаянием, целовал Машину руку,— разреши мне, как раньше, считать тебя моей нареченной невестой. И когда я вернусь, мы женимся, Маша.

Маша быстро повернулась, спросила в волненье:

— Ты уедешь? Куда и зачем?

Митя рассказал ей о знакомстве с майором Дрониным, о совете Воронихина, о все растущей своей уверенности, что ради грядущей их судьбы ему необходимо сейчас уехать в армию.

— Я боюсь за себя, если останусь здесь,— сказал, побледнев, Митя,— я дольше не могу вынести этого ужасного ожидания, я убью Игреева или себя. Если бы мое присутствие могло помочь тебе, Маша...

— Нет,— поспешно прервала Маша,— мне будет легче, когда ты уедешь, Митя! Пока я не свободна, нам видеться только мука.

Еще раз Митя встретился со своей невестой у Воронихина, куда пришел и Дронин, очень полюбивший Митю. Он поведал Маше, что считает ее жениха своим младшим братом и в случае какой с ним беды немедленно ее известит.

Митя и Дронин догнали Суворова в Митаве, где он на некоторое время остановился. В этом городе поселен был сейчас Павлом бежавший из Франции брат казненного короля, претендент на французский престол — Людовик Восемнадцатый. Представляться Суворову явились все придворные чины и в ожидании его появления занялись пересудами на его счет. Опасались, не явится ли старость помехою для снискания ему новых лавров, а России — победы. Некто, недалекого ума, позволил себе через переводчика допрашивать Прошку, какие именно медикаменты употребляет его барин, чтобы от дряхлости не дремать на коне?

— Пусть у него самого спрашивают,— велел переводчику ответить Прохор,— он им покажет кузькину мать!— И, найдя маловразумительным свой ответ, добавил еще несколько русских слов.

Последние, как и «кузькину мать», переводчик перевести не сумел. Прохор не настаивал и отправился к фельдмаршалу с докладом:

— Ответь, батюшка, им по-свойски.

— Сейчас, Прошенька, я отвечу,— согласился Суворов, и не успел тот ахнуть, как фельдмаршал, широко распахнув обе двери приемной и представ перед парадными мундирами в одном нижнем белье, громогласно возгласил:

— Суворов сейчас начнет свой прием!

Дамы в обморок — он в одном нижнем! Мужчины возмущены: выжил из ума, он погубит армию...

Прохор сел на пол и гоготал:

— Ерой наш фельдмаршал, чистый ерой. Такого не было и не будет. Он врага в штык возьмет, он портками дуракам рот заткнет.

Митя был глубоко растроган, когда в Вильно, где стоял любимый суворовский Фанагорийский полк, к Суворову от имени всех солдат обратился гренадер Кабанов и просил его взять с собою весь полк в Италию.

Суворов, который особенно любил своих фанагорийцев, тоже расчувствовался, но принужден был отказать, потому что только один государь мог дать просимое назначение.

Митя чувствовал себя как бы вновь рожденным в чьем-то здоровом, молодом, налитом бодростью теле. Порой сердце ныло при воспоминании о Маше — не затаила ль обиду? Не груб ли он для ее гордого нрава со своей ревностью? Не нужно ли было еще раз повидаться? «Нет,— прерывал он себя,— каждая встреча — новое страдание. Суждено быть вместе — мы будем. А нет — отрубить лучше сразу...»

И Митя, кроме необходимых зарисовок, указываемых ему Дрониным, сначала чтобы забыться от непосильной тяжести, но вскоре увлекшись самим делом, упражнялся так усердно заодно с молодыми солдатами, что Суворов, узнавший от Дронина его историю, как-то сказал ему:

— А ты, братец, как будто не столь Аполлону, как нашему Марсу привержен? Что же, в атаку возьмем.

— В обозе не спрячусь,— ответил весело Митя.

Дронин все сильнее привязывался к Мите, найдя в нем себе нежданное обогащающее дополнение. При всей бурности темперамента Дронин души был простой и бесхитростной, а жажда Мити найти разрешение вопросов, которые ему и в голову не приходили, и занимала его и вызывала в нем уважение к молодому другу.

Митя жадно выспрашивал Дронина о предстоящей кампании, об отношении австрийцев к Суворову и скоро составил себе ясное понятие о новом, военном мире, куда попал нежданно-негаданно, как во сне.

Митя проникался все большей любовью к изумительному человеку и полководцу, которого теперь мог наблюдать своими глазами. Он знал от Дронина, как догадливо определил претендент на французский престол чудачества Суворова: «Это расчет ума тонкого и дальновидного»,— и сам, присмотревшись, решил, что определение это правильно; оно было ключом к непостижимому для австрийцев поведению Суворова в Вене.

Кто для гофкригсрата был русский полководец? Чудак, дикарь, не умеющий вести войну по правилам, но которому непостижимо сопутствовала многократно проверенная удача.

Хотя высшая австрийская военная инстанция назначила Суворова главнокомандующим соединенной армии только благодаря настояниям Питта, однако в Вене создали не только внешний почет, но и оказали уважение общеизвестным причудам фельдмаршала.

Во дворце, где он был помещен, занавесили зеркала, для постели ему на узорный паркет, натертый до блеска, принесли охапку душистого сена. Не уставали лицемерно и преувеличенно восхищаться суровым распределением рабочего дня фельдмаршала. Вставал Суворов, как всегда дома, в четыре часа, обливался ледяной водой и в восемь уже обедал весьма скромными яствами. Он не посещал раутов, ссылаясь на нездоровье, так что император Франц, опасаясь нарваться на отказ, Суворова к себе и не пригласил.

Особенно торжествовал Митя, когда слушал рассказ Дронина о том, как явились к Суворову члены гофкригсрата, о котором он говорил обычно, расчленяя насмешливо длиннейшее слово на три составные и сопровождая каждое либо припрыжкой, либо преувеличенно уважительной гримасой:

— Придворный военный совет. Сиречь: гофкригсрат!

Этот вот кригсрат предложил Суворову изложить подробно весь план своей кампании. Фельдмаршал увернулся, объявив, что планы у него появляются только на месте баталии, соответственно создавшимся обстоятельствам. Тогда австрийцы принесли план собственный, где конечной целью кампании намечено было оттеснение французов к реке Адде.

Дронин по секрету поведал Мите:

— А старик наш такой быстрый — хвать карандаш да по австрийскому плану крест-накрест. Закрестил его, как нечистую силу, отошел и, гордо подняв свой хохолок, говорит: «А я только и воевать начну с этой вашей Адды, а уж кончу где бог повелит!» У самого же, ей-богу, давно готов план, только горе-генералам австрийским, которые все битвы пока что проиграли, его поведать не хочет. «Вороны, говорит, они все, хоть и ученые. Поведай я им, а назавтра мой план французы от них же узнают».

Однако при прощании первый министр все-таки ухитрился вручить Суворову несносную инструкцию императора Франца — приказ сообщать в Вену не только действия, но и военные предположения...

— Это сова сумасшедшая, Тугут, натугутил!— фыркнул Суворов.— Они бы еще с луны затеяли руководство боями.

Из Вены Суворов и все русские двинулись в действующую армию. Во власти Суворова были австрийцы под командою старого генерала, «папаши Меласа». Французы двигались с талантливым Макдональдом и нелюбимым солдатами старым генералом Шерером.

Тихоходная австрийская армия под нажимом Суворова сразу преобразилась. Он вдвое увеличил дневной переход, и что русским было привычно, для австрийцев превратилось в пытку. Обувь скоро развалилась, шли босые, неустанно жалуясь на жестокие требования главнокомандующего. Русские же солдаты, освобожденные от ненавистных кос, заметно повеселели и рвались вперед. Пока без боев подошли к Вероне. Французы раздражали своими грабежами население, и потому Суворов встречен был как освободитель: веронцы выпрягли из коляски его лошадей и на себе ввезли в город.

В Вероне Суворов принял командование союзной армией. Дронин усадил Митю с его альбомом так, чтобы он не проронил ни одного выражения необыкновенного лица Суворова, которое во время церемонии приема то и дело менялось. Старый воин генерал Розенберг по очереди представлял ему главных австрийских начальников и всех русских. У Суворова уже о каждом было свое мнение, каждому сделан учет заслуг и дарований, но он сделал вид, будто видит представляющихся ему впервые. Суворов вытянулся нарочно церемонно, словно стоял во фронту, и закрыл глаза. Прозрачные старческие его веки чуть дрожали, порой выглядывал из уголка насмешливый, острый зрачок.

Розенберг называл фамилии людей, не обладавших особыми дарованиями, тусклых, в лучшем случае усвоивших знание мезанизированной военной науки, тупозрячих австрийцев, либо гатчинских молодцов, за отличием и чинами поспешивших на войну да попутно чтобы выследить и доложить государю все промахи фельдмаршала против предписанных мелочных правил введенного Павлом устава. Самовольник-фельдмаршал — твердо знали они — как был, так и остался неугоден императору и только в силу необходимости вызван из ссылки на высокий пост: по настоянию Англии, в угоду вспыхнувшему тщеславию самого императора, объявившего придворным, что «русские всегда пригождаются». Пока фамилии называемых Розенбергом людей не вызывали уважения Суворова, он, как бы тихо изумившись, однако явственно, во всеуслышание восклицал:

— Помилуй бог, никогда не слыхал... познакомимся.

Проглотив горькую пилюлю, однако хорохорясь и пряча до подходящей расплаты свою обиду, начальники, поклонившись, шли мимо, а Дронин шептал Мите, увлеченному своими набросками:

— Еще один враг готов... Эх, свалят они его, как злые осы медведя!

Зато едва попадался воин, любящий свое дело, глаза старика загорались горячим приветом. При появлении же молодого Багратиона сам фельдмаршал вмиг помолодел и кинулся к нему с объятиями.

После приема все ждали от главнокомандующего парадной и пышной речи, в которой, как обычно в таких случаях, для поощрения участников возлагаются на них

словесно те и другие преувеличенные надежды с перечислением предполагаемых достоинств.

Митя, не однажды слыхавший из уст Суворова, что слова потребны лишь для крайней необходимости, а память должна удерживать лишь то, что говорит рассудок, все же прочее — болтовня, лишний хлам,— оставив свой альбом, вытянувшись за спинами генералов, с любопытством ждал, как сейчас обнаружится Суворов.

А он, пренебрегая важной неподвижностью, которая, по представлению австрийцев, была выражением собственного достоинства, быстрый, легкий, заметался вдруг по комнате, словно наглядно сбрасывая с себя все те лишние, не решающие дела слова, которых, знал он, все от него ждали. И вдруг остановившись, произнес то единственное, что почитал нужным. Говорить лишнее было ему столь нестерпимо, что он просто повторил всему генералитету те руководящие слова, которые уже были им найдены и закреплены в его «Словесном поучении солдатам». Их он и просыпал частым градом на почтительно склоненные головы начальников:

— Субординация, экзерциция, чистота, здоровье, бодрость, смелость, храбрость, победа. И — каждый воин должен понимать свой маневр.

Австрийцы, почитая, что они давно превзошли гораздо сложнейшую военную науку, обиделись и послали в Вену не один донос на самодура-фельдмаршала.

Митя досаждал Дронину своим возмущением австрийцами и восхищением фельдмаршалом, который, невзирая на общее недовольство, приналег на обучение союзников и вдохновенно вдалбливал свою боевую суворовскую азбуку «тупозрячим».

Все реже брал теперь Митя карандаш в руки, все серьезнее упражнялся со штыком. То, что не было первой необходимостью в ожидании предстоящих боев, отодвинулось, стало казаться неважным. Он словно вышел из тяжелой болезни и вновь приобрел утраченную простоту детских лет, когда нет еще груза сомнений, когда поступки предначертаны и ясны.

Около половины марта великий князь Константин выехал в армию Суворова. Он давно порывался на войну, но Павел ему сказал:

— Голицын ведет вспомогательный корпус, состоящий на жалованье у Англии, а корпус Розенберга на

таковом же положении у Австрии; я бы не хотел, чтобы русский великий князь стал участником такого похода.

Но вот образовалась суворовская армия, которую льстиво именовали «спасительницей Европы». Она снаряжалась на свои, русские средства, и Павел с особым удовольствием отпустил туда сына.

Константин выехал волонтером с небольшой свитой, главным приставленником к нему был один из лучших екатерининских генералов, Дерфельден. Этот же Дерфельден назначен был Павлом в случае смерти Суворова ему преемником.

Константину было всего двадцать лет. Он рос под торжественной сенью оды Державина, еще до рождения приветствовавшего его как «носителя шлема». Поэт шел навстречу мечтам императрицы Екатерины — воспитать второго внука императором греческим, почему и ожидало его преемственное имя Константин, уже украсившее двух доблестных императоров. В десять лет, однако, «носитель шлема» еще не умел бегло читать, а когда ему минуло пятнадцать, многотерпеливый великокняжеский наставник Лагарп, указывая Екатерине на всю бесполезность занятий со своим младшим питомцем, просил его уволить от этого дела. И до наук ли было, если шестнадцати лет этот великий князь уже женился. Однако тот же справедливый Лагарп отмечал, что в характере Константина заложены зачатки добродетелей и талантов, превышающие обычный уровень, но недостатки его неодолимо препятствуют развитию сих добрых качеств...

Но если к наукам у Константина было решительное отвращение, скоро он сделался усердным служакою, крайне требовательным и подчас даже жестоким к солдатам своей роты. Унаследованная от отца неуравновешенность и бешеная вспыльчивость доводили его до такого самовластия, что имеющие с ним дело военные высших чинов должны были припугивать его военным судом и собственным родителем, которого он трепетал. Однако, подтягивая самолично ослабевшие ремни ранцев у молодых солдат, не мог воздержаться, чтобы не дать им походя зуботычины...

Этого сына, с одной стороны, отличного выученика ненавистной Суворову гатчинской школы, с другой — обладавшего ничем не укротимым своеволием, Павел, не без тайного злорадства, послал к Суворову, отлично

зная, как его присутствие может стеснить главнокомандующего.

Суворов ждал Константина с великим неудовлетворением. Помимо невыгодного личного впечатления, он помнил отрывки из записок сего «носителя шлема», где выступала вся его убогая военная философия, совершенно противная основным положениям суворовского «Словесного поучения солдатам».

Константин полагал, что «причуда» начальника должна сделать своего подчиненного слугой, который может быть «употреблен на всё».

Великий князь, как и недавно приехавший Суворов, остановился в Митаве, где его угощал парадным обедом брат казненного короля и где с французским остроумием ему рассказаны были пресмешные вещи про Суворова, которого он тайно боялся.

Выход Суворова в одном нижнем белье, с молниеносной сменой его же и появлением в полной парадной форме, для наглядного опровержения старческой дряхлости,— пленил Константина, и показалось ему в глупой заносчивости, что его собственное самодовольство чем-то сродни причудам главнокомандующего. И если Суворову лестно было доказать перед нарядной приемной, что он не мокрая курица, а орел, он оценит и ту безоглядную храбрость, которую он, царский сын, собирается проявить.

На последней станции перед Веной великого князя встретил его родной дядя, герцог Вюртембергский, губернатор Вены. Он с ужасом рассказал племяннику про все капризы фельдмаршала, напугавшие австрийский двор: как он во дворце сделал себе сеновал и как повел образ жизни, более приличный настоятелю монастыря, нежели полководцу, имеющему общение с коронованными особами.

Константин хохотал:

— Это он нарочно, чтобы показать, что ему на всех вас наплевать...

Однако ему было лестно, что сам он ежедневно обедает с императором во дворце, что русский посол Андрей Разумовский в его честь устраивает в своем великолепном доме на Пратере рауты, концерты, что когда он появился в театре, то был встречен вставанием и единодушными рукоплесканиями.

И мало-помалу потерявшему голову от почестей Константину стало казаться, что главнокомандующий армией не только один Суворов, но и он сам как-то не менее важен.

Он было собрался пожить в веселой Вене, но Дерфельден заторопил его, пугая, что Суворов так скоро порешит, по своему обыкновению, с врагами, что на долю великого князя и побед не оставит. Взбалмошная голова Константина полна была одним желанием отличиться, и, оставив Вену, он явился в корпус генерала Розенберга, который находился вблизи Валенцы.

Узнав, что около Валенцы большое скопление французских войск, а сам город сейчас для общего плана войны брать неважно, Суворов предписал Розенбергу срочное отступление. Только что появившийся Константин, считая, что подходящий случай ему прославиться наступил, стал требовать атаки Валенцы. На Розенберга он подействовал насмешкой:

— Вы привыкли служить в Крыму, там были спокойны и неприятеля в глаза не видали!

И старый генерал, как тщеславный мальчик, ослушался главнокомандующего и пошел на французов.

Константин рвался вперед без оглядки и чуть было не погиб в реке. Благодаря его запальчивости и малодушию генерала бой при деревне Бассиньяно был проигран. Русские совершенно зря потеряли около полутора тысяч человек и два орудия.

Суворов был в ярости. Он послал вторичный приказ отступить с собственной отметкой Розенбергу: «Сие немедля исполните или подлежите военному суду».

Розенберг, гонимый превосходными силами французов, отступил в беспорядке, и Суворов принужден был сам поспешить ему на помощь.

Все ожидали, как встретит Суворов великого князя, который должен был после проигранного боя явиться к нему.

Суворов встретил Константина, строго соблюдая предписываемый в сем случае этикет. Он вышел к нему навстречу, склоняясь, быть может, несколько подчеркнуто, ниже, чем следовало.

Константин, выглядевший гораздо старше своих лет, коренастый, словно налитый тяжестью, раскаяния и страха не проявлял. Он только против обыкновения не сутулился, а напряженно выставил голову, будто соби-

рался бодаться своими дремучими, кустистыми бровями цвета спелой соломы.

Суворов впустил великого князя и собственноручно запер за ним дверь. Быстро оглядел, не задержался ли где Прошка подслушивать, и близко подошел к Константину.

— Легкую захотели себе, сударь, победу?— гневно начал он и на попытку великого князя что-то ответить с такой силой не то что крикнул, а напротив того, прошептал:— Молчать!— что Константин оробел.— Легкую победу, да нелегкой ценой! Уложил зря полторы тысячи человек. Солдат дорог!— крикнул Суворов.— Забота о чести русского оружия, забота о людях, кои вам вверены,— вот долг. А вам? Что вам, сударь, доступно?

Суворов отошел и вдруг подбежал так близко, что вытянувшийся по швам Константин заморгал часто-часто рыжими ресницами и его большие голубые глаза непроизвольно налились слезами.

Суворов, как бы бросая круглые камни в тихую воду, сказал, отчеканивая каждое слово:

— До сей поры вам свойственна была лишь строгость по прихоти, то есть — тиранство. Вместо истинной военной науки вам известны: бахвальство, шагистика, фрунт... А что солдата губить — негодяйство, вы об этом когда-либо думали? На всю жизнь за солдата ответ. Нельзя, государь, жить негодяем, ежели именуетесь — человек!

Не страх, лишавший всех чувств, как это бывало при гневе родного отца — императора, не то позорное чувство собаки, которую убить может хозяин,— нет, нечто расширяющее душу, нечто вдруг вызывающее ее лучшие качества ощутил Константин перед этим невысоким, словно бы тщедушным человеком, который, не боясь ответа, немилости, Сибири, говорил с ним, царским сыном, как власть имеющий.

— Да будет вам стыдно от упреков собственной совести,— приказал Суворов, и Константину стало стыдно, хоть провалиться.

Впервые, потрясенный, ощутил он, что кроме грубой физической силы, которую он так ценил в других и которой гордился в самом себе, была еще и сила превосходнейшая, источником которой были ум, сердце, благородство воли.

— Простите...— прошептал Константин и заплакал. Голова его низко склонилась. В размягченной душе пронеслось: «Вот если бы батюшка был таков, и я б стал иной».

Суворов поспешно опять подошел, чуть коснулся жестких крутых рыжеватых волос Константина и совершенно другим, большой доброты отеческим голосом вымолвил:

— Запомни же... навсегда.

Суворов открыл дверь и, как при встрече, изгибаясь в придворных поклонах, оказывая Константину как великому князю подобающую честь, провел молодого человека с заплаканным лицом несколько шагов вперед. Затем, повернувшись к свите великого князя, стоявшей в испуганном изумлении, с тихой яростью отчетливо вымолвил:

— А вы? Да ежели в другой раз не удержите, на расправу вас всех к государю! Что, ежели б великого князя взяли в плен? Невыгодный заключать мир с французами? А если бы, помилуй бог, убили? Мне ли его переживать? А кто кампанию выиграет? То-то! Мальчишки...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Новая большая работа, как всегда, вызвала величайшее напряжение сил Баженова, но здоровье уже было плохо, и угнетала мысль, что и этой последней большой работе предстоит та же участь, которая постигла его великие неосуществленные проекты.

Головокружения с потерей сознания наступали все чаще, тоска глушила последние надежды. Все чувствовали, что близок конец его многострадальной и доблестной жизни.

Но сколь ни были готовы к этой мысли, когда второго августа 1799 года паралич сердца вызвал внезапную смерть Василия Ивановича, горе преданной Грушеньки было безгранично. У Воронихина, кроме скорби от утраты великого друга, открытой раной осталась обида против злого рока, как бы положившего заклятие на все завершения гениальных начинаний Баженова.

— С его смертью в Академии, конечно, все будет по-старому,— сказал с горечью Воронихин, входя вместе с Карлом в свой кабинет.

Они только что вернулись с похорон. Без особого приглашения Карл безмолвно пошел за Андреем Никифоровичем,— так само собой вышло, что сейчас им невозможно было разлучиться.

— Осиротели мы,— вырвалось у Карла.

— Когда большой человек умирает, сила и воля его как бы прилагаются сознанию тех, кто их способен принять. В них продолжится его творческая жизнь. Вот оно — бессмертие.

Воронихин сказал эти слова строго и властно, и Карл невольно склонил голову.

— И самое главное, запомни, Шарло,— положил Воронихин свою руку на плечо Карла Росси,— запомни золотые слова Баженова при закладке Кремлевского дворца: «Думают некоторые, что и архитектура, как одежда, входит и выходит из моды, но как логика, физика, математика не подвержены моде, так и архитектура...» Цивилизации возникают и рушатся, верования, которые питали веками человечество, заменяются новыми или исчезают совсем. Роковыми в жизни каждого человека являются разочарования, утраты, непосильное утомление бессмысленной пестротой жизни. На что устремить взоры? Где незыблемость, а с ней необходимый покой? Я разумею, Шарло,— продолжал Воронихин, по своему обычаю при волнении начав ходить вдоль комнаты,— не тот сонливый, бездельный покой, в который легко впадают старики и ленивцы, а божественный покой творца, необходимый для новых зачатий. Зачинать и рождать — от форм простейших до тех, несущих благодеяние всему человечеству, вносящих в мир новое,— есть первейший из законов земли. А обладать творческим покоем — первое условие для выполнения этого закона. И вот, Шарло, что́ хотел Баженов выразить, передать потомству как помощь, как опору в личной судьбе и работе, когда он сказал: «Архитектура, как логика, физика, математика...»

— «И есть та незыблемость, которая утешает, дает питание не только уму, но и сердцу!» — восторженно докончил Росси.— Я это сам знаю с детства, Андрей Никифорович, только не сумел бы так выразить, как вы сейчас. В больших огорчениях я, бывало, раскрывал геометрию,— доверчиво признался он,— и, как от созерцания Акрополя или картины да Винчи, великий покой исцелял мое горе.

— И всех людей, дорогой Шарло, надлежит нам этому научить. Получить от искусства не только радость для глаз, но вот эту опору в жизни, эту отраду мысли в незыблемом. Тем более, что выбранное нами с тобой искусство — архитектура — есть искусство всенародное. Послужим ему достойно, по примеру великого Баженова.

— Вот и справили мы ему поминки,— сказал растроганный Росси.

— А теперь, Шарло...— Воронихин замялся. Твердые глаза его затуманились.— После этих поминок, которые должны вызвать в нас все лучшее и сильнейшее, я хочу сказать себе одному печальную весть.

— О Мите?— воскликнул Карл.— Неужто убит?

— Митя не убит, но тяжело ранен в сраженье под Нови. Вот его последние рисунки, присланные Дрониным для тебя и Маши. Прочти письмо майора, посмотри весь пакет. Оставлю тебя одного...

Несколько больших рисунков акварелью и тушью были вложены в тетрадь, исписанную крупным почерком майора Дронина. Это были его пояснения к рисункам Мити, с подробностями передающие темы зарисовок. Начиналась тетрадь письмом к Воронихину:

«Андрей Никифорович, друг и благодетель, слов моих нет, чтобы выразить мое горе: Митеньке, названному брату моему, преславному художнику нашему, в сраженье под Нови оторвало ядром правую руку. Укрытый почтенным тамошним жителем, Митя в конце концов был доставлен в наш госпиталь. Сии рисунки его, последние в жизни, просит он передать известной вам Маше и другу своему Карлу Росси. Жизнь Мити вне опасности, но руки нет и нет, чем весьма удручен, но чаятельно мне — он справится. Ибо по богатству души своей не только склонность к искусству имеет, но и великую заботу о людях крепостного сословия: не перст ли это судьбы, вымолвил он намедни, чтобы не быть мне художником, а лишь борцом за обиженных?

Курьер, который передаст вам сей пакет, воротится скоро обратно с рескриптом государя нашему Суворову. Тяжело раненные, среди коих обретается Митя, будут вскорости переведены в доступный посещению городок Богемии. Если Маша захочет, ей возможно туда приехать с упомянутым курьером. Многие жены, переоде-

тые в мужское, уже пребывают здесь при мужьях, хитро укрываясь от ока гнева начальствующих. А сейчас ей и сего укрытия не понадобится... Хотя я Машеньку видел однажды, но столь необыкновенная сила характера заключена в ее привлекательной внешности, что разрешил я себе, старый мечтатель, допустить предположение: благородная Машенька не замедлит пролить бальзам на отчаянное заявление художника, будто для безрукого взаимная любовь — предерзкое самообольщение. Во всяком случае приказал он мне написать, что освобождает невесту Машеньку от данного ему слова. С упованием, что оной свободы она не восхочет,

известный вам майор *Дронин*».

Толстая тетрадка, исписанная крупным почерком майора, адресована была Карлу, и на первой странице ее, вместо вступления, говорилось:

«Юный Митенькин друг и, смею надеяться, в той же мере и мой, обращаюсь к вам с просьбой прочесть лично Машеньке вслух прилагаемые пояснения рисунков Мити. Сами увидите, что выразительность их говорит за себя, но, желая перенести ваше воображение в испытанные нами бои и события, я для верности заношу здесь условия, их предваряющие и последующие, дабы запечатленный Митиным карандашом момент не являлся для вас некоей случайностью. Длинноты рассказа, свойственные немолодому воину на отдыхе (каким я ныне являюсь вследствие обмороженных ног при последнем переходе), скучные для юного слуха, прошу сократить, а грубые выражения, возможно проскочившие без моего ведома в мою речь, усердно прошу заменить выражениями деликатными.

Приступаю к картине первой, где великий наш Суворов, без шляпы, засучив рукава, лезет в воду заодно с понтонерами. Начинаю повествование со средины апреля... Объявлено общее наступление, и главнокомандующий погнал нас вперед, что на зайца борзых. Ну, всплакались тотчас австрийцы — сия гоньба превышает-де наше достоинство. Сделав принудительный переход некоей речки под проливным дождем, обиделся сам старый п..... Мелас, австрийский главнокомандующий (Машеньке прочтите: «папаша Мелас», выйдет пристойнее, чем многоточие солдатской нашей клички).

Доведено было сие роптание до Суворова, и он задирательно отвечал: «Ежели ваша пехота боится ножки мочить, пусть остается в тылу с сухими портянками». Австрияки снаушничали в Вену, фельдмаршал получил замечание и уже без сомненья сказал:

— Видать, мне придется вести тут войну на два фронта.

Однако на реку Адду, не посмотрев на дожди, опять двинул нас круче прежнего. Понтонеры размокли, болеют, чуть тянут мосты. Тут Суворов ка-ак вскочит сам в воду. А Митя — за карандаш и закрепил дело. И ведь не для видимости дал Суворов саперам пример — он лучше их, оказалось, науку ихнюю знает и сметкой всех превзошел. И веселый какой! Известие принесли, что неудачника, старого генерала, сменил блестящий Моро, что, понятно, усилит врага, а Суворову только любо:

— Ту старую перечницу, говорит, нам разбивать мало славы, у Моро же лавры позеленей.

И конечно, Моро сразу стал исправлять глупость той старой перечницы — стягивать фронт, который тот зря растянул. Однако шалишь, на это Суворов времени не дал. И сколь ни храбры были с новым генералом французы, мы перешли Рубикон... то бишь реку Адду.

А вот момент второй Митиной работы: генералу Серюрье наш главнокомандующий отдает его шпагу и отпускает на честное слово домой (с обещанием, что воевать против нас не будет). Генерал этот был взят с целой дивизией. Обратите внимание, сколь любезно и с тем вместе кусательно говорит ему, протягивая отнятое оружие, Суворов:

— Не могу лишить шпаги того, кто столь славно ею владеет.

Зацепило генерала, ну он петушится:

— Атака ваша была построена на недопустимом в военной науке риске. Это простой случай, что вы победили.

Вот гляньте на следующий рисунок, как у Суворова от скрытого смеха дрожит все лицо, насмешкой искрятся глаза, а говорит он нарочито казанской такой сиротой:

— Что поделаешь, та́к уж мы, русские, воюем: коль не штыком, так кулаком. Я еще из лучших.

А вот вам, Карл Иванович дражайший, презабавный случай при въезде в Милан. На главной площади перед

великолепием собора, этого белоснежного чуда, завершенного тончайше высеченными из мрамора кружевами,— австрийский старец, папаша Мелас, зарыл редьку (это старое кавалерийское выражение, мнится мне, и при девице возможное). Желая облобызать нашего главнокомандующего за доблестные успехи от лица союзной армии, он, дряхленький, не удержался в седле и, будучи верхом, к своему конфузу перехлестнулся через седло. Это перед своими-то и нашими войсками.

— Помолодел папаша от наших побед, юные годы на память пришли,— смеялись суворовцы,— не унесла бы его обратно кобыла в конюшню.

Это падение «папаши» Митя смехотворно зарисовал, и при всеобщем веселии оно обошло армию. А наш фельдмаршал запустил-таки гофкригсрату в бочку меду свою суворовскую ложку дегтю: «Ваши австрийцы,— написал он,— почти так же хорошо дрались, как наши русские. Ничего, обучатся...»

Если Машеньку папаша Мелас насмешит, просит Митя ей поднести от него на память эту картинку, а уже следующий номер специально вам, Карл Иванович. Извольте выслушать предисловие.

Недолог наш отдых. Опять стремительный разгон по солнцепеку, по совершенно безводной местности. Изнемогаем, изнемогли. А Суворов тут-то и велик. Сам, конечно, вперед, да с шуткой, с прибауткой, с новой затеей; и во сне не увидеть, чем он порой дух взбодрит. Такое придумал, что отстающие так и ринулись к головным. Этот момент Митенька карандашом своим быстрым очень сходственно ухватил. Извольте хорошенько рассмотреть: под лютым зноем, босоногие, загорелые, драные, черти какие-то неистовые, но во все горло орут якобы по-французски:

— Пардон. Жете-ле-зарм. Ба-ле-зарм...

Случается, на французском запнутся, тогда таким, знаете, русским горохом просыпят и, словно наши лешие, в итальянских ущельях хохочут. А цель достигнута — веселье дух подбодрило. Это Суворов так придумал, чтобы ребята двенадцать французских слов назубок знали для объяснения с врагом.

Рисунок, относящийся к знаменитой победе под Треббией, про которую уже общеизвестно как про верх военного искусства нашего Суворова, Митя просит вас,

Машенька, под стеклом окантовать и в своем кабинетике повесить, считая, что он наиболее ему удался. За эту победу славному нашему герою государь прислал свой портрет, усыпанный бриллиантами, и рескрипт не без свойственного ему острословия:

«Бейте французов, и мы вам будем бить в ладоши».

Австрийский же Франц прислал тоже рескрипт, где между хвалебных строк так и кололо осиное жало — всегдашний тупоумный намек, что Суворов воюет не по правилу, а ежели побеждает, «тому причиной — всегдашнее счастье ваше».

Призвал Суворов кое-кого, и я с Митей при этом были, и говорит:

— Австрийский-то император бессмысленным счастьем нашу военную выучку аттестует, как и прочие ослиные головы... Ох, беда без фортуны, как и беда без таланта.

Тут Митя тихо скажи:

— Великое ваше дарование и есть ваша фортуна.

А Суворов весело так подхватил:

— К фортуне ж мозги. А к мозгам — труды. Трудись рук не покладая — обязательно фортуну поймаешь. А ловить надобно ее спереди, за хохол. Сзади-то она лысая... Впрочем, я лично горжусь лишь тем, что я россиянин, и превыше всего тщусь поднять славу русского солдата.

Вот и доказал он сие великой победой своей при Треббии. Неравенство сил было столь велико, что заколебался сам неустрашимый Багратион. Прискакал было с рапортом о необходимости «оттянуться».

— Никак...— сказал тихо Суворов.

И что же изобрел для примера? Пробежал сколько-то, будто вместе с бегущими в панике, и когда слился с ними в единую душу, ка-ак скомандует: стой! Повернул круто назад, и такие всем слова: атака, руби, ур-р-ра!

Французы сочли этих, было отступивших, за новые, свежие войска и дрогнули. Где ни покажись Суворов — победа. Ну, словно живой какой талисман. Трехдневный неравный бой — нами разбит Макдональд. Вот Митя и обессмертил Суворова в этом его вдохновении, в могучем приказе бегущим: *стой!*

Дальнейшие подвиги нашего великого Суворова карандашом Мити не могли уже быть зарисованы, ибо сам

он умирающий унесен с поля битвы и лишь чудом добродетели остался ныне в живых. Но я пребывал верным свидетелем некоего, превышающего силы человеческие, подвига духа нашего знаменитого полководца. И если рассказанное мною Мите способно оказалось в минуту отчаянного малодушия придать ему, как он утверждает, новые силы, то да поможет приводимый мною ниже героический пример и вам, любезная Машенька, с обновленным сердцем перенести трудный ваш час. Митя еще просит сообщить вам по своему внутреннему опыту сделанный выход: «Как смоляные некие факелы, и сердца людей зажигаться могут доблестью одно от другого».

Приступаю к посильному изложению вышеупомянутой битвы под Нови.

Первое наше наступление было отбито. Барон Край стал требовать выступления Багратиона. У Суворова были свои расчеты, и он этих Краевых послов никак не принимал, делая вид, что спит, завернувшись в свой плащ. Когда же, по его определению, наступил час, он сам вскочил на коня и скомандовал: «Атака!» Жара была нестерпима. Но люди нападали на отменную позицию французов с яростью, превосходящей все бывшие бои, и все же мы ничего не могли поделать — откатывались обратно. Суворов был в самом сильном огне, провожал, вдохновлял, отдавал всю душу. Впервые под его командой угрожало его богатырям поражение. В последней горести разорвал он ворот рубахи и пал на землю. Ужас нас охватил — если великий духом повергся, значит, гибель, конец. Но это было лишь один только миг... Как древний Антей, коснувшись земли-матери, могучий духом встал полководец. Подъехавших с худыми вестями, не дослушав их, отмахнул, произнес тихо, раздельно, с беспредельной силой и властью:

— Атаковать! Победить!

Так, воображается мне, сказать бы мог один бог, вызывая из совершенного мрака свет.

Я счастлив, что был свидетелем, как чудесный гений освобожденной от всякого своекорыстия воли сделал чудо в честь своей родины. Окрыленные суворовской силой, помчались галопом гонцы по частям. Его огневым приказом подняли всех упавших. Рванулись резервы, подоспели к ним запоздавшие генералы. Перед бурей единством сомкнутого войска, слитого с гением своего пол-

ководца, побежали французы. И не под силу было врагам сохранить свой порядок. Отступали, бросая оружие, скрываясь в оврагах, в лесах. Большая армия уменьшилась вдвое.

Так вот, мои дорогие, что может сделать с ослабевшими воля одного человека, и сколь беспредельны, сколь еще не познаны нами наши собственные силы. А когда наш Суворов, в незримом лавровом венке, коего был вполне достоин, как любимый им Юлий Цезарь, прибыл на отдых к себе и встретил биографа своего Фукса (и скажу между нами: доносителя, по примеру прежде бывших при нем Николева и Германа), то, внезапно развеселясь, сказал придуманный им стишок:

Конец и слава бою —
Ты будь моей трубою».

Тут прерывались записки майора...

Когда Воронихин вернулся в свой кабинет, Карл сидел на диване с рисунками Мити в руках. Его красивые глаза полны были слез. Протягивая рисунки, он вымолвил:

— Какой оказался он тонкий художник. И потерять руку, едва найдя свое настоящее призвание!

— Митя как-то и мне говорил, что у него тяга к живописи сильнее, чем к архитектуре.

Воронихин еще раз пересмотрел рисунки, отобрал те, которые надлежало передать Маше, и сказал:

— А все-таки истинным призванием Мити, к счастью, является не искусство. Трагедия неравенства людей, вызванная самым их рождением, слишком его потрясла. Если бы вместо России он был во Франции в те незабвенные годы провозглашения прав человека, я уверен, он там оказался бы не последним.

— Быть может, Андрей Никифорович,— застенчиво сказал Карл,— в грядущем царствовании, когда ваш родственник Строганов, или, лучше, Поль Очер, будет нашим Мирабо, Мите найдется дело и на родине?

— У меня с Митей уже был перед отъездом разговор на эту тему,— чуть нахмурился Воронихин.— Скажу и тебе то же самое, Шарло. Загадывать будущее — бесцельная трата времени. Всегда есть и в настоящем работа. Я думаю, что Митя, встретя величайший пример нашего времени, человека, у которого слова никогда не расходятся с делом,— Суворова, героя-полководца

и вместе с тем героя-человека, получил самое для себя необходимое. Потеря руки, конечно, тяжелое событие, но не оно может разбить его жизнь...

— Гораздо хуже, если Маша к нему не приедет...

— Маша приедет, как только в руках ее будет вольная,— сказал горячо Воронихин.— Для этого дела и от тебя, Шарло, нужна будет помощь. Повлияй на свою мать, чтобы она упросила Катрин Тугарину добыть Маше немедленно вольную, пока не уехал курьер. Эта Катрин, между прочим, на днях ко мне заходила с какой-то теткой посмотреть портрет Маши...

— Мне неинтересно, как живет и что делает эта особа,— прервал непривычно резко Карл,— если у меня было к ней чувство, оно давно прошло.

— Но без нее не добыть Маше вольной,— подчеркнул Воронихин.— Только она может выпросить ее у Игреева в качестве свадебного подарка. Он сейчас не на шутку увлекся пикантным кокетством этой девицы, и, пока длится его каприз, она все может с ним сделать. Но нельзя забывать, что, осыпав Машу благодеяниями, он все еще ничего от нее не добился. Пресыщенный своим угодливым гаремом, он весьма задет ее гордой неприступностью, и, конечно, опять к ней вернется. Девица Тугарина отлично все это учла и приехала смотреть Машин портрет, чтобы лучше понять, как с нею бороться. «На сцене под гримом они все хороши»,— сказала она насмешливо. «Но эта в натуре несравненно лучше»,— ответил я, ставя пред нею портрет. Если бы ты видел, с каким сдержанным бешенством она впилась в милое лицо нашей печальной Сильфиды.

«Что вы за него хотите, я покупаю»,— сказала она. «Но он не продается,— улыбнулся я.— Портрет я писал для себя. Художнику такое наслаждение воспроизвести на полотне редкую простоту, благородство линий, свежесть чувства...»

— Чем же Тугарина может быть полезна Маше при неприязненном к ней отношении?— сказал Карл.

— Вот именно потому. Надо только на одном замысле соединить этих двух женщин — твою мать и Катрин — и дело в шляпе. Помимо прирожденного почти у всех женщин вкуса к интриге и порочной игре, у обеих, как я уже говорил, в удалении Маши из столицы замешаны самые насущные интересы. Прежде всего посети скорей свою мать, заинтересуй ее свершением

доброго дела, им можно прикрыть, выражаясь витиевато, червь тщеславия, который ее гложет с тех пор, как ее ученицу, к невыгоде учительницы, похвалили в газетах. Только скорее, не теряй времени. А я отнесу Маше рисунки и сообщу ей печальную весть.

Карл только через несколько дней мог быть у своей матери. Маша была тоже там. При первом взгляде на ее осунувшееся лицо Карл понял, что ей уже все про Митю известно, и с особым чувством пожал ей руку.

Мадам Гертруда полна была, как всегда, театральными сплетнями и новостями. Громко смеясь, она удерживала у дверей свою приятельницу, чтобы досказать ей по-французски последний анекдот про директора театров, известного остроумца Нарышкина, сменившего Юсупова.

— Да, моя дорогая, это достоверно, сам государь сказал ему, если хотите, назову свидетелей: «Почему ты не ставишь балет, как при Юсупове, со множеством всадников?» А он-то в ответ: «Мне это не с руки, ваше величество, мой предместник лошадей этих кушал, а я конины не ем». Ха-ха!..

И долго еще из передней слышался смех Гертруды, пока гостья наконец не ушла.

Гертруда была в преотличном настроении духа. Подойдя к Карлу, потеребила его матерински за волосы и, указывая на Машу, сказала без особого яда:

— А ведь ей отдана пальма первенства в Психее...

— Как вам не стыдно,— порывисто сказал Карл,— Маша — сама скромность и отлично знает, что лучше вас танцевать невозможно.

Маша съежилась, покраснела, а Гертруда, по свойственной ей игре настроения, пришла тут же в восторг:

— Каков мой сынок комплиментщик!

Гертруда мимолетом поцеловала Карла и порхнула к дверям:

— Я пойду приготовить необходимое для урока одной важной девицы, она со мной проходит уже роль. Эта девушка — невеста князя Игреева... Да, да, Машенька, ваша звездочка закатывается,— щебетала Гертруда,— пока вы капризничали, вашу фортуну поймала другая...

Карл быстро подошел к матери:

— Мне необходимо поговорить с вами. Есть одно дело...

— Прекрасно, сынок. Посиди тут минутку с нашей Сильфидой, я скоро. О мечтатели! — погрозила она тонким пальчиком, как грозила на сцене Амуру, и исчезла.

— Воронихин сказал, что вы хотите помочь мне, — начала Маша, но слезы пресекли ее речь. — Бедный Митя... — Она вытерла глаза, вся собралась и, взяв Карла за руку, сказала так твердо, что он ее словам сразу поверил: — Если меня не отпустят, если из ваших стараний не выйдет ничего, я все равно убегу, я доберусь до Мити.

— Я уверен, что вы уедете с курьером, который привез нам Митины рисунки, — сказал Росси. — Сейчас я буду говорить с моей матерью, она поможет повлиять на Катрин. Но, Маша, подумайте в последний раз, прежде чем отказаться от вашего блестящего положения, от возможности служить любимому вами искусству. Если порвете с Игреевым, вам придется сейчас же покинуть и сцену...

— Все решено безвозвратно. Все проверено. Горе угнетает меня; как и Митя, я не создана дышать только искусством. У нас, видно, Карл, нет вашего поглощающего дарования.

— Настоящее призвание, конечно, забирает все силы только себе, — сказал тихо Карл.

— Вот то-то. А наши силы устремлены на другое. Если бы вы знали, какое письмо написал мне Митя. Он нашел душевный покой, только когда пришлось ему делить смертельную опасность бок о бок с товарищами. Ему отныне руководство — Суворов. Митя нашел себя самого. Найдем и мы оба, что нам делать. Я не оставлю моего искусства, но ведь служить ему можно разными способами. В какой угодно глуши я найду учеников, могу открыть свою школу, не знаю сейчас, что и как... но думаю, что пробуждать в людях потребность красоты, научить их видеть и слышать больше и лучше, чем они могут это делать сами, — дело не меньшее, чем пожинать столичные лавры для одной своей персоны. — Маша печально улыбнулась. — Они даются мне такой унизительной ценой.

— Но что, если, несмотря на все наши ухищрения, князь не захочет вас выпустить из своих рук? — осторожно спросил Росси.

— Безмерно избалованному, непостоянному сейчас я наскучила моей невеселой особой. И я даже думаю, он

будет рад такому великодушному окончанию наших отношений. При его самолюбии и страхе насмешек он в роли отвергнутого воздыхателя навсегда пребывать не согласится, а как неглупый человек — уже понял, что насилие надо мной кончится плохо. Трагедий он не любит. Я счастливо попала в удачную полосу. После романа графа Шереметева с крепостной сейчас стало модно разводить сентиментально-высокие чувства. К тому же, как ураган, налетела на князя неотразимая Катрин; пока он под ее чарами, она всего может добиться. Сейчас придет ваша матушка. Найдите слова, дорогой Карл, мне же отсюда надо уйти...

Маша протянула Карлу обе руки, он поцеловал их безмолвно. Маша исчезла, и Росси остался один в комнате матери. Он огляделся. Это было словно капище с изображением в разнообразнейших позах одной и той же богини — Гертруды. То она Психеей стояла на твердом носке, вытянув одну руку, как на древней греческой вазе, в руке держала светильник, освещая спящего возлюбленного Амура, то она же, неистовая и прекрасная амазонка, мчалась в бой. Этот культ своей особы был бы жалок и смешон, если бы каждая поза не давала совершенного произведения искусства. И Карл, через минуту забыв промелькнувшее было осуждение тщеславия матери, как художник любовался точной законченностью ее прекрасного дарования. Здесь он радостно себя чувствовал ее сыном и ласково улыбнулся подошедшей Гертруде.

— Улыбка делает вас еще прекрасней, сын мой,— сказала по-французски Гертруда, копируя приехавшую на гастроли знаменитость, и прибавила на родном итальянском:

— Если бы ты был всегда такой со мной добрый!

— Я буду еще добрей, только присядьте, послушайте, что я вам скажу.

— У меня скоро урок; она капризная, эта Катрин, ждать не станет, говори скорее. Верно, неприятное?— всплеснула Гертруда руками.— О даче? Или жалоба на Пика? О, я сама очень им недовольна: старый дурак ухаживает за молодыми. Кому он соблазнителен? Кому он кавалер? Воображает, что хорош со своим толстым брюхом, а девчонкам от него нужна только протекция.

— Мой разговор не о даче, не о Пике. Я хочу очень серьезно говорить о Маше, именуемой Сильфидой.

— Она неблагодарная,— закричала Гертруда и только что собралась своим рассерженным птичьим щебетом излить на Машину голову целый водопад обвинений, как, взяв ее нежно за руку, Карл поспешно сказал:

— Она хочет навсегда уйти из театра.

— Хитрости,— воскликнула Гертруда,— ну кто такому поверит? Добровольно уйти из театра?

— Поверите вы, маменька, сами, если призовете на помощь терпение и до конца выслушаете мой рассказ.

Карл обнял мать и трогательно, как было надо, чтобы подействовать на нее, рассказал о любви Мити и Маши. О том, как друг его с горя уехал в армию и как храбро он бился сейчас и лежит в далеком госпитале без руки, не смея надеяться на любовь. А Маша хочет бросить успехи в столице и ехать ухаживать за женихом.

— Какая чудесная история,— всплакнула Гертруда,— я бы сама, конечно, ни за что не уехала от той новой роли, которую ей, наверно, дадут, но я любуюсь, когда другие могут так пылко любить. Ну, конечно, я ей помогу, разве я злая, мой сын?

— Вы не только Психея, вы — ангел,— расцеловал Росси мать.

— Но ведь у Маши нет вольной?— обеспокоилась Гертруда, вмиг увлеченная новыми чувствами.— Она без конца капризничает с князем, а он с ней играет в настоящую любовь, он ждет, чтобы она сама, изнемогая от страсти, ему прошептала: люблю вас... Я как-то даже ей показала, передавая последний подарок князя, что́ в таком случае надо сказать и как произвести такой чувствительный жест руками, будто сейчас упадешь к его ногам, однако совсем не падать, только сделать изгиб, один изгиб...

Гертруда, вдруг вскочив, умоляюще вытянула руки и всем станом изобразила призыв любви.

— Что на это вам ответила Маша?— невольно заинтересованный, спросил Карл.

— О, дерзкая девчонка с такой силой бросила на пол протянутый мною браслет, что моя парадная горничная уверяет, будто из него выпал самый крупный бриллиант и закатился невесть куда; я же подозреваю, она сама его и стащила. Однако это другой разговор,— спохватилась Гертруда.— Чем именно я могу помочь твоей протеже?

— Вам необходимо упросить, чтобы новая ваша ученица Тугарина выпросила себе в подарок Машину отпускную. Князь на Машу в досаде, но намекните, как одна вы умеете,— тонко улыбнулся Карл, польстив матери,— намекните, что к неудовлетворенному пылу всегда возвращаются.

Гертруда залилась смехом мало натуральным, но звонким, как серебряный колокольчик:

— О, как ты сведущ в нежной науке сердца, мой сын. Но ты вполне прав, как и в том, что, по русской пословице, надо что-то ковать, пока оно горячо. Но что ковать? Я забыла.

— Железо, маменька,— улыбнулся Карл, опять усаживая вспорхнувшую мать с собой рядом.— Еще минутку, ведь я знаю, что у вас по природе прекрасное сердце, как у самой доброй птички, обещайте же мне соединить друга Митю с его невестой Машей. Вы французские пословицы тоже, вероятно, не забыли, выучив русские: ce que femme veut, Dieu le veut [1].

Гертруда стала серьезной, помолчала и с милой наивностью интимно спросила:

— Если она выйдет замуж, если она его любит, она, может быть, захочет иметь сыночка, такого амура, как ты, мой Шарло, это нам, балеринам, запрещено.

Карл рассмеялся.

— Вы, маменька, уж слишком идете навстречу событиям. Будет ли у них непременно сын, я вам не могу ручаться, но то, что Маша не останется на петербургской сцене,— вот вам моя рука.

— Где же она будет танцевать? При иностранном дворе?— почти с испугом воскликнула Гертруда.

— Она больше не хочет танцевать, она будет служить искусству посредством своих учеников.

— Пе-да-гог!— протянула Гертруда.— О, это ей подходит. В ней что-то как у классной дамы. Шарло, я все для нее сделаю.

Гертруда встала и, подняв правую руку, торжественно сказала:

— Клянусь соединить два любящих сердца.

Росси обнял мать.

— Известите меня поскорее о вашей удаче.

---

[1] Что захочет женщина, то угодно богу *(фр.)*.

— Будь покоен, Шарло. Я ведь недавно читала в таком роде роман, и я плакала, плакала. И по свежей памяти тем более сейчас помогу.

Вошедшая горничная, та, что подозревалась в краже бриллианта, возвестила о приезде Тугариной.

А через несколько дней в квартире Гертруды Росси происходило устроенное по желанию Катрин ее свидание с Машей.

Катрин сидела на диване одна, когда вошла бледная Маша. Она была измучена тоской о Мите и ужасом, что с каждым днем слабеющие силы сделают для нее невозможным побег, на который она твердо решилась, не ожидая себе никакой помощи от Катрин, несмотря на все посулы и объятия ставшей особенно нежной Гертруды.

На глубокий Машин поклон Катрин едва ей кивнула, зорко ее оглядела и спросила недобрым голосом:

— Правда ли, что ваш жених ранен тяжело?

— Через господина Воронихина мне было прислано известие от него самого. Он в госпитале... без руки.

— Безрукий художник,— сказала жестко Катрин.— Ну что же, придется ему переменить профессию. Надеюсь, не правая рука?

— Правая...— чуть слышно сказала Маша.

— Присядьте,— предложила несколько мягче Катрин, указывая рядом с собой на диван.

Маша села.

— Вы бы себя проверили, прежде чем пожелать ехать так далеко и так бесповоротно решать свою судьбу,— сказала Катрин.— Чем один молодой человек особенно лучше другого? И разве можно поверить в прочность чувств, своих ли, чужих ли? Сейчас в вас говорит жалость к молодой искалеченной жизни, но разве можно строить свою жизнь на жалости?

Маша побледнела и, строго поглядев в насмешливое лицо Катрин, в свою очередь спросила:

— На чем же, по вашему мнению, стоит строить жизнь?

— Исключительно на себялюбии,— не моргнув, ответила Катрин.— От себя никуда не уйдешь, себя никогда не разлюбишь, как бы собой ни был недоволен. И вся свобода ваша всегда при вас.

— Я крепостная,— вспыхнула Маша,— мне моей свободы еще нужно добиваться.

— Да, я знаю вашу историю,— поспешила Катрин.— Но вот вопрос, стоит ли вам давать эту свободу, если вы сейчас же хотите сами ее лишиться? Ваша отпускная в моих руках,— сказала Катрин с нескрываемым торжеством.— Князь Игреев по моей просьбе мне ее вчера подарил. Так что, в сущности, вы сейчас принадлежите уже мне. И вот что я вам предлагаю, слушайте хорошо и не торопитесь решением вашим.

Катрин встала, прошлась по комнате. Хотя она хотела это скрыть, она волновалась не менее, чем Маша, которая, стиснув руки, сидела как неживая. Катрин остановилась перед ней:

— Я вас отлично устрою балериной в Москве или же дам вам возможность открыть свою собственную балетную школу, где вам будет угодно. Свое слово я, поверьте, сдержу,— гордо подчеркнула Катрин.— Но и я ставлю одно условие, чтобы вам отдать навсегда вашу отпускную.

— Какое?— прошептала Маша.

— Чтобы вы не ехали к вашему Мите и вообще отказались от этого брака.

— Вы его не знаете... зачем это вам?

— Затем,— сказала холодно Катрин,— что в любовь, доведенную до таких жертв, на какие вы хотите идти сейчас, я не верю вовсе, такой любви не сочувствую и не хочу способствовать тому, чтобы наш балет, наше искусство потеряло такую прекрасную артистку, как вы.

Маша вскочила. Яркая краска вспыхнула на ее бледных щеках:

— Это невероятно... Сам дьявол вам нашептал.

— Ни в бога, ни в дьявола я тоже не верю,— улыбнулась Катрин,— я воспитанница моего отца и господина Вольтера. Но прихотей у меня много, и не вижу, почему бы мне их не удовлетворить, если я к тому имею возможность. Впрочем... для вас есть и другой выход.

Катрин взяла Машу за руку и, пытливо глядя ей в глаза, как бы боясь пропустить малейшее выражение ее лица, сказала, понизив голос:

— Хотите вы, оставаясь моей крепостной, поехать к вашему жениху? Я тоже создам для этого все условия. Вы его увидите, но останетесь навек моей крепостной,— подчеркнула она.— Выбирайте.

— Мне нечего выбирать,— сказала просто Маша,— если есть какая-либо возможность мне поехать к Мите, я, конечно, поеду. Оставьте при себе мою отпускную, но молю вас, отправьте меня скорее к нему. Он ведь очень плох, я могу его не застать.

Но Катрин надо было что-то досмотреть до конца.

— Останется ли он жить или умрет — поймите отчетливо, вы-то сами навек крепостная. И это свое слово я тоже сдержу.

— Если Митя умрет, я, быть может, тоже не стану жить; если ж он останется жить, я доверюсь вашему великодушию.— Голос Маши на минуту пресекся.— Ведь вы разрешите мне с ним остаться? О, наложите какой угодно оброк, я выполню. Ведь кроме танцев я знаю столько разных рукоделий, на которые тоже есть спрос.

— Хорошо,— сказала Катрин, отпуская руку Маши,— завтра же начну хлопотать, чтобы вы ехали с тем курьером, который должен вернуться в армию. Но помните, вы едете как моя собственность...

— Только б увидеть его!— вырвалось у Маши с нежным чувством такой глубины и чистоты, что Катрин вспыхнула и, бросив взятую на себя роль, горячо сказала:

— За кого же вы меня, Машенька, принимаете, если так сразу поверили моим словам? Да неужто я похожа на мучительницу Салтычиху?

— Вы так воспитаны... Ваше право владеть живыми людьми.

Катрин заносчиво прервала:

— Я воспитана книгами писателей, научивших меня мыслить, и живых людей собственностью иметь не желаю. Недаром у меня на полке запрещенный Радищев. Сама я, может быть, жертва не меньше вашего... Мой ум иссушил мое сердце, и я не верю в любовь. Ваш случай был слишком для меня соблазнителен, чтобы я смогла удержаться от маленького над вами опыта. Простите мою жестокость — вот ваша вольная.

Катрин подала Маше гербовую бумагу, дававшую ей свободу. Маша опустилась на ковер, охватила ее колени и, лишаясь от волнения сил, прошептала:

— Благодарю...

Катрин подняла ее и со слезами на глазах вымолвила:

— Это я должна благодарить вас. Первый раз в жизни я верю в силу чистого, бескорыстного чувства. Вы обогатили мое бедное сердце.— И обе женщины крепко обнялись, как сестры, не узнавшие сразу друг друга, но сейчас убежденные в своем родстве.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Митя лежал в походном госпитале в живописном местечке южной Богемии. Был конец августа. Плечо его плохо заживало, но уже не было той непрестанной оскорбительной боли, заглушавшей все мысли и чувства. Однако еще не трогал чудесный пейзаж, видный ему из большого окна: горы, убегающие в осеннее хрустальное небо, лиловые от обильно покрывшего их цветущего вереска. Горы эти нужны ему были только затем, чтобы, уставив глаза в ту или другую точку, глубже собрать свои мысли.

И они собирались, твердые, окончательные, проверенные, словно нарочито выбранные для основания здания кирпичи.

Отчаяние от потери руки охватило ненадолго. Силой воли заставил он себя примириться с ощущением непривычной пустоты справа и даже с тем, что рисовать больше нельзя. Конечно, он знал, бывали случаи, когда все знание и опыт правой руки пострадавшему удавалось перевести на счет левой, но это был такой поглощающий, большой труд, что стоило бы им заняться, если б живопись точно была его призванием. Но сейчас он твердо узнал, что ему надо строить совсем иное: все колебания в выборе жизненного пути сняты этой тяжелой утратой. Но где искать путей? Как, к чему применить эту свою готовность? Воронихин дал замечательный совет: в ожидании, пока наступит желанное время, ковать из себя достойного этого времени человека.

Какое счастье, что на своем пути он встретил Суворова, который стал ему маяком путеводным. Величайшим горем было для Мити, что сейчас он не мог быть там, где Суворов свершает свой неслыханный подвиг-поход. Известие о том, что с двадцатитысячной армией предпринят переход через Сен-Готард, было последней вестью, проникшей сюда, в госпиталь. Надо было со дня

на день ожидать новых раненых, они расскажут все в подробности.

В сознании Мити лежал еще один вопрос, который он силился считать решенным и скинутым с пути своей жизни, но о котором чувство его не забывало ни на минуту: мысль о Маше.

Он сразу отсек все надежды на личное счастье, освободил Машу от данного слова, но сердце его не слушалось, ему то и дело снилась она, и тайные горькие слезы вызывало пробуждение.

Под Новый год с великими трудами доставили в госпиталь новых раненых, среди них был майор Дронин. Митя пережил ужасные дни тревоги, когда друг был между жизнью и смертью. Однако его могучее здоровье победило, и наступил наконец день великой радости встречи названых братьев. У Дронина были обморожены ноги, левая к тому же прострелена. Ему предстояло долго лежать недвижно, и одна радость и развлечение было ему — переживать снова изумительный, похожий на чудесное измышление, семнадцатидневный швейцарский поход.

— Подумай только, Митенька,— говорил похудевший майор, вознаграждая себя усиленной жестикуляцией за неподвижность тела.— Ведь шли-то мы в какой стуже? Одежонка плохонькая, сапоги русские без этих необходимых шипов, как у французов. Те за льдины сами цепляются, а мы то тут, то там в бездонную пропасть сползаем, да с вьюками, с мулами. Патронов у врага вдвое. Проклятый Тугут на каждом шагу «тугутит», как наш Суворов сказал. В городок Таверну пришли — где провиант? Где свежие мулы? Свисти их. А переть нам через самый Сен-Готард на соединение с Корсаковым да поправее — с австрийцами. А Массена-то залег против нас с несметными тысячами. И тут обманули австрийцы, меньше цифру указали. Кругом подлость и предательство. А мы горной войне не обучены, местоположение нам неизвестное. Уверили клятвенно, что из Альтдорфа, последнего пункта, пешеходная тропинка идет вдоль Люцернского озера. Сигай в него, кому жизнь не мила,— и главное, совершенно зря, ибо вся флотилия французов стоит на озере. И оказался весь план, сверхчеловеческой суворовской силой выполненный,— пустая ребячья затея.

Дронин так взволновался, воскресив в памяти предательское отношение союзников-австрийцев, что Митя поспешил, охраняя его здоровье, перевести речь на главное, что его интересовало,— на Суворова.

— Вот-то бушевал, когда не оказалось обещанных мулов! «Нет лошаков — одни горы да пропасти, да я-то не живописец, а главнокомандующий. Помощи — нигде, Тугутишко — везде. Брехали, видно, недаром французы, что нам провалиться в их снегах. Уж кому-то платит в Вене директория...» Перешерстил он австрийцев. Однако ретирады Суворов не знает. Заместо лошаков под вьюки пустили казацких лошадок. Хоть над пропастями им и было необычно, они вполне русскими оказались — невозможное повернули в возможное, как мы под Измаилом.

Тут майор начал бредить, путая только что им перенесенное с бывшим в давно прошедшую турецкую кампанию. Сестра потребовала, чтобы он прекратил свои рассказы.

Два дня майор промолчал, на третий его прорвало.

— Вы поймите, сестрица,— кричал в ответ на воспрещение говорить при лихорадке,— разгрузить нужно мне мою память, не то она голову мне разорвет! А Митя — художник, он, что скажу, все увидит глазами, ему это тоже на пользу.

И действительно, Митя с жадностью забирал груз майоровой памяти и сейчас своими глазами видел, как двумя колоннами наши войска подымаются в вечных снегах. Те, что с Суворовым, напрямик, без обходов.

— На каурой казачьей кобылке сам-то он ехал,— любовно повествует майор,— от леденящего ветра только и прикрыт, что своим знаменитым родительским плащом, шляпенка с полями вот-вот улетит. И не отстает от него некий старик, итальянец. «Переночевал я у него в долине и вроде как его оволшебил, вот за мной потянулся»,— смеется фельдмаршал. И в добрый час, отличным проводником оказался. Без этого старика в пропасть нам загреметь. Потом обтерпелись, а спервоначала круто пришлось. Вообрази, Митя: дождь ливмя, ветрище с места сдувает, речонки итальянские вздуло в реки. То ли их вброд, то ли вплавь? Зуб на зуб не попадает. Подметки вмиг прохудились, за плечами груз. И все же пробрели мы в три дня семьдесят верст. Считай их за сотню. С ног валимся, а Суворову ль отды-

хать? «Ошарашим врага наступлением. Штурм Сен-Готарда!» И повел нас. Ур-р-ра!..

Сестра испугалась, что снова Дронин забредил, но он, счастливый, ее успокаивал:

— Не в бреду — наяву я, сестрица, пусть русское сердце ликует. Взят Сен-Готард!

И со всех коек ожившие раненые стали просить:

— Не препятствуй, сестрица, пусть глотку дерет, ему здорово, и нам полегче.

— В один-единственный день взят Сен-Готард,— с тихим восторгом продолжал Дронин.— Две атаки уже отбиты с большими потерями. Ночь спускается. Ужель ночевать под ногами врага? «Он ест, пьет, бахвалится, мы ж, как щенята, в сугробах. Впе-ред!» Взбодрил нас Суворов, и опять мы за камни, и лезем, и падаем. И что бы вы думали? Над французами, на самой вершине — вдруг наши, вторая колонна. Обошел Багратион.

— А Чертов мост когда был?— спросил бледный прапорщик.

— Наши скоры, а вам еще скорей подавай,— проворчал майор.— Чертов мост — это надо вообразить явственно, иначе одна только кличка в твоей памяти, как заноза, застрянет. И прежде всего все окрестное тому мосту надо увидеть. К деревушке Урзнер, скажем,— дорога, а поперек развалился утес. Сквозь него пробита дыра, по-ихнему — Урзнер-лох. Это коридор длины порядочной, а ширины — двум человекам едва разойтись. Выбежав на свет из этой дыры, дорога вдруг обрывается над самой бурной рекой. Как бешеная, так ворочает она камни и пену, что воды не видать, гул над ней — сущий ад. И вот над такой-то рекой — легонький мост. Поистине — черт его перекинул. Ходуном ходит, вот-вот сорвет его речка. Ледяные брызги его, как туманом, укрыли. А у самого выхода из дыры французы пушку установили да за Чертовым мостом два батальона, которых и вовсе нам неприметно. Вообразили картину? А ну-ка, не угодно ли через Урзнер-дыру, через Чертов мост?

— Ужель перешли?— восклицали со всех сторон.

Насладившись минуту произведенным впечатлением, майор торжественно произнес:

— Первые с доблестью пали. Тогда Суворов отрядил сотни три по гладким скалам, где орлам гнезд не свить, чтобы ударили по скрытым французским батальонам,

защищавшим выход из дыры. И ударили. А наши — мах по туннелю... Сомкнулись со своими — и на французов, как лавина; те дрогнули, отступили. Однако напакостили напоследок — Чертов мост разорили. Да разве нас остановишь в атаке? Дерев на провал навалили, долой с себя шарфы, связали — бегом! А пока такая каша заварилась вверху, наши отряды внизу, по бешеной воде — вброд. Течение сбивает народ, а на смену упавшим новые. Перешли. Тут уж много легче нам стало,— освобождающе вздохнул Дронин, вновь переживая испытанное великое напряжение всех сил.— Скоро помельчали и вовсе отодвинулись горы, и до чего просторная долина раскинулась перед нами. Словно с улыбкой побежали леса, запестрели цветами луга, и вот уж рукой подать — цель наша, зеленый город Альтдорф. И хотелось же нам отдохнуть! Нет, не дал,— а Корсаков, осажденный Массеной? С помощью медлить нельзя. Вестей же о нем никаких. Опять путь ближайший через новый хребет. Темь вверху, темь внизу. В облаках движемся, каждый вдвое стал тяжелей — отсырели. Едва дотащились, как обухом по голове страшная весть, что Корсаков и австрийцы разбиты, отступили невесть куда, а мы окружены несметной армией Массены.

Всему виной проклятый гофкригсрат: предательски не дали мулов, и мы потеряли необходимые дни... Теперь опять вообразите хорошо нашу позицию, чтобы поверить могли, что действительно единой силой духа Суворова были мы спасены. Австрийская помощь обманула кругом: вокруг озера Люцерна ходу нет, никого из союзных войск поблизости, ни провианта, ни патронов. Сухари размокли и сгнили, копаем коренья, кожу режем, ее на шомпол навернем, шерсть опалим и едим. А вокруг нас почти стотысячный враг. Уже генерал Массена прихвастнул, что денька через два нашего Суворова к себе ужинать привезет, и среди нашего офицерства пробежал шепот о сдаче. Вот-с какова ситуация.

— А что он? Что Суворов?

— Не дрогнул. Собрал военный совет. Вышел в фельдмаршальском мундире со всеми регалиями и речь сказал, одними простыми словами — суворовскими. Как перед смертью, пересмотрел всю кампанию, предательство австрияков, еще раз перешерстил их по заслугам и пришел к выводам: окружены, а сокрушать врага нечем. Назад — постыдно. Помощи ниоткуда,

край гибели. А надежда? — спросил сам себя. — На что у нас есть надежда? Промолчал военный совет. Суворов ответил сам: «Одна лишь надежда на мужество наших солдат. Русские мы...» — и заплакал.

Плакал Митя, плакали молодые на койках, и, не стыдясь своих слез, закончил майор:

— И от имени войска старый генерал Дерфельден ответил: «Веди, куда знаешь, всюду мы с тобой!»

— Да, вот опять какое вышло положение, — продолжал о своем швейцарском походе майор Дронин, — позади нас тьма французов, от которых нам по одной лишь долине Муттенской вперед.

Разделил Суворов войска: главный отряд двинул сам, а тому, что поменьше, задерживать приказал французов, чтобы дать нам уйти. Вот уж тут, ребята, настоящие пошли чудеса, их каждому надо запомнить, дабы поверить, что непреодолимого на свете нет ничего.

Истощенные, больные, голодные, отогнали наши свежих французов, их превосходивших намного в числе. Задержали их хитростью. Послали швицкому магистрату будто заказ на продовольствие всему нашему войску, чем сбили с толку генерала Массену. «Вот дураки, — сказал он, — сами к нам лезут в полон! Пусть войдут, тут их и возьмем, нам это много удобнее, чем за ними охотиться!»

А наши тем временем ночью тихонько вслед за своей главной колонной. Когда французы смекнули про обман — ан время упущено. Наши соединились с Суворовым. Догоняй! Устремились все по Муттенской долине к Гларису: там встреча с австрийцами. Подходим — никаких австрийцев. Генерала Линкена след простыл, и французы забрали Гларис. Нам одно: либо их побеждать, либо тут помирать. Дальнейшего хода нет. Во тьме кромешной пошли мы в штыки. Шесть раз из рук в руки переходила победа. Однако в конце концов — Гларис наш. И впервые горячего мы тут хлебнули. Ну-с, что прикажете дальше? Опять военный совет. Драться окончательно нечем, и спасать нам сейчас не австрийцев, которые преспокойно сами спаслись, а одну лишь свою многострадальную армию, попавшую в западню.

— Последний ваш переход двадцать шестого сентября? — спросил подпрапорщик и тише добавил: — У меня брат там погиб.

— Многие там погибли. Вышли мы к Сен-Готарду двадцать одной тысячью, а как перемахнули через последний хребет по имени Паникс, нас осталось пятнадцать. Ох, этот последний хребет! Всю-то кампанию лихая погода, а тут просто взбесились силы небесные: такой снегопад, что тропинки вмиг занесло. Плакали, а побросали в пропасть последние двадцать орудий. Как людей, было их жаль. И вьюки с продовольствием туда же, только б солдат сохранить. Дело к зиме, обледенелые горы, мы в густейшем тумане гуськом...

— А как же Суворов,— воскликнул Митя,— старый, больной?

— Впереди на кобылке под казачьим седлом. Все долой с лошади рвется, хочет пеший идти, для примера. Самого лихорадка треплет. А два казачка его силком держат в седле. Как взбунтуется он, знай кричат, не пускают: сиди уж, сиди!

Проводники разбежались, и полезли мы как на душу бог положил. А там уж в долину на собственных средствах. Сказать прямо — скатились на задницах. И вовек не забыть голос Суворова: «Русак — не трусак. Дойдем!» Дошли. Оглядел он своих оборванных, обмерзших, поистине чудо-богатырей и сказал: «Орлы русские облетели орлов римских!»

Однако эти его последние слова мне уже передали в лазарете, где я долго в бесчувствии и в бреду находился. Это у Боденского озера, где наконец и дан был отдых войскам. Потом перевезли нас сюда, и вот с тобой, Митя, встретились.

Рассказ майора о доблести русского войска, превысившей все человеческие возможности, потряс Митю. Последнее малодушие отошло, сменилось уже неизменным ровным и твердым состоянием духа. Он теперь был уверен, что найдет свое заветное дело. Вспоминал рассказы друга Карла Росси о том, как в минуты душевных крушений помогает ему мысль о непреложности и постоянстве навеки найденных законов математики. Ему такой отрадной опорой явился, в великом испытании его сил, образ Суворова, этого лучшего из встреченных им людей. В Петербург ему сейчас возвращаться не хотелось, и когда майор предложил устроить ему место помощника управляющего большим имением своих родственников Давыдовых — Каменки, находящегося в Киевской губернии,— Митя охотно согласился. Так

хотелось в деревенской глуши, среди прекрасной природы, собраться с мыслями и присмотреться поближе к жизни крестьян. Он знал — теперь уже навсегда они стали его главной заботой.

Внезапное появление Маши, которую он сейчас ждал меньше всего, чуть было не ввергло его в великое горе, разбившее вмиг так трудно добытый покой. Он, уверивший себя, что навеки от нее отказался, увидав ее любящей, свободной и прекраснее, чем когда-либо, понял, что его отречение — самообман и никаким рассудком не истребима любовь! Но жертвы из жалости он принимать не хотел. Понадобилось много терпения, умной сердечности его верной невесты, чтобы Митя наконец поверил, что Маша приехала не из чувства жалости и долга, а по настоящей, крепкой любви. И в Каменку она обрадовалась ехать, не желая и слышать о столице, где было столько страданий и предстояло немало нежелательных встреч. Дронин к тому же обнадежил, что возможно устроиться в театрах киевском или полтавском или создать свою школу, что сулило несомненный успех.

И наконец, последняя тяжесть сомнения и горечи спала с сердца Мити после того, как однажды на рассвете появилась в сером сумраке палаты, где он лежал, небольшая, еще похудевшая за тяжкий, только что перенесенный поход, такая бесконечно знакомая и дорогая фигура Суворова. Махнув рукой сопровождающим, чтобы не делали шума, он тихо подходил к раненым и больным, в немой скорби бессонницы застывшим людям. Отечески клал им на горячий лоб тонкую, худую руку, нагнувшись, что-то шептал — и вмиг яснели их взоры, и восторженно улыбались страдальцы от ласки великого Суворова.

Подошел он и к Мите. От Дронина он уже знал все про Машу и про сомнения Мити. Он нагнулся так близко, что можно было рассмотреть, сколько новых мельчайших морщин избороздило его тонкое лицо. Глаза его, голубые, сейчас полные только большой доброты, едва глянули — всё увидели. Как отец, он сказал самое главное:

— Ничего, Митя, жить можно и с левой. Еще лучше будешь жить. И с Машенькой благословляю тебя на ра-

боту и счастье. Верю — будет оно. Оба-то вы молоды. Не болтуны-пустобрехи, а люди. Так-то.

И руку на голову положил — благословил.

Одиннадцатого октября 1799 года Павел послал австрийскому императору Францу сухое, негодующее письмо, где виною несчастного поражения Корсакова ставил несвоевременный отход из Швейцарии союзных войск под начальством эрцгерцога Карла. Павел разрывал союз с Австрией. А в конце декабря собственноручно написал Суворову:

«Обстоятельства требуют возврата армии, ибо виды венские те же. А во Франции — перемена. Идите немедля домой».

Недоразумения между русскими и австрийскими верхами были столь сильны, так много накопилось у русских обид за обман и предательство, что на балу у сына Суворова, Аркадия, великий князь Константин выгнал вон группу австрийских офицеров.

А когда Суворову император Франц прислал умоляющий рескрипт повременить с уходом в Россию, предлагая неограниченную всяческую поддержку в случае возобновления войны, Суворов сказал его послу генералу Эстергази:

— Над таким старым солдатом, как я, можно посмеяться только один раз. Но был бы я слишком глуп, если бы позволил это сделать с собой и в другой. Я пришел к месту назначенного соединения и увидел себя оставленным. Я вашей армии не нашел.

Павла изменническое отношение Австрии и ее желание загребать жар руками русских привели наконец в гнев, который пересилил его желание стать спасителем Европы.

Кроме того, в европейской политике произошли крупные перемены. Когда начался швейцарский поход, Павел еще был полон решимости разгромить французскую революцию и предписывал Суворову: «Старайтесь произвести инзурекций во Франции», а сейчас, под влиянием иезуитов, он нашел формулировку для изумившей всех перемены его политики и сам первый в нее верил:

— Я всегда склонялся тогда в пользу справедливости и долгое время был уверен, что она у противников

Франции, ибо ее правительство угрожало всем державам. Ныне же, когда в этой стране скоро водворится король, если не по имени, то по существу, и наступит порядок, это меняет совершенно существо дел.

Сейчас справедливость не может быть на стороне Англии, и в коалиции с ней неправильно долее пребывать, ибо Англия захватила остров Мальту и отказывается вернуть его Ордену. Все это было для Павла не только оскорблением личным, но и прекрасно им понятой угрозой государственной. И для того, чтобы успешнее восстать против врага, теперь общего с Францией, Павел в декабре послал Суворову требование возвращаться домой.

Суворов очень тревожился: какова-то будет оценка его похода, неслыханного по трудностям и солдатской доблести и вместе с тем совершенного как бы впустую, для выгоды одних лишь австрийцев, забравших северную Италию в свои руки. Но опасения оказались напрасными. Весь мир понимал, что причиною всех неудач были только австрийцы, а необычайная доблесть солдат и их полководца покрыла Суворова еще большей славой.

Павел дал ему титул генералиссимуса всех сил российских и посылал очень сердечные, восхищенные письма: «Приятно мне будет, если вы, введя в пределы российские войска, не медля нимало приедете ко мне на совет и любовь».

Или так: «Сохраните российских воинов, из коих одни везде побеждали, потому что были с вами, а других победили, оттого что они с вами не были».

Европейские державы одна перед другой изъявляли восторги: кресты, награды, всеобщее признание несравненным гением тактики. Адмирал Нельсон писал: «В Европе нет человека, который любил бы вас так, как я».

А ему хотелось одной глубокой последней простоты. Посетив могилу любимого и очень чтимого им полководца Лаудона, прочтя длиннейшую витиеватую латинскую надпись на его гробовой доске, он произнес:

— К чему все это? Мне пусть напишут просто: здесь лежит Суворов.

В Кракове Суворов сдал командование Розенбергу, сам поехал вперед. Он уже чувствовал себя очень боль-

ным. Упало нечеловеческое напряжение, и здоровья не оказалось вовсе.

Прощаясь с солдатами, не мог вымолвить слова от рыданий, солдаты плакали, понимая, что уже больше его не увидят. Ему было лестно знать, что сложена про него песня:

С предводителем таким
Воевать всегда хотим...

Суворов, слабея с каждым днем, медленно двигался в Петербург. Ему было известно, что для его встречи выработан особо торжественный церемониал. В Нарву будут высланы придворные кареты. При его въезде в столицу — колокольный звон, пальба из пушек. И в Зимнем дворце для него апартаменты. Все это как-то тешило старика, ласкал душу наконец полученный заслуженный почет. Здоровье же становилось все хуже. Пришлось задержаться в Кобрине. Император отправил к нему лейб-медика. Старые раны его открылись, страдания были очень тяжелые. И вот тут-то настиг его последний, жесточайший удар, нанесенный императором. Двадцатого марта Павел отдал повеление:

«Вопреки высочайше изданного устава, генералиссимус князь Суворов имел в корпусе своем, по старому обычаю, непременного дежурного генерала, что и дается на замечание всей армии».

Тяжко больному Суворову прислан был с курьером грозный запрос о том же дежурном генерале с приказанием немедленно уведомить, что побудило его сделать подобное нарушение воинских правил.

Суворов был потрясен. Вынув недавние письма, полные восхищения и любви, он сличал их с последним письмом и недоумевал. Ему известно было также, что Ростопчину при свидетелях Павел сказал: «Я произвел его в генералиссимусы, это много для другого, а ему мало: ему быть ангелом».

Что же случилось? Поводы были пустяковые, а причина глубокая и очень давняя. Быть может, Павел думал, что Суворов не доедет до Петербурга, умрет в пути и созданные для Европы слухи о триумфальной встрече не надо будет осуществлять. Но когда еще раз богатырский дух Суворова восторжествовал над смертельной болезнью и он, полуживой, но владеющий всем своим разумом и волей, придвинулся к столице, воздать ему действительно все обещанные почести с колокольным

звоном, с пушечной пальбой стало для Павла немыслимым. Это значило признать свою возлюбленную прусскую систему побежденной, это значило зачеркнуть себя самого.

Как нарочно, произошла тяжелая история с цесаревичем — так велел именовать Павел второго сына за доблести, проявленные в итальянских походах и самим Суворовым засвидетельствованные.

Цесаревич был встречен восторженно. В его честь даны были особые празднества, на Эрмитажном театре сыграли «Возвращение Полиоклета», а отец отличал его перед Александром.

Как-то Павел, в веселом настроении духа, разговорился с сыном об удобстве предписанной им одежды солдат и спросил:

— А что вам всего боле оказалось в итальянском походе на пользу?

Константин, еще полный суворовской выучки и к тому же введенный в заблуждение веселостью отца, ответил простодушно:

— А пользу нам сослужили одни лишь унтер-офицерские алебарды, поскольку они были деревянные и длиной более сажени,— ну и дрова! Погрелись мы в ледниках этими алебардами.

Павел смеяться перестал, однако без гнева приказал сыну представить ему рядового, одетого, как он находит удобней.

Константин представил. Оказалось, что форма напоминала последнюю екатерининскую, упрощенную Потемкиным, которую одобрял и Суворов.

— Вон с глаз моих!— прокричал Павел сыну и тотчас загнал его вместе с женою в холодный дворец в Царском Селе, где сидели в комнатах в теплой верхней одежде.

Константин злобно сказал:

— Суворову завидует отец. Ныне будет преследовать всех, кто с ним отличился в походах.

— Дурак и мальчишка,— отозвался Павел, узнав про эти слова.— У цесаревича трактирные рассуждения. Душе моей зависть чужда. А того он не смыслит, что вся боль моя от посрамления великой системы? Она одна может удержать в повиновении русский народ...

После столкновения с сыном Павлу не остановить было мыслей о том, что Суворов втоптал его гатчинскую

систему в грязь: ославил на весь мир! И вот едет он, победитель, пример всем военным. Да ведь он разложит все войско. Недаром столь лукаво выставляет против Фридриха самого Петра Великого, будто сказано у него в уставе воинском: «Офицерам потребно рассуждать, а не держаться яко слепая стена».

Втайне Павел никогда не переставал питать к Суворову вражду, доходившую до мелочей. Так, дав ему по необходимости княжеский титул, не разрешил именовать его светлостью, как Безбородко и Лопухина. И сейчас с каждым часом вражда эта росла. Если Суворов останется жить, окруженный всеевропейской славой, он, конечно, станет еще дерзновенней по своим взглядам на войско, он — генералиссимус, начальник всех военных сил! Одним своим почетным пребыванием в столице он расстроит военную систему, созданную с таким трудом. Ей отдана с юности, с гатчинского изгнания, вся жизнь. Недопустимо.

И в таком случае, если он не умер вовремя, пусть приедет не в славе и почести, а как опальный, как ослушник императорских уставов. Пусть осуждает вся Европа — всё лучше, чем суворовское торжество. В священном споре о том, как управлять самодержцу вверенной богом страной, решающее слово должно принадлежать не генералиссимусу, каким-то диким волшебством одержавшему противу всех воинских правил победы, а тому до мелочей доведенному порядку, который угоден не только ему, Павлу,— самому богу. А тут кругом еще шепоты о поражении приверженцев гатчинской системы — разбитого Корсакова и взятого позорно в плен со своим войском Германа, того, кто приставлен следить за Суворовым. Оба разбиты наголову. Суворову же въезд с колоколами и пушками? Нет, не бывать тому.

И вот новый приказ:

«Его величество с неудовольствием замечает по возвратившимся полкам, сколь мало приложено старания к сохранению службы в том порядке, как бы его императорскому величеству было угодно, и, следственно, видит, сколь мало они усердствовали в исполнении его воли и службы».

— Это моим-то великомученикам?— усмехнулся Суворов.— Ему, видно, косы дороже голов.

А через несколько дней еще прибавка к выговору:

«Во всех частях сделано упущение: даже обыкновенный шаг нимало не сходен с предписанным уставом».

— Так,— ухмыльнулся Суворов.— А все же история нам запишет и нас немало почтит за то, что не каким шагом, а на собственной заднице мы в Швейцарии с гор в бездну съехали и тем честь русского войска спасли.

Донесли. И еще те слова, что, покачав седой головой, с великой горечью произнес:

— Слов нет — важен руль. А куда важнее рука, что рулем управляет.

Двадцатого апреля Суворов тихим ходом въехал в Санкт-Петербург. Встречи не было никакой. Надо было сразу подчеркнуть, что прибыл не покрытый всемирной славой полководец, а не угодивший государю строптивый подданный, которому надлежит строгий ответ держать за свое дерзновение.

И не успела карета с умирающим приехать на Крюков канал в дом его родственника графа Хвостова, как доложили курьера от государя. Словно сам пугаясь своего мелочного и низкого гнева, торопился Павел добить врага. Прислал глупое запрещение:

«Генералиссимусу князю Суворову императорский дворец посещать возбраняется».

Умно, почти весело улыбнулся Суворов и сказал, слабой рукой указывая на свое безжизненное, умирающее тело:

— Куда мне во дворец? И для малой нужды уж не встать.

И, словно отмахнувшись от злой суеты мира, соединив свой возвышенный дух с одним любимым делом и войском, Суворов стал медленно умирать.

Он часто терял сознание, когда же приходил в себя, опять был жив духом, устремлен к одной своей цели: победе оружию русскому. Исправлял ошибки прошедшей кампании. Рвался все в Геную, куда не пустил его в свое время гофкригсрат и что могло бы изменить весь характер похода. Просматривая со стороны, со всей строгостью, собственный жизненный путь, осудительно сказал:

— Гонялся за славою — все мечта.

Долго молчал, закрыв глаза, почти не дыша,— нелегко брала его смерть. Наконец словно подвел оконча-

тельно итоги своих трудов, упований, всего богатого наследства, оставляемого потомству, и, как бы передавая себя в историю, произнес:

— Как раб умираю за отечество.

Суворов умер в полдень шестого мая 1800 года.

Вокруг дома тотчас выросла толпа народа — все плакали, все нелицемерно любили его.

Державин отозвался взволнованной лирой:

Вторжествовал — и усмехнулся
Внутри души своей тиран,
Что гром его не промахнулся,
Что им удар последний дан
Непобедимому герою,
Который в тысящи боях
Боролся твердой с ним душою
И презирал угрозы страх.

Армию охватила глубокая, безнадежная скорбь. Солдаты знали, что потеряли отца и полководца. В «Петербургских ведомостях» же не было напечатано ни слова ни о смерти, ни о похоронах Суворова.

Воинские почести велено было воздавать рангом ниже, не как генералиссимусу, а как фельдмаршалу. В погребальной церемонии участвовали только армейские части. Гвардия назначена не была — будто бы вследствие усталости после недавнего парада.

Мите казалось — он похоронил родного отца. Скорбь его и Маши была беспредельна. Так еще живы были в памяти веселые дни в Богемии по пути на родину, дни отдыха после нечеловеческого похода, после ранения, после отчаянных часов отказа от личной жизни и любви. То Митя видел Суворова как живого, впереди всех на старой любимой его кобылке, в родительском плаще, готового ринуться в снежную бездну или укреплявшего соленой шуткой, вызывавшей грохот смеха, подобный обвалу, своих ослабевших от изнурения чудо-богатырей. Видел его перед взятием Нови, когда вдохновенная воля его источала энергию почти зримую, как стрелы молнии, и ею зажгла все войско — и свое и союзное. Вспоминал и иное: как он вошел в чуть освещенный рассветом лазарет, в его палату, и склонилось над его койкой необыкновенное лицо с глазами, блистающими голубизной и добротой. Митя чувствовал, что навеки связана его жизнь — как в беде, так и в большом счастье союза с Машей — с этим необычайным полководцем-отцом.

И оправдать надо его аттестацию: «Вы с Машей не пустобрехи-болтуны, а люди».

«Клянусь... оправдаем».

Так мысленно обещал Митя Суворову, не стыдясь слез своих и детской сыновней любви.

У Воронихина собрались провожать Митю с женой, уезжавших в Каменку, немного близких друзей. И было так странно, когда в этом тесном кругу появилась вдруг Катрин Тугарина.

— Мне так захотелось,— сказала она застенчиво и непривычно просто,— мне захотелось, Машенька, еще раз увидеть вас и познакомиться с вашим мужем.

Катрин протянула руку Мите и, повернувшись к Карлу Росси, спросила:

— Ведь это тот самый Митя, друг ваш?

— И ваш, если позволите,— низко кланяясь и целуя ей руку, сказал Росси.

— О, мы вас никогда не забудем,— воскликнул Митя,— ведь нашим счастьем обязаны мы только вам.

— Нет, нет,— прервала, зардевшись, Катрин,— прежде всего самим себе, своей благородной любви, которая дала такой всем нам урок.— Она смешалась, виновато глянула на Карла.

Карл близко подошел и спросил, понизив голос:

— А ваша собственная свадьба когда?

Он старался сказать как можно бесстрастней, но легкая краска и опущенные дрогнувшие веки его выдали.

Катрин все так же просто, без прежней игры, ответила:

— Я отказала Игрееву. Я с отцом моим на днях еду в Италию, должно быть надолго.

— Как рад я...— против воли вырвалось у Карла.

Катрин протянула ему руку, крепко пожала и, глядя ему прямо в глаза, без кокетства сказала:

— Благодарю вас за эти слова.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Смерть Суворова, постигнутого внезапной опалой Павла, особенно взволновала всех близких ко двору. Этот капризный переход Павла от величайших похвал

к мелочной придирчивости, оскорбительной для великого полководца, возмутил его почитателей и даже равнодушных. Неуверенность в завтрашнем дне еще увеличилась, истерзала всех страхом и ускорила враждебное Павлу объединение. Никто не желал разбираться в смягчающих обстоятельствах, превративших этот характер в «чудище деспотизма», как о нем писали иностранцы.

Ненависть к Павлу особенно усилилась после того, как устранено было коварными наговорами бескорыстное влияние Нелидовой. Это произошло в дни московской поездки и встречи с новой фавориткой — Анной Гагариной.

— Почему меня в Москве так любят, а в Петербурге словно боятся? — наивно спрашивал Павел, принимая восторги москвичей, еще не запуганных, как петербуржцы, каждодневным стеснением узаконенных выше инструкций, дабы и частная жизнь обитателей шла пофридриховски, по-нашему — по-гатчински...

Ловкий, кем следовало наученный, Кутайсов отвечал, что в Петербурге все злое приписывается государю, а все доброе «эти дамы», государыня и Нелидова, считают делом своих рук.

К слову сказанными намеками Кутайсов все время внушал Павлу, что он является игрушкой в руках Нелидовой и жены. Павел пришел в неистовство и твердо решил принять меры, пресекающие всякие разговоры о порабощении его воли.

По своем возвращении Павел дал при первом же случае очень резко понять Нелидовой, что он «на помочах» водить себя больше ей не позволит. И скоро огорченный вчерашний «ангел-хранитель» вместе с отставленным петербургским губернатором Буксгевденом уехали в замок Лоде. Отдален был также со всею семьей очень преданный Павлу его друг детства Куракин — все теми же происками новой партии, вступающей в силу.

Во главе ее стояли два человека немалой энергии и дарований: Никита Петрович Панин и, ганноверец по происхождению, Пален. Вице-канцлер Панин, человек европейской складки и основательного образования, утратив все надежды на возможность руководить болезненным непостоянством мыслей и поступков Павла, грозящих, по его мнению, гибелью России, решил всеми силами способствовать его устранению от власти.

За несходство взглядов на внешнюю политику, а также за противопоставленную капризным прихотям государя большую последовательность и силу характера Панин был сослан. К тому же дерзновенное остроумие Панина, на которое, казалось, ему давало право совместное воспитание в детстве с государем, было нестерпимо для Павла. Рассказывали, что не так давно Павел, остановившись перед портретом Генриха Четвертого, с горечью воскликнул:

— Счастливый государь, он имел друга в таком великом министре, как Сюлли. У меня ж его нет.

Уязвленный Панин тотчас нашелся сказать:

— Будь только ты Генрихом Четвертым, найдутся и Сюлли.

Первый свой заговор Панин составил вместе с адмиралом де Рибасом, но тот внезапно умер, Панин же принужден был отправиться в ссылку. Но и в отдалении от столицы Панин замыслов своих не оставил. Он оказывал сильное влияние на единомышленника своего графа Палена, которому настойчиво советовал возможно скорей подобрать надежных и крепких помощников.

Пален взялся умело за хлопоты о возвращении из ссылки братьев Зубовых и генерала Беннигсена, известного ему большим хладнокровием и мужеством.

Зубовых удалось вернуть благодаря тому, что заинтересовали в этом деле Кутайсова, неизменного Павлова любимца. Ему Платон Зубов прислал письмо, где сватался к его дочери, и бывший брадобрей, которому было лестно породниться с князьями, упросил об их вызове Павла.

Павел встретил Платона Зубова великодушным восклицанием: «Вторично забудем прошлое!» — и при всей своей подозрительности вдруг оказался непонятно благосклонным к старым врагам, словно поверил в наружно выраженную преданность, и дал всем трем братьям высокие назначения.

Немедленно завелся у Зубовых свой кружок, где и разрабатывался в подробностях заговор, задуманный Паниным, но скоро принявший, под властью Палена, более грубую и насильственную форму. Подбирались нужные люди, обиженные Павлом и своих обид ему не простившие. Был между ними полковник конно-гвардейской артиллерии Владимир Яшвиль, которого Павел в гневе прибил, был влиятельный командир Преобра-

женского полка Талызин, за которым стоял весь полк, были и другие...

Но самой сильной опорой заговора, главой его, являлся сам граф Пален, человек умный и сильный, для которого в смысле государственном и в отношении личном Павел был ненавистен. Он умел расположить своим видом откровенного военного человека, умело играющего прямотой, прикрывая ею коварство необыкновенное и умную дальновидность. Как отличный исполнитель приказов императора, умеющий распоряжаться и править людьми, граф Пален стал скоро необходимейшим лицом. Ему Павел доверил высший надзор за почтой, полицию явную и тайную, сделал его петербургским военным губернатором.

Однако, несмотря на свое высокое положение, или, вернее, благодаря именно ему, Пален больше, чем кто-либо, мог опасаться внезапной перемены своей судьбы, ссылки в Сибирь или, в случае открытия заговора, еще чего-нибудь худшего. Он уже испытал на себе превратность фортуны при непостоянном императоре. Давно ли совсем был в опале из-за встречи Зубова в Риге, с отданием в приказе оскорбительного для него определения той простой вежливости, которую он оказал Зубову, как «враждебной подлости».

Еще чувствительней был задет Пален оскорблением, нанесенным его жене. Пален не сделал доклада об одном известии, полученном им из Вены, относительно дуэли некоего молодого человека, туда в гневе отосланного Павлом, дабы удалить его от двора, а Обольянинов, генерал-прокурор, ища погубить Палена, донес об этом сокрытии государю, сказав:

— Если о таких вещах вашему величеству не докладывают, могут умолчать и о важнейших.

Павел измыслил тонкую месть: когда жена Палена, первая статс-дама, приехала, как ей полагалось по званию, в торжественный день ко двору, ей нарочито публично было объявлено, чтобы она возвращалась домой и больше во дворец не являлась.

Пален, вступив в должность военного губернатора Петербурга, стал вооружать против Павла войско и жителей. Усиливал недовольство гвардии, которая и так уже была настроена против Павла за то, что он сравнял офицеров лучших семей, избалованных екатеринински-

ми милостями, со своими грубыми гатчинцами, людьми темного происхождения и плохих манер.

Политика Палена была противоположностью поведения Нелидовой: не желание исправить совершенные ошибки, смягчить жестокость, а, напротив того, довести ее до высшего предела, дабы заронить в сознание окружающих необходимость устранения самой причины этой жестокости.

Суеверный Павел, по чьему-то пророчеству уверившись, что после четырех лет ничто власти его не угрожает, вдруг решил вернуть обратно всех им сосланных.

Тысячи двинулись в Петербург со всех концов. Первые были приняты с распростертыми объятиями и получили отличные места, вторые мест не получили, а третьи просто-напросто надоели Павлу, и, подзуживаемый Паленом, он никого принимать не велел. Люди без средств, растеряв все знакомства и протекцию, просто гибли с голоду, проклиная произвол деспота.

Как военный губернатор, Пален имел в своем распоряжении все заставы, тайную и явную полицию, заведовал внешними сношениями и почтой. Все повеления Павла шли через его руки. Не дав ему одуматься, Пален грубо и немедленно приводил их в исполнение, чем создавал все новых врагов. Именем Павла граф Пален правил таким образом, что как в России, так и за границей окрепло представление, что русский император сошел с ума.

Важнейшие события произошли во внешней политике Павла. Как недавно он соединен был с первой коалицией, возглавляемой Питтом, с целью низвергнуть власть, «узурпированную» Бонапартом, и передать ее обратно законным Бурбонам, так сейчас, под влиянием умного воздействия клевретов первого консула — иезуитов, вчерашнюю ненависть заменил восторженным обожанием этого нового государя французов, «если не по имени, то по существу». Право на власть и помазание незримой благодатью, по уверению Грубера, перенесены были высшей волей на того, кто, наконец вняв голосу всевышнего, предлагал священный остров Мальту ее гроссмейстеру в ту минуту, как попавшая в сети «темных сил» Англия этим островом завладела и не имела намерения его уступить. Разрыв с Англией наносил великий вред заграничной торговле, ибо за сырые произведения русской почвы Англия снабжала ману-

фактурой и колониальными товарами. Эта торговля обеспечивала дворянство в верном получении доходов со своих поместий, отпуская за море хлеб, сало, корабельные леса, мачты, лен и пеньку.

Разрыв с Англией окончательно возбудил дворянство против Павла. Мысль извести его стала желанной для знати обеих столиц.

Наполеон между тем, получив неожиданную поддержку недавнего врага, русского императора, решил привести в исполнение свой великий план обессиления Англии. Под начальством блестящего Массены он задумал поход на Индию, для чего французы в назначенном месте должны были соединиться с русскими.

Этим походом воображение Павла было захвачено чрезвычайно. Он сразу захотел наибольшего — обеспечить России преобладание в Индии. Без согласия Наполеона он двинул войска на Хиву и Бухару, о чем последовал приказ Орлову, атаману Войска донского: «Я готов атаковать англичан там, где меньше ожидают. А владения их в Индии самое лучшее для сего».

Павел вознамерился выполнить этот поход при помощи одних казаков, отчего пошли тотчас разговоры, что государь хочет казачество извести, ибо ненавидит его за древнюю неистребимую независимость. В строжайшем секрете держалось передвижение войска, отправленного, как все полагали, на явную гибель.

Последние выходки Павла привели в волнение все население Петербурга, заговорили уже громко, что дальше терпеть нельзя. Панин настаивал, чтобы скорее было вырвано у Александра согласие предложить больному отцу подписать акт об отречении от престола.

Вначале предполагалось, что Александр назначен будет соправителем.

Уже некоторое время тому назад Панин сделал попытку приготовить Александра к этому шагу. Он первый заговорил с ним о сокращении власти отца. Граф Пален, в качестве военного губернатора свободно встречавшийся с наследником, устроил Панину встречу с ним в ванной комнате, дабы избежать подозрений Павла.

Панин красноречиво изобразил Александру, какие беды испытывает Россия и что ее ждет еще впереди, если сейчас не пресечь самодурство несомненно больного

государя... Александр, имевший в характере много робкой уклончивости, пока только краснел и отмалчивался.

Торжественное освещение Михайловского замка произошло в день Михаила архистратига восьмого ноября. Было парадное шествие из Зимнего дворца мимо войск, поставленных шпалерами, и при громе пушек. При обеде, назначенном в час дня без гостей, присутствовал и граф Пален. Он, словно хозяин, ввел Павла в этот мрачный дворец, из которого замыслил выпустить его лишенным сана либо вовсе не выпустить живым.

В гоф-фурьерском журнале записано: «Кубков на случай сего торжества приуготовано не было, а пили вино из обыкновенно употреблявшихся граненых рюмок».

Страшная сырость принудила Павла отложить переезд еще на месяц. За это время срочно сделали в спальнях деревянную обшивку, и наконец желанный день наступил.

Приказано было при осмотре дворца присутствовать строителю Бренне с учеником. Выбран был Карл Росси.

Когда Карл вошел вслед за учителем, император уже стоял в передней овальной комнате у бюста короля Густава-Адольфа.

Павел был в хорошем расположении духа, он, смеясь, говорил стоявшему рядом высокому, дородному Палену о большом полотне художника Смуглевича — архистратиг Михаил свергает демонов в бездну.

— Его стыдливость горше открытой непристойности. Придумать такую почти дамскую хитрость! У Смуглевича каждый свергаемый с неба демон как бы случайно прикрывает причинное место другого демона рукой, ногой или волосами растрепанной головы. Получилось такое смешное неприличие, что духовные особы запротестовали.— И, обращаясь к Бренне, Павел добавил: — Прикажите Смуглевичу прибегнуть лучше к освященному веками целомудренному фиговому листу.

Не улыбаясь, придворный архитектор склонился перед Павлом:

— Не замедлю исполнить, ваше величество.

Все еще смеясь, Павел быстрым шагом стал пробегать комнаты. Он видел их много раз, но так любил этот

свой новый замок, где никто до него не жил, о котором были ему торжественные видения и предсказания долголетия. Чувство защиты внушали ему эти толстые непросохшие стены. Никакое пушечное ядро их не возьмет.

Следующая комната была тронный зал, ее стены покрыты зеленым бархатом и затканы золотом. Огромная печь богато отделана бронзой, а трон обит красным бархатом, заткан и вышит золотом. Над троном герб России, окруженный гербами царств Казанского, Астраханского и Сибирского.

— Предок мой, Грозный, покорил эти царства,— Павел широким движением обвел гербы,— а я прибавил маленький остров Мальту и белый восьмиконечный этот крестик. Но по значению своему мое приобретение окажется больше всех земель, завоеванных до меня!

Он надулся, как бы желая стать выше ростом, но все еще на целую голову был ниже грузного Палена, которого гордо спросил:

— Сомневаетесь, граф?

— Ваше величество, из вифлеемских яслей засиял некогда свет для всего мира, то же повторится и с указанным вами островом,— почтительно склоняясь, тоном старшего, забавляющего ребенка, сказал Пален.— Отныне белый мальтийский крест с вашим именем в истории неразлучен.

— Самое большое зеркало!— не дослушав, вскричал Павел и захлопал в ладоши, подбегая к простенку между двумя кариатидами.— И оно вылито на моем стекольном заводе.

Прошли галерею, в подражание знаменитой лоджии Рафаэля расписанную по стенам арабесками Пьетро Скотти и великолепными фигурами Виги. Дальше через широкие и высокие двери из зеркальных стекол вошли в галерею Лаокоона. На минуту Павел задержался перед запрокинутой головой страдальца и, тихо вздохнув, вымолвил:

— Какова, однако, сила искусства? Изображено страдание величайшее, а нам на него смотреть — не скорбь, а блаженство. Когда б кто так в живой жизни устроил!

Бренна придворно вытянулся и доложил:

— Осмелюсь указать, что сей Лаокоон скопирован в Риме с антика, высечен из единой глыбы мрамора, без пятен и жилок...

— Я совсем не о том,— прервал его Павел и, захохотав неприятным отрывистым смехом, пробежал дальше, вдруг остановился и сказал тоном приказа Бренне:

— Еще раз осмотреть все места, неблагополучные по сырости, и представить на рассмотрение мне. Только прошу не повторять заодно с лекарями,— он сердито обвел глазами Александра и Палена, словно они только и делали, что повторяли неприятные ему вещи,— не повторять, что в этом здании большой вред для здоровья. Здесь я родился — в Летнем дворце, здесь я хочу умереть — в Михайловском замке. Однако не сейчас еще...

Павел опять неприятно засмеялся и, обращаясь к Александру, сказал:

— Заинтересован посмотреть: какую это любопытную статую себе выписал из Рима ваш брат Константин?

Александр, сразу съежившись, тихо ответил:

— Я ее не видал еще, ваше величество.

Бренна сделал знак Росси следовать за государем, а сам пошел навстречу появившемуся в глубине апартаментов кастеляну Брызгалову и о чем-то стал с ним говорить.

Павел в комнате цесаревича долго рассматривал прекрасную мраморную копию гермафродита. Он все сильнее краснел, потом сердито зафыркал и закричал:

— Непристойность. Убрать. Разбить молотками...

— Ваше величество,— сказал Росси,— это высокое произведение искусства, а не непристойность, и мысль его философски возвышенна.

Павел подбежал к Росси, бешено глянул в его красивое лицо, но, встретив ясность взгляда, вдруг остыл и спросил больше с любопытством, чем с гневом:

— Крайне заинтригован, сударь, узнать сию возвышенную идею муже-женского кумира.

— Это произведение вдохновлено известным мифом Платона о том, что первоначально человек был и мужчина и женщина в одном образе и едином теле. Будучи рассечены надвое, став раздельными, одинокими, мужское и женское начала жадно ищут утраченное ими восполнение. Чаще всего при встрече они ошибаются, отчего и проистекают все горести и неудачи любви. Но

если произойдет великая удачная встреча, она принесет и великое счастье. Эта скульптура — копия из виллы Боргезе. В изящных формах, взятых от обоих полов, она есть попытка восстановления первоначального, в себе самом законченного человека.

— Чудесно! — воскликнул восхищенный Павел.— Гермафродит нашел себе прекрасного адвоката, а мне преподан прекрасный урок. Но почему, сударь мой, некие прочие,— он насмешливо поглядел в сторону Александра,— или молчат, или спешат соглашаться с моим часто неправильным суждением?

И Павел, всем поклонившись, прошел было в свою спальню, но быстро обернулся, как это у него теперь вошло в привычку, и, заметив, что Пален что-то говорил Александру, резко приказал:

— Граф Пален, за мной. Наследнику успеете передать ваши новости.

Пален почтительно склонил голову, чтобы скрыть невольную бледность. У него в кармане, на листке толстой несгибающейся бумаги, были написаны имена заговорщиков. И он только что сказал Александру, что пробил час поставить ему там свое имя — первым.

Росси нашел в глубине тронного зала Бренну с Брызгаловым.

Учитель по-французски продиктовал ему для записи все, что требовало немедленной поправки.

— Уже назначен бал,— сказал Бренна,— необходимо хоть для одного этого вечера создать здесь видимость сухих стен.

Карл указал на полосы льда в аршин шириной, которые тянулись сверху донизу по всем углам.

— Горячим утюгом, что ли, стенки прогладить,— проворчал Брызгалов и, ткнув своей палкой в лед, покачал головой.— Просуши-ка поди, когда лед в перст толщиной.

— Передайте ему, милый друг, он мою русскую речь плохо разумеет,— своим обычным высоким штилем приказал Бренна,— необходимо так расположить освещение, чтобы в углах сгустились тени и укрыли от глаз публики сырость.

Росси перевел, Брызгалов, поняв, в чем дело, подмигнул и залихватски сказал:

— Вотрем очки! Бумажками так накурю, что твой туман в лесу будет.

Несмотря на постоянный огонь в двух огромных каминах, плесень, разрушающая живопись, уже прозмеилась повсюду, искажая и уродуя картины. Прошли дальше, в покои императрицы, которая сейчас отсутствовала, а ее дежурные фрейлины пожаловались, что не могут согреться, несмотря на отличные березовые дрова в камине.

В комнатах Марии Федоровны стены были обшиты деревом, и сырость, скрытая обивкой, не успела еще испортить чудесных ковров бледно-голубого фона с видами Павловска. В нише стены белела мраморная копия с Бернини — Аполлон и Дафна. Роскошные двери вели в кабинет, чрезмерно украшенный и тяжелый. Зато парадная спальня, которая за ним следовала, при всей роскоши была воздушна и словно расположена прямо под вечно голубым небесным сводом. Эту иллюзию делал бархатный балдахин с богатой позолоченной резьбой, высоко поднятый над кроватью. Дополняла впечатление легкости стройность коринфских колонн, разделенных диванами, тоже голубыми. Все это богатство много раз было отражено зеркалами.

Тронный зал императрицы был меньше, чем у Павла, с богатым камином, украшенным барельефами девяти муз. А к трону вела всего одна ступень. Рядом с тронным залом была расположена галерея Рафаэля с чудесными коврами — копиями знаменитых ватиканских картин. Средняя плафонная картина изображала храм Минервы. На ступенях храма восседали свободные искусства, и лицо грека, изображавшего зодчество, было списано с архитектора Бренны, чем последний очень гордился. Его прославили в городе как человека, очень нажившегося на постройке замка, который и построенто им по чужому, баженовскому, плану. И это свое изображение во дворце на плафоне покоев самой императрицы Бренна воспринимал как высокую аттестацию его добродетели, закрывающую рот всякому злословию.

— Мне все кажется, милый друг,— сказал он Карлу,— я здесь, на плафоне, несколько польщен, в натуре я много старее. Не так ли?

— О нет,— едва удерживаясь от смеха, возразил Карл и, снисходя к слабости учителя молодиться, любезно прибавил:— Сходство изрядное, и художник вам ничуть не польстил.

Галерея Рафаэля вела в залу с прекрасной античной статуей Вакха и Дианы Гудона.

Здесь кончались парадные императрицыны покои. Последняя зала соприкасалась с караульной комнатой, где всегда на часах стоял взвод. С плафона кисти бездарного Смуглевича — того самого, который написал неприличных демонов,— наподобие брошенного мешка, без выражения доблестной жертвенности, свергался в пропасть Курций.

— Милый друг,— сказал, прощаясь с Карлом, Бренна, когда они уже вышли из дворца и собирались идти в разные стороны,— перед балом посмотрите еще за Брызгаловым. Я думаю, лучше распределить вам самим похитрей освещение. Дело будет надежней, нежели допустить кастеляна, накурить до тошноты этой церковной душистой бумажкой, как она называется?— и, плохо выговаривая по-русски, он вспомнил сам:— Мо-ниш-ка?

— Монашка,— улыбнулся Карл и перевел Бренне это слово по-французски и по-итальянски.

Пален вслед за государем прошел через Рафаэлеву галерею в его апартаменты. Прихожая расписана была отличными картинами Ван-Лоо, темой которым послужили легенды из жизни св. Григория. Во второй метнулся в глаза потолок, плафон работы Тьеполо, где Антоний и Клеопатра восседали в смешных, им не современных костюмах. Третья комната — библиотека Павла. Здесь были шесть шкафов красного дерева, на которых стояли красивые вазы из порфира. В этой комнате всегда дежурили лейб- и камергусары. Отсюда боковая дверь вела в кухню, и кухарка-немка готовила исключительно для государева стола. Павел сильнее всего опасался отравы.

Другая дверь вела в маленькую комнату, предназначавшуюся для постоянной стражи и соприкасавшуюся с витой лестницей. Она шла во двор, где стоял один часовой. По ней же Павел мог приходить никем не замеченный в апартаменты Гагариной, которые располагались прямо под его кабинетом.

В спальне императора стены тоже были обложены деревом и выкрашены в белый цвет. Посредине стояла его малая походная кровать, без занавесок, с простыми ширмами. Над кроватью ангел-хранитель Гвидо Рени. В углу портрет рыцаря-знаменосца кисти Жана Ледю-

ка. Рыцарем этим очень дорожил Павел: он считал его своим особым защитником.

Письменный стол императора был замечателен: он стоял на ионических колонках из слоновой кости с бронзовыми цоколями и капителями. Решетка, тоже из слоновой кости, самой тонкой работы, украшенная маленькими вазами, была выточена Марией Федоровной.

Великолепный ковер покрывал пол. В комнате были две двери, скрытые занавесью: одна дверь была в уборную, другою запирался шкаф, в который прятались шпаги арестованных офицеров. Двойные же двери, которые комнату императора отделяли от комнаты императрицы, были закрыты задвижкой и заперты ключом по приказу Павла, вдруг ставшего опасаться жены под влиянием злых наговоров графа Палена. Стена была очень толста — императрица не могла бы услышать ни шума, ни криков из комнаты императора.

Павел показал графу Палену все свои картины, особенно остановился на рыцаре-знаменосце Ледюка.

— Этот рыцарь,— сказал он,— мой хранитель, больше скажу вам, дорогой Пален,— он мой советник. Сам крестоносец, он вдохновил меня на великую идею негласного крестового похода на восставшие темные силы.

Лицо Павла было смешно и вдохновенно. Он поднял голову, высоко поставленные надбровные дуги поднялись еще выше, крошечный носик опрокинулся вместе с ними, показав две открытые трепетные ноздри и очень большие голубые сияющие глаза. Они одни были живыми и человечески полными чувства на этом странном лице, похожем на маску.

— Осмелюсь спросить,— осторожным, ласковым дядькою, привыкшим руководить озорным питомцем, сказал тихо Пален,— о каком негласном крестовом походе ваша речь?

— О походе на Индию!— воскликнул Павел, подходя к рыцарю.— Не правда ли, мой покровитель?— Он быстро обернулся к Палену. Тот стоял высокий, доброжелательный, с такой добродушно-откровенной улыбкой на большом, отчетливо вылепленном лице, что Павел, как всегда у него бывало, когда он оставался наедине с этим крупным человеком, источавшим здоровье, поверил ему, успокоился и доверчиво рассказал:

— Я, как помазанник божий, обязан охранить мой народ. То, что кажется профанам сумасбродством и моей капризной прихотью,— есть веление свыше. Пока я знал, что божий перст почиет на Англии, ибо она была против мятежной Франции, я, как вам известно, отправил войска свои в итальянский поход. Но сейчас высшей силе добра служит Франция, и я готов поразить в Индии англичан.

Пален призвал на помощь всю свою придворную выдержку и еще тише, спокойнее и добрее сказал:

— Смею спросить, ваше величество, что же является руководящим, так сказать, указующим вам сию истину перстом?

— Остров Мальта!— воскликнул Павел.— Сейчас его захватили, как разбойники, англичане и, как разбойники, не хотят возвращать его мне — гроссмейстеру!— с невыразимым величием и уважением к этому титулу поднял он к рыцарю правую руку, как бы его беря в свидетели.— А первый консул...— он прошептал Палену, как великую тайну,— на самом деле это великий монарх, это душа великого монарха в нарочитой оболочке, дабы не узнали профаны. Первый консул мне предлагает вернуть святой остров обратно. И против силы тьмы мы сейчас с ним едины.

Пален, удерживая с усилием прежнее выражение на лице, еще нагнул голову, как бы благоговейно принимая доверие, оказанное ему императором, а сам зло и жестко подумал: кончать с ним немедля... обработали иезуиты.

— Но это высказанное вам обоснование моих действий между нами, не правда ли, Пален? Подчиненные не имеют права, как в святилище, проникать в душу монарха. Им слово помазанника — закон. Так, Пален?

— Ваше величество...— низко склонился всей грузной фигурой Пален.

— Ах, как мне здесь хорошо, как весело!— Внезапно Павел легко, по-мальчишески пробежался вдоль стены и стал близко к Палену.— Я здесь наконец себя чувствую дома. Я охранен. Я принадлежу сам себе. Здесь я с удвоенной ревностью хочу заняться благосостоянием моего народа. Что нового принесли вы сегодня мне, Пален?

И вдруг ловко и быстро, как обезьяна, Павел, чуть приподнявшись на носки, запустил свою руку в карман Палена.

Пален страшно побледнел, в один миг своей рукой отодвинул небольшую ладонь императора и, прикрыв несгибаемый листок бумаги, захохотал так заразительно искренно, что, еще не поняв, в чем дело, не вынимая руки из кармана Палена, государь ответил ему отраженным смехом.

— Махорка! — все еще захлебываясь смехом, наконец выговорил Пален.

Смеясь, он таким взглядом смотрел в голубые глаза государя, как будто через их голубизну вторгался в несчастную его голову, и, по своей воле переместив его мысли, воскликнул еще и еще:

— Махорка в этом кармане, махорка! Ведь я нюхаю, а вы этого запаха не выносите, ваше величество... ха-ха...

Павел вытащил руку, отряхнул ее, вытер платком, смеясь, поплевал, говоря:

— Что за свинство... махорка!

И, как всякий человек, после веселого беспричинного смеха испытывая облегчение душевного груза, благодарно сказал:

— Ну и насмешили меня. А теперь идите к Александру, его тоже полезно посмешить. Что-то не по возрасту мрачны мои сыновья.

Апартаменты Александра были просты, исключая приемных: большой зал, разделенный надвое аркой на ионических колоннах белого мрамора, был украшен великолепными картинами, из коих одна — кисти Рубенса. Зал вел в тронную великого князя. Здесь стены, обтянутые пурпурным бархатом, были затканы серебром, на ковре, не приподнятом ступеньками от прочего пола, стоял трон. Часто, стоя под балдахином, Александр давал аудиенции.

Сейчас Александр сидел на диване в своем кабинете и упорно смотрел в камин. Дрова пылали, а ему было холодно. Вот-вот придет Пален, потребует от имени государства возглавлять заговорщиков...

Как заблудившийся ребенок о любящей матери, он со слезами подумал о Лагарпе, добром и умном учителе юности. Был бы здесь, вот кто б помог.

А что недавно сделал батюшка на смех всей Европе с этим Лагарпом? «За неистовое и разнузданное пове-

дение отнять орден Владимира» — глупейший приказ, и такое же поручение Корсакову — схватить Лагарпа с фельдъегерем и привезти в Петербург для отправки в Сибирь. За что, спрашивается? За то, что во время суворовского похода Лагарп находился во главе швейцарского правительства, по мнению батюшки — мятежного. А то позабыл отец, что навеки должен быть благодарен сему Лагарпу. Он был единственным человеком, который пытался возвысить отца во мнении сыновей. И честный Лагарп отказался от участия в замыслах бабушки лишить отца трона. Вот благодарность его...

Александр взволновался, вышел из кабинета, стал ходить по мягкому ковру тронного зала. Это его несколько успокоило, показалось — гуляет по скошенному сену на цветочном лугу. Даже захотел позабавиться, на минуту стал под балдахин, огляделся вокруг, вообразил себя вдруг весьма далеко, на лоне каких-то светлых вод, и улыбнулся желанной свободе.

Доложили о Палене, Александр помертвел, велел провести в кабинет, куда прошел снова сам.

— Необходимо, чтобы ваше высочество прочли вот это,— сказал Пален, подав перлюстрированное письмо Семена Романовича Воронцова к Новосильцеву.— Я бы должен по долгу службы передать его государю, но... передаю вам.

Александр взял молча письмо, стал читать, скоро пальцы его задрожали — письмо было некоей прозрачной аллегорией.

«У меня нет надежд в настоящем,— писал приятелю Воронцов,— я уповаю на утешение в будущем. Наша жизнь то же самое, как ежели бы мы с вами очутились на корабле, капитан и весь экипаж которого принадлежали бы к народу, языка которого мы не понимаем. Поднялась страшная буря, и вдруг капитан сошел с ума и по капризу своему бросает за борт одного за другим матросов. Скоро все мы будем погублены этим сумасшедшим, который вместе с нами погубит и весь драгоценный груз корабля. Одна надежда на спасение, если молодой помощник капитана, к которому весь экипаж преисполнен доверия, возьмется за руль. Его нам о том надлежит заклинать».

Александр понял, залился краской, все затрепетало внутри, а Пален, как бы пригвождая к месту своими круглыми властными глазами, сказал:

— Каких же еще доказательств вам надо, чтобы поверить, сколь для всех тягостно государством несомое бремя?

Александр попытался робко спастись возражением:

— Придворных кучка в сравнении с народом. А народ...

— Народ,— прервал Пален,— но разве вашему высочеству не известно, что двенадцатого января отдан приказ о выступлении в Индию донским казакам? Двадцати двум тысячам человек приказано делать тридцать-сорок верст в день. Что они терпят, вы задумались? Морозы, метели, страшные лишения... крайне плохое состояние дорог. А надо протащить с собой единороги и пушки... Экспедиция задумана, как всё у нас,— вдруг, без того, чтобы собрать необходимые сведения о средствах тех стран, через кои будут следовать казаки. Без заготовки продовольствия, обоза, лазаретов, даже, как я узнал от самого императора,— без маршрутов. Наконец, вашему высочеству уже известно, что беспримерное мужество нашего итальянского похода оказалось на руку только австрийцам,— он тоже по капризу был начат и оборван... и только благодаря гению Суворова мы спасены от позора. А что ожидает донских казаков за Оренбургом? Ведь они двинуты с женами и детьми... на верную смерть.

Пален прошелся и, став против Александра, твердо сказал:

— Секретная экспедиция в Индию, быть может, нужна, но предпринята безумно, без апробации Наполеона. Объявить себе войну, как это решил вскорости сделать император, Англия едва ли дозволит. Сотрудников явных и тайных у нее при русском дворе много, а врагов смертельных у нашего государя столько же. Предлагаю вам сделать выводы. Если вы не поспешите сами спасти вашего родителя, а нашего государя...— Голос Палена дрогнул. Он волновался и волнения своего здесь не скрывал.— Ваше высочество, поспешите согласием. Ведь не о каком-либо ущербе или о лишении августейшей жизни идет речь — совсем наоборот. Речь идет о том, чтобы заболевшему некоторым расстройст-

вом мысли императору дать возможность восстановить свои силы. А пока он болен — отречься от полноты власти, сделать вас соправителем. Вот о чем молит вас вся страна — пресеките возможность заболевшему государю совершать великое зло собственной стране.

Прирожденная уклончивость характера Александра, еще усиленная воспитанием, делала для него невозможным сказать решающее слово. И Александр повел себя так, как будто весь акт отречения уже позади, а перед ним одна лишь задача: как можно удобнее устроить сейчас жизнь отца.

— Я предоставлю государю им любимый Михайловский замок,— с той вынужденной скромной улыбкой, которая почему-то считалась пленительной, сказал Александр.— Верховые прогулки батюшке всего лучше будет продолжать в так называемом Третьем летнем саду, не правда ли?..

Он глянул на Палена и оборвал сконфуженно речь. Пален глядел на него холодно, с затаенным презрением:

— Если ваше высочество мечтает о пребывании августейшего отца вашего в замке уже после подписанного им отречения, то на выполнение сего необходимого акта, полагать надо, ваша подпись мною будет получена.

Пален вынул из кармана тот самый листок крепкой, негнущейся бумаги, который чуть было не вытащил у него Павел, и протянул его Александру.

Как от ядовитой змеи, Александр отбежал скорым шагом к камину... Вернулся опять, хотел что-то сказать и не мог.

Пален чуть склонился, держа в руках свой листок,— строгий, сжав губы, ждал.

Александр, дрожащий, теряющий остатки самообладания, вымолвил шепотом:

— Умоляю вас, завтра. Я завтра отвечу.

— Последний срок, ваше высочество,— сурово уронил Пален, отправляя листок в карман.— Хуже будет и государю и вам со всем вашим семейством, если нас предварят более решительные заговорщики.

Он холодно поклонился и вышел.

Александр, зарыдав как ребенок, упал на диван.

Как Павлом было назначено, второго февраля был дан в Михайловском замке бал для дворянства и купечества. Два унтер-офицера пропускали в овальную гостиную. Свод этой гостиной покоился на кариатидах, промежутки занимали аллегорические барельефы. Мебель здесь была огненного бархата, отделана серебром. Плафон работы чудесного Виги изображал такое великолепие Олимпа с собранием всех богов, что казался лучезарным источником света по сравнению с погребальным освещением замка.

Тысячи восковых свечей, зажженных в канделябрах и люстрах, не могли рассеять туман, который клубился вдоль оттаявших стен и создавал полумрак, делавший однообразной всю роскошь нарядов.

Несмотря на бравурно гремевшую музыку, этот все растущий туман и погребальные свечи производили на безмолвно толпившиеся маски удручающее впечатление.

Лихо плясали только молодые чиновницы, счастливые уже тем, что попали в роскошный замок.

Павел, мрачный, свирепо оглядев маскированных большими глазами, удалился, сильно топая, в свои защищенные комнаты очень рано.

Пален разыскал Александра в галерее Лаокоона. Прошли несколько шагов рядом. Для присутствующих ничего удивительного не было в том, что военный губернатор граф фон дер Пален беседует с наследником. Возможно, он передает ему что-либо от государя.

Не дрогнув своим придворным, вельможным лицом, не понижая голоса и без особого выражения, Пален сказал:

— Сегодня, в сильном гневе, его величеством было произнесено следующее: «Скоро многие мне некогда близкие головы должны будут пасть».

Чуть повернувшись более к Александру и равняясь шагом по его внезапно замедленному шагу, Пален спросил:

— Могу ли возглавить нас вашим именем?

Боясь себя самого, Александр вымолвил:

— Можете.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Павел сидел в своем кабинете и читал историю великого прадеда.

Все эти дни его особенно волновали отношения Петра к Алексею. Больше того, Павлу казалось, что по прямой линии, как правнуку от прадеда, к нему прямо в сердце идет от Петра сила, которая двинет в урочный час и его руку написать сыновьям заслуженный ими приговор. Вот только Пален представит обещанные неоспоримые доказательства...

Павел был уверен, что после распущенного правления матушки и следствия его — великого всероссийского казнокрадства, глубокой развращенности нравов — дальнейшее процветание России возможно лишь при неуклонном выполнении введенного им строжайшего гатчинского порядка. И горестно было сознать, что достойного преемника ему не было. Хуже того, наследник по праву и крови злоумышлял на отца.

Лживый Александр, расслабленный, изнеженный бабкой, глубоко заражен вольнодумием своего бывшего воспитателя Лагарпа. И сколь он ни скрытен, когда был им узнан приказ генералу Корсакову сего женевского возмутителя с фельдъегерем привезти в Россию, дабы водворить навечно в Сибирь,— он весьма опечалился. Заодно с Константином был против отца, на стороне Лагарпа. И донесли — оба сына поносили ядовито и с издевкой его праведный суд.

Павел вскочил, пробежал из спальни в библиотеку. Рука сама собой вытащила заветную книгу о Фридрихе. Как девица идет за советом к оракулу и «толкователю снов», так и он прибегал во всех случаях жизни к своему кумиру и властителю дум. И хотя знал отлично то место в биографии Фридриха, которое сейчас ему было нужно, он для поддержки перечел его еще раз.

Это было известное событие в жизни Фридриха, еще наследного принца, которое чуть не привело его по приговору отца на плаху. И только заступничество австрийского и прочих дворов и, главное, торжественно обнаженные груди высоких военных, взамен принца предложивших пронзить их сердца, смягчили уже произнесенный, но не обнародованный приговор. Отец Фридриха удовлетворился, однако, тем, что вместо сына приказал казнить его ближайшего друга, юношу фон

Катте, который согласился с ним вместе убежать в Англию от ига короля-отца. Катте был обезглавлен под окнами Фридриха, которого принудили смотреть на казнь близкого друга, пока он не лишился чувств.

«Пусть лучше будет принесена эта кровавая жертва, нежели хоть один закон нашей страны потерпит поругание» — так сказал король-отец, подписывая смертный приговор молодому фон Катте, и слова его великий Фридрих впоследствии одобрил.

— Да подкрепят мой дух мужественные примеры доблестных людей! — воскликнул Павел, ставя на прежнее место книгу.

Он вернулся к себе в кабинет, но заниматься делами не мог. Надо было сейчас, сию минуту что-то предпринять относительно Александра... Но он вдруг забыл, что именно. Отметил горестно, что все чаще проваливается вдруг его память на полумысли, на полуслове.

— Ничего,— ободрил он сам себя,— здесь все силы ко мне вернутся, только никуда из Михайловского замка, ни шагу. Разве что верхом в Третий летний сад. Теперь и к Аннушке Гагариной тут же, по витой лестнице, под собственный кабинет, этажом ниже. Перехитрил заговорщиков — переехал, сколь ни чинили препятствий. Недостроено, сыро,— а на что камины? Пылают денно и нощно. А ежели у великой княгини, Александровой супруги, от сырости мигрень? Ну что же — потерпите, мадам...

Павел сделал насмешливый поклон в пустое пространство и вдруг вспомнил то, что только что позабыл. Усиленно забилось сердце. Проверять надо наследника Александра — вот что он позабыл. Лицемерию выучился у бабки, под внешней покорностью скрывать свои планы. Удалось бы ей в свое время незаконно взойти на престол, если бы она не была величайшим мастером лицемерия? Проверять Александра надо внезапно, когда он того не ожидает, как птицу хватать на лету...

И Павел, торопливо спустясь вниз по лесенке, пробежал анфиладу комнат и без доклада вошел к Александру в кабинет. Стремительно подбежал к нему, испытующе глянул в глаза:

— Чем, сударь, заняты?

Александр ужасно смутился. Ну так, словно отец поймал его на месте преступления. Он ничем не занимался. Он часами теперь сидел так и смотрел в одну

точку, когда его не видел никто. Граф Пален словно взял его, как маленького, за руку, насильно перевел через шаткий мосток над бурной рекой. И мост рухнул, и назад уж нельзя. А под ногами разверзлась пропасть, двинешься — упадешь. И всего лучше было ему ни о чем не думать, а недвижно сидеть, чуть дышать, почти умереть.

— Чем сейчас были заняты? — повторил грозно Павел и обежал глазами комнату.

— Я, батюшка, так сидел,— проговорил угасшим голосом Александр.

— Подходящее занятие для наследника престола,— рванул резко Павел и вдруг приметил на письменном столе отодвинутую вглубь раскрытую книгу. Перед ней, как бы заслоняя ее, стоял глобус.

— Наскоро поставили, заслонить? — ехидно спросил Павел.— А ну-ка посмотрим, что вы изволили, сударь, читать?

Павел схватил раскрытую книгу, пробежал быстро глазами, покраснел, запыхтел. Александр, вытянувшийся как на смотру, побледнел при этих ему известных угрожающих признаках гнева отца.

— Вы, сударь, отодвинули и заставили глобусом книгу, дабы я не приметил, *что именно* вам было угодно читать.

— Я ничего не читал...— пробормотал Александр.

— Ложь! — крикнул Павел.— Вот он, восхваляющий убийство Цезаря стих Вольтера, ваша книга была раскрыта как раз на нем. Вы, сударь, поглощали Брута.

И Павел продекламировал по правилам французской трагедии, с подчеркнуто ироническим оттенком голоса:

— Rome est libre. Il suffit.
Rendons grâces aux deux! [1]

Да за одно это чтение вы достойны...— Павел махнул рукой, побежал к двери, остановился, бросил на пол оставшуюся в его руках книгу, от ярости понизив голос, сказал:— Но прежде всего вы с вашим братом будете вторично приведены к присяге верности вашему императору генерал-прокурором Обольяниновым.

Павел ушел. Александр, медленно подняв книгу, положил ее снова на стол и, сев на прежнее место, застыл без мысли, без чувства.

[1] Рим свободен. Довольно. Возблагодарим богов! *(фр.)*

Очень скоро доложили ему приход одного из государственных адъютантов, того самого, который послан был к Суворову возвестить ему запрет приезжать в Михайловский замок.

Ничтожный придворный человек, с незапоминаемым мелким лицом, сказал фальшивым голосом царедворца, которому лестно нанести безнаказанно царскому сыну удар:

— Его величество присылает вашему высочеству для справки жизнеописание Петра Великого, с нарочитым назиданием прочесть страницы, посвященные последним его приказам относительно судьбы его наследника.

Александр машинально взял из рук адъютанта большую книгу, кивком головы отпустил его и прочел выразительные строки о присуждении к смертной казни царевича Алексея.

Слезы брызнули из его глаз. На красивом лице проступила обиженная растерянность. Не вытирая слез, измученный, он прошептал:

— И некуда мне убежать.

Вечером в Михайловском замке был французский концерт. Все ощущали большую тревогу: зачем это пение, зачем бриллианты мадам Шевалье, когда вот-вот грянут события...

Уже пошли в городе шепоты о предрешенном аресте обоих великих князей. Вызывали в памяти кровавый конец отца Павлова, и во главе заговорщиков называли сыновей тех, кто убил Петра Третьего. Неужели опять повторение?

Император сидел на концерте сумрачный и не обращал внимания на пение своей любимицы Шевалье, о которой еще недавно поговаривали — она-де заступить должна место Гагариной.

Перед выходом к вечернему столу император надумал какое-то сценическое появление, особое воздействие своей персоной, как во французских криминальных драмах, дабы уличить нежданно преступников. Распахнулись обе половинки дверей, и он, уже некоторое время ожидаемый, подошел к императрице, скрестив на груди руки. Посмотрел, помолчал, многозначительно улыбнулся. То же проделал, подойдя по очереди к обоим сыновьям. Было смешно и грозно, словно плохой ак-

тер, не разрешившийся словами, одной мимикой выразил угрожающий приговор.

Павел спешно протопал первый в столовую и сел за стол. На ужине, как на панихиде, царило гробовое молчание, а когда Мария Федоровна с великими князьями подошла, как обычно, его благодарить, Павел отскочил от них, замахал рукой, ушел, не поклонившись, к себе. Императрица заплакала.

Граф фон дер Пален неослабно следил за настроением Павла и решил, что сейчас ни на минуту нельзя выпускать его из рук, пока не свершится задуманное немногими, ожидаемое всеми пресечение его безумной власти. По должности главного почтдиректора Палену было уже известно, что Павлом выписан из своей деревни Аракчеев. Времени для полной и бесконтрольной власти оставалось немного, завтрашний день грозил ссылкой, Сибирью, быть может казнью. О заговоре открыто говорил уже город. И вот начался поединок между царем и царедворцем.

Пален, высокий, сильный, дышащий здоровьем, полный неизменной доброжелательности, несколько грубоватой, но тем более внушающей доверие, одним своим физическим видом умел, как лекарством, усыпить больные нервы Павла. Не веря Палену, боясь его, он все-таки с ним отдыхал.

План военного петербургского губернатора графа Палена был таков: утомлять государя непрерывно делами так, чтобы ничье живое влияние не прослоило того исключительного волевого обхвата всей психики Павла, который ему удалось создать. Так продержать Павла надо до вечера, до конца. Да, вечером — конец. Дольше откладывать нельзя и минуты.

Совсем на днях Павел, получивший еще один донос с перечислением заговорщиков, хвастливо почитая себя на высоте прокурорского гения, внезапно спросил Палена, пришедшего с очередным докладом:

— Вам известно, что против меня существует заговор?

И Пален ответил со своей улыбкой, убаюкивающей все сомнения:

— Почти во всех подробностях, ваше величество, потому что я сам этот заговор возглавляю. Наилучший способ держать в своих руках все нити...

Пален сказал правду, но так она была ошеломительна, что усыпила настороженность и оживила обычное самомнение Павла. Он небрежно приказал:

— Дознавайтесь скорей и докладывайте.

Сам же хитро подумал: «А как про всех доложит, его первого под арест. Разберу дело не с ним, с Аракчеевым».

Опять в памяти Павла случился провал: вызов, посланный Аракчееву, мог достичь своей цели, если б у Палена власть была отнята. Но Павел отнять эту власть позабыл, и человек, которому подчинена была вся полиция, тайная и явная, на одной из застав приказал задержать поспешившего на спасение царя Аракчеева.

Кто еще может быть опасен заговорщикам? Разрешено иезуита Грубера впускать во все часы дня и ночи. Иезуит — клеврет первого консула. Кто знает, какие у него могут явиться проекты для охранения силы, сейчас готовой служить замыслам его хозяина против Англии?

И Пален патера Грубера очень хитро не пустил. Любезнейше попросил его повременить, пока не будут государем подписаны дела первой важности. Большого хитреца перехитрил на́больший. Грубер доверился приветливо почтительному Палену и с терпением ждал.

Когда Павел, не выносивший долго усидчивой работы, спросил Палена, который с расчетом на это качество государя завалил его подписью бесконечных бумаг: «Ну, еще что... еще что?» — Пален с сокрушенным сочувствием вымолвил:

— А еще патер Грубер ждет с толстой тетрадью собственных мыслей о необходимости соединения церквей.

Расчет Палена, как всегда, попал в точку. Утомленный Павел воскликнул:

— Послать патера к черту с церквами и тетрадями.

Павел ездил кататься верхом в Третьем летнем саду, потом долго разговаривал с Коцебу, недавно возвращенным из ссылки. Это входило в план — занятия невинные, развлекательные, не таящие в себе угрозы возникновения опасных заговорщикам мыслей. Павел поручил Коцебу описание любимого своего замка и очень интересовался, как подвигается работа. Развеселился, проходя мимо статуи Клеопатры. Высказал

предположение, что египетская очаровательница потерпела неудачу у Августа единственно оттого, что красота ее несколько перезрела. Между тем, обольсти она Августа, не понадобились бы ей общеизвестные нильские змейки, чтобы самовольно пресечь свои дни.

К своему письменному столу Павел подошел радостно возбужденный. Глянул на картину Ледюка, изображавшую рыцаря, которого почитал своим охранителем, как обычно кивнул ему головой, словно живому, и с лукавой усмешкой вытащил из ящика копию своего послания всем правителям европейских государств о вызове их на рыцарский турнир. Внезапно нахмурился и сел писать приказ на имя барона Криденера, посланника в Пруссии, с требованием объявить прусскому королю предписание занять Ганновер.

Краска выступила на бледных щеках Павла. Промелькнуло в голове, что прусский король может его ослушаться. И он гневно приписал в конце приказа Криденеру: «Если король не займет Ганновер, вы обязаны в 24 часа оставить его двор». От того, что он написал, гнев его еще возрос. Перед его воображением встал уже чей-то сговор, сопротивление. Он не доверял своему прусскому послу. Он схватил другую бумагу и написал Колычеву в Париж с повелением самому Наполеону передать его предложение вступить в курфюршество ганноверское ввиду нерешительности берлинского двора.

Велел позвать Палена. Все сильнее не веря ему, боясь его, Павел тем не менее через него отправил обе только что написанные бумаги.

В послании к Криденеру Пален осмелился приписать от себя: «Государь очень болен... скоро это будет иметь свои последствия».

Пален шел на крайний риск: или сегодня ночью, или никогда.

Дальнейшие события развернулись так, что оставили в истории еще одно доказательство победы сильной воли, знающей свою цель, над характером, подчиненным мимолетным капризам и чувствам, не умеющим не только защитить свою жизнь, но, словно в угоду твердо начерченному плану врага, как бы усерднее всех исполнявшим его предначертания. Павел грозно объявил сыновьям домашний арест, чем снял с Александра невыносимые укоры его легко раздражимой совести, так что генералу Уварову, приставленному Паленом к наслед-

нику, дабы тот не предпринял каких-либо опасных для заговорщиков шагов в порыве раскаяния в данном им слове, не пришлось прибегать к защитительным мерам. Уваров только вторил Александру в его розовых грезах относительно той удобной, безответственной жизни, которую надо будет теперь устроить больному, отошедшему добровольно от власти императору.

Уваров охотно и многократно повторял Александру клятву, данную ему Паленом, что, конечно, жизнь Павла для всех священна и никакого урона его здоровью нанесено быть не может. Александр охотно верил и быстро успокаивался, избегая смотреть в точные, исполнительные глаза Уварова, словно боясь в них прочесть насмешку и осуждение.

И Александр в глаза Уварова не смотрел и ненужных вопросов ему не предлагал. Он хотел, как всегда, не истины, а только покоя.

Оставалось еще последнее препятствие, которого Пален имел основания, как он сам впоследствии говорил, опасаться более всех: полковник Саблуков, командир эскадрона, должен был выставить караул в ночь на двенадцатое марта в Михайловский замок. Этот несокрушимый человек был верен присяге и Павлу.

Пален поручил генералу Уварову устранить и его. И точный, спокойный Уваров этого добился легко. Он только шепнул Павлу, что молва идет об эскадроне Саблукова, будто все они — якобинцы. И за три часа до своей гибели Павел своей волей удалил последнюю свою защиту — беззаветно преданного Саблукова.

Впрочем, воли своей у Павла уже не было, он лишь отдавал распоряжения, повинуясь воле чужой. Сознание Павла было как прозрачная среда, через которую, не задерживаясь, проходил луч твердого, определенного руководства.

И вместе с тем чувствительность его была обострена до предела, переходила порой в ясновидение. В последний вечер своей жизни он был как-то причудливо весел, о чем, вспоминая горький опыт пережитого, вдруг сам сказал:

— Сей род веселости у меня всегда бывает перед особо большой печалью.

Он любезно шутил со всеми, кто был за ужином; наследнику, хотя тот и был под домашним арестом, вдруг многозначительно сказал слова, как того вовсе не тре-

бовало вызвавшее их маловажное событие. Наследник чихнул, а Павел привстал, изысканно ему поклонился и произнес с подчеркиванием:

— Исполнение всех ваших желаний.

Уходя же к себе после ужина, сделал две вещи, которые, будучи очевидцами рассказаны своим знакомым, облетели город, занесены были в дневники современников и вошли в историю.

Павел подошел к зеркалу, рассмеявшись своим хриплым, отрывистым смехом, сказал:

— Как странно, я вижу себя со свернутой шеей!

И затем, уже уходя к себе в спальню, остановился у дверей, ни к кому не обращаясь, произнес, как фаталист-мусульманин:

— Чему быть — того не миновать.

Около одиннадцати часов вечера заговорщики собрались в квартире Талызина, командира преображенского полка. Много было выпито, все готовились к важному делу, но в чем именно оно будет состоять, знали очень немногие. В половине двенадцатого появился Пален. Еще потребовалось шампанское. Подняв бокал, Пален скромным, но твердым голосом сказал свои решающие слова:

— Поздравляю с новым государем.

Еще ничего с Павлом не было окончательно решено. Он еще царствовал. Все мосты подъемные были подняты. Все караулы на месте. А хитроумный Пален заставил присутствующих выпить с ним вместе за здоровье государя нового, чем как бы перевел по ту сторону дела, уже свершившегося. Коварный знаток слабых сердец, он сделал и с собранными офицерами то, что ему уже удалось сделать с Александром. Он в их мыслях переставил в уже прошедшее то, что им еще только свершить надлежало. Он освободил слабых от выбора, этого тяжкого бремени сильных людей, и крикнул, как на подчиненных:

— Стройтесь в две колонны! Разделяйтесь — кто пойдет со мной, кто с князем Платоном Зубовым!

Никто не трогался с места. И тут не хотели брать на себя ответственность. К тому же все были нетрезвы.

— По-ни-маю,— протянул несколько презрительно Пален. И до конца принял решение на себя одного. Он

брал офицеров, как детей, за руку и отводил одного вправо, другого влево. Сказал Платону Зубову:

— Вот эти — с вами. Прочие со мной. В Михайловский замок, господа!

Войдя во дворец, Пален передал, тоже ганноверцу, генералу Беннигсену, крепкому, хладнокровному человеку, главенство над своей половиной и направился в покой императрицы. Вошел к дежурной статс-даме и стал ей рассказывать обстоятельно, что сейчас происходит на половине государя.

В качестве плац-адъютанта заговорщик Аргамаков знал отлично все ходы, и выходы, и потайные коридоры, по которым должны были дойти до спальни Павла.

Поднялись по лесенке в маленькую кухню, смежную с прихожей, перед спальней государя. Здесь спал охранитель, камер-гусар, прислонившись головой к печке. Один из офицеров рубанул его саблей, гусар закричал во всю мочь:

— Убивают государя, спасите!

Граф Кутайсов, живший этажом ниже, проснулся от шума и кинулся было на помощь, но, устрашившись, стал спасать только себя. Как заяц, стрельнул он из замка, по дороге теряя свои ночные туфли.

Павел в испуге вскочил. Забыл или побоялся спуститься к Гагариной потайной лестницей. Спрятался в камин и заслонился экраном.

Едва заговорщики гурьбой вошли с шумом в спальню, как на лестнице раздались шаги и бряцание оружия. Все решили, что их сейчас арестуют, и шарахнулись бежать. Генерал Беннигсен, высокий, худой, бледный как призрак, один не был пьян. Он мгновенно представил себе все последствия неудачи и проявил твердую решимость, не зависящую ни от каких неожиданных впечатлений. Пален знал, кому доверить выполнение дела. Беннигсен, обнажив саблю, стал у дверей и кратко сказал:

— Назад уже поздно. Зарублю. Кончайте.

Луна осветила босые ноги Павла. Беннигсен отодвинул от камина экран и, указывая на небольшую фигуру в белом полотняном камзоле и ночном колпаке, произнес по-французски:

— Le voilà! [1]

Беннигсен, не оборачиваясь, вышел в кабинет Павла и сделал вид, что спокойно рассматривает картины, висевшие на стенах. Когда он вернулся, все было кончено. Павел мертвый лежал на полу.

— Благопристойно уложите его на кровать,— приказал Беннигсен и пошел навстречу входившему Палену.

Когда к Александру кто-то из приближенных обратился со словами: «Ваше величество», он понял, что отец его умер, и забился в истерике.

— Вам ведь было известно,— желая сказать мягко, но с плохо скрытой усмешкой сказал Пален,— вам было известно, что исход заговора означал для вас либо престол, либо заточение, если не гибель. Что же так вас теперь убивает?

— Вы мне клялись, что отец будет жив!

— Меня в это время не было в спальне императора, я охранял вашу матушку,— не дрогнув, сказал Пален и с прорвавшейся вдруг властностью приказал:

— Довольно ребячиться. Ступайте царствовать. Покажитесь народу.

Карл Росси, выйдя поздно вечером из дома Тугариновых, от захвативших его мыслей и чувств не мог сразу вернуться домой. Он пошел бродить вдоль Невы по любимому городу. Душа его была переполнена, и встревоженные чувства мешали ясности мыслей. Как вдруг все перевернулось в его судьбе! Капризная и надменная Катрин, которая нанесла такую рану его первой наивной любви, сама полюбила его, и самые несбыточные грезы, от которых он давно отказался, сейчас могли стать действительностью. Катрин расположила к нему своего отца, и тот, собрав о нем сведения от своих придворных знакомых, художников, ловко выспросил и Бренну и получил впечатление, что юноша Росси, сын знаменитой балерины, если разовьет свои гениальные способности, превзойдет славу матери. Такого многообещающего художника, прекрасного собой и с отмен-

---

[1] Вот он! *(фр.)*

ными манерами, можно и приласкать. Катрин же пошла еще далее. В очень задушевной беседе она призналась, что пережитое ею недавно, основанное на расчете, отношение к князю Игрееву вызвало навсегда отвращение ко всякой лжи и нечестности в области чувств. Пример же прекрасной любви Сильфиды и Мити открыл новый для нее мир свежей радости и красоты, перед которыми бессильны все колкие насмешки господина Вольтера, чьей жертвой она так легковерно была. Словом, Катрин как будто заново родилась и просила простить ее за прошлое, не оставлять своей дружбой в будущем. Отец надавал Карлу кучу очень интересных заказов, он оказался истинным ценителем искусства, и часы, проведенные с отцом и дочерью, были теперь полны новой, неиспытанной прелести. Тугарин просил Карла бывать у них каждый день...

«Если бы все это случилось раньше,— с горечью думал Карл,— как могли мы быть счастливы! Сейчас же за каждой ее улыбкой я вижу только новый каприз, завистливое желание самой испытать те чувства, которые приоткрыла ей настоящая любовь других. Но мне ль стать игралищем ее опытных упражнений? А если во мне говорит самолюбие? Если чувства этой девушки, почему-то запоздавшие сравнительно с развитием ее разума, сейчас расцветают тем нежным цветом, как это было несколько месяцев тому назад со мной самим? И я из чувства мести заставлю ее пережить все те страдания, которые пережил сам?»

Так, переходя от невольного увлечения новой прелестью Катрин и тут же уничтожая зародыш воскресающего чувства иронией, неизбежным следствием сердечной обиды, Карл, не находя себе места, забрел уже на рассвете в Летний сад и на миг забылся, восхищенный его красотой.

Неожиданное в марте ясное, теплое солнце поднималось над Фонтанкой и уже позолотило высокий шпиль Михайловского замка. А деревья вокруг, очень черные, будто свеженарисованные китайской тушью, с особой отчетливостью наложили сложный переплет своих ветвей на бледно-голубое небо.

Выйдя на мост перед замком, Карл с изумлением остановился. У ворот, которые ведут во дворец и где обыкновенно стояли двое часовых, он заметил целую роту под ружьем. Вокруг замка происходил какой-то

неуловимый беспорядок, и в разных направлениях шли различные части войск. Но самой поразительной была возникшая наверху лестницы парадная фигура кастеляна Брызгалова. Он, как обычно, в своем ярко-малиновом сюртуке с золотыми позументами, держал в руке саженную палку, но был без шляпы, и седые волосы его колебал ветер. Кастелян замка показался Карлу либо пьяным, либо вдруг сошедшим с ума. Ясно было одно — что-то необыкновенное произошло за эту ночь в замке.

Росси быстро направился к дому учителя Бренны, жившего неподалеку, он должен был знать все в подробности.

Данилыч, старый лакей Бренны, сказал, что барин срочно вызван «графом Палиным» во дворец еще ночью, и всхлипнул:

— Сходствие требуется императору навести! Уж так он, государь-батюшка, изуродован. Глаз ему вырвали...

Старик дрожащими от волнения руками открыл Карлу дверь в кабинет.

— Ты в бреду, Данилыч, иль с похмелья?— изумился Росси.

— Какое похмелье,— махнул Данилыч рукой,— этой ночью объявлено графом Палиным, будто скончался наш государь внезапно, ударом апоплексическим. Ан всем уж ведомо, что удар тот разбойничий, зубовский. Табакеркой в висок его Зубов хватил. Прямо насмерть...

Росси вспомнил нелепо нарядного Брызгалова без шляпы на лестнице замка и понял, что слова Данилыча — чистая правда.

А старик лакей, обычно подтянутый перед господами, вдруг обессилел и, не спросив разрешения, опустился в кожаное кресло.

— Все это у Палина давно было подстроено, а на государя им словно наваждение напущено. Своими руками стал гибель свою торопить. Поручик один ночью к барину приходил, подслушал я, как рассказывал. Полковника-то Саблукова, преданного государю, с внутреннего караула просто волшебством убрали. Слыхал поручик, Палин кому-то сказал: всех опаснее нам тот Саблуков мог оказаться. А собачка белая государева ведь так к нему и ластилась, словно последнюю защиту хозяину чуяла. Сейчас как сквозь землю эта собачка пропала.

— Когда именно поручик за твоим барином приходил?

— Не так давно. А прикончили государя задолго до рассвета. Истоптали всего, а тут народу его надо показывать — устрашились. Выручай их! И из караула некий,— тут у нас в доме кума живет,— еще рассказывал, что нового государя Александра родная матушка силком к отцову телу подвела да как закричит: «Смотри... на всю жизнь смотри да помни». А покойнику лицо воском уже обмазали, подкрасили, да всё, видно, не так. Шляпу, слышь, низенько ему нахлобучили, чтоб и глаз не видать. Так и народу покажут. Мыслимое ли это дело, императорское, миропомазанное, в бозе почившее лицо и вдруг — в шляпе?

Из передней слышно было, что кто-то вошел, впущенный швейцаром. Данилыч кинулся открывать дверь.

Бренна появился бледный, с таким застывшим выражением ужаса на лице, что Карл только молча пожал ему руку.

— Хорошо, что вы здесь, друг мой,— сказал устало учитель,— вы совершенно сейчас необходимы. Я больше не в силах там присутствовать. Я любил его...— И Бренна заплакал, повторяя, сам не зная того, ту самую фразу, которую по-французски твердил Павел кинувшимся на него заговорщикам:— Что... что он им сделал?

Бренна, погруженный в свои большие хлопоты по сооружению Михайловского замка, при постоянных докладах Павлу о текущей работе видел его неизменно любезным, щедро доброжелательным. Увлечение замком было светлой минутой Павла, его лучшим отдыхом. Далекий от непонятного ему русского быта, не испытавший на себе всеобщего гнета, итальянский мастер, как многие иностранцы, воспринимал Павла обязательно любезным, рыцарственным человеком.

— Я вас попрошу, дорогой Карл, посмотреть, чтобы не испортили тон кожи, составленный мной. При наложении на лоб и виски придется добавить охры; впрочем, вы увидите сами. О, как ужасно он изуродован! Римляне не смогли бы столь безобразно убить. Но идите, идите скорей. Окоченение уже прошло, работать можно. Вас внизу ждут мои сани...

Карл вышел и сел в маленькие санки, которые только что привезли Бренну. Хотя до Михайловского замка

было недалеко, он с трудом пробрался сквозь густую толпу разного люда. И толпа все росла, несмотря на войска, шеренгой стоявшие на улице. И страшно было понять, что толпа эта была не только бурно радостна, она просто ликовала, как в самый большой праздник, как в день одержанной победы.

Дальше в санях двигаться было нельзя. Карл вышел. Он пешком прошел через площадь Коннетабля. Невольно задержался его взор на нарядной статуе Петра, которую Павел извлек из мрака и воздвиг среди площади. И надписал: «Прадеду — правнук».

Карл невольно вспомнил о всем известном видении Павла, как однажды по набережной ему сопутствовал его великий предок и, горестно пожалев его, сказал: «Бедный император, бедный Павел».

Эти слова неотступно звучали сейчас в ушах Карла, когда он шел мимо караула, задавая себе вопрос — где ж были они, преображенцы, семеновцы, одни, кому покойный слепо доверял? Почему пропустили убийц?

Карл дошел до великолепных дверей, богато изукрашенных щитами, оружием, медузиными головами. Змеи покрывали их вместо волос и казались зловеще ожившими...

Сквозь знакомую анфиладу комнат Карл прошел в парадные покои Павла, овальную переднюю залу, отделанную под желтый мрамор. Здесь художники торопились создать какое-либо сходство изуродованного лица лежащего перед ними трупа со всем знакомыми чертами покойного императора. На стенах этой комнаты было шесть больших исторических картин. «Покорение Казани» в великолепной группировке Угрюмова, его же «Венчание на царство Михаила» и «Полтавский бой» — отличная картина Шебуева. Огнемечущий, горя глазами, великий Петр стоял рядом с благородным Шереметевым. Петр был полон гнева, словно за то, что под его ногами, на простом большом столе, распростерто было изуродованное тело его правнука.

Лицо Павла было страшно. Без парика, бледно-желтое, с глубоко пробитым виском, с правым глазом, выпавшим из орбиты. Глаз лежал на щеке и не по-человечески внимательно смотрел в одну точку. Карлу почудилось — на него.

Чтобы собраться с силами и приступить к работе, Карл большим усилием воли, словно в океан света, по-

грузился в воздушную перспективу прекрасной картины Причетникова «Плавание по Босфору».

Внизу кипела страшная работа: живописцы, руководимые врачом-анатомом, наращивали недостающие кости, сорванную кожу, красили черные пятна, кровоподтеки.

Подойдя к ним и глянув на то, что вчера еще звалось императором Павлом, Росси невольно воскликнул:

— Как же привели его в такой вид?

— А вот сумели,— сказал молодой врач с укором, как будто и Росси был участником дела.— Ногами топтали, пока один не догадался снять с себя шарф и прикончить.

Подошел знакомый художник, тоже бледный от волнения, но, видимо, не разделявший осуждения врача.

— Злодеев тут не было! Сами обстоятельства принудили его убить. Пока шел разговор об отречении, послышался на лестнице шум. И Павел так кричал, что нельзя было его оставить, и вот...— художник указал на висок, залепленный воском.— А если бы этого не сделали, наутро вместо одного безумца сотни и тысячи умных отправились бы в тюрьмы.

Все принялись за работу: время летело, и откладывать доступ к телу было опасно. В толпе росли слухи, будто Павла придворные отвезли в Шлиссельбург. Люди требовали доказательств его смерти, чтобы присягать Александру.

Наконец облаченное в императорскую мантию тело вознесено было на парадное ложе, близ которого на небольшом столе, покрытом малиновым бархатом, засверкала золотая корона.

Когда все было перенесено флигель-адъютантами в малую тронную залу, народ был допущен для прощания, но без обычного коленопреклонения и молитвенной остановки у тела.

Но хотя проходившие увидали одни лишь подошвы ботфорт и поля широкополой шляпы, надвинутой до бровей, как предупреждал Данилыч, весь город поверил, что государь умер, и шептали друг другу — не своей смертью.

Чрезмерная белизна лица делала Павла похожим на иссеченного из мрамора, а глубокий пролом виска не удалось скрыть и под шляпой.

Удивило Карла, что ни возмущения, ни гнева против убийц в городе не было. Их имена произносили с каким-то почетом. Они были у всех на виду, на них показывали с благодарностью, как на неких римлян, освободителей отечества. Так и сказал один из придворных Зубову.

Радость внезапного освобождения от четырехлетнего гнета и неуверенности в завтрашнем дне охватила город. Очевидцы события уж заносили в свои дневники, что «на улице даже незнакомые обнимались, как в христов день, и поздравляли друг друга с новой, свободной жизнью».

Отмечали суеверно, что сама природа дала благословение новому государю. До двенадцатого марта было пасмурно, непрестанно дождило, а с воцарением Александра вдруг ранняя развернулась весна, и солнышко, редкий гость петербургского серого неба, засияло, как на юге.

Хотя на то не отдавалось приказа, сами жители в честь Александра иллюминировали свой город. И тоже немедленно без снятия запрета, наложенного Павлом, украсились головы круглыми шляпами, и появились на свет прочие принадлежности модного туалета, недавно еще аттестованные «якобинской отравой».

По городу во все стороны понеслись запрещенные Павлом упряжки с форейторами, с кучерами в русской одежде, с неистовым криком: па-а-ди!

Люди спешили увериться, что опять могут жить, опять наконец веселиться, как того просит душа.

Поэт Державин, выражая общее ликование, написал оду: «На всерадостное восшествие на престол императора Александра Первого, случившееся двенадцатого марта, когда солнце в знак Овна, на путь весны, вступило и началось новое столетие 1801 года».

Эта ода заключала в себе очень прозрачные намеки на только что приключившееся событие в Михайловском замке, хотя Державин утверждал, что сие не что иное, как риторическая фигура, знаменующая наступление весны:

Умолк рев Норда сиповатый,
Закрылся грозный, страшный зрак...

Генерал-прокурор запретил печатать оду, отлично поняв, как и все, к кому именно относилась ритори-

ческая фигура, чей закрылся «грозный зрак» и чей вдруг умолк столь памятный, перед вспышкой опасного гнева словно осипший голос.

Потрясенный смертью Павла и своим участием в создании ему маски отдаленного сходства, Карл проводил бессонные ночи. К его встревоженным чувствам присоединилась и личная мучительная борьба с самим собою: он то посещал ежедневно Тугариных, то пропадал на целые недели.

Ночи заметно посветлели, и под утро небо делалось такое нежно-зеленое, уносящее вдаль, что усидеть дома было трудно.

Нева вскрылась рано. Льдинки то двигались плавно, чуть касаясь друг друга, то вдруг могучей волной вздымался задний их ряд и набегал на передний; недолго так держались, взгромоздившись горой, и внезапно, как войско в атаку, льдины с грозным шуршанием соскальзывали в воду, на миг раздвигая черную полынью. Уже запахло весной, и в сыром воздухе стали мягкими все очертания.

Карл пошел снова в излюбленный Летний сад. Сел на скамью под ветвистую липу так, что хорошо видна была вся темная громада замка. Долго сидел здесь, как бы прощаясь со своей ранней юностью, тесно связанной с этим Михайловским замком. На древке уже не плескался царский штандарт. Александр и все члены императорской фамилии переехали в Зимний дворец, подальше от тяжких воспоминаний. Но Карл, помимо воли глядя на замок, стал силой воображения воскрешать страшную ночь, двигая время назад от того мгновения, когда поутру появился на этих вот гранитных ступенях в придворной ливрее кастелян Брызгалов.

Как ни тихо шли заговорщики, они, говорят, спугнули этих бесчисленных ворон, что спокойно сидят сейчас в своих гнездах. В ту же ночь, как нарочно, всполошилось все это черное пернатое царство, и такое поднялось карканье и хлопанье крыльями, что даже Пален мгновенье подумал, не сорвалось ли все его дело и, как, по преданью, в последнюю минуту опасности загоготавшие гуси спасли Рим, эти зловещие птицы своим карканьем не подымут ли сейчас государя. И что же тогда? — Арест, Сибирь или казнь? Но вот вороны внезапно

умолкли. Их карканье не спугнуло сон императора. В своем охраняемом замке, при поднятых мостах, проверенных караулах, он не боялся измены, расквартировав последний подозрительный эскадрон Саблукова в далекой деревне. Между тем самый доверенный его человек, плац-адъютант Аргамаков, уже давал самолично приказ опустить малый подъемный мост, чтобы впустить заговорщиков.

Карл так долго смотрел на два окна бельэтажа, выходящего на Садовую, где была спальня Павла, что ему уже стало казаться — вот-вот откроется осторожно окно и выглянет знакомая курносая голова в ночном колпаке и полотняном камзоле, в каком обычно спал Павел...

Росси очень тосковал, что в такие для него тяжкие дни нет в городе Воронихина. Пошел наведаться, когда можно его ждать, и вдруг оказался приход его как нельзя кстати: Воронихин только что приехал. Карл рассказал ему все, что знал из городских толков про последние дни государя и про его смерть. Воронихин долго ходил по ковру своего кабинета.

— Главная ошибка Павла,— сказал он,— его убеждение, что мир размежеван на участки и Россия, как поместье, вручена ему самим богом в полную власть. Себя он действительно считал проводником высшей воли. Отсюда всем видимый деспотический произвол превращался в его больной голове в особую миссию, вроде крестового похода, который ему неуклонно надлежит предпринять. Так было с отправкой армии в Италию в угоду Австрии против Франции, а через несколько месяцев последовал поход обратный, уже в союзе с Францией против Англии на Индию.

— А что тут и там погублены тысячи, что донские казаки посланы на верную смерть? Да неужто за них он не чувствовал ответственности?— воскликнул Карл.

— Едва ли он мог давать себе ясный отчет о последствиях этих, подсказанных, как он полагал, ему свыше решений.

— Вот чего не могу я понять, что мучит меня, когда о нем думаю,— сказал живо Росси,— ведь я видел его близко и не могу ошибаться в том вдохновении благожелательного чувства, каким в светлые минуты просто сияло его лицо. Я был свидетелем его благородства, доброты и сочувствия. Почему так могло случиться, что именно этот человек, с большими задатками добра, на-

делал столько зла, что город всеобщим ликованием встретил его смерть?

— То же самое и в Москве,— подтвердил Воронихин,— с необычайным страхом ждали увидеть Павла на больших маневрах, к которым готовились в окрестностях. Слухи о его безобразной ярости при малейшей оплошности привели в оцепенение все умы, его ждали, как неотвратимую чуму, и я сам был свидетелем бурной радости, когда судьба навеки пресекла угрозу его появления. А тебе, Шарло,— сказал Воронихин тем своим особенным, интимным голосом, который у него появлялся, когда он хотел передать ученикам свои большие знания или глубокий внутренний опыт,— тебе из несчастной судьбы Павла, которую пришлось так близко наблюдать, для твоего собственного развития важнее всего запомнить один нерушимый закон...

— Я слушаю, Андрей Никифорович,— насторожился Карл.

— Тебя поражает величайшая дисгармония? Человек хотел блага, а совершал злое? Но дело в том, что одних благих намерений мало; как известно, ими вымощен ад. Чувство, мысль, идея получают свою реальную жизнь, только когда они закреплены отчетливой, для всякого зримой, защищенной разумом формой. Но если человек — в данном случае Павел — возникающий в нем огонь чувства, пускай даже порой превышающий то, что доступно среднему человеку,— отдает одним бесплотным мечтам, ему жизнь не прощает. Павел не имел ума и характера осуществлять необходимые для всеобщего блага замыслы, подобно тому, как это умел его великий предок Петр. Он не двигал жизнь, он не делал никому ее условия легче и прекраснее; напротив того, не понимая законов развития и движения своей страны, засорял ее всяким вздором. И законно, что вместо восторгов и благодарности потомков, какие вызывают дела Петровы, произвол и капризы Павла, не превращенные в нужное дело, вызвали только проклятия. Запомни, Шарло, это нужно для каждой работы: восторг зарождения — только искра. Эту искру еще надлежит раздуть в пламя.

— Я чувствую истину ваших слов,— сказал Карл,— но как это сделать? Как раздуть искру в пламя?

— Твердой волей,— сказал Воронихин,— столь углубленной в свое дело, что, как зажженный во тьме ма-

як, она приведет тебя к цели среди жизненных бурь. Едва ты возьмешься за большую работу, как на деле проверишь мои слова. Только полюбить свое дело надо больше себя...

И, внезапно смутившись, как целомудренный юноша, решивший раскрыть другу тайну сердца, Воронихин вымолвил:

— Приходи-ка, Шарло, взглянуть на мой Казанский собор. Покажу тебе акварели и план. Я закончу на днях.

Состояние Александра была ужасно. Его подавленность, глубокую грусть и раскаяние граф Пален почитал только робкой слабохарактерностью и все назойливее обращался с ним как с мальчишкой, которого он только что посадил на трон и должен научить царствовать.

Александр свободные от парадов часы проводил в уединенной скорби. Удрученный безжалостной памятью, он снова и снова переживал страшную ночь. Ежедневно узнавал он всё новые имена исполнителей, новые подробности смерти отца.

Однако не только казнить убийц Павла, как того требовала мать-императрица, но даже предать их суду Александр не находил в себе смелости.

Начни суд — что получится? Одни имена потянут за собой другие, и, как средство защиты, всеми будет помянуто о согласии, которое было вырвано у него, наследника, на предъявление акта отречения императору. Заговорщики сейчас давали слишком беззастенчиво понять, что они необходимы для безопасности молодого государя. Зубовы даже нарочно постарались, чтобы слова, которые они почитали дружеским ему советом, доведены были до него: «Из чувства благодарности и благоразумия Александру следует окружить себя теми людьми, которые возвели его преждевременно на престол, как это сделала его бабка Екатерина».

Сегодня Александру было особенно тяжело видеть Палена. Он пришел с резкой жалобой на мать-императрицу: по ее заказу выполнен образ и поставлен в одной из новых церквей,— для возбуждения против лиц, только что оказавших ей немалую услугу...

— Ваше величество,— сказал многозначительно Пален,— на упомянутом образе славянской вязью, на

ленте, исходящей из уст святителей, начертан приказ не оставлять безнаказанными цареубийц. Пусть сие относится к эпизоду ветхозаветному, но прилив в эту церковь народа и вызванные образом толки получились весьма современного характера...

— Доставьте образ ко мне, я расследую,— сказал утомленный Александр и, вдруг вспыхнув, горько добавил: — Сдержали б вы ваше слово о неприкосновенности августейшей жизни, ничего б этого быть не могло.

Пален пристально посмотрел на царя. В глубине глаз дрожала насмешка, прикрытая внимательным дружелюбием, но смущения не было.

— Да неужто ваше величество могло допустить даже мысль, что покойный император, столь ревниво убежденный в святости самодержавия, мог от него без борьбы отказаться? В борьбе же, на каковую ваше величество разумно изволили дать свое разрешение, конец не мог никем быть предвиден.

— Но ваше слово?

— Мной оно сдержано,— качнулся с достоинством Пален.— Я неприкосновенен к злому делу обезумевших офицеров. Я находился в покоях императрицы: быть может, надлежало ее уберечь от ареста. Как вам известно, предписание уже было.

Александр в отчаянии махнул рукой, указав на выход.

Пален, пожав плечами, пошел к двери, остановился, сказал вдруг совсем веселым, жизнерадостным голосом:

— Приятнейшее обстоятельство, ваше величество, прошу прощенья, чуть не забыл. Вам сейчас предстоит завершить одно доброе дело, задуманное его величеством, покойным императором. Поистине, благодеяние целому семейству одним мановением вашей царской руки...

— Какое еще дело?— испуганно повернулся Александр, опасаясь, что разговор пойдет о той беременной женщине, которая объявила, что взыскана Павлом, и просила о пенсии.— Я этих женских дел знать не хочу. Решайте сами.

— Помилуйте, ваше величество, дело самое мужское: некий государственный крестьянин, сибиряк Артамонов, изобрел самокат. Модель в свое время, если припомните, представлена была его величеству, вашему родителю, и Артамонову была обещана в случае успеш-

ного выполнения модели — вольная со всем семейством.

— Как же, вспоминаю,— несколько оживился Александр,— такое большое железное колесо и сиденье, как седлышко, наверху... Мы тогда посмеялись немало с братом. И что же, он выполнил?

— Извольте потрудиться, выше величество, глянуть из окна на площадь: Артамонову приказано ждать тут с самого утра, пока не соблаговолите проверить его машину.

— Зачем же утром еще не сказали?— воскликнул Александр.— Я очень охотно взгляну, ведь мне особенно приятно, когда могу выполнить волю батюшки.

Александр быстрым шагом, так что Пален едва за ним поспевал, вышел на балкон Зимнего дворца и с любопытством оглядел площадь.

Перед балконом возник Артамонов, низко кланяясь, ведя рядом с собой, как лошадь, большое колесо. Он был в своем синем армяке и в новых, до зеркального блеска начищенных сапогах. Он вдруг мгновенно вскочил на седло и, хлопая полами длинного армяка, много раз странной птицей пронесся большими кругами по площади, ловко спрыгнул на ходу пред балконом, где, глядя на него, улыбался восхищенный Александр.

Артамонов сорвал с головы шапку, упал на колени пред балконом и протянул к Александру обе руки.

— Самокатчик нижайше благодарит ваше величество,— сказал Пален,— за дарованную по обещанию императора Павла вольную.

— В свою очередь благодарю самокатчика за то, что выполнил обещание, данное отцу.

У Александра выступили слезы на глазах.

— Кроме вольной всему семейству, как сказано батюшкой,— приказал он Палену,— распорядитесь из суммы кабинета выдать награду и на путевые расходы. Самокат приобщить к изобретениям самоучки Кулибина, собранным бабушкой.

Вечером у Воронихина, когда весело праздновали удачу с самокатом, Артамонов был печален.

— Уж выхлопатывайте поскорей, Андрей Никифорович, мне бумаги,— то и дело просил он Воронихина.— Забрать их да скорей наутек! Неровен час, опять

сместят императора, и для второй пробы у моего самоката прыти не станет, к тому ж приказано его в кучу лома свалить.

— Да что ты, Артамонов,— успокаивал Воронихин,— твой самокат приказано в том же месте держать, где изобретения великого нашего самоучки Кулибина.

— То-то, что вправду велик. А где к нему внимание, где почет всему, что выдумал? Как и я, одной пользы хотел он отечеству, а его модели сперва на игрушки пустили, а как сломались, и не стали чинить.

— Но для своего самоката чего б ты хотел?— спросил серьезно Воронихин, поняв печаль Артамонова.

— А чтоб знающим механикам его испытать да улучшить — цены ему нет для военного дела. Ведь шибче лошади он бежит,— сказал не без гордости Артамонов и прибавил, потускнев:— А сейчас хотя бы только с вольной не передумали!

Вечером явилась к Александру мать-императрица. Еще красивая, хотя сильно располневшая, в глубоком трауре, она даже не захотела у сына присесть. Величественно стоя, изрекла свой ультиматум:

— Или я, сейчас уехав в Павловск, никогда больше сюда не приеду, или же пусть граф Пален навсегда удалится отсюда. Мне известно, что он приказал снять подаренный мной образ и произнес слова: «Я расправился с супругом, расправлюсь и с супругою».

Мария Федоровна удалилась, предоставив Александра охватившему его с новой силой отчаянию.

Опять почувствовал, что тюремной стеной окружил его этот грузный, тяжелый человек, неизменно к чему-то принуждающий. А за ним стоит и другой, Никита Петрович Панин, с изощренно-дипломатической речью, с холодным педантизмом на английский манер. Оба свергли отца, оба хотят теперь править сыном.

От ненависти к поработителям своей воли Александр вскочил и стал быстро ходить по кабинету.

Пусть лучше навек Шлиссельбург, пусть даже казнь — все лучше несказанной муки, охватившей сейчас. Панин первый заронил в сознание эту мысль, которая никогда б не родилась сама,— пойти против отца и помазанника. Но Палена он ненавидел еще сильней.

Пален уверен, что он не только знал, он отцеубийства хотел. Освободиться б от Палена!

Доложили нового генерал-прокурора Беклешева.

Сменивший бывшего гатчинца, Павлова любимца Обольянинова, этот русский простой человек был приятен Александру. Беклешев далек был от придворных интриг, прославлен своей справедливостью и был в отсутствии во время заговора.

И вдруг Александр рассказал Беклешеву, как младший внушившему доверие старшему, про непосильную тяжесть отношений с ненавистным Паленом, про непреклонное требование императрицы-матери его удалить.

Беклешев сочувственно поморгал своими умными глазами на молодого царя и сказал простодушно, как бы разрешая совсем маловажное затруднение:

— Когда мне досаждают мухи, ежели жужжат под носом,— я их прогоняю.

И как следствие этого разговора предложил тотчас представить для подписания соответствующую бумагу.

— Заготовьте и представьте,— легко вымолвил Александр, успокоенный простым и быстрым решением столь мучительного дела.

Назавтра только и речи было о том, как граф Пален явился на парад в своем экипаже, запряженном шестеркою цугом. Едва собрался он выходить, как подошедший флигель-адъютант государя протянул бумагу, где по высочайшему повелению предлагалось ему выехать навсегда в свои курляндские поместья.

Карл Росси подходил смущенный к Академии художеств, приглашенный в первый раз на новую квартиру Воронихина. Андрей Никифорович женился, как давно ему прочили, на англичанке, чертежнице Мери Лонг, и занял просторную преподавательскую квартиру по своей новой должности руководителя архитектурного класса.

Браку Воронихина в среде товарищей завидовали и не без яда превозносили его хитроумие и расчетливость — одним махом убил нескольких зайцев: приобрел чудесную жену, неутомимую помощницу в работе, красивую натурщицу и хозяйку, умевшую на европейскую ногу поставить свой дом. Воронихин представил

своей жене Карла как юного друга и многообещающего архитектора. Мери скоро так очаровала Карла умной сердечностью, что заставила его поверить доброму отношению к друзьям своего мужа.

Когда Мери вышла из комнаты, Карл, смеясь, признался, как он боялся, что после женитьбы Андрея Никифоровича в доме будет совсем не так, как было раньше, и вдруг оказалось, что стало еще лучше и еще больше станет сюда тянуть.

— Спасибо, Шарло, за верную оценку моего брака,— усмехнулся Воронихин.— Если друзьям становится в доме проще и веселей — это верный знак, что в союзе не вышло ошибки.

— Но какая же редкость такая удача,— сказал грустно Карл, думая о сложности своих отношений с Катрин.

Воронихин словно угадал его мысли:

— Можно спотыкаться, Шарло, пока не видна, не ясна окончательно главная цель жизни. Но избранное дело уже само поведет. Запомни, жену надо искать только такую, которая этому избранному тобой делу и захочет и сможет помочь.

— Андрей Никифорович, я запомню ваши слова,— серьезно сказал Карл,— если бы знали вы, как они сказаны кстати. Я только что получил из Италии письмо от Катрин. Она зовет меня к себе, прямо в Рим, а я должен ехать с Бренной во Флоренцию, где смогу тотчас начать занятия в Академии. Катрин пишет, что дольше месяца она меня ждать не станет и вернется обратно в Россию. Вы понимаете — это решение ее судьбы, так же как и моей.

— И ты ей ответил?

Карл помолчал. Потом, не глядя на Воронихина, тихо сказал:

— Ваши слова мне помогут ей ответить, что я еду в Италию только учиться и путь мой — во Флоренцию.

Воронихин пожал Карлу руку:

— Ты решил верно, Шарло. Искусство ревниво. А сейчас, на прощанье, пройдем в мастерскую. Я покажу тебе акварели собора и план.

Указывая на развешанные по стенам подготовительные работы к Казанскому собору, Воронихин стал говорить как бы сам с собой, впервые, может быть, выражая словами то, что давно родилось и зрело без слов.

— Мне прежде всего хотелось, при всей монументальной грандиозности здания, дать его легким, полным света. Поэтому видишь, Шарло, как велики здесь окна, как утончены подпоры купола. Император Павел очень стеснил полет моей фантазии, предрешив общее впечатление собора. Он ведь настаивал на сходстве с римским собором святого Петра. Сколько я промучился, пока не нашел выхода вот в этих колоннадах. Двумя могучими потоками они вливаются со стороны Невского проспекта,— указал Воронихин на план.— Обрати внимание, Шарло, они вливаются в многоколонный же портик, сильно выдвинутый из их линии, что создает впечатление входов и выходов. Ты понимаешь мой замысел?

— Понимаю,— отозвался восхищенный Карл,— колоннады благодаря этому не являются простой декорацией площади, как в Риме. Какое счастливое разрешение вас посетило. Вместо внушающего трепет величия торжественного круга — какая стройная, какая легкая у вас получилась дуга.

— Ты угадал. Мотив легкости мною положен в основу всей громадной постройки, но для этого неизбежно соорудить такую же колоннаду и со стороны противоположной. А здесь вот, на западе, соединить в одно грандиозные дуги. Представь себе, Шарло, в пасхальную ночь много сотен людей с зажженными свечами во всех колоннадах собора. Какое море огня, какое море света!

— Андрей Никифорович,— воскликнул Росси,— вы достигли своей цели. Вы внесете в наш сумрачный день и прозрачность, и воздух, и радость...

— Когда б удалось,— сказал тронутый Воронихин.— Я много думал о воздействии архитектуры на сознание. Как уничтожает, расплющивает человека готика, как, словно устрашив его, уводит насильственно ввысь от земли. Порой утомляет глаза и торжественность победительного Рима. Нагромождение барокко пресыщает чувство, неуловимо подменяет его чувственностью и рассеивает своей пышностью, дробит на мелочи потребность простого и прекрасного. Моя задача скромна. Я не хочу поражать, восхищать или пробуждать дремоту ленивой совести удручающим взлетом сводов, тяжестью купола, угрожающей тенью неосвещенных углов. Я только хочу, чтобы в моем создании преодолена была тяжесть. Обилие внешних и внутрен-

них колоннад своей гармоничной соединенностью должно снимать всякое бремя. Войдя в мой собор, пусть каждый свободно вздохнет, пусть, сбросив с плеч груз мертвящих волю горестей и забот, во всю мощь наберет себе свежих сил.

Я верю, Шарло, в благородство природных сил человека. Пусть моя работа создаст условия, которые хоть немного помогут их развитию...

— Судя по великолепию вашего плана, я уверен, что вы эти условия создадите,— сказал Росси, крепко пожимая Воронихину руку.

1946

СОДЕРЖАНИЕ

ОДЕТЫ КАМНЕМ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК

Форш О.

Ф 79 Одеты камнем: Михайловский замок: Романы.— Л.: Худож. лит., 1988.— 400 с. (Классики и современники. Советская литература).

ISBN 5-280-00036-1

В книгу вошли исторические романы О. Д. Форш (1873—1961) «Одеты камнем» и «Михайловский замок».

В центре романа «Одеты_камнем» (1924—1925) — судьба «таинственного узника» Алексеевского равелина Петропавловской крепости русского революционера М. С. Бейдемана.

Герой «Михайловского замка» (1946) — Петербург в пору недолгого трагического царствования Павла; роман повествует о зодчих великого города: В. И. Баженове, А. Н. Воронихине, К. И. Росси.

Ф $\frac{4702010201-053}{028(01)-88}$ 63-88 ББК 84.Р7

КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ

Советская литература

ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА ФОРШ

ОДЕТЫ КАМНЕМ

МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК

Редактор *Г. Петрова*

Художественный редактор *Р. Чумаков*

Технический редактор *М. Шафрова*

Корректоры *А. Борисенкова, Г. Щеголева*

ИБ № 4828

Сдано в набор 09.02.87. Подписано в печать 26.10.87. Формат $84\times108^1/_{32}$. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 21. Усл. кр.-отт. 21,63. Уч.-изд. л. 22,20. Тираж 500 000 экз. Изд. № ЛI-193. Заказ 837. Цена 1 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

В 1987 году

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В СЕРИИ

«КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ»

ВЫШЛИ КНИГИ:

Вересаев В. Повести и рассказы
Гоголь Н. Повести
Иванов Вс. Повести и рассказы
Макаренко А. Педагогическая поэма
Помяловский Н. Повести и рассказы
Толстой Л. Анна Каренина
Тынянов Ю. Пушкин
Фурманов Д. Чапаев. Красный десант
Шишков В. Угрюм-река

1 р. 80 к.



Советская литература




О.Форш
ОДЕТЫ КАМНЕМ
МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК